ISSN 0130 – 6545

3. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТАН ИНЬ (1470—1523). Девушка, играющая на свирели.

Цветные иллюстрации номера — картины китайских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 *март* *1983*

Содержание

ВАЦЛАВ БИЛИНСКИЙ — Конец каникулам *(Роман. Перевод с польского М. Игнатова и В. Хорева)* 3

ДЕРЕК УОЛКОТТ — Стихи *(Перевод с английского Андрея Сергеева)* 52

МАНЛИО АРГЕТА — День из ее жизни *(Повесть. Перевод с испанского Анатолия Минина)* 59

Литературное наследие

Строки любви и печали *(Поэтессы Китая X—XIX вв. Перевод с китайского и вступление Михаила Басманова)* 143

Литературные иллюстрации

ВИЛЬЯМ ХАЙНЕСЕН — Башня на Краю Света *(Поэтическая повесть-мозаика о младенческой младости. Перевод с датского Т. Величко. Вступление Л. О.)* 151

Критика

С. ШЕРЛАИМОВА — Чешская поэзия на пороге восьмидесятых годов 176

Идеологическая борьба и литература

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ — Шпиономания на книжном рынке 183

Сопоставляя точки зрения

Хождения в страны и века *(Обсуждаем проблемы издания «Литературных памятников»)* 188

Культура и современность

Л. ЗАМОЙСКИЙ — «Каменщики» империализма 200

Публицистика

ПЕТЕР ШЮТТ: ПО СТРАНИЦАМ ДВУХ КНИГ — «Мавр сделал свое дело...» *(Перевод с немецкого М. Сергеева).* Америка: маршрутами не для туристов *(Перевод с немецкого Э. Венгеровой)* 208

Антирубрика

СТЭНЛИ ЭЛЛИН — Вера Аарона Менефи *(Перевод с английского Людмилы Биндеман)* 232

Среди книг

Издано в СССР

Е. Парнов — Девочка с [illegible]отой ветвью ◆ Илья Фоняков — Звон осенних цикад 239

Издано за рубежом

И. Барсова, С. Ошеров — Портрет художника ◆ Владислав Пронин — Проф[illegible]ка от равнодушия 244

Из месяца в м[illegible] 248

Авторы этого н[illegible]

На 1-й и 4-й
ЛИ КУЧАНЯ
«Гуси».

© «Иностранная л

ВАЦЛАВ БИЛИНСКИЙ

Конец каникулам

РОМАН

Перевод с польского М. ИГНАТОВА и В. ХОРЕВА

Часть первая

Начнем с этого сна. Возможно, нам удастся разгадать его значение с помощью модной в то лето методы психоаналитика Цвойдинского? Вдруг обнаружим нечто символическое? А может, обратимся к «Египетскому соннику»? Или воспользуемся более простым толкованием бабушки Северины?

Итак, представим себе поле битвы. На Валах вплоть до Пороховой башни замерли полки оловянной пехоты. Это давно не существующие рождественские подарки из-под венских елок, игрушечные солдатики, которых бабушка Северина всегда выписывала из Кракова, чтобы штандарты и экипировка соответствовали национальным традициям! На песчаной Монастырской улочке, выстроясь поэскадронно вдоль глухих ее стен, готовится к бою наша доблестная кавалерия, тоже отлитая из олова в Кр ове. Уланы объедаются яблоками из монастырского сада. А штаб облюбовал удобный наблюдательный пункт на склоне холма за пивным ларьком фирмы «Габербуш и Шиле».

Пехотинцев, улан и штабных осыпают жухлой листвой клены, словно картечь барабанит по головам град увесистых каштанов, великолепнее которых нет в целом мире. Такова общая картина. В остальном же — все как в известной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Адам все еще стоит на высоком крутом склоне у бегущей вверх тропы, по которой частенько хаживал, прогуливая уроки. При нем адъютант Польдек Кахане. Боевые полки и пивнушка у его ног. Адам знает, что на сей раз он отнюдь не прогульщик. Это его войска! Итак, понимая, что час пробил, он выхватывает дедовский клинок. Ты, Польдек, оставайся здесь! Битва началась. Вражеская солдатня в сероватых мундирах уже врывается в траншеи. Наши оказывают яростное сопротивление.

В этом месте Эрнст Теодор Амадей Гофман (обычно называемый Адамом для краткости Э. Т. А. Г.) напоминает, что в его сказке должен сыграть важную роль Nußknacker. Так где же этот Щелкунчик? Его отсутствие предвещает разгром, а нашему герою смерть на поле брани в еще одном (сколько же их было?) проигранном сражении. Господи! Почему Щелкунчик не появляется? И где Пирлипат? Наш герой размахивает клинком, но уже не дедовским, а игрушечной сабелькой королевско-императорского драгуна, подаренной ему на пятый день рождения, отмечавшийся еще в Вене.

Сон цветной, наши оловянные войска поблескивают лаком. Враги в своих мундирах фельдграу смахивают на крыс. Поле битвы, проти-

© Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1979.

воборствующие войска — все как на огромной гравюре из роскошного, в сафьяновом переплете, издания сказок Гофмана. Бой идет уже за редут Габербуша, и, хоть момент грозен, Адам тем не менее видит над полем битвы как бы аллегорически венчающий его титул венского издания, с завитушками, в которые вкраплены иллюстрации, воспроизводящие эпизоды незабываемой сказки Nußknacker und Mausekönig von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. И в ту же минуту осознает, что сражение проиграно. Ибо нет Пирлипат. Без наших дам сражения не выиграть! Все пропало! Как и предсказывал Польдек!

Это сон — кошмар, зловещее ночное наваждение, которое томит и оставляет после себя чувство тревоги. Чем вызываются такие сны? Слишком плотным ужином? А может, изнурительной жарой? Или же виной тому собственная его Пирлипат, порой такая неуемная.

Адам поворачивается на бок, вздыхает и что-то бормочет. Он завершает свою героическую (с сабелькой в руке) миссию. Мы уже никогда не назовем его высокопарно героем. Впрочем, мы совсем не уверены, что он когда-либо заслуживал подобного названия.

Вообще хватит баталистики. Ведь нет никакой войны. Начинается третья декада августа 1939 года. Душная, раскаленная комната — служебная квартира подпоручика Адама Коссовича. В Лодзи тем летом во многих подобных комнатах были размещены офицеры штаба армии.

Несмотря на распахнутые настежь двери балкона и обильно поливаемую плантацию рододендронов и фикусов, дышать здесь нечем. А ночи в то лето так душны. Грозы ходят вокруг да около. Полыхают молнии то над Згежем, то над Пабьянице. Прокатывается гром. А в Лодзи ни капли дождя. Сгущается убийственная, сухая жара. Ни мало-мальского дуновения ветерка. Вонь тающей на крышах смолы и размякшего асфальта. Тяжкий, ядовитый дух фабрик. Прямо-таки фосген, иприт! Тлетворное дыхание кварталов, лишенных канализации. Воистину эти ночи невыносимы.

Потому-то и спят они, Адам и Хелена, на специально установленном для них широком ложе в чем мать родила. Она засыпает ничком, раскинув руки и ноги. У нее классически округлые ягодицы, крепкие бедра. Головой зарылась в подушку. Темные завитые волосы рассыпались по белой наволочке. А до чего трогательна эта линия, бегущая от затылка вдоль спины. Да, Хелена действительно выглядит как воплощение грешных и пламенных страстей. На рассвете, разглядывая очертания ее фигуры, отраженной в тусклом зеркале, Адам моется в фаянсовом тазу. Вода в эту пору суток бывает почти прохладной. Потом пробирается на коврик у балконной двери. Расстилает простыню. Здесь, у распахнутой балконной двери, как будто чуть легче дышится, словно глубокий колодец двора, прогретый за день, мог исторгнуть хоть каплю свежести.

Таков этот август. По вечерам, вернувшись из кино, офицерского собрания или дансинга, они не запирали дверь своей комнаты, памятуя о подчеркнутой предупредительности хозяйки, жены военного врача, который недавно был переведен — в рамках перемещений нынешнего лета — из лодзинского госпиталя в Калиш (как будто в Калише не хватало венерологов). Было хорошо, почти на грани пресыщения, как казалось сибариту и врагу супружеских уз Адаму Коссовичу. Было чудесно, как повторяла Хелена. От жары город страдал бессонницей. Сначала они лежали далеко друг от друга.

— Сегодня ни за что! Слишком жарко...— вздыхала Хелена.

— И я без сил,— вторил ей Адам.

Тускло мерцал крошечный ночник.

— О боже, какая жарища,— говорила Хелена,— я должна охладиться.

Она широко раскидывала руки. И всякий раз он ощущал словно бы случайное, манящее прикосновенье ее пальцев.

— Только смотри, чтобы не стало еще жарче,— предостерегала Хелена. Но они тут же забывали об этом. Вплоть до самого рассвета, когда Адам сбегал от нее к балконной двери.

Балкон его далекой собственной квартиры выходил в парк, которому, как говорили, нет равных в Европе. Бывало, чуть приоткроешь личную балконную дверь — и твоя личная комната полна ароматов твоего личного парка, меняющихся в течение дня. А уж ночью-то! Август, чем благоухают там августовские ночи? Левкоем, розами, третьим сенокосом.

Почти в ту же самую минуту, когда вдруг померкла пригрезившаяся ему картина битвы, постучалась докторша. Потом еще. И еще раз. Наконец, решилась нажать дверную ручку. И тогда увидела Адама в костюме его библейского тезки, измочаленного ночными утехами, распростертого на простыне у открытой балконной двери. Пани Розенблатт питала слабость к молодому офицеру. Лицезрение его наготы нисколько ее не обескураживало. Даже мелькнула мысль: Mon Dieu! Если бы не появилась эта властная, шустрая и уверенная в себе девица...

Не оставалось ничего другого, как отступить, притворить дверь и дубасить в нее кулаком уже изо всех сил. Только тогда Адам и Хелена проснулись. Было еще сумрачно, вернее, из-за обилия фикусов и рододендронов, зеленовато-сумрачно. Отблеск рассвета сюда едва просачивался. В такую рань Коссовича никогда не будили. Он торопливо открыл дверь, застегивая пижаму цвета красного вина с черными кантами, на груди карман и крупный с выкрутасами вензель.

— Добрый день, что стряслось? — спросил он сонным голосом.

— Вам звонят. По служебному делу.

Пани Розенблатт загромождала дверной проем своими пышными формами и благоухала, как парфюмерный магазин.

— Мне? Так рано? — изумился Коссович.

С тех пор как, призванный «на сборы резервистов», он вместо полка, к которому был приписан, попал сюда, в Лодзь (и вдобавок на такую работенку!), начальство ни разу еще на рассвете не вспоминало о его существовании.

Телефон стоял на вычурном секретере под мутным зеркалом в стиле сецессион, по соседству с фарфоровым слоном. Вообще квартирка пани Розенблатт была уютной и вылизанной. Бронзовая лампа с роскошным абажуром — Амур и Психея на подставке — отбрасывала мягкий свет на грозно выжидавшую, минуту назад отложенную трубку.

— Коссович у телефона. Алло, с кем я говорю?

Адам видел в зеркале свое отражение (пижама недурна, стоило потратиться), а позади себя хозяйку дома в пеньюаре, распахнувшемся на мощном бюсте. О господи, истинная Мэй Уэст! Не случайно Хелька, обычно такая терпимая, о докторше говорит с ненавистью: «грудастая бабища».

Однако внимание! Телефонная трубка ожила и скрежещет раздраженным, незнакомым голосом:

— Долго же вас приходится будить, подпоручик,— бурчит кто-то на другом конце провода.— Пили вчера? Я жду уже десять минут!

— Да кто говорит? — допытывается заспанный Коссович.

— Через пятнадцать минут вы должны стоять у своих ворот. Я заеду за вами.

— Но с кем имею удовольствие говорить?

— Удовольствие — это еще поглядим. Не узнаете? Говорит «Крапива».

Сначала Адам решает, что это ошибка или дурацкая шутка приятелей, вышедших под хмельком из офицерского собрания.

— Что там творится, черт подери? Слышите меня? — Телефонная трубка сердито трещит.

— Так точно! — кричит Адам. Ибо эти два слова — «черт подери» — более чем кодовое наименование «Крапива» помогают уяснить, что говорит шеф, полковник Клён-Савицкий, и окончательно проснуться. На другом конце провода уже отключились. Коссович стоит с телефонной трубкой в руке.

— Mein Gott! — вырывается стон у пани Розенблатт (в зависимости от эмоционального состояния она обращается к богу на разных языках).— Началось? Говорите же!

— Что должно начаться?

— Мой муж! В случае войны...

— Можете не беспокоиться. Просто служба.

Теперь бегом к себе! Плотнее закрыть за собой дверь! Хелька, голенькая, сидит посреди ложа и зевает во весь рот.

— Не мог сказать этой Розенблатт, чтобы...

— Перестань, Хеленка! Через десять минут я уезжаю.

Адам второпях сбрасывает пижаму, минуту раздумывает, хватит ли времени побриться.

— Уезжаешь? Куда?! — кричит Хелена.

А пани Розенблатт наверняка подслушивает.

— Бога ради, тише! И не надо сцен, Хелька, не надо!

В спешке все летит у него из рук, он отказывается от бритья, только протирает лицо одеколоном. Одевается как курсант по тревоге — в темпе, раз-два. Раз — кальсоны, бриджи и сапоги. Два — полевой мундир, только такие теперь выдают. Что брать с собой? Уже третий день действует приказ, предписывающий полную готовность. Значит, противогаз? Каску? Планшет? Шинель? Пистолет? О боже! В такую жару!

Хелена надевает бюстгальтер и всхлипывает.

— Это непорядочно, Адам! — хнычет она.— Ведь ты же обещал мне вчера...

— Не расстраивайся, дорогая. Что отложено, не пропадает...

— Отложено? — Это слово глубоко ее задело.— Это ты откладываешь!

— Хелька, перестань! Умоляю. Где, черт побери, мои часы и ручка?

— На ночном столике. Под коробкой с шоколадом. Именно сегодня уезжаешь? С дружками это подстроил? А ведь обещал мне...

— Как только вернусь! — заверяет Адам.

Еще минутное колебание: что положить в полевую сумку? Есть предметы, с которыми не следует расставаться. Пока жива любовь. В каком-то затмении засовывает в сумку объемистую тетрадь. И томик, выловленный несколько дней назад здесь, в Лодзи, у букиниста, на корешке сафьян и позолота, просто загляденье. Фронтиспис: великолепный автопортрет Эрнста Теодора Амадея Гофмана, или Э. Т. А. Г., как сокращенно обозначает его в своих заметках Адам. Сказочник изображен анфас, губы плотно сжаты и одержимость в лице. Сразу видно — вдохновенный художник слова.

Еще нелегкое решение: поедет без противогаза, каски и шинели. И без того выглядит как бог войны. Ну, скажем... полубог.

— Чего кокетничаешь? — язвит Хелена. Она стоит у него за спиной, отражается в зеркале. Он, свирепый вояка. А рядом — прекрасная Елена!

Адам обернулся, и его охватило знакомое чувство. А все-таки я, пожалуй, люблю ее! Он порывисто обнял Хелену, поцеловал.

— Ах ты негодяй! — Почувствовал, как у нее дрогнули колени. Она ласково дернула его за волосы.— Противный негодяй...

— Все будет хорошо,— сказал Адам.

— Ты обещал мне!

— Подожди, подожди еще немножко! — крикнул он. Усилием воли стряхнул сентиментальную расслабленность. Бросился вон из

комнаты. За дверью столкнулся с пани Розенблатт, разгоряченной, благоухающей, к прежним ароматам она успела добавить «Soir de Paris».

— Скажите, что случилось, пан подпоручик!

Она напирала на него мощным бюстом и смотрела сладкими, как рахат-лукум, глазами.

— Обычное дело: служба.

— Вы что-то скрываете!

— Честное слово.

— Куда едете и когда вернетесь?

На эти вопросы Адам не ответил. Сделал обманное движение, ловко разминулся с пани Розенблатт и был уже на лестнице. Куда еду! — подумал он с возмущением. Жена военного врача, как бы там ни было, офицера, не должна задавать подобных вопросов молодому подпоручику.

О, если бы сам он, такой до смешного суеверный — как говорит Хеленка,— мог найти ответ на эти вопросы хотя бы в толкованиях своих фантасмагорических снов.

Пиотрковская, голубовато-серая и в эту пору еще пустая, заполнится только через час первой сменой, спешащей на фабрики. Коссович выходит из подворотни и, застегивая крючки воротника, оглядывается по сторонам. Думать о странном сне ему неохота: он немного побаивается своих снов, это у него от бабки Северины. Что они предвещают? Чтобы не раздумывать об этом, он дает волю фантазии, и снова вспоминается ему собственный балкон с видом на великолепный парк и комплекс строений, оставшихся от ярмарки. Какая там благодать на рассвете! А тут едва свежеет за ночь; словно фабрикой попахивает, мылом, аппретурой. И вид неважный, хотя это и центр города. На другой стороне улицы замерли, как скульптурная группа, двое пьяных. Из-за угла пугает облезлая вывеска «Вольф Макула — линолеум, клеенка, обойный инструмент». Чуть дальше — на стене огромная яркая афиша, соблазняющая посмотреть фильм «Признание шпиона» в кинотеатре «Европа», цены билетов на все сеансы от восьмидесяти грошей. Были они с Хеленкой на этом злободневном боевике, в зале царила невыносимая духота, не помогло даже распрыскивание в зрительном зале лесной воды. Вышли из кино злые и усталые.

На афише кто-то написал нецензурное словечко и подрисовал трагической героине бородку и усы а-ля Наполеон III. Сегодня город еще спит. Широко открытые окна неказистых домов напоминают глазницы слепца. При свете солнца Адаму кажется, что он уже свыкся с этим пейзажем. Но безлюдная в рассветный час Пиотрковская все-таки исключительно безобразна.

Кто-то покашливает у него за спиной. Адам оборачивается. Позади него стоит дворник, пан Юзеф, квадратный, вечно небритый мужчина, полнокровный и норовистый. Адам поселился здесь недавно, но с паном Юзефом они хорошо знакомы, даже некоторым образом подружились благодаря поздним, после закрытия ворот, возвращениям нового квартиранта — то в форме, то в штатском — и, разумеется, всовываемым в кулак пана Юзефа чаевым.

— Что же будет, уважаемый? — заговаривает дворник. Нынче он не в духе. Вообще люди последнее время ходят раздраженные. Легко вспыхивают ссоры. Может, пан Юзеф хочет опохмелиться, а может, только потолковать о политике.— Гитлер, если так и дальше пойдет, своего добьется.

— Ох, пан Юзеф, с утра пораньше о политике?

— Я глаз не сомкнул, такая духотища,— говорит дворник тоном оправдания.— Вчера вечером нигде нельзя было достать пива. Не хватило. У Розенблатт прохладнее?

— Какая там прохлада!

— Особенно возле пани Розенблатт, верно?

Это сказано без какой-либо подковырки, скорее даже с оттенком зависти. Чары дородной чернookой красотки обладали, как видно, широким радиусом действия. Если бы не приезд Хеленки... Адам едва успел подумать об этом, как в подернутой фиолетовой дымкой глубине улицы заметил на уже посветлевшем фоне постамента (кто же написал: «Самый безобразный памятник Костюшки в Польше»? «Вядомости литерацке» или Мацкевич в Вильно?) черный силуэт приближающегося автомобиля.

— Едут за мной,— сказал он без энтузиазма и подумал, что следовало бы блокнот с заметками и томик Гофмана оставить в столе на попечении Хеленки, а в полевую сумку запихнуть немецкий иллюстрированный справочник. Пусть бы Клён увидел, что Адам с этой дрянью не расстается.

Пан Юзеф отступил в глубину подворотни, застегнул жилетку. С метлой в руках он чувствовал себя как улан на боевом посту. Подъезжал какой-то высокий чин, ведь не за подпоручиком же присылают такую машину! Автомобиль приближался. Коссович уже разглядел, что это огромный черный «бьюик», очевидно реквизированный у какого-нибудь лодзинского фабриканта. Целая свора таких машин, словно почетный караул, выстроилась у подъезда особняка на Юлианове — великолепные и поистине достойные здешних сливок общества лимузины. «Бьюик», притормаживая, выкатил из-за угла во всей красе, то есть с флажком штаба армии на правом переднем крыле. И остановился у бровки тротуара, прямо против Адама. Распахнулись дверцы, кто-то рявкнул:

— Садитесь!

В машине было еще душнее. Тронулись. Адам едва успел оглянуться на словно бы уже собственную подворотню. «Бьюик» набирал скорость. На фоне ветрового стекла рядом с водителем тускло лоснилась знакомая лысина. Ошибки быть не могло. Этот бугристый, испещренный бурыми пятнами череп принадлежал полковнику Клёну-Савицкому. А на заднем сиденье рядом с Адамом торчал какой-то юнец. Было слишком темно, чтобы его рассмотреть, и только на погонах отчетливо поблескивали лычки. Всего-навсего сержанта.

— Трудновато, подпоручик, вытащить вас из берлоги,— проговорил полковник язвительным тоном и раскашлялся по-стариковски. Кашлял долго. Пиотрковская, все более светлевшая, не кончалась. Город казался какой-то призрачной деревней с одной-единственной улицей. Куда же мы едем? — подумал с тревогой Коссович.

Наконец Клён-Савицкий перестал кашлять. Обернулся, показал свою измятую, невыспавшуюся физиономию и произнес официальным тоном:

— Со мной должен был ехать капитан Вольский. Но не получилось. Словом, я прихватил вас, ведь вы, подпоручик, германист, не так ли?

— На гражданке преподавал в гимназии немецкий язык,— скромно напомнил подпоручик запаса Адам Коссович.

— В том-то и дело, в том-то и дело! — буркнул полковник.— Достаточно ли вы владеете языком, чтобы вести протокол?

Значит, назревала какая-то проверка. Какой-то экзамен? В такую рань?

— Ну, сумеете запротоколировать на немецком? — раздраженно спросил Клён.

— Пожалуй, да,— ответил Коссович не слишком твердо, из-за волнения, поскольку теперь было уже очевидно, что они едут работать.

— О господи! — вздохнул полковник.— Что значит: «пожалуй, да»? Разве это уставной ответ?

— Так точно! — выпалил Адам.

Немецким он владел с детства. Именно на этом языке наслушал-

ся сказок братьев Гримм, Андерсена и особенно Гофмана. Так было заведено в венском доме бабки Северины. Польском доме в Вене. Роскошная вилла в стиле сецессион, анфилада комнат, мебель тоже венская, стильная, тяжелая, звукопоглощающие гардины, все доподлинно «королевско-императорское», как и весь этот город, а на стенах в спальне блаженной памяти деда родовые портреты, очень польские, и огромная архипольская картина — «Ясырь» Брандта. Даже после сугубо штатской кончины деда над кроватью красного дерева по-прежнему висели в идеальном порядке крест-накрест два великолепных клинка и револьвер, очень старомодный шестизарядный кольт, с которым дедушка когда-то, будучи еще юношей, участвовал в восстании на галицийский лад, то есть два дня. Тишина, прислуга ходит на цыпочках. Когда госпожа дремлет, говорят шепотом, разумеется, по-немецки, хоть Kätie, старая кухарка, привезенная сюда из Львова, говорит по-немецки с польским акцентом, а по-польски — с украинским.

Вот было времечко, думает Адам. Вена была приветливой, уютной, родной. А тут вдруг: грозит война, Гитлер, и подумать только — тоже австриец!

— Значит, бегло по-немецки говорите? Это здорово. Поэтому я и взял вас с собой,— милостиво бросает полковник. Оборачивается так, словно голова у него на шарнирах. Впивается в лицо Коссовича холодным, сверлящим взглядом.— Наслушаетесь вдоволь,— предупреждает он.— Надеюсь, не надо напоминать о неразглашении военной тайны?

— Так точно. Не надо,— бормочет Адам. Он не горит желанием выслушивать поучения.

— Превосходно,— говорит Клён.— Ну, а как подвигается работа? Ваш перевод справочника?

— Фон Голодковского? Дней через десять будет готов.

— Отлично. А теперь дайте мне поспать. Всю ночь глаз не сомкнул. Болтайте сколько угодно с Зенеком. Только тихо.

Клён устраивается поудобнее, копошится, ерзает. И наконец задает храпака. А «бьюик» между тем выезжает из города, минует виадук, какие-то особняки, утопающие в пышных, ухоженных садах. Из убогих деревянных домишек высыпает народ — утренняя смена. В город, на рынок катятся доверху нагруженные повозки.

Монотонна эта поездка и пока что скучна. А спать неловко. Адам знает, что, если уснет, с трудом добудятся. Тут уж полковник отведет душу! Томит какое-то смутное беспокойство: почему, черт побери, снилась мне дедовская сабля? (Адам придает большое значение снам, их толкованиям. Немножко верит и в телепатию. Хеленка над этим потешается. До чего же тот клинок был выщерблен! А потом еще и забытая сабелька из Вены. Пожалуй, это какие-то фаллические символы. Сигнал, что меня страшит ненасытность Хеленки? Бабушка Северина наверняка сказала бы, что приснившаяся битва предвещает чье-то прибытие. Гость в дом... А может, это отзвуки прошлогодних споров с Хеленкой из-за «сокровищ», сваленных на чердаке?)

Достаточно было упоминания об этом хламе, чтобы Хеленка загорелась. Пойдем посмотрим. На чердаке она сперва онемела, а потом воскликнула: боже милостивый! И ты, владея такой модной роскошью, украсил свою квартиру дешевкой! Осмотрела картины, от портрета бабушки, выполненного Тепой до «Ясыря» Брандта, и с укором заметила: а над тахтой повесил псевдояпонскую пошлятину! Настал черед и сундука с реликвиями, как назвал его Адам. Здесь он держал боевое наследие своих предков: оба дедовых клинка (мадьярской работы, по определению экспертов) и обветшалый дедов кунтуш. Тот самый, в котором, уже будучи государственным советником, он столь картинно сфотографировался — кажется, по случаю посещения Галиции эрцгерцогом Рудольфом. В том же сундуке была и вен-

герка, совершенно вылинявшая, а также кепи, простреленное, бурое с малиновым кантом, повстанческое; именно в этом наряде дедушка «пошел и вернулся». Сверху лежал парадный австрийский мундир отца: Коссович-старший погиб в полевом обмундировании, а «униформа» уцелела благодаря мужицкой сметке его ординарца. На самом дне таилась стрелецкая куртка, жалкая и продырявленная то ли молью, то ли вражескими пулями. Круглый плебейский картуз. Штаны, носившиеся с обмотками. Все такое не вяжущееся с утонченной натурой дядюшки Феликса, который при жизни тщательно скрывал свои переживания и комплексы, никогда не вспоминал о своем военном прошлом и весьма демонстративно в грош не ставил офицерство и даже самого маршала.

— Какая красота! — восхитилась тогда Хеленка.— Эти сабли надо повесить на стену.

— Боже избави,— запротестовал Адам, готовый сражаться до последнего вздоха за стилистическое единообразие своей модерновой квартирки.

Споры о меблировке! Что должно висеть над тахтой? Японская картинка или Брандт? Стоит ли вспоминать такие пустяки? Адам зевает. Где мы? На пустынном в этот час шоссе под Пабьянице, патруль военной жандармерии, заспанный и измятый, пропустил их без проверки. Адам оглянулся и заметил, что жандармы остановили какого-то мотоциклиста, обступили его и принялись проверять.

— Вы служите в отделении переводчиков, верно? — осведомился сержант.— Пару дней назад я видал вас в штабе на Юлианове. Вы разговаривали с полковником Лосем.

Шоссе обсажено деревьями, отблески утра то и дело накатываются, словно волны. Коссович закрывает глаза. Он преисполнен нелепого, беспричинного уважения к этому унтеру. Не то что я, лопух-приписник, вздыхает Адам. Тяжкий это комплекс, подобное почитание кадровиков, почитание, смешанное с неприязнью, как, например, к тому капитану, который в прошлом году вытаскивал Хеленку и Адама в Залещиках на вечерние прогулки по мосту через Днестр — хотел похвастаться перед Хеленкой (разумеется, все это затевалось из-за нее) уважением и симпатией, которые проявляли к нему румыны по ту сторону моста. Чертов мост в Залещиках!

Адам постарался отделаться от этого воспоминания.

— Надолго едем?

— Этого никогда никто не знает.— Сержант скалит зубы, якобы в улыбке.— Служба не дружба! Будем знакомы,— предлагает.— Зенон Рыбак. Очень приятно.— И еще тише, но зато крайне таинственно добавляет: — А сегодня нам подвернулось действительно нечто экстраординарное!

■

Реквизированный «бьюик» придерживается заданного маршрута. Клён-Савицкий смачно похрапывает, на заднем сиденье дремлет сержант, а порой забывается на минутку и Коссович. Проезжают Пабьянице, еще более безобразные, чем Лодзь, переполненный отдыхающими курорт — Колюмну, Ласк остается в стороне. В Здуньска-Воле мостовая делается ровнее. Затем снова скверное покрытие, и «бьюик» трясет немилосердно. Но попутчики спят как убитые. И Адам может без помех поразмыслить над своим будущим.

Замбрув, офицерское училище, полк — все это в прошлом. А также занятия с личным составом, строгости, солдафонство, чинопочитание. С июня Коссович в Лодзи. На новом месте службы, в монументальном, но совершенно гражданском здании подле станции Лодзь-фабричная, прямо-таки контора, где царит своеобразная, тревожно-таинственная, бюрократическая атмосфера. Помнится, после долгого ожидания в адъютантской, не похожей ни на одну из ранее

ему известных, он предстал перед коренастым лысым полковником с бронзовым от загара черепом и пронизывающим взглядом. Его интересовали родственники Адама, и чувствовалось, что судьбы целых поколений Коссовичей были ему хорошо знакомы. Полковник рассеянно перелистывал скоросшиватель с личным делом (заранее положенным на стол). Расспрашивал о венских, давно утраченных родственных связях. Потом обратился к мировоззренческим проблемам. Адам выслушал рассуждения о том, что итальянцы со своим фашизмом — одно, а проклятая немчура с ее Гитлером — «усов знакомых щетка, знакомая походка» — совсем другое. Что, наконец, австрийцы (знаю я их, знаю) — тоже совершенно особая статья. А гитлеровская Германия абсолютно одинока в Европе, да что там, во всем мире.

Потом Коссович узнал, что он нужен армии и особенно здесь, в штабе. Как специалист по немецкому языку вы к этому вполне подготовлены. Я педагог, хотел возразить Адам, но вместо этого поддакнул: так точно. В таком случае пора заступать на боевой пост на втором этаже, комната номер семь, там вас дожидаются, подпоручик, книги и газеты. С сегодняшнего дня вам вменяется в обязанность внимательно следить за немецкой печатью. И ежедневно составлять для нашего штаба (речь шла о штабе армии «Лодзь») краткий, насыщенный обзор этой немецкой писанины. Главное: настроения, мнения политических групп и так далее. Понятно?

— Так точно,— снова кротко и послушно ответил Коссович.

— А то, что здесь творится (здесь — означало: в этом чудно́м, до недавнего времени гражданском доме), должно быть вам совершенно безразлично. Чем меньше вопросов и любознательности, тем лучше.

— Так точно.

— Уши заткнуть. Язык прикусить. Глаза закрыть.

— Так точно.

— И главное — помалкивать,— многозначительно повторил полковник.— В молодости и меня так учили. Будь то на исповеди или в постели... Любите болтать в постели?

— Пожалуй, нет.

— Знаем мы вас, молодежь.— И что-то припомнив, добавил: — Вы собираетесь жениться?

(Откуда это ему известно?)

Если бы Адаму, сибариту и пацифисту, когда-либо сказали, что он будет служить в пресловутой «двойке», он бы возмутился и наверняка запротестовал. «Контора» (такое для собственного пользования придуманное им кодовое наименование больше, по его мнению, подходило к «двойке», нежели традиционные названия: часть, подразделение и т. д.), так вот данная «контора» никогда не вызывала симпатии у Коссовича. Но в марте положение изменилось Назревал конфликт с гитлеровской Германией. «Обиды предадим забвенью...» и т. д. и т. п. Мы все поляки! Возлюбим друг друга (лишь с некоторыми исключениями). Принять в такой обстановке новое назначение, предусмотренное мобилизационными планами, он счел своим гражданским долгом. Только откуда взялось это назначение?

Клён быстро потерял интерес к сидящему перед ним полуштатскому. Велел адъютанту вызвать какого-то капитана Вольского и углубился в чтение бумаг. Адам молча ждал. Наконец явился капитан. Высокий и очень худой, он производил впечатление человека, у которого болят зубы. Полковник передал Коссовича в его руки.

Капитан сухо поздоровался и препроводил Адама в комнату номер семь на втором этаже, повернул ключ, торчавший в замке, слегка подтолкнул Коссовича, который застрял у порога, и объявил загробным голосом:

— Вот ваша комната. С этой минуты. А теперь поговорим о работе...

Это прозвучало не слишком вдохновляюще.

В комнате номер семь стоял письменный стол и большой несгораемый шкаф. Адам видел такой у нотариуса, когда улаживал свои дела с наследством.

Вольский присел на край стола, вытащил из кармана потертый кожаный портсигар.— Вы курите? — осведомился он. Это были крепчайшие, прозванные «гвоздиками» папиросы, почему-то особенно нравившиеся унтер-офицерам. Адам курил дорогой, очень легкий и ароматный «Пурсичан», которым набивал гильзы. Теперь следовало держать ухо востро, чтобы, избави бог, не закашляться от случайной затяжки.

— Пан капитан! — решился он сбросить камень с сердца.— Я действительно не имею представления о такого рода работе. И не уверен, гожусь ли...

Вольский сонно усмехнулся.

— Вы думаете, коллега, что мы тут о вас чего-то не знаем? — произнес он снисходительно, как будто его забавляла такая возможность.— Что взяли бы к нам,— это «к нам» было сказано с особой интонацией,— кого-то неизвестного? Вы годитесь. Годитесь!

— Но я ничего подобного не делал. И не умею...

— Послушайте.— Тут Вольский взглянул на часы.— Через час я уезжаю... Следовательно, поторопимся. Не делайте лишних записей. Ничего не выносите из этой комнаты. Выработайте у себя такую привычку. Черт побери, садитесь же, наконец. Если возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь ко мне. Правда, дел у меня выше головы, но постараюсь выкроить время. Лишь бы мы не тратили его впустую.

— Так точно,— браво, как ему показалось, ответил Адам.

— И кончайте с этими полковыми ухватками. Вы уже не командир взвода.

Капитан глубоко затянулся и, прикрывая глаза, начал излагать монотонным голосом:

— Учтите, что ваше знание Австрии, Вены не очень-то пригодится. Другие времена, другие немцы. Ох уж эта Лодзь! Насколько мне помнится, вы из тех краев, где практически нет проблемы немецкого нацменьшинства. Там у вас, согласно данным за тридцать первый год, немцев на все воеводство только тысяч двенадцать. Я проверил это сегодня, заглянул в статистический ежегодник. Лодзь — совсем иное дело. Город трех национальностей. В лодзинском воеводстве мы имеем немцев официально — вы понимаете: официально — свыше ста пятидесяти тысяч! Думаю, что в действительности их больше. И эти неучтенные могут быть для нас куда опаснее, нежели те, что признают себя немцами. В нынешней ситуации сами понимаете, что это значит. Хоть и те, назовем их официальными немцами, представляют собой все более консолидирующийся профашистский монолит.

Адам вздохнул.

— То-то и оно,— сказал капитан.— Дело осложняет еще и, так сказать, структура экономики. Пятьдесят процентов лодзинской промышленности принадлежит немцам. Вы только вдумайтесь: пятьдесят процентов! Свыше ста тридцати крупнейших промышленных предприятий Лодзи. Слыхали когда-нибудь такие фамилии, как Бидерман, Айзенкранц, Швайкерт, Крёниг, Букле, Мюллер, Зайдель или Эрих. Это не только миллионеры, но и политики. И с какими связями! К вашему сведению: любая наша акция немедленно торпедируется из Варшавы. Немцами-сенаторами, депутатами сейма или так называемыми миссиями доброй воли. Например, я произвожу обыск у кого-либо из этих влиятельных господ, ибо знаю, что есть шанс перехватить какой-нибудь серьезный материал. Не пустяки — фашистские листовки, нелегальные издания, а радиостанцию или даже

оружие. Вы видали эти фабрикантские дворцы, в их недрах кое-что можно спрятать. Стоит мне найти тайник и что-либо там обнаружить, как на следующий же день вмешивается одно из варшавских посольств. Выступает с миссией доброй воли. В защиту несчастных и гонимых лодзинских немцев.

— И что тогда?

— Был у меня такой случай на прошлой неделе. Я откопал — а как боялся, что ничего там не найду,— новенькую радиостанцию. Посадил фабриканта. Ох, если бы я мог его по-настоящему прижать! Где там. Переночевал у нас на четвертом этаже на раскладушке. Разумеется, заявил, что ни о какой радиостанции не имеет понятия. Мол, три дня назад исчез его водитель, вот это чья проделка. А утром, в пять минут девятого — звонок из Варшавы. Немедленно освободить!

— Весело.

— Но вас это, собственно, мало касается. Другой участок работы. Я вдаюсь в подробности лишь ради того, чтобы вы знали, где мы действуем. А лучше всего полистайте-ка здешнюю телефонную книгу. Весьма поучительное издание. Многое объясняет.

Вольский наклонился и вытащил из бокового ящика стола книгу, открыл ее и принялся читать:

— Буква «А». Аббе, Абель, Абенд, Аберштайн, Абкин, Абрагам, Абрамсон, Абзац, Ахенбах, Абах, Адалкин и, наконец, в самом низу страницы— Вальтер Иоахим Адамецкий!

Капитан захлопнул книгу, бросил ее на место.

— Такова Лодзь. Таков район наших действий. Здесь мы работаем. Надо, чтобы вы об этом помнили.

Адам улыбнулся.

— На последних учениях наш полк поддерживали подразделения генерала Абрагама,— сказал он.— Фамилия еще не критерий.

— Разумеется,— согласился капитан.— И нам не следует этого забывать.

— Ну, а евреи? — Коссовичу вспомнился Польдек Кахане и его антифашистские тирады.— Ведь в условиях возникающего... возможного конфликта с Гитлером. Они, надо думать, на нашей стороне?

— В годы мировой войны евреи были настроены явно германофильски, да и теперь бывают исключения. Немцы различными способами нащупывают слабые места. Они мастера разведывательной игры. И отнюдь не щепетильны.

Адам вдруг припомнил прочитанный однажды очерк о еврее-гитлеровце. Какой абсурд. А капитан между тем продолжал монотонно:

— Нам доводилось ликвидировать и такие агентурные сети, в которых важную роль играли евреи. В одном случае все решали наркотики, в другом — деньги, в третьем — шантаж, спекуляция на родственных чувствах. Понимаете? Кто-то пытается спасти любой ценой близкого человека. Из высоких побуждений. В Лодзи есть большая группа беженцев из Германии. Впрочем, не только евреев. Всякое бывает. Я к этим людям отношусь... гм... с профессиональным недоверием. Но мы еще когда-нибудь об этом потолкуем.— Он взглянул на часы.— К сожалению, мне пора. Столько работы. Итак, начнем инструктаж: в среднем ящике вы найдете мои последние выписки из немецкой печати. До сих пор это приходилось делать мне. Будьте снисходительны, я не филолог, как вы.— Вольский снова потянулся к ящику. Вынул из него страничку машинописного текста. Бросил на стол перед Адамом.— Из этих немецких газет вы будете делать выписки, реферировать их. Как-нибудь справитесь.

Адам взглянул на длинную колонку названий: «Дер дойче вег», «Фрайе прессе», «Лодзер фольксцайтунг», «Нойе лодзер цайтунг», «Дойче рундшау ин Полен» и т. д.

— Потом изучите,— сказал Вольский.— Для многострадального

немецкого меньшинства выпускается в Польше более ста периодических изданий. Только в Лодзи, пожалуй, двадцать. Самое крупное гнездо. Конечно, всего от доски до доски не прочтете. Нет времени. Попросту выхватывайте все, что касается настроений немецкого нацменьшинства. Причем читайте, так сказать, сквозь призму интересов армии. Вы меня поняли? Что ж поделаешь, в нашем районе много немцев. Господь нас ими одарил. Возможно, в недалеком будущем... Следовательно, мы обязаны держать их под наблюдением. Итак, настроения. Что они себе позволяют. Попытки сеять пораженчество. Или оголтелые антипольские выступления. Все ясно?

— Вы прочтете мою первую разработку?

— Постараюсь завтра заглянуть к вам. Но прошу не ждать. Наверняка не обещаю.

— Слушаюсь.

— Прекратите ваши «так точно», «слушаюсь», это действует на нервы.

— А если не справлюсь?

— Превосходно справитесь. Я уверен. Но это еще не все. Ежедневные сводки — дело важное, но первоочередное, крайне срочное ваше задание — перевод, который вы найдете в среднем ящике стола. Это уже действительно боевое задание. Иллюстрированный немецкий словарь под названием «Deutsche Wehrsprache». Надо его в кратчайшие сроки довести до штаба каждого батальона. Оказывается, среди нашего офицерства более распространено знакомство с французским языком, нежели с немецким.— Он снова взглянул на часы.— Мне уже пора. Буду заглядывать к вам, как только позволят дела. Еще не раз потолкуем. Вообще я рад...

— Я тоже,— сказал Адам и смутился, ибо прозвучало это несколько фальшиво.

С первого же дня новой службы на Коссовича обрушилась буквально лавина бумаги. С самого утра несли ему немецкие газеты, листовки и всевозможные изданные в рейхе «кирпичи» по военно-теоретической проблематике, чтобы облегчить ему работу над проклятым словарем, автором которого был майор фон Голодковский.

Толстенная книга под названием «Deutsche Wehrsprache», выпущенная в Потсдаме для служебного пользования, сбивала Адама с панталыку. Он всегда доверял своим познаниям в немецком языке, а тут какой-то отставной майор снова и снова доказывал ему, что существует еще другой немецкий язык: Deutsche Wehrsprache. Адам, как и пристало дипломированному филологу, погрязал в картотеках, заметках, справочниках, разбирал по слогам и выписывал. Так (в спешке, кое-как, урывками) создавался почти эпохальный труд. Немецко-польский словарь военных терминов и наименований. Это была работа, рассчитанная на многие месяцы. А предчувствие все чаще подсказывало Адаму, что времени у него в обрез. Вдобавок Коссович начал подозревать, что обзоры немецкой прессы, отнимавшие у него столько сил, никого не интересуют. И сбавил темп. Впрочем, и с картотеками уже не усердствовал. Полковника Клёна — вплоть до сегодняшнего дня — он и в глаза не видел.

■

Под Серадзом, на живописном шоссе, обсаженном старыми липами, но изобилующем коварными рытвинами, спустил баллон. Бабахнуло как из винтовки. но полковник продолжал спать непробудным сном, откинувшись на спинку сиденья и всхрапывая угрожающе, с присвистом и бульканьем. Водитель, ранее помалкивавший, проклинал польские дороги и прежнего владельца «бьюика», прохвоста, который через день подсылает своего шофера проверять, как военные с его лимузином обращаются! Лодзинским работягам этот фабрикант хорошо известен. Мы его давно заприметили. А фабри-

кант в панике. Гитлера боится. Боится, что машина пропадет. И дворец. И миллионы. Есть из-за чего трястись. А нашему брату что терять? Война так война. Зато после нее многое переменится.

Зенек вдруг заинтересовался этим монологом.

— Что именно? — спросил он.— Какие же будут перемены?

— Не горячись, сержант,— огрызнулся водитель.— На слове поймать хочешь? Да я и ничего не боюсь. Скажу, что думаю: если будет война, то кровопийцам каюк.

А Зенек снова:

— Каким кровопийцам?

Водитель хватает монтировку, косится на Зенека, словно не прочь стукнуть сержанта по башке. В духоте, которая вопреки раннему часу стояла на шоссе, смена колеса — тяжелая работа. Может, оттого и нервы расшалились. И очередная вспышка гнева:

— Отвяжись от меня! — И кое-что еще.

Адам замер. Ждет реакции Зенека. Что теперь будет? Но ничего не происходит. Шофер, ругаясь сквозь зубы, возится с колесом, а Зенек как ни в чем не бывало посмеивается.

— Давайте-ка отдохнем на травке,— предлагает он Адаму. Они перебегают через шоссе и располагаются за кюветом в зарослях вереска.

— До чего же теперь люди нервные! Как в приемной зубного врача: чуть тронь — сразу же в крик! — улыбается Зенек.— К счастью, Дед спит. Не разбудил его этот трепач своей ересью.

— Угу,— дипломатично бормочет Адам.

— Он, наш Дед, тоже стал жутко нервный,— продолжает Зенек. И обращается к водителю: — Эй, ты, успокойся! Я просто так, шутки ради. Очень мне нужно тебя расспрашивать. Подумаешь, важная фигура, верно?

Своеобразная личность этот Зенек. Продувная физиономия, цепкий взгляд и широкие, внушающие уважение ладони.

— Вы, пан подпоручик, недавно призваны. Не из кадровых. Сразу видно. Интеллигенция! — говорит он, оттопыривая губы. В голосе проскальзывает какая-то неприятная, фальшивая нотка. Так, по крайней мере, кажется Адаму.— Я лично не обожаю кадровиков,— продолжает рассуждать сержант.— Серость и подстрижены под одну гребенку. Такие, как вы, с гражданки,— совсем другой коленкор. Каждое перышко иного цвета.

Замечание о пестром оперении не понравилось Адаму. Чтобы переменить тему, он спросил:

— Как думаете, едем надолго?

— Разве это когда-нибудь известно заранее? — сержант пожал плечами.— Может, сегодня вернемся? А может, застрянем до конца войны.

— До конца войны? — испугался Коссович.— Так вы верите, что будет война?

— Я-то вообще верующий,— сказал Зенек с наигранной простоватостью. Широко зевнул и крикнул водителю: — Эй, ты, нервный, как успехи? Поедем мы в твоей карете или пора идти к старосте за подводой?

■

На шоссе возле «бьюика» неторопливо возился шофер. Брань еще клокотала у него в горле. Клён-Савицкий спал сном праведника. Чтобы салон лучше проветривался, дверцы были распахнуты на обе стороны.

Куда я угодил? — снова поразился Адам. «Двойка», политическая полиция! Он представил себе разговор по поводу такого назначения с Польдеком Кахане. Вот это была бы сцена! А мина Польдека! А его комментарии!

Коссович всегда держался в стороне от политики. Ведь политика — сплошная грязь. А «двойка» — орудие политики — всегда ассоциировалась с какими-то загадочными делами, не исключавшими ущемление чьих-то прав и чьи-то страдания. Ведь это на ее совести были таинственные самоубийства каких-то сановников. Кажется, Славека? «Двойка» причастна к зловещему исчезновению какого-то генерала. (Желиговского или Розвадовского? Этого Адам точно не знал.) С ее махинациями связывали стрельбу в саду виллы, где жил сам Комендант. Даже с делом детоубийцы Горгоновой. Может, это было уже и преувеличение, но молва гласила, что дело Горгоновой раздули по указанию «двойки», чтобы после кровавых стычек с безработными отвлечь внимание общества от политики. Впрочем, и без Горгоновой на счету «двойки» было предостаточно всевозможных мерзостей, тайн и мокрых дел с политической окраской.

После памятных апрельских дней 1936 года власть в родном городе Адама захватила на некоторое время именно «двойка». Рука ее проникла всюду. Польдек Кахане рассказывал, что его шурин, арестованный в те тревожные дни, очутился, к ужасу родни, где-то в Полесье, в деревне с благозвучным белорусским названием Береза.— Ты понимаешь? Он зубной техник. А кто и когда видывал, чтобы зубные техники имели что-либо общее с политикой?

Следовательно, в цивилизованном европейском государстве такое учреждение, как «двойка», решало судьбы людские. И вдобавок без суда! Без санкции временно самоустранившейся Фемиды? А теперь вот я в «двойке», думает Адам.

Посреди шоссе где-то под Серадзом в железной коробке мобилизованного «бьюика» по-стариковски задает храпака полковник Клён из «двойки». Работа по замене колеса едва продвинулась. И Зенек уже спит в вереске. Нос его забавно сияет от испарины. Адам расстегивает мундир. К черту подобные мысли. Зачем терзаться? Я служу там, куда направили. Не делаю ничего такого, о чем впоследствии мог бы вспоминать со стыдом. Впрочем, никто и никогда не принудил бы меня к подобным деяниям!

О, эти венские связи, как они тяготеют над моей судьбой, думает Адам. По-прежнему все в моей жизни обусловлено деспотической любовью бабки Северины, давно покоящейся на венском кладбище святого Игнатия Лойолы. Ей я обязан знанием немецкого языка. И обучением в венской школе у отцов-салезианцев. А потом, уже по инерции, выбором факультета. Не будь бабки Северины, Вены, германистики, не было бы и этого путешествия в реквизированной шестицилиндровой карете с флажком штаба армии на крыле.

Воспоминания о бабке Северине разворошили память: вот портрет отца в австрийском мундире. Врач, породнившийся с беспрестанно курсировавшим между Львовом и Веной семейством, которое нажилось то ли на строительстве железной дороги, то ли на карпатской нефти, что обеспечило сохранение фамилии, в 1914 году пойдет защищать монархию. Неужели ему было суждено совершенно бессмысленно погибнуть в дни Брусиловского прорыва? И действительно ли он, не успевший вовремя эвакуировать свой прифронтовой госпиталь, с пистолетом в руке бросился на какого-то бородатого джигита? Коссович-старший якобы подстрелил из маузера этого черкеса и, разумеется, был зарублен его соплеменниками. Смерть для окулиста довольно необычная! После него остались несколько научных публикаций, анемичная, болезненная жена, которая пережила его всего на год, и малолетний сын. Права на опекунство были переданы в конечном счете бабке Северине, вдове тайного советника двора его величества, издавна обосновавшейся в Вене. Важную роль при принятии этого решения сыграла проблема наследства. Родственники холодели от ужаса при мысли о том, что gnädige Frau Hofrätin —

завзятая богомолка — откажет свой, как полагали, солидный капитал какому-нибудь австрийскому монашескому ордену.

Вилла, в одном из живописнейших кварталов Вены, таила в своих недрах множество патриотических реликвий. Здесь мирно уживались изящная мебель, дорогие безделушки и уже упоминавшиеся в этом повествовании дедовские сабли времен Стефана Батория с выгравированными на клинках ящерами. А эти альбомы, полные дагеротипов! Переплетенные в алый бархат, с символами национального мученичества на обложках. В них фотографии молодых, бородатых, очень серьезных господ в венгерках и конфедератках.

Зато в так называемом «салонном альбоме» можно было увидеть великолепную фотографию деда в кунтуше и при сабле, в группе других нотаблей, приветствующих в Галиции эрцгерцога Рудольфа. А также папеньки в Paradeuniform. И маменьки в шляпе, на которой уместился целый сад, изобилующий цветами, мотыльками и птицами.

Из Вены, после кончины старой госпожи, Адам попал под опеку дядюшки Феликса, знаменитого львовского мота и бонвивана. Он относился к племяннику с грубоватой сердечностью и говорил такие кощунственные вещи! К счастью, провидение призвало несносную старушонку к престолу ее венско-иезуитского бога! Она бы тебя, юноша, совершенно испортила. А у меня ты станешь мужчиной. Адам слушал с ужасом. Сказать такое о бабке Северине: несносная старушонка!

Дядюшка выделил ему в своей огромной квартире обширное жизненное пространство (окна над кондитерской Хофлингера, в прихожей запах шоколада). Себе оставил по ту сторону лестничной клетки спальню, столовую и гостиную, откуда часто доносился женский смех.

В день шестнадцатилетия племянника дядюшка сводил его к модному портному. Потом в магазине госпожи Старк состоялась церемония закупки мужских мелочей: запонок, перочинного ножа, оправленной в серебро щетки для волос, черепаховой гребенки и серебряной безопасной бритвы фирмы «Жиллет». Финал дня — ужин у Атляса, холостяцкий, на две персоны, с вином. А вскоре после сдачи экзаменов на аттестат зрелости самое волнующее событие: путешествие с элегантным пожилым господином по маршруту Вена — Триест — Венеция — Монте-Карло — Париж. Два года спустя дядюшка великолепно срежиссировал свою кончину.

В тот злосчастный вечер Польдек Кахане, которого в гимназии называли Селедкой, старался навязать Адаму свое определение демократии. В спорах Польдек бывал резок. Он обладал талантом обличителя и разоблачителя, обнажающего мрачные стороны действительности и беспощадно ниспровергающего авторитеты. Адам, настроенный по-весеннему, тщетно пытался защищать радости жизни, соблазны молодости, существующий в мире правопорядок. Неистовый Леопольд Кахане засыпал его сокрушительными аргументами. Их спор по существу превратился в перебранку. Кто, собственно, был виноват в том, что Гитлер пришел к власти? Польдек выкрикивал колкости: «Ясновельможный пан Коссович! Пан граф Коссович!» Боже милостивый! Значит, моя вина, что этот мазилка стал их канцлером? — отбивался измочаленный Адам.— Оставим этот вопрос без ответа,— парировал взбеленившийся Польдек.

После его ухода Адам, чтобы развеяться, сел у окна с видом на Гетманские валы. Майский вечер, со стороны круглого павильона на углу Галицкой доносится девичий смех. Весело бренчат звонки трамваев. Серебрятся подсвеченные уличными фонарями ветки расцветающих каштанов. А все-таки жизнь не так уж плоха!

Пробило десять, и кто-то постучал в дверь. Прекрасная дама, ко-

торую Адам доселе знал только в лицо, подлинный соловей польских сцен, предстала перед ним с растрепанной прической.

— Ваш дядя...— с трудом выговорила она.

А в дядюшкиной спальне столько цветов: чайные розы, магнолии, жасмин. Тучный будда улыбался из сумрачного угла. Над ложем отдыхала от любовных утех вытканная на шелке китайская парочка. Восьмиугольный столик из лака с двумя бокалами, рядом в серебряном ведерке покрывалась испариной бутылка «Вдовы Клико». Дядюшка сидел в своем любимом кресле, казалось, глубоко о чем-то задумавшийся. Он был в шелковом черно-красном халате (вместе выбирали в парижском магазине), с одной ноги его свалилась сафьяновая туфля (покупали в Триесте). Обаятельный пожилой господин опустил голову на грудь, рука соскользнула с подлокотника, и пальцы ее касались пола.

За спиной Адама слышалось жалобное всхлипывание.

— Мне даже в голову не приходило, что он может умереть! — бормотала сквозь слезы соловей польских сцен.

Мессу за упокой дядюшкиной души отслужил в кафедральном соборе сам прелат Бадени. Соловей польских сцен великолепно исполнила сольную партию. Адам рассеянно глазел на плафоны, изображающие обеты короля Яна Казимежа. Он чувствовал себя очень одиноким. Дядюшка был таким хорошим опекуном! Совсем недавно в кафе «Des Deux Magots» он говорил племяннику: — Помни, юноша, что у тебя только одна жизнь!

Семейный участок на Лычаковском кладбище был, так сказать, перенаселен, но у Адама не было трудностей с надгробием, ибо сам дядюшка несколько лет назад выбрал себе большущий валун и велел высечь на нем свои имя, титул и фамилию. И, разумеется, герб. Этот памятник был трогательно прост и свидетельствовал об утонченном вкусе.

Настоящие неприятности начались на следующий день после похорон. Выйдя из банкирского дома Шюц и Хайес, Адам поспешил нанести визит поверенному в делах семьи. Началась длинная череда совещаний, сперва в его конторе на Театынской площади, а потом в бывшей квартире дядюшки. Несколько раз надолго усаживались они в английских креслах друг против друга: осиротевший племянник и старый друг дома. Потягивали отменный коньячок (еще из дядюшкиных запасов). Пан нотариус раскладывал на восьмиугольном отполированном столике все новые и новые залоговые билеты, векселя, векселя, векселя — и вздыхал: ох уж этот ваш дядя. Квартиру осаждали теперь евреи-кредиторы, от ветхозаветных до венских франтов. Адам становился все более мрачным и подавленным. Завещанная ему доля бабушкиного капитала и фамильные ценности, доставшиеся в наследство от родителей, заметно таяли с каждым новым предъявленным векселем. Нотариус произнес несколько цветистых, душеспасительных проповедей, Адам кротко выслушал добрые советы. Перед глазами у него еще маячили вереницы омерзительных ростовщиков, и он признался, что не намерен продолжать дядюшкины традиции.

— Можете быть спокойны, пан нотариус,— заявил Адам.— Я сыт по горло фанабериями моих родственничков. Я не собираюсь корчить галицийского графа! Я человек современный. Закончу университет и буду подыскивать какую-нибудь работу.

— А по какой же специальности, разрешите полюбопытствовать?

— Дядюшка соблазнял меня дипломатической карьерой, но это была одна из его гениальных идей,— с горечью сказал Адам, которого вдруг обуял социальный радикализм. Ох уж эта наша шляхта! Расточители. Могильщики.— Я должен быть реалистом. Могу, например, учить немецкому языку,— закончил он твердо.

— Пожалуй, я буду в состоянии вам помочь,— обрадовался нотариус.— Мой брат — попечитель учебного округа.

Адам вздохнул с облегчением, ибо его угнетала мысль, что именно теперь, в разгар кризиса, ему придется униженно вымаливать работу у господ Щюца и Хайеса. Действительно, после защиты дипломного сочинения новоиспеченный магистр, несмотря на безработицу, сразу получил должность учителя. Ликвидировал загроможденные парижскими и венскими безделушками апартаменты, распростился с центром города и купил современную однокомнатную квартирку в районе Стрыйского парка. Затолкал на чердак старую мебель, туго набитые кофры и корзины. Вскоре он остался один как перст, поскольку его тетушки и дядюшки дружно и быстро повымерли. И даже почувствовал себя довольно старым. Невольно подражая несравненному дядюшке Феликсу, он избегал рискованных флиртов с девицами на выданье. Ни с кем не был связан узами симпатии. Ничто его особенно не привлекало. Порой жалел, что не выбрал иной профессии.

Летом 1934 года Адам ездил по делам наследства в Вену, и там знакомый юрист, человек старорежимный, а потом еще дряхлый лакей бабки Северины с одинаковым ужасом поведали ему о недавнем бунте красных.

Смысл болтовни окончательно выжившего из ума Йозефа сводился к тому, что евреи замышляли предать огню сто венских храмов. Если бы кто-то вовремя не предупредил канцлера Дольфуса, одному богу известно, что бы стало с нашим прекрасным городом. Юрист, человек просвещенный и либеральный, иначе смотрел на события. Все из-за кризиса: когда нарушается экономическое равновесие, красные переходят в наступление. Это должно было начаться здесь, в самом сердце Европы. Чехословакия — красная. В Германии за левых голосовали миллионы. Если бы не решимость господина Дольфуса, кто бы погасил пожар в зародыше?

В тот же день Адам обедал с венским журналистом, который несколько лет назад был то ли его репетитором, то ли воспитателем.

— Что у вас творилось? — спросил Адам.

— Лучше поговорим о погоде,— сказал Макс, еще ниже наклоняясь над тарелкой.

После обеда пошли прогуляться. В очаровательном венском парке Адам услыхал третью версию событий из уст «временно» безработного журналиста, которого вышвырнули из редакции газеты, круто изменившей политическую ориентацию. Он слушал рассказ о трагедии шуцбундовцев, стрельбе залпами по толпе, штурме квартала Карл-Маркс-хоф, артобстреле и резне в Хаус Дёблинге — цитадели шуцбунда. А затем о массовых расстрелах. И виселицах.— Я под надзором полиции,— пояснил шепотом Макс. Адам совал ему в руку банкнот и приговаривал: — Бери, бери, считай, что даю в долг.

Слава богу, у нас тишина и спокойствие, вздыхал он на следующий день, упаковывая чемодан. Минуту назад портье сообщил ему, что Дольфус убит. Покушение.— Mein Gott, mein Gott,— причитал старый Йозеф. Слава богу, что я успел все уладить. Макс, вопреки обещанию, не явился на прощальный ужин. Что с ним произошло? Это навсегда осталось тайной для Адама.

■

Водитель, стоя раскорякой над распотрошенным колесом, проклинал лодзинского фабриканта, его шофера, «Дженерал моторс» и собственную судьбу.

— Пожалуй, дальше не поедем! — крикнул он Коссовичу в бессильной ярости.— Ну и техника, черт бы ее побрал!

— Да, да, действительно...— Адам качал головой. Он мысленно совершал бросок, удирал из Вены, возвращался в Польшу отдаленных времен, примерно 1804 года, к своему любимому Гофману. Почему издавна откладываемая попытка написать роман о варшавском периоде Э.Т.А.Г., а подобная мысль захватила Адама после окончания университета, так вот, почему же замысел, который он вынашивал столько лет (следовало бы рискнуть...), именно теперь необъяснимо разрастается, набухает, томит... Хотя бы сегодня! Ведь это же дичь — ехать в неизвестность с набросками и томом Гофмана. Заскок? Навязчивая идея? Стремление спрятаться от чего-то за выдуманной ширмой? Истинное наказание: и хотелось бы начать, и не могу, и решаюсь, и откладываю. Что-то набрасываю. В воображении моем родятся какие-то сценки! Их все больше. В самое неподходящее время.

Неймется вытащить блокнот, записать вдруг возникшую ассоциацию... Шаржи Э.Т.А.Г.— едкие, исполненные желчи. Начальство изображается в виде цепных псов и бульдогов. Гофману это вышло боком. Он был переведен с понижением из славного града Познани в захудалый Плоцк. Чего ради писатель рисовал эти карикатуры? Бунтовал против бюрократизма прусской администрации? Пытался самоутвердиться? А Коссовича — удивительное дело — минуту назад тоже поразило сходство между полковником Клёном и цепным псом. Этаким... Полканом. Как хорошо, что я не умею рисовать... Адам улыбается, лениво тасует мысли, словно колоду старых карт перед сдачей. Шофер клянет так, что уши вянут. Но, к счастью, из-за поворота шоссе выкатывается в туче пыли мотоцикл, явление на этой магистрали даже теперь, несмотря на перегруппировку войск, редкое. Ну, пожалуйста, хотелось сказать Коссовичу, и к чему было огорчаться? Видимо, так же подумал шофер, поскольку выкрикнул с надеждой в голосе: — Ого, сам бог послал! Никак военный.

Мотоциклист громко засигналил. Разбудил и сержанта, и полковника, который выставил из «бьюика» свой сияющий голый череп. Зенек выскочил на шоссе. А водитель стал рядом с машиной и замахал руками. Мотоциклист остановился, выключил мотор, неторопливым движением снял с кожаного шлема огромные плексигласовые очки. Полковник Клён-Савицкий, кряхтя, неуклюже вылез из лимузина. Сон в духоте и неудобстве утомил его, лицо обрюзгло, покрылось испариной. На щеках, налитых кровью, отчетливо проступала седая щетина.

— Кто таков? — пошевелил он кустистыми бровями и вытаращил глаза на мотоциклиста. Шофер и Зенек одновременно подбежали к полковнику, о чем-то с ним тихо заговорили. Клён-Савицкий уже окончательно проснулся. Застегивая одной рукой крючки воротника, другой властным жестом подозвал к себе мотоциклиста.

Новенький «сокол» — гордость польской моторизации — красовался на подпорке, шагах в десяти от автомобиля, посреди шоссе. Мотоциклист, обсыпанный пылью, как мукой, подошел неторопливо, стягивая с головы шлем. Рослый детина с подстриженными под бобрик волосами и загорелым от частых разъездов лицом, защищенные очками глазницы светлее. Физиономия, подумал Адам, вроде бы знакомая, какая-то лодзинская. Полковник Клён, нахохлившись, внимательно разглядывал чужака. Выждав, пока тот приблизится, вдруг выпрямился и шагнул вперед.

— Кто вы такой? — бросил он резко. Руки заложил за спину, правую ногу, согнутую в колене, поставил на булыжник, валявшийся на шоссе. Повезло нам, подумал Коссович. Ох уж эти польские дороги!

Полковник, как теперь оказалось, произвел впечатление на незнакомца. Мотоциклист перебросил в правую руку шлем. Прижал

по-военному к бедру. Щелкнул каблуками и доложил зычным голосом:

— Капрал запаса Ян Кубицкий к вашим услугам!

— Какого полка?

— Четвертый стрелковый, легионерский.

— Почему еще не призван? — продолжал выспрашивать полковник.

— Разрешите великодушно разъяснить, пан полковник...— с готовностью отозвался мотоциклист, расстегивая комбинезон на груди. Вытащил из-за пазухи туго набитый бумажник, порылся в нем и, выудив какой-то листок, протянул его полковнику. Клён осторожно взял бумажку двумя пальцами, пробежал текст, взглянул на мотоциклиста, подумал и вернул ему документ.

— Вот видите, капрал, что случилось. Стоим, вернее, можно сказать, влипли,— произнес он уже совершенно иным тоном, словно жалуясь.

— Если разрешите, пан полковник,— деловито заговорил мотоциклист.— Я в этом разбираюсь.

— Ну, ну,— поощрил его Клён-Савицкий и вдруг сгорбился, сник, потерял всякий интерес к парню. Посмотрел на Коссовича с таким видом, словно хотел ему что-то сказать. Но повернулся на каблуках и снова нырнул в машину.

— Будем надеяться...— сказал Зенек Адаму, доверительно понижая голос.

Как будто посвежело. Адам последовал за сержантом на откос, возвышавшийся над канавой. Сел в тени дерева. Ветер, быть может предвещавший ненастье, гнал с запада клубящиеся облака.

— Само провидение послало нам этого мотоциклиста,— сонно бормотал Зенек, но уже с облегчением в голосе.— Ну и бордель! Ехать в дальний рейс без запасной камеры!

Шофер и мотоциклист, склонившись над колесом, советовались вполголоса. Сгустившийся воздух глушил их смешки. Штатский выпрямился, сбросил кожаную куртку. В узких бриджах, крагах и спортивной рубашке, нагрудный карман которой оттопыривал уже знакомый Адаму пухлый бумажник, этот мускулистый и огромный детина невзначай напомнил Коссовичу рекламу мотоциклов из популярного журнала «Ас». Раза два он бегал к своему «соколу» и возвращался к машине с какими-то брезентовыми сумками, что-то из них вытаскивал. Началась заклейка камеры, операция кропотливая и не допускающая спешки.

— Можем поспать, ремонт займет еще с полчаса,— сказал Зенек.

— Полковник уже спит.

— Он всегда спит, когда можно,— буркнул Зенек и повалился на бок.

■

Шоссе под Серадзом, летнее утро, в машине спит начальник. В тени на травке посапывает носом сержант. Те двое возятся с колесом «бьюика». А Коссович внезапно и беспричинно испытывает гнетущее чувство одиночества. Подобные приступы овладевают им часто. Хандра, сплин. Жалость к самому себе. Тревога, какие-то зловещие сны. Если застряну в пограничной зоне, а такое возможно, что будет с Хеленкой? Забота, вечная забота. Это у меня от бабушки!

Ветер принес смрад горелой резины. Зенек перевернулся на другой бок. Из «бьюика» торчала правая нога полковника в высоком сапоге. Коссович оперся затылком о ствол дерева, взглянул на тучи, застилавшие горизонт на западе. Дождя не будет. Достаточно оказа-

лось нескольких порывов ветра, чтобы и там небо прояснилось и перестало пугать надвигающейся грозой. Может, так будет и с этой войной? Черт побери, вот так лето! Какие были бы каникулы! Сперва турпоход по Гуцульщине. Потом польский Меран-Залещики. Тенистый пляж. Солнечный пляж. Байдарки на Днестре. Сбор винограда.

Флирт с молоденькой ассистенткой учителя математики, предприимчивой девицей по прозвищу «Интеграл», данному ей школярами, обмен дружескими улыбками в сутолоке гимназических коридоров, соседство за столом совещаний на педагогических советах, якобы случайные встречи, когда после уроков Адам выходил из старого здания,— все это осуществлялось по инициативе Хеленки, а точнее: магистра Хелены Лось, предмета воздыханий верзил-старшеклассников.

Потом Адам встретил коллегу Лось на рождественском балу в городском офицерском собрании. В окружении военных и поклонников из числа местной золотой молодежи она выглядела ослепительно красивой. Адам как будто впервые увидел ее. Скорее назло этим адонисам, он перетанцевал с ней все танцы, от ламбет-уока до белой мазурки. На следующей неделе они условились пойти потанцевать в заведение с дурной репутацией и нелепым названием «Преисподняя», которое вызывало у Хеленки нездоровое любопытство, словно какой-нибудь парижский дансинг со штатными апашами. Может, и обошлось бы без последствий, теперь уже непоправимых, если бы не скандал. В «Преисподней» часто случались драки. Адама черт дернул разыгрывать героя.

Они шли вниз по Францисканской в голубоватом сумраке, по предательски обледенелым тротуарам, Хеленка скользила, повиснув на локте Коссовича. Костел, дома, деревья в снежных шапках, торжественные, как перед рождественской мессой, стояли недвижимо. Газовые фонари в желтых ореолах сбегали по крутому склону к центру города. Адам был счастлив, чувствовал себя почти героем,— я тоже ему врезал, только чертовски не повезло с этим носом!

— У меня, вероятно, гемофилия,— шутил он. Хеленка прикладывала ему ко лбу сосульки, завернутые в батистовый платочек. Глаза ее восхищенно сверкали. Манишка Адама была забрызгана кровью, а его белое шелковое кашне, всегда безукоризненно чистое, смахивало на бинт.— Как же я провожу тебя домой в таком состоянии? — вздыхал он. Возле монастыря клариссок поймали извозчика, сменившего из-за внезапного снегопада пролетку на маленькие санки. Звон бубенцов услыхали издали. Адам, усаживая девушку и укутывая ее ноги меховой полостью, проговорил полушутя:

— Это ты должна меня отвезти.

— Так скверно себя чувствуешь?

— Нельзя оставлять меня без присмотра.

Хеленка зажмурилась и глубоко вдохнула воздух.

— Ну, тогда едем к тебе,— сказала она покорно.

Коссович расценил это как победу.

Словно в сказке, под звон бубенцов и фырканье извозчичьих кляч, которые тоже радовались снегу, ехали они почти через весь поголубевший, еще спящий город. Целоваться не могли, поскольку нос у Адама все еще кровоточил. Тихо поднялись по лестнице. Разыгрывая почему-то конспиратора и путая ключи, Адам отпирал дверь своей квартиры. За окном с незадернутыми шторами цепенел великолепный, несравненный парк, весь в инее и снегу. Хеленка сразу же задернула шторы.

Гарсоньерка Адама была удобной, современной: мебель из стали и стекла, тахта и кресла обиты материей, разрисованной геометрическими фигурами. Стену украшал игривый японский рисунок на

шелке. Фотографии над письменным столом пестрели однозначными дарственными надписями — от Анюты, Иренки, Баси...

Искрящийся снег порозовел, в окно заглядывал день. Хеленка, накинув его пижаму и фыркая, как разъяренная кошка, читала слащавые надписи и приговаривала, что все эти омерзительные бабенки должны отсюда исчезнуть. До чего же она деспотична! — струхнул Адам.

А когда за окнами в парке воцарилась весна, Хеленка впервые спросила, что будет дальше.

— Как что? — попробовал он уклониться от прямого ответа.— Дальше будет так же хорошо.

— Вот именно,— сказала Хеленка.— Так когда поженимся?

Отбытие его на военные сборы следующей весной приостановило нормальное развитие событий. Вплоть до совершенно внезапного приезда Хеленки. Причем в тот момент, когда пани докторша Розенблатт повела тактическое наступление на подселенного к ней военными властями симпатичного блондина.

— Будет война, мы должны срочно пожениться,— заявила чуть ли не с порога Хеленка. Это прозвучало драматически. Чтобы смягчить впечатление, она переменила пластинку: — Я привезла тебе коробку молочного шоколада от Залевского! — Адам не любил шоколада; ела, вернее, уплетала свои гостинцы всегда сама Хеленка, лакомка, тщетно боровшаяся с этой опасной для фигуры слабостью.

Будет ли война? — думает Адам, полеживая у обочины шоссе под Серадзом. Солнце поднялось высоко. Тучи на западе рассеялись. Очередной летний день томит духотой. Ветер затих. Стоящий посреди дороги «бьюик» пышет жаром. Полковник Клён проснулся, вылез из его чрева багровый, потный, близкий к апоплексическому удару. — Долго еще? — спросил он скрипучим голосом. Шофер подвинчивал закрепленное колесо. Пан Кубицкий, вытягиваясь во фрунт, как заправский служака, ответил: — Покорнейше докладываем, что закончили. Можно ехать! — Полковник обрадовался и любезно поблагодарил. Адама вдруг осенило: теперь, в свою очередь, Дед чем-то напомнил ему Щелкунчика. Если бы переодеть его гусаром! А седая щетина превратилась бы в бородку!

Двинулись в путь, дорога по мере приближения к границе становилась все хуже. Обгоняли какие-то обозы, растянувшиеся после ночного марша на целые километры в облаках пыли, совсем как на маневрах. Повозки были скверные, крестьянские. Упряжь с экзотическими дугами, которых не встретишь ни здесь, в центральной Польше, ни в родных галицийских краях Адама.

— Полесский полк,— брюзжал Зенек.— Ну и экипировка! Не хватает только, чтобы солдаты ходили в постолах...

Он презрительно засмеялся. «Бьюик» опередил колонну. Снова оказались на пустом шоссе. Миновали пруд, матово отсвечивавший под раскаленным небом, как помутневшее от времени зеркало. Клён-Савицкий велел шоферу остановить машину и, перебросив через плечо ремень полевой сумки, побрел к воде по высокой, вянущей от жары траве.

Не возвращался он минут пятнадцать.

— Может, сходить за полковником? — забеспокоился Коссович.

— Чего ради? — Зенек пожал плечами.— Чтобы поддержать ему голову?

Снова обогнал их знакомый мотоциклист, помахал рукой. А спустя минуту полковник вынырнул из травы, выбритый и благоухающий одеколоном. Теперь его словно подменили, он подобрел. Сложил бритвенный прибор, завернул в полотенце, убрал в сумку.

— На войне как на войне,— приговаривал он весело.— Нельзя себя запускать. И вам, подпоручик, стоило бы побриться.

В пограничной полосе войск прибавлялось с каждым километром. Не на шоссе, где им попадались крестьянские повозки и лишь изредка какие-то патрули, а в селах, во дворах, среди хозяйственных построек и на полях, где шли земляные работы. В мелькавших зарослях были оборудованы хорошо замаскированные огневые позиции артиллерии. В долинах среди деревьев зеленели палатки. Дымили полевые кухни. Паслись табуны лошадей под охраной обозников. Адам считал попадавшихся на глаза телефонистов, связистов, висящих на столбах, закрепляющих провода на деревьях. Насчитав более двадцати, бросил: их было слишком много.

Шоссе сделалось таким изрытым, словно его уродовали нарочно, чтобы включить как важный элемент в систему польских оборонительных сооружений на границе. «Бьюик» со скоростью пехотинца преодолевал эти ямы, рытвины, колдобины, волоча за собой тучу пыли, взвивающейся до небес. Флажок на крыле при такой скорости меланхолично поник. То и дело предостерегающе стонали рессоры.

Снова начался булыжник. Въехали в какое-то вроде бы местечко — названия его Адам не заметил — между двумя рядами вросших в землю хатенок с изглоданными грибком и временем стенами и крытыми трухлявой соломой или позеленевшим от лишайника гонтом, и тут чуть ли не под колеса их машины бросился молоденький подпоручик в боевом снаряжении, даже в каске. Клён-Савицкий приказал остановиться. Офицер, запыхавшийся и взволнованный, выкрикнул свое звание, фамилию и что прибыл в его распоряжение. Полковник, вероятно, знал, что ему предстоит такая встреча.

— Едем в штаб,— сказал он и втиснул офицера рядом с собой, на переднее сиденье. «Бьюик» запетлял в лабиринте хат и покосившихся сараев, распугал стадо гусей, миновал празднично подновленную фигуру святого Флориана. Остановились у особнячка, словно с картинок Рихтер-Яновской, с крылечком, деревянными колоннами и окошечком в мезонине. К колонне была прибита вывеска, гласящая, что здесь помещается школа.

— Выгружаемся! — сказал полковник.

На пороге его приветствовал худощавый, немолодой майор. Клён-Савицкий подал ему руку.

— Где он?

— Согласно вашему приказанию, пан полковник.

— Нам понадобится тихая комната для разговора.

Майор ввел приезжих в полумрак пустынного коридора. Он шел первым. Был высок, широкоплеч и по-юношески узок в бедрах. Он двигался как человек, привычный к строевым занятиям, муштре. Адаму майор напоминал командира роты в офицерском училище. В глубине коридора он приглашающим жестом показал на дверь школьной канцелярии. Полковник сделал едва заметный знак. Зенек мгновенно понял и заступил на пост у двери.

— Распорядитесь, майор, чтобы его привели,— сказал полковник.— Поговорим с ним вдвоем, я и переводчик, подпоручик... э... Коссович. Надеюсь, дело не получило излишней огласки?

— В соответствии с вашими указаниями, пан полковник, переданными мне по телефону...

— Сколько человек знает о случившемся?

Адам заметил, что майор несколько обескуражен, чувствует себя неуверенно и волнуется, точно школьник, вызванный к доске.

— Сколько человек вступило с ним в контакт? — подозрительно допытывался Клён.

— Трое из патруля. Командир роты и его заместитель. Затем я и начальник штаба полка.

— Много... много...— огорчился полковник.— Где он теперь содержится?

— В моей комнате на втором этаже,— сказал майор.

— Ну так мы ждем.

И полковник бесцеремонно захлопнул дверь у него перед носом. А потом, усевшись за столом, сказал Адаму:

— Приготовьте, подпоручик, письменные принадлежности. Будете вести протокол...— И упавшим голосом, отнюдь не радуясь успеху, добавил:

— Немец попался...

— Немец? — переспросил Адам.

— Перешел ночью границу.

— Гражданский?

— Если бы гражданский.— Клён-Савицкий сокрушенно вздохнул.— Солдат. Из вермахта. Дезертир. Черти накачали!

Немец-дезертир! Адаму вспомнился недавний разговор с капитаном Вольским. Было это, пожалуй, в середине июля, у капитана уже вошли в привычку эти беседы с Коссовичем, то ли каляканье, то ли своеобразный инструктаж. Он явился в комнату номер семь ровно в полдень, возбужденный, в отличном настроении. Объявил, что приглашает Адама на обед.

— У меня была удачная ночь,— похвалился Вольский, когда шли по улице Нарутовича к центру.— А о вас спрашивал полковник Лось из штаба армии. Интересовался, как вам служится.

Высокий, чуть сутулый, он шагал так широко, что за ним трудно было поспеть, и порой что-то насвистывал. Потом за столиком, в самом укромном углу пустынной еще в эту пору офицерской столовой, поглощая огромную порцию мозгов по-польски (Адама воротило с души от одного их вида), Вольский пустился в рассуждения. Ни словом, вопреки своему обыкновению, не обмолвился о том, что в Лодзи трудно продвинуться по службе. Напротив. И как бы с надеждой в голосе: — Из наших частей, дислоцированных вдоль границы, поступают все более странные донесения, например, о массовом дезертирстве немцев. Из наших полков. В форме, случается даже с оружием. Для строевиков это серьезная проблема. А для нас — приятный сюрприз.— Произнеся это, он победоносно воззрился на Адама, и лицо его непривычно просветлело. Улыбка, короткая, красноречивая пауза, долженствующая подчеркнуть значимость сказанного.

И потом: — Ах, обожаю мозги по-польски. Особенно запеченные в горшочке. Не любите? Странно! Выпьем еще по одной? О чем я говорил? Ага, что для нас это подарочек. Видите ли, подпоручик, в такой суматохе можно перебросить и наших людей.

Легко было это понять. Подобными ситуациями изобиловали книжонки о шпионах из серии «Каждую неделю — детектив».

— А немцы тоже дезертируют и переходят на нашу сторону?

— Скорее поляки из пограничной полосы, призванные в вермахт,— сказал Вольский.— Но последнее время за ними усилено наблюдение. Поэтому переходят военнообязанные. Случается такое. Еще гражданские. А гостей в мундирах давно не было.

— Да,— вздохнул Адам. Любая весть о напряженной обстановке на границе повергала его в уныние. Однако он через силу улыбнулся.— А немцы, по-вашему, имеют ли такую же, как и мы, возможность начать игру?

Вольский внимательно взглянул на Адама и вдруг потерял аппетит. Отодвинул тарелку. Залпом допил пиво. Вытер губы салфеткой.

— У нас другая болячка! — сказал с горечью капитан.— Эмигранты! Из Германии бежит множество людей. Здесь, в Лодзи, их несколько сотен. Евреи. Но не только. Всевозможные якобы противники Гитлера. Но для нас, для меня любой из них — загадка. А вдруг с двойным дном? Какой-нибудь конь троянский? И почти как правило, устанавливают контакты с различными политическими группировками. Приобретают знакомства. Связи. Протекцию. Понимаете?

Трудно за ними уследить. Трудно даже удержать их в поле зрения. А ведь я знаю, знаю наверняка, что среди беглецов есть и немало агентов абвера. Как защищаться?

Вольский выпил еще рюмку водки и взглянул на часы. Адам тоже посмотрел на часы и призадумался, стоит ли еще сегодня возвращаться в комнату номер семь. Машинально повторил вслед за Вольским:

— Вот именно, как защищаться?

— Нам удалось добиться только того, что министр внутренних дел отдал распоряжение местной администрации: лиц, переходящих нелегально государственную границу, надлежит безотлагательно доставлять на ближайшую пограничную заставу и передавать властям страны, гражданами которой они являются. Если интересуетесь, затребуйте в нашей общей канцелярии секретный циркуляр министерства внутренних дел от 27 апреля текущего года.

— Значит, мы возвращаем беженцев в Германию?

— А кто ж его знает, что за птица на самом деле этот беженец? — угрюмо произнес капитан Вольский.

Теперь в этом пограничном местечке Коссовичу предстояло лично соприкоснуться с немцем-дезертиром. Мина полковника не сулила ничего отрадного. В комнате сделалось как будто темнее. Остро пахло слежавшейся пылью и затхлостью. Адам струхнул: следствие, разъезды по штабам. Это может затянуться! Приоткрылась дверь, заглянул Зенек.

— Прибыл,— сказал он вполголоса.

— Так давай его! — приказал полковник.

В канцелярию вошел немец, высокий, поджарый, ни молод, ни стар, в перепачканном полевом обмундировании. Один, без какого-либо конвоя. Это был первый живой солдат вермахта, какого видел Коссович. На рисунках в справочниках, словарях и энциклопедиях из комнаты номер семь немецкие солдаты выглядели иначе: выхоленные, щеголеватые, несколько абстрактные. Они чем-то смахивали на солдатиков из сказки «Щелкунчик и мышиный король». Или вырезанных из бумаги, какими Адам играл в детстве. А этот был настоящий, доподлинный. И потому словно бы более грозный. Хоть замызганный, чумазый.

Дверь за немцем притворил Зенек. Полковник тяжело привстал из-за стола. Буркнул какое-то приветствие. Обошел вокруг доставленного. Теперь он снова уподобился, так подумал Коссович, Полкану, добродушному дворовому псу, в чьи владения вторглась чужая собака. Немец, несмотря на запачканное обмундирование и небритую щетину, с виду был типичный интеллигент, педагог, что сразу же бросалось в глаза. Впечатление это усиливали очки в тонкой стальной оправе.

— Прошу садиться,— на удивленье учтиво предложил полковник. По-немецки он говорил с явным венским акцентом, приятным и близким Адаму.

— Прошу,— повторил полковник.— Присаживайтесь. Моя фамилия Клён-Савицкий. Оберст Клён-Савицкий. Я приехал, поскольку вы выразили желание поговорить с кем-либо из штаба армии. Я должен официально допросить вас.

— Так точно,— сказал немец.

Повторяя про себя: учись, учись, парень, этому новому для тебя ремеслу, Адам внимательно наблюдал за немцем. Внимание его привлекла деталь, в сущности, хорошо ему известная по иллюстрациям: на пряжке поясного ремня отчетливо проступали слова: «Gott mit uns» [1]. И эти три слова тевтонского заклятья, их кощунственный смысл потрясли Коссовича. Эта минута дала ему куда больше, чем недели, потраченные на просмотр профашистской макулатуры.

[1] С нами бог *(нем.). (Здесь и далее — прим. перев.).*

— Прошу протоколировать, подпоручик,— приказал Клён. Заложив за спину свои огромные, корявые ручищи (такие же, как у Зенека), полковник шагал теперь взад-вперед по канцелярии, между шкафом, на котором стоял глобус, и подоконником, украшенным гардениями. Ни дать ни взять — старый брюзга-учитель.

Адам со стыдом почувствовал, что у него дрожат руки. Из своей полевой сумки он торопливо вытащил тетрадь, ту самую, в которой накопилось столько деталей, выписок, наметок, связанных с давным-давно планируемой им книгой. Открыл на чистой странице.

— Вы готовы? — нетерпеливо осведомился полковник.

— Так точно.

— Тогда приступим,— сказал Клён.— Такого-то числа в расположении штаба такого-то батальона, такого-то полка... я... звание и фамилия... произвел допрос...

Тут он остановился перед хмурым немцем, который сидел истуканом на кухонной табуретке, принесенной Зенеком.

— Name, Vorname, Alter, Geburtsort, Abtailung, Dienstgrad [1].

Все эти вопросы полковник выпалил без заминки, с закрытыми глазами, словно в порыве рутинерского вдохновения. Адам, скрипя вечным пером в тетради, припоминал, что ему рассказывали о Клёне: бывший боевик 1905 года, азы воинской службы постигал в Кракове в австрийской разведке, потом участвовал в создании «Польской военной организации» Пилсудского, был интернирован немцами. Начиная с разоружения кайзеровских солдат, силезских восстаний и пограничных конфликтов первых лет, а затем уже в «двойке», вплоть до сегодняшнего дня, непрерывно возился с немчурой. Специалист!

Немец отвечал четко, старательно выговаривая слова, так, как мы обычно говорим с теми, кто не слишком хорошо понимает наш язык. Он сидел, положив руки на колени и уставясь на свои сплетенные пальцы. Он был заметно утомлен. Чувствовалось его крайне нервное напряжение, возбужденность, может и страх? Он назвал свою фамилию. Услыхав ее, Адам чуть не выронил свой верный «паркер». Даже Клён это заметил.

— Что случилось? Почему не пишете?

— Я не расслышал...

— Повторить,— приказал полковник.

И немец повторил:

— Эрнст Гохман.

Адам глубоко вздохнул и подумал: какое совпадение! Он внес это другое имя в тетрадь, предназначенную его любимому Гофману. Когда кончил записывать анкетные данные, полковник сказал, опуская воинское звание немца:

— Итак, господин Гохман, не изложите ли вы мне предпосылки, побудившие вас по переходе нашей государственной границы потребовать встречи с представителем штаба армии. (Сформулировано, пожалуй, несколько суконно, отметил Адам.) Было такое дело, верно?

— Да.— Немец утвердительно кивнул.— Да, было.

— Итак, слушаю вас.

Немец выпрямился, поправил очки и проговорил монотонным, усталым голосом:

— Не лучше ли будет, Herr Oberst, если я — не углубляясь в анализ предпосылок, повлиявших на мое решение, что затянуло бы наш разговор, а у нас, мне думается, мало времени — без обиняков изложу то, с чем явился?

Клён взглянул на Коссовича, поморщился, ответ немца явно ему не понравился.

---

[1] Имя, фамилия, возраст, место рождения, часть, должность *(нем.)*.

— Пожалуйста, слушаю вас,— ответил он со злостью в голосе.

Немец смотрел теперь прямо ему в глаза. Коссовичу показалось, что по лицу перебежчика как бы скользнула тень сомнения, а может и страх. Продолжалось это какую-то долю секунды. Но тут же он произнес твердо, сухо, деловито:

— Мое сообщение столь значительно, что я предпочел бы говорить с вами, Herr Oberst, с глазу на глаз...

Адам невольно прервал ведение протокола. Полковник тоже застыл на месте, подавшись всем телом вперед.

Только Гохман был спокоен.

— Надо ли повторить? — осведомился он тихо.

— Нет! — Клён шумно вздохнул. Немного подумал. Потом, не оборачиваясь, стоя спиной к Адаму, сказал:

— Что ж, сами слышали, подпоручик. Прошу оставить нас одних.

Коссович вскочил из-за стола, сгреб тетрадь и полевую сумку.

— Ждите за дверью, — буркнул еще полковник. — Вы можете понадобиться мне в любую минуту.

Коссович вышел из канцелярии в коридор и прислонился спиной к притолоке.

— Ну? — тихо произнес Зенек, карауливший у дверей. — Чего молчите?

— Увы! — Адам только вздохнул и махнул рукой. — Сам ничего не знаю...

— Ну, хоть в нашу пользу или нет?

— Увы! — повторил Адам и присел на подоконник. — Гохман! — рассмеялся он.— Сказки Гохмана!

— Я сразу смекнул, что дельце из ряда вон выходящее, — заключил Зенек.

Коссович пожал плечами. Мысленно он был снова в комнате номер семь. Месяц назад заглянул поболтать Вольский, уже частенько к нему наведывавшийся. Сидя на краю стола, капитан рассказывал об игре с абвером, на сей раз удачной! Классической и поучительной! А именно некий Тулодецкий, одно время служивший референтом в нашем познаньском отделе, а следовательно, так или иначе разведчик, явился в Гданьске в тамошнюю резидентуру абвера и предложил свои услуги.

— Поляк? — простодушно изумился Коссович.

— Ein Schuft, ein Schurke, ein Gauner! [1] — отрезал Вольский. Он любил иногда вставить какое-нибудь немецкое словцо. Но закончил по-польски: — Обыкновенный мерзавец. Кстати, подпоручик запаса. Тулодецкий подготовился к разговору с немцами. Возможно, он вообразил себя эдаким асом разведки, мастером двойной игры. Предложил абверу более дюжины важных документов. Подлинных. У него были связи, возможности. Он знал много! И много хотел заработать. Ибо главным мотивом были, разумеется, деньги. Между тем господам из абвера втемяшилось в голову, что это игра. Побоялись подвоха с нашей стороны. Малость мы им в этом помогли. Короче, они отвергли предложение Тулодецкого, хоть он и был для них настоящей находкой. Разумеется, немцы сфотографировали те подлинные, а по их мнению, липовые документы. И возвратили нам. А на девятый день, уверенные, что нас раскусили, отдали пташку в наши руки.

— Что было дальше?

— Вопрос! — сказал Вольский и изобразил, словно целится из винтовки. — Пиф-паф! Пустили в расход.

— Поляк? Офицер запаса? — Адам вздохнул. У него возникло нелепое подозрение, что в этой нравоучительной истории кроется

[1] Жулик, прохвост, мерзавец! *(нем.)*.

какой-то намек. Подпоручик запаса. Может, Вольский хотел припугнуть его? Кто знает!

— А по-вашему, коллега, за кем прежде всего охотится абвер?— спросил со снисходительной улыбкой Вольский. — За монастырскими послушницами? За пенсионерами, которые ничего не ведают о военных делах и узнать о них не могут? В этих играх почти всегда ставкой бывает наша, солдатская, шкура.

■

Разговор с глазу на глаз Клёна с немцем продолжался двадцать минут. Потом полковник открыл дверь канцелярии и позвал:

— Прошу, подпоручик Коссович! Зайди и ты, Зенек.

Первым вошел Адам, за ним сержант. Стали у дверей. Гохман по-прежнему сидел на колченогой табуретке. От застарелой пыли защекотало в носу. Ничего тут не изменилось, ничего, кроме Клёна, который был очень бледен. Вытирал лысину носовым платком.

— Зенек! — сказал он как-то сердечно, иначе, чем обычно. — Отведи его наверх. Постоянно находись при нем. Никто не должен с ним разговаривать. Ясно? Идите.

И немцу, с мягким, венским акцентом:

— Прошу вас проследовать в свою комнату. Вы будете там находиться вплоть до особого распоряжения.

Когда Зенек и немец вышли, полковник проскользнул за стол и, развалясь в кресле, вытянул ноги.

— Тридцать лет служу, — забормотал он, как бы говоря с самим собой. — Befehl ist Befehl [1]. Кто не знает шутки? Кажется, Бебеля: «Почему в Германии невозможна революция? Ведь немцам пришлось бы потоптать газоны». И вдруг такой казус. Что вы думаете, подпоручик Коссович, об индивидуализме в немецком варианте? Знаток немецкой души...

— Самое большее — литературы, пан полковник...

— Черт побери! — воскликнул Клён. — Впервые со мной случается такое, затрудняюсь...

— В эпоху романтизма немцы, особенно молодежь... — промямлил Адам.

— Только романтизма мне не хватало! — раздраженно оборвал его Клён. — На всем протяжении нашей границы сплошные провокации. Мы не сообщаем об этом в печати, чтобы не вызвать паники. Убивают наших людей. Поджигают наши дома. Каждую ночь на границе перестрелка. Диверсии. Нападения. Нас хотят спровоцировать, доказать любой ценой, что это мы рвемся воевать.

Полковник со стоном поднялся на ноги. Он был стар, измотан и не скрывал этого.

— Если бы я мог поверить в то, что он утверждает! Если бы я хоть на мгновенье мог проникнуться к нему доверием! Но я не доверяю немцам. Я их знаю. Это попахивает игрой. Здесь чувствуется какой-то подвох.

Коссович стоял молча.

— Надо что-то решать, — мрачно молвил полковник. — Держи ухо востро, Коссович! Мне нужен прямой провод. Я еду в штаб дивизии. Ты останешься тут. И с этой минуты отвечаешь головой за немца. Будь осторожен, гляди в оба. И соображай! Зенек поступает в твое распоряжение, это толковый парень. И жди.

— Как обращаться с немцем?

— А бес его знает... — неопределенно протянул полковник. — Обходись с ним интеллигентно. В меру, гм... галантно. О политике с ним лучше не болтай. Он, по-моему, проворнее тебя. Не болтай

[1] Приказ есть приказ *(нем.)*.

о политике, таков приказ! Понятно? Часа через два я вернусь. А майору Вильчинскому, командиру батальона, сам скажу, что нужно.

■

Коссович взбирался по скрипучим ступенькам в мезонин, попадая поочередно в сферы различных запахов: тех, которыми тянуло снизу, с кухни, смоляного духа от прогретых солнцем сосновых досок и, наконец, проникавшего с чердака аромата яблок, сорванных недозревшими и заготовленными на зиму. У двери остановился, чтобы собраться с мыслями.

В мезонине обитала до недавнего времени какая-то учительница, отсутствующая по случаю каникул или куда-то переселенная. Особа сентиментальная, судя по куклам, коврикам и веерам меланхолических открыток, украшавших стены.

Немец успел расположиться. Возлежал на тахте, обитой ярким плюшем. Гость он или узник? Полковник не ответил на этот вопрос, уклонился.

Зенек торчал у окна, не упуская, однако, из виду и тахту. Глазел на улицу. На подоконнике лежали роскошные яблоки.

— Дед уехал? — спросил Зенек и с хрустом откусил почти пол-яблока.

Сержант покинул свой наблюдательный пункт и подошел к Коссовичу. В такой клетушке для этого было достаточно трех шагов. От него попахивало спиртным. Когда он успел хлебнуть?

— Полковник уехал минуту назад. Мне приказано... — начал Коссович. Вдруг заметил, что Зенек то ли зол, то ли взволнован. Чем? Ведь и он показаний немца не слышал.

— Принесла нелегкая этого типа, — зашептал Зенек. — Я молю бога, чтобы мы вечером отправились назад. Хотя нюхом чувствую...

Сержант умолк, наморщил лоб, движением подбородка показал на немца.

— Он понимает по-польски?

— Одному богу известно.

— То-то и оно, — поддакнул Зенек. — А знаете, пан подпоручик, я тем временем потолковал с людьми. Вы давеча спрашивали, что я думаю насчет войны. Из Лодзи одно видится. Из Варшавы — верно, другое. А тут с нашей передовой почти невооруженным глазом видно. Немцы готовятся.

Коссович счел своим долгом пресечь эти паникерские настроения.

— Это... может быть, просто демонстрация. Блеф. Как в покере.

— Вы так полагаете, пан подпоручик?

— И хватит этих охов и ахов. Пока полковник отсутствует, я как старший по званию...

— Ясненько. — Зенек кивнул головой. — Какие будут приказания?

— Спустись и организуй что-нибудь перекусить. Я умираю с голоду.

— А мне есть не хочется. В горле пересохло. Рассолу бы огуречного, — проговорил Зенек со вздохом.

Хлопнул дверью и был таков. Шум разбудил немца, он привстал на тахте, потянулся за очками.

— Сейчас принесут поесть, — сказал ему Адам. — Вам что-нибудь нужно? Хотите яблоко?

— Нет, благодарю. Я хотел бы почиститься.

Действительно, подумал Коссович, у него же обмундирование заляпано грязью. То ли наши захватили его где-то в зоне патрулирования? То ли сам к нам перешел? Прибился, говоря языком гаданий бабки Северины.

— С этим придется подождать, — сказал Адам, поскольку надо было что-то сказать. — Пока вернется мой... — Он секунду помялся и договорил: — Мой человек.

Коссович сел на табуретку у окна и стал наблюдать за немцем. Тот надел очки и сразу же преобразился, обрел внешность профессора-педанта. У него был крупный нос, коротко подстриженные волосы курчавились над квадратным лбом. Он принадлежал к людям, чей возраст трудно определить. Сгорбившись, немец рассматривал свою руку. Раз-другой покосился на Адама. Глаза были серые, смотрели холодно, испытующе. Наконец он обратился к Коссовичу:

— Вы хорошо говорите по-немецки...

Адам приосанился.

— Я преподавал этот язык на гражданке.

И тут же подумал: зачем я это говорю? Тем самым выдал, что я резервист и призван. Надо следить за каждым словом!

— Ах, так, — любезно, но без особого любопытства удивился немец. — А какие иностранные языки изучают в ваших гимназиях? Вероятно, в основном французский?

— Я преподавал немецкий.

— Вы говорите с венским акцентом.

Коссовичем начало овладевать особое, необъяснимое чувство удовлетворения. Боже милосердный, не буду же я разыгрывать тюремного стражника, думал он. Дед запретил разговаривать о политике. Согласен. Пусть будет так. Но поговорить вообще...

Адам положил ногу на ногу и в тоне светской беседы пояснил:

— Я воспитывался в Вене. И, можно сказать, продолжаю вращаться в сфере немецкой культуры. Даже кое-что пишу на эту тему. О вашем выдающемся романтике.

— О выдающемся романтике? — спросил Гохман. — Немецком?

— Я пишу беллетризованную монографию о польском периоде жизни Гофмана.

По лицу немца не скользнуло и тени заинтересованности. Это неприятно поразило Коссовича, который почел за благо добавить и такое соображение:

— Я считаю, что влияние варшавского периода на творчество этого... гм... великого писателя совершенно недооценивается...

Немец кивнул, словно бы соглашаясь, а потом буркнул:

— Боюсь, что моих познаний... — и вымученно улыбнулся.

Это уже возмутило Коссовича.

— Позвольте! Это же Эрнст Теодор Амадей Гофман.

— Сказки Гофмана! — вспомнил теперь немец. — Вы упомянули о его варшавском периоде. Что он делал в Варшаве? Я ничего об этом не знаю.

— Был прусским чиновником в разных польских городах. Во времена... во времена... — Адам подыскивал слова: «раздел, захват», но они вылетели из головы, и тогда он использовал другое: — Во время оккупации... Пожалуй, именно из Варшавы вынес Гофман романтическое видение мира на грани сна. Я думаю, что почти все творчество Гофмана, скажем, наиболее ценные его элементы зиждутся на польских впечатлениях писателя.

— Вы так полагаете? — безразлично произнес немец и вдруг улыбнулся: — Извините за откровенность. Все это представляется мне несколько абсурдным. Нам, немцам и полякам, грозит конфликт. Он назревал давно. Вы должны были ощущать это уже многие годы. Разве не так? А вы, извините меня, вместо чего-то практического...

— Практического? Я вас не понимаю, — вспыхнул Адам. — И к вашему сведению: мне запрещено говорить с вами о политике.

Он почувствовал, что это похоже на попытку уклониться от схватки или даже бежать с поля боя.

— Мы говорим не о политике, — немец пожал плечами, — а об абстрактных вещах. О литературе. Повторяем трюизмы. А я, право, не в силах понять, как люди где-то живут нормально. Не думая о войне и массовом безумии... Впрочем, может, действительно трудно быть разумным в наше время.

Мысль Гохмана снова сделала головокружительный пируэт, Адам едва поспевал за ним.

— Знаете библейскую притчу об ангелах, которые ищут сколько-то праведников? Оставим в покое ангелов. Так вот, видите ли, я питаю иллюзию... Если бы люди доброй воли... Возможно, еще удалось бы спасти человечество?

— Спасти человечество? От чего?

— Это, разумеется, только метафора... — немец поморщился и взглянул на Адама с сомнением. — А может, что хуже, несбыточная мечта.

Шаркая ногами по скрипучим ступенькам, в мезонин поднимался Зенек. И они прервали этот неклеившийся разговор.

Зенек, какой-то слинявший, поставил котелки на столике у окна.

— Харч слабый. Котловое довольствие. Боже, какая дыра! Паршивая забегаловка, а называется офицерская столовая. Ну и влипли!

Немец смотрел на них, словно стараясь уяснить причину скверного настроения Зенека. Но тот уже взял себя в руки.

— Пан подпоручик, вас приглашает на обед майор. Вниз. В канцелярию, — сообщил он.

И, заметив колебания Коссовича, добавил:

— Я присмотрю за немцем. И накормлю. А майор гостеприимный. Приглашает. Видно, поговорить хочется.

Коссович в раздумье посмотрел на Гохмана, на котелки со стынущим неаппетитным харчем, на Зенека, по выражению лица которого ясно было, что он думает так же, как и Адам: вот бы что-нибудь выведать у майора. И тут же нашел удобное оправдание: не сидеть же мне сиднем возле этого немца. К тому же неудобно отказываться.

— Стереги его хорошенько, — сказал он, чтобы как-то продемонстрировать свое старшинство. Что было, впрочем, чистейшей условностью.

В канцелярии письменный стол, застланный льняной скатертью, был сервирован на две персоны.

— Приветствую и приглашаю разделить со мной скромную трапезу, — проговорил майор, усаживая Адама на почетное место. — Встаем мы рано и потому обедаем в полдень.

Теперь, когда Коссович разглядел его вблизи, майор показался ему гораздо старше годами и более усталым.

— Я питал надежду, — продолжал Вильчинский, заправляя салфетку за воротник мундира, — что пан полковник окажет честь. А тут вон как получилось! Ну, посмотрим, чем нас сегодня угощают. — И бросил ординарцу: — Подавай!

Сначала была селедочка под водку, потом бульон, по мнению майора, простывший, наконец, отбивная с хреном. А майор Вильчинский несколько вымученно вел светскую беседу:

— Итак, пан подпоручик, ваше здоровье! Боже милостивый, вам, штабистам, в Лодзи — рай земной. Молодость! Женщины! И служба интересная...

Тут он умолк. Мой черед, сообразил Адам и сказал:

— Я только переводчик.

Ему было не по себе: черт знает что думает обо мне этот старый служака. Дескать, окопался в «двойке»? Поэтому сообщил о себе дополнительно:

— Меня призвали в июне на учения. Но не в полк, а в Лодзь... Я филолог, преподавал немецкий язык.

— Тогда выпьем за ваше скорое продвижение, — предложил майор. Выпил. Поежился. Водка была отменная, охлажденная. Вильчинский как-то странно воззрился на Коссовича и сказал: — Пожалуй, скоро будет возможность продвинуться по службе... Можешь идти, — отпустил он ординарца.

Они остались вдвоем в пропыленной, душной канцелярии, сидели друг против друга за письменным столом, приспособленным под обеденный, в потоке света, который пробивался сквозь грязные занавески. Коссович молча расправлялся с куском жилистого мяса, прикидывая, как бы выведать что-нибудь у майора о немце. Вильчинский должен был кое-что знать. Лишь одно исключалось — спрашивать прямо. Между тем майор налил третью рюмку. Его загорелое лицо потемнело, от чего заметнее стала благородная седина на висках и коротко подстриженные усы с проседью. Он испытующе посматривал на Коссовича.

— Я охотно бы сводил вас, пан подпоручик, в зону наших секретов на Просне. Поглядели бы оттуда на немчуру.

— К сожалению, не могу покинуть...

— Жаль! — огорчился Вильчинский. — Всякий, кто бы, подобно мне, смотрел по нескольку раз в день на ту сторону...

Майор умолк. Коссович отложил вилку.

— Будет война? — спросил Адам и, не стыдясь, открыто постучал по столу. Вильчинский заметил его жест и усмехнулся.

— Великолепное зрелище эта деревня за Просной. В пределах видимости наших наблюдателей множество крестьянских дворов. За последний месяц они изо дня в день преображаются. Обрастают какими-то пристройками, стогами, даже кустами. Я уже научился расшифровывать эти перемены. Знаю, где прибавляется огневых точек. Где стоят их чертовы танки. Мы наносим все это на наши огневые схемы и ждем.

Снова воцарилось молчание, скорее тяжелое и неловкое. Немного помедлив, Коссович заглянул майору в глаза.

— Чего ждете?

Вильчинский усмехнулся.

— Что ж тут скажешь, пан подпоручик. Я старый солдат и знаю, что значит принять на себя первый удар таких сил. Разумеется, мы сделаем все, что от нас зависит. Впрочем, у наших воинов никогда еще не был столь высок моральный дух. Это не пустая фраза.

Зачем он говорит мне все это? — поразился Коссович. Конечно, опасается «двойки». Иначе не разговаривал бы в подобном тоне с каким-то младшим офицеришкой. Эта мысль была не из приятных. Коссович отодвинул тарелку, еще раз заглянул в блеклые добродушные глаза майора. Почувствовал, что бифштекс становится колом в горле. И задал свой каверзный вопрос, ткнув указательным пальцем в потолок:

— А что вы думаете, пан майор, об этом немце?

Тот беспомощно развел руками.

— Н-да,— сказал.— В этом я понимаю не больше вашего.

— Действительно, я ломаю себе голову...— начал Коссович и своевременно припомнил поучения Клёна: — Можно ли верить в немецкий идеализм? Или романтизм?

— Помилуйте! Какой там немецкий идеализм? Какой романтизм? Немец — это Soldat. И все,— отрезал Вильчинский.— Уходя, полковник заглянул ко мне и спросил: что вы об этом думаете, майор? А я ему: никогда со мной такого не случалось, а служу уже двадцать пять лет. А немцам не верю. И не смогу поверить. Так я сказал.

Майор умолк. Адам вдруг ощутил усталость. И тревогу. Его место там, наверху. Поблагодарил за обед и попросил не обессудить его за то, что отправляется к себе, наверх. Однако снова не устоял от соблазна разыграть заправского контрразведчика.

— Я предпочитаю присмотреться к нашей пташке вблизи, повнимательнее, — заявил Адам. Хотел даже многозначительно подмигнуть (это уже подействовали три выпитые рюмки), но воздержался.

— Вы пытались с ним... э... общаться? — как бы в тон ему спросил майор.— Чрезвычайно любопытная пташка.— Он сделал паузу и заговорил снова, хотя Адам стоял уже в дверях, готовый выйти. — Я давно сижу в этой Брашке. Место особенное, ведь именно через Брашку каждый год валом валит на заработки в Саксонию наш мужичок. Весной и летом, а потом на копку картошки. А я не сплю на печи и смотрю в оба. И слушать умею. Сколько попадалось и таких и сяких, но подобной фигуры, — тут он ткнул пальцем в потолок, — ни разу!

Наверху все млело в послеобеденной истоме. Немец спал, Зенек сидел у окна, погруженный в чтение старого номера «Тайного сыщика». Когда Коссович вошел, тихо отворив скрипучую дверь, сержант взглянул на него поверх страницы еженедельника и, не вставая, спросил вполголоса:

— Есть что-нибудь интересное?

— Нет, — ответил Адам, и то была чистейшая правда. — А как он?

— Обедать отказался. Может, ему польский гуляш не по зубам? Надкусил яблоко, и все.

Гохман разулся, мундир повесил на спинку стула, серебряные галуны тускло поблескивали в косых лучах солнца. Снял и свои очки в металлической оправе. С закрытыми глазами, глубоко запавшими в глазницы, и темным от усталости и щетины лицом, он лежал неподвижно на спине, и только веки подрагивали.

Адам присмотрелся к нему, потом вопросительно взглянул на Зенека. Сержант в ответ пожал плечами. И вздохнул. Что это должно было означать, Коссович не понял.

— Вы посидите здесь, а я — одна нога здесь, другая — там...— сказал Зенек. — Сбегаю к одному знакомому, попытаюсь его расколоть. Ладно?

Он тихо вышел. Зенек вообще умел двигаться бесшумно, как кошка, открывать и закрывать дверь без скрипа.

Адам присел на уголок комода и, опершись плечом о стену, засмотрелся на кровли местечка. За окном сгущался августовский зной, на небе ни облачка. Здесь, в мезонине, жара становилась невыносимой. Эта Брашка — Адам вспоминал знакомое по картам, а теперь и упомянутое в рассказе Вильчинского название, — в сущности, деревня. Домишки одноэтажные, повсюду соломенные крыши, даже колодец рядом со школой совершенно деревенский, с журавлем. Солдаты поили возле него лошадей. «О, безмятежное, веселое село...» Вспомнилось ему, что сейчас каникулы. Рухнули к чертям наши с Хеленкой планы, Косов, Гуцульщина. Их совместная несостоявшаяся поездка представлялась потерянным раем. Залещики, Днестр, байдарки, сбор винограда, африканский загар... Коссович вздохнул. Сорвались каникулы. Август был отравлен, испорчен, а идиллический пейзаж за окном в сопоставлении с вычитанными из труда проклятого майора фон Голодковского немецкими военными премудростями обретал зловещие черты. И в довершение всех бед — за спиной этот немец, таинственный, непостижимый, чье появление было предсказано страшным сном, как утверждала бы бабка Северина.

Загремели шаги по лестнице, и в комнатушку вломился Зенек, с таким шумом, что разбудил немца. Гохман вскочил с тахты, заморгал близорукими глазами. А сержант, не обращая на него внимания, зашептал предостерегающим шепотом:

— Дед!

Коссович выглянул в окно. «Бьюик», вынырнув из проулка, величаво подкатывал к школе. Черный лак, хромированную сталь отделки покрывал новый слой пыли, на сей раз белесой, известковой. Из машины вышел полковник Клён-Савицкий.

Адам отступил от окна и приоткрыл дверь. Он ждал. Зенек, стоя позади него, произнес таинственным шепотом:

— Ох, что я узнал!

Но на большее уже не хватило времени, ибо внизу, в школьном коридоре, загремел хриплый голос Клёна:

— Подпоручик Коссович, ко мне!

Адам сбежал с верхотуры по крутой, кое-как сколоченной лестнице, споткнулся. Налетел на противоположную стену, сделал «кругом». Стал у дверей канцелярии. Одернул мундир, пригладил волосы. Постучал.

— Войдите! — донесся из канцелярии бас Клёна-Савицкого.

В комнате царил полумрак, выгоревшие занавески из бурого сатина были задернуты. Клён стоял лицом к окну, посапывая носом, руки заложены за спину. Когда он обернулся, Адам увидел, что к нижней губе его приклеилась папироска-самокрутка. Полковник не дал ему доложить о своем прибытии.

— Садитесь, подпоручик, — произнес он удивительно тихо, вынул изо рта окурок и раздавил в высохшей чернильнице. — Будьте осторожны. Ради бога, будьте крайне осторожны!

Это было сказано очень серьезно и произвело впечатление. Коссович неловко, с шумом пододвинул стул и сел.

Клён собирался с мыслями, он ходил теперь по комнате тяжело, широко шагая. Искоса бросал на Коссовича испытующие взгляды, тер щеку массивным кулаком, покрытым синими пятнами от обморожений. Наконец, загудел, как августовский шмель:

— Решение принято! Немец остается здесь под вашим присмотром, подпоручик...

— Моим? — ужаснулся Коссович.

— Ведь вы служите во втором управлении. Обычная работа. А этого типа не желают видеть, по крайней мере сейчас, ни в Варшаве, ни в Лодзи.

— Но разрешите спросить...

— Не о чем спрашивать, подпоручик! Вопрос решен. Если гитлеровцы рассчитывают, что мы перевезем его в столицу...

— Я все еще не понимаю.

— И не надо! — Клён оттопырил губы. — Чем меньше будете понимать, тем лучше. Мы не намерены вовлекать в эту аферу новых людей. И потому, подпоручик Коссович, с этой минуты вы выполняете спецзадание. Немец должен пройти своего рода карантин.

— Пан полковник, разрешите задать вопрос?

— Нет. И о чем тут спрашивать? Повторяю еще раз: карантин! Кстати! С немцем нельзя говорить о политике. О войне. О каких-либо польско-немецких проблемах. Вам понятно? Это приказ.

Коссович с тяжелым сердцем буркнул:

— Так точно.

— Хорошо. Следовательно, можем перейти к практическим вопросам. Вам подчиняется Зенек, не парень — золото. И тот капрал, который ночью изловил немца. Или немец сам на него наткнулся. Кто знает, как там было на самом деле. Но хватит об этом. Вернемся к формальностям. Командир батальона уже предупрежден.

Сейчас он пришлет к вам капрала, охотника за немцами, который поступает в полное ваше распоряжение. Понятно?

— Так точно.

Клён-Савицкий улыбнулся одними уголками рта, словно Коссович забавлял его. Принялся хлопать себя по карманам. Сопел, был явно возбужден, хоть и старался это скрыть. Вытащил туго набитый, потертый бумажник, порылся в нем, что-то бурча по своему обыкновению.

— Денег у вас, вероятно, нет, — сказал он и протянул Коссовичу новенький банкнот. — Пока пятьсот злотых под отчет... Не морочьте себе голову финансами. Для этого есть Зенек, он отчитается. — И с иронией добавил: — Он сумеет! И еще одно: никаких записей! Это у нас не принято. Но, um Gottes Willen [1], как говорят благочестивые христиане за рекой, все должно быть выполнено тютелька в тютельку, как я скажу. В точности! Во-первых, организуйте гражданскую одежду для немца. Пусть Зенек купит у евреев. Разумеется, Гохмана не выпускать из комнаты наверху ни под каким видом. Даже по нужде. И купите чемодан. Для обмундирования этого... Гохмана. Понятно?

— Так точно.

— Когда стемнеет, не раньше, Вильчинский прикажет подать вам пароконную повозку. Сзади сядете вы и немец, впереди Зенек и тот капрал вместо ездового. Итак, мундир в чемодан. И валяйте в Белюнь. Это недалеко. Страшное захолустье. Лошадей не пожалеете — доберетесь за два-три часа. А там у заставы будет ждать наш человек, пароль: «гость в дом». Он проводит вас на квартиру. В Белюне, не на самой границе, вы подождете дальнейших указаний. Погода прекрасная, загорайте, лишь бы не при людях. Только немца берегите как зеницу ока. По-моему, удрать он не попытается. Однако исключать ничего нельзя. Поэтому, пан подпоручик, я полагаюсь на вашу сметку и предприимчивость. Постарайтесь предвидеть все, что может произойти. Главное, чтобы у него не было никаких, абсолютно никаких контактов. Карантин. Если спросит, так и разъясните. Карантин. Понятно?

Коссович только вздохнул.

— Все необходимое покупайте. Израсходуете деньги — не беда. Зенек устроит. Наши люди в Белюне не посвящены в детали этого дела. Им — ни слова о немце. Впрочем, даже с ними избегайте контактов.

— Я думал, господин полковник...

Клён отмахнулся.

— Не думайте, а четко выполняйте приказания, — сказал он и поморщился, словно собственная сентенция ему не понравилась. — Не знаю, сколько это протянется. Пожалуй, недолго. Немцы, видя нашу готовность... И наши союзнические связи... Но если все-таки окажется...

Полковник глубоко вздохнул, остановился позади Адама.

— Что ж, война нам не в новинку, — заключил он. — Dulce et decorum [2]... Посмотрим! — и стукнул кулаком по столу. — Что еще?

— Ничего! — не раздумывая выпалил Коссович.

Клён счел это проявлением служебного рвения. Хлопнул Адама по плечу и добавил другим тоном:

— Запомните, что говорит старый практик: на нашей работе никогда, почти никогда нельзя чувствовать себя уверенным. Был у меня когда-то такой случай: явился ко мне австриец, некий Доберинг. Я сам с ним разговаривал. Он был противником Гитлера. Да еще каким! Попросту рвался с ним в бой! Сразу же для почина доставил нам документы огромной важности. А вскоре благодаря нашим лю-

[1] Ради бога *(нем.)*.

[2] Начало цитаты из Горация: приятно и почетно умереть за Родину *(лат.)*.

дям, работавшим в Германии, я располагал неопровержимыми доказательствами, что Доберинг — старый агент абвера. Подброшенный нам... Чтобы вести игру! Я его допрашивал. Раскололся как миленький! Я рассказываю это вам не ради бахвальства. Эти чертовы офицеры из абвера — ловкачи! Парни головастые! Но и мы не лыком шиты. Знаем, что такое игра!

Он остановился теперь у стола, протянул руку на прощанье. Коссович вскочил. Замер по команде «смирно», весь напрягся и спросил:

— Пан полковник, как обращаться с Гохманом? Как с арестованным? Или гостем?

— Вежливо. Любезно, — сказал Клён, уже поскучнев. — Лишь бы не выходил из дома. Ни минуты не оставался один. И ни с кем не ввязывался в разговоры. Все?

Адам кашлянул и почувствовал, что краснеет.

— Разрешите еще обратиться по личному вопросу...

— Слушаю.

— В Лодзь приехала моя невеста. Можно ли ее как-нибудь уведомить?

— ... Где теперь находитесь? — ужаснулся полковник.

— Нет. Только когда вернусь.

— А вам это известно?

— Ну... нет, — признался Коссович и с горечью подумал, что свалял дурака.

— Так о чем же уведомлять?

И Клён покосился на Адама, который его немного раздосадовал и позабавил. Чуть искривил рот в улыбке.

— Ладно, пишите панне Лось записку. В общих словах, дескать, служба и т. д. Я постараюсь, чтобы ей передали.

Коссович уже ничему не удивлялся. Все о нем знают, ведь это сказал ему капитан Вольский. А кроме того, дядюшка Хельки... Круг замыкается.

Он вырвал страничку из тетради, набросал несколько слов. Клён сложил ее вчетверо и спрятал в бумажник.

— Ну, подпоручик Коссович, успеха вам, — проворчал он. — И пришлите мне сюда на минутку Зенека.

■

И снова Коссович взбирался по скрипучим ступенькам, чуть ли не на цыпочках, стараясь поменьше шуметь, в мезонин, где воздух сгущался под крышей. Дверь скрипнула, Зенек отвернулся от окна.

— Полковник вызывает, — сказал Коссович.

— Возвращается в Лодзь?

— Пожалуй, да.

— А мы?

Адам пожал плечами. Сержант молча вышел из комнатушки. Немец снова лежал на тахте, вероятно отсыпался за вчерашнюю ночь. По его потному лбу разгуливала огромная синяя муха. Адам подошел и даже немного наклонился над Гохманом. Испуганная муха взлетела с громким жужжанием. Лицо немца напоминало Коссовичу один из портретов Кранаха. Но с Э. Т. А. Г. не было никакого сходства. Ни малейшего.

Адам слышал, как открылась и хлопнула дверца лимузина. Донесся обрывок фразы, брошенной Клёном, потом машина тронулась и звук мотора затерялся в проулках. Вдруг кто-то остервенело выругался, — ага, понял Адам, начальство убралось, жизнь приходит в норму. А я попал в переплет. Какой там переплет, штатский недотепа! В дерьмо вляпался. В полку было бы лучше. Не по мне такая работенка...

Адам зевнул. Посмотрел на немца. Тот продолжал спать. Все это весьма таинственно. А может, просто тумана напустили? Известна склонность военных все засекречивать. «Чем меньше знаешь, тем лучше», — повторил он слова Клёна и возмутился. Такой же идиотский их штамп, от которого не жди добра.

Гохман шумно повернулся на бок и захрапел. Адам вздрогнул от неожиданности, встряхнулся и с расстояния двух метров угрюмо уставился на чужое, загадочное лицо с пузырящейся в углах рта слюной. На будто оловянные веки. И след от очков на переносице.

И вдруг — ассоциация. След от очков... Тогда, в ресторане, пожилой господин, весь в английском твиде, с жемчужиной в сером галстуке, вдруг умолк и вскинул руку с голубыми набухшими жилами. Усталым жестом снял пенсне. Глаза у него были близорукие. А на переносице такой же отпечатавшийся след.

Весной, в конце апреля или начале мая, Хеленка объявила, что из Варшавы приехал ее дядя и приглашает их на обед. Она сидела на тахте, кутаясь в халат Адама (было холодно, пожалуй, происходило это в конце апреля), и разглагольствовала с уже знакомым ему выражением лица.

— Это будет официальное сватовство? — спросил он с кривой усмешкой.

— Я хочу, чтобы дядя с тобой познакомился, — пояснила Хеленка. — Он считает себя моим опекуном. Обещал заботиться обо мне моей матери, когда та умирала. А посватаешься ты или нет, это уже твое дело.

В воскресенье они встретились у памятника Собеского. Хеленка была в новом костюме, который очень ей шел. Адам — в легкой светлой тройке. День выдался теплый, и какие-то кустики уже зацветали на Гетманских валах.

— Расскажи мне, наконец, о своем дяде, — попросил, поцеловав ее, Адам. — Как-то подготовь меня.

— Я уже говорила. Он мой опекун.

— Ах мы горькие сиротинушки! — сказал Адам. — Что еще?

— Он полковник.

— Ну и ну! Ты вроде бы такая левая! А дядюшка из полковничьей клики...

— Брось свои неуместные шутки! И он, и моя мать были в ППС[1]. И так далее.

— Ты хочешь сказать ему о наших планах?

— Решай сам. — Хеленка ослепительно улыбнулась.

Они вошли в ресторан, славившийся своей кухней и поэтому, как всегда, переполненный. Адам, держа Хеленку под руку, оглядывался по сторонам в поисках свободных мест. Девушка повлекла его к окну, где сидел за столиком пожилой респектабельный господин.

— Наконец-то! — сказал он и вынул из кармашка жилета золотые часы. Надавил крышку. Тихо зазвучала мелодия «Варшавянки». — Вы опоздали на десять минут, — констатировал он.

— Я виновата, не успела собраться вовремя, — защебетала Хеленка. — Адам ждал меня и нервничал. Он уже отчитал меня за опоздание.

Дядя подобрел. Видно было, что он души не чает в Хеленке. Адам сел боком к окну, взглянул на Валы, вдоль которых текла пестрая воскресная толпа. За этим столиком он некогда сиживал со своим дядюшкой. Ели раков, любимый дядин деликатес. Адам, пользуясь его хорошим настроением, задал вопрос, который уже давно вынашивал:

— Дядюшка, почему мой отец решился на такой безумный шаг?

[1] Польская социалистическая партия.

Почему выхватил револьвер? Надеюсь, не ради того, чтобы защищать Габсбургов?

Дядюшка Феликс покачал головой.

— Мы презирали Австрию, — сказал он. — Всегда смеялись над ней. А твой отец был врачом. Какой же из него солдат?

— Зачем же хватался за револьвер?

— Ведь мы же романтики. Подумай сам. Мог ли Коссович сдаться какому-то черкесу?

— Я знавал вашего дядюшку, — сказал господин, который сидел теперь на дядюшкином месте. — Еще в легионах.

— Он никогда не рассказывал об этом периоде своей жизни.— Адам вздохнул. — Только после его смерти я нашел в старом сундуке мундир.

— Это был незаурядный человек. Жаль, что он пренебрег открывавшимися перед ним возможностями, — сказал полковник Лось, и Адам подумал о веселой, беззаботной, как ему казалось, завидной жизни дядюшки Феликса.

Благодаря Хельке атмосфера за столиком была непринужденная. Полковник, исполненный родственной сердечности и благожелательного любопытства к новому (это определение неоднократно им подчеркивалось) поклоннику Хеленки, расспрашивал Адама о венских годах его жизни. (На эту тему навела разговор Хеленка.) А потом о военной подготовке и полке, к которому был приписан. Разумеется, пожилой господин знал его командира. — Если бы мне сказали в шестнадцатом году, когда мы служили вместе, что он когда-нибудь получит полк, я бы никогда этому не поверил, — заявил вдруг полковник Лось и, помолчав, проговорил в раздумье: — Вы командир взвода? Можно было бы вас лучше использовать...

Ели пломбир. Хеленка заливалась серебристым смехом. Полковник Лось внезапно умолк, как бы в ожидании чего-то, что должно было последовать. Адам глянул прямо в стекла его пенсне: в левом увидал собственное отражение, в правом — плечо, часть шеи, ухо и волосы Хеленки.

— Пан полковник, — собрался он с духом. — Извините, что в столь неподходящем месте. И в неподходящее время. Но дело в том, что Хеля и я... если вы не против.

— Ну, теперь все ясно, — сказал полковник. — А я-то ломал голову, зачем девчонка устраивает нашу встречу. Вы счастливчик.

— Я с вами согласен, — сказал Адам.

— Я знавал вашего дядюшку, — повторил со вздохом полковник. — Когда-то мы дружили. Он был ценителем женской красоты.

— После него осталась целая куча фотографий красивых дам,— не без горечи сказал Адам.

— О! — радостно оживился полковник Лось. — Я охотно бы их просмотрел. Может, нашлись бы общие знакомые?

И симпатичный господин наверняка нанес бы визит Коссовичу, если бы не пришлось срочно возвращаться в Варшаву. Его запоминающееся лицо, пенсне и седоватые, коротко подстриженные усы Адам увидел снова лишь этим летом в Лодзи. В коридоре штаба на Юлианове, мимоходом, не останавливаясь, полковник похлопал его по плечу и сказал: «Рад видеть вас здесь». Потом однажды полковник проезжал в военном «лендровере» по площади Свободы, и Коссович издали отдал ему честь. И еще раз повстречался Адам с полковником. По распоряжению шефа он со своими обзорами немецкой прессы явился в юлиановский особняк штаба армии и там на винтовой лестнице, предназначавшейся когда-то для прислуги, столкнулся с ним нос к носу.

— Как вам служится? — милостиво осведомился полковник.

— Делаю что могу.

— Это хорошо, — улыбнулся пожилой господин.

■

Стук в дверь. Это не Зенек. Кто же тогда?

— Войдите.

В дверях появляется капрал, здоровенный детина, упакованный в унтерский мундир и — невиданная вещь — с личным огнестрельным оружием, не положенным по штату сержантскому составу пехоты этого уровня: с пистолетом системы «вис» в новенькой юфтевой кобуре на поясном ремне.

— Капрал Матуля прибыл в ваше распоряжение! — загудел он густым басом. — Пан майор велели...

Вот как выглядит герой, который вчера ночью изловил немца в болотистой пойме реки или повстречался с ним после его якобы добровольного перехода на нашу сторону.

Гохман проснулся, сел на тахте, а капрал улыбается украдкой, но торжествующе и даже подмигивает Коссовичу — знай, мол, наших!

Мой человек, думает Адам.

— Знаете, что к чему?

— Маленько знаю, — отвечает Матуля и снова многозначительно улыбается.

— Справитесь с лошадьми?

— Мы ж деревенские.

— Никому не рассказывали о той ночи?

Матуля пугается.

— Боже упаси! Ни словечка... — И он умолкает с таким видом, словно собирается еще сообщить нечто важное.

— В чем дело? — спрашивает Адам.

Матуля придает своему лицу особо подобострастное выражение и, преодолевая спазм в горле, проговаривает:

— Извиняюсь, пан подпоручик, спросить дозволите? К примеру, за дело, какое давеча ночью-то со мной получилось, значит, не полагается ли лычки?

— Там видно будет, — уклончиво отвечает Коссович, которому, конечно, это неизвестно. — Ладно, ладно. Не забуду.

Из окна мезонина видна крохотная центральная площадь Брашки с костелом посреди. По песку и булыжнику марширует взвод солдат в выгоревших гимнастерках. Вот где мое место, думает Коссович. Облаченный в кургузую гимнастерочку, муштровал бы он теперь взвод новобранцев. Натирал бы мозоли на ногах. А потом, в порядке культурного досуга, пил бы по ночам напропалую с однополчанами, такими же, как и он, вырванными из гражданской жизни и одетыми в плохо подогнанные мундиры, подпоручиками. А может, все-таки мне повезло? И не только с прохождением учебных сборов на новом месте. Но и с нынешней поездкой. Достаточно вспомнить душную комнатенку в доме напротив станции Лодзь-фабричная. С устрашающими грудами газет немецкого нацменьшинства и толстенным томом майора в отставке фон Голодковского. Черт бы побрал автора этого опуса.

Кстати, фамилия у прусского юнкера — лучше не придумаешь!

■

А вот распорядок рабочего дня Коссовича в Лодзи. Явившись к восьми часам в «контору», он первым долгом навещает капитана Вольского в его кабинете, тот же самый этаж, комната номер одиннадцать, на стене план города и карта воеводства вплоть до государственной границы. Из мебели — стол (не канцелярский). На нем иногда стакан простывшего чая. И свежая газета. Два стула.

Вешалка. Это все. Адам докладывает о количестве переведенных им накануне статей из «Deutsche Wehrsprache». Откланивается, идет к себе и достает из сейфа толстенную книжищу. Теперь три часа ему корпеть над переводом терминов и наименований из области современной боевой техники, тактики, стратегии и понятий чисто инженерно-технических. Это отнюдь не легко. Польские словари, как правило, бессильны помочь. Единственное спасение — в иллюстрациях немецкого словаря, схематичных, но четких, и, что Адам не без удивленья замечает, с каждым днем все более впечатляющих. Таким образом, у бедного филолога и потенциального писателя не остается времени для его Гофмана. Вместо того чтобы окунаться в пленительную символику романтизма, он начинает день в окружении танковых полков, дивизионов тяжелой артиллерии и батальонов атакующей пехоты.

В половине двенадцатого Адам отправляется в ближайшее кафе на второй завтрак. Предварительно свои каракули и немецкую макулатуру прячет в несгораемый шкаф, запирает его, ключ оставляет у дежурного унтер-офицера. Час спустя проделывает обратный путь, всегда чуточку тревожась, не был ли во время своего отсутствия вызван пред светлы очи кого-нибудь из грозных начальников. Ибо ухода в кафе ни с кем не согласовывал. Но ничего страшного не случалось. В дежурке унтер-офицер вручал ему толстую пачку немецких газет, их следовало просмотреть. Адам составляет краткий их обзор, причем все более профессионально, и эту писанину — две, три странички — перепечатывает на машинке, что продолжается до трех часов, которые выбивают куранты фирмы «Беккер», стоящие в углу комнаты в вульгарном застекленном футляре. Для Адама этот металлический звук знаменует возвращение личной свободы. Он заканчивает перепечатку на машинке, складывает выписки в коричневый конверт, прошивает его и запечатывает сургучом. Конверт вместе с ключом оставляет у дежурного унтер-офицера. И снова чувствует себя штатским, частным лицом, магистром Адамом Коссовичем. Из т е х Коссовичей! Учителем гимназии, призванным на переподготовку резервистов. И в эту пору — странная история — менялось настроение экс-учителя: ведь если вдуматься хорошенько, то премудрости, вдалбливаемые им из года в год в тупые головы неучей, едва ли не скучнее Wehrsprache?

— Собираешься всю жизнь оставаться учителишкой? — спросила однажды Хеленка.

Учителишка! Омерзительное слово. В какой-то мере он действительно чувствовал себя деклассированным: дед был тайным советником двора его величества, отец — профессором. А он только учитель гимназии. Кривая идет вниз. Однако работа его устраивала: часов в неделю немного, тетрадей, которые он проверял молниеносно, не бог весть сколько, жалованье по тем временам ни большое, ни маленькое, но для человека с капитальцем достаточное, подкрепляемое в случае необходимости суммой, снятой со счета в банкирском доме Шюц и Хайес, Мариацкая площадь, 1.

Хеленка загоняла его в угол:

— К чему ты стремишься? Я жду не дождусь, когда ты, наконец, расскажешь мне хоть что-нибудь об этом.

Черт побери! У каждого человека есть, должны быть какие-то устремления.

— Ты же знаешь, что я пишу понемножку...

Он действительно опубликовал в местном литературном журнале разборы нашумевших немецких романов Финка и Фаллады. Правда, из-под пера Коссовича статейки вышли довольно худосочные, но редактор настолько придал им остроты, что Адам диву давался, читая их в напечатанном виде.

Иное воспоминание: они сидели на скамье в парке Килинского. Как было хорошо! Адам уплетал соленый крендель, купленный у старой еврейки-лоточницы. Хеленка злилась, поскольку снова постилась. Она обожала соленые кренделя и тем яростнее играла в «йо-йо», красное веретенце послушно вертелось по немыслимым арбитам вокруг ее руки. На клумбе краснели осенние астры, дорожка была посыпана желтым песком. На соседних скамейках — няньки, мамаши и уйма детей. Мимо них прошествовала бонна, ведя за руку мальчика в матросском костюмчике и плоской соломенной шляпе с ленточками, свисающими на шею. О, этот наряд! Отсюда — ассоциация, и Адам уже далеко, в Вене. Бабка Северина, она же gnädige Frau Hofrätin Severine, худая как щепка, маленькая старушка в черном, держит его за руку. Адам в таком же новеньком матросском костюмчике и соломенной шляпе с ленточками. Венский Burggarten и огромный памятник Францу. Бабушка на минуту забывает о культе Габсбургов и объясняет внуку, что этот бронзовый всадник — Лотарингец, муж императрицы Марии Терезии, величайшей обидчицы Польши, женщины бессердечной, хоть и с глазами на мокром месте.

А между тем на скамье в львовском парке Хеленка уже спрятала в сумочку «йо-йо» и спугнула воспоминание.

— Перестань, наконец, объедаться кренделями, — сказала она с завистью. — Лучше расскажи, что пишешь. Чего скрытничаешь?

— Я мечтаю написать повесть о варшавском периоде жизни Гофмана, — признался он ей тогда впервые.

— Только, бога ради, воздержись от своих германофильских симпатий!

— Тоже выдумала! Я — и вдруг германофил!

— Во всяком случае, к немецкой культуре ты неравнодушен. — Хелена взглянула искоса, как-то странно. — А твой культ Вены? А твои рецензии? Они мне совсем не понравились. Какие-то бесхребетные...

— Что?

— Бесцветные какие-то. Вызывают досаду. Чувствуется, что важнейшие проблемы тебе безразличны.

— Какие проблемы?

— Ну, безработица. Кризис. Нищета.

— Готов побиться об заклад, что ты когда-то все это слыхала от своей Галины Гурской.

— Порой у женщины бывает характер потверже мужского.— Хелена обворожительно улыбнулась. — Я считаю, что у писателя должны быть убеждения. Особенно если он берется за перо в такие времена... Надеюсь, ты не собираешься восхвалять прелести немецкого романтизма?

Конец сеанса. Воспоминания обрываются. Снова настоящее время. Брашка.

■

Жарко. На лестнице тяжелые шаги Зенека. Адам сразу же их узнает. Сержант входит с дешевым фибровым чемоданом в руках.

— Прибыл с покупками! — весело докладывает он.

— Раздобыл ему одежду? — спрашивает Адам и кивком показывает на немца. В такой дыре, как Брашка, даже покупка завалящего костюма представлялась нереальной. Но Зенек смеется.

— Я да не достану! — восклицает он торжествующе и принимается перечислять: — Костюм, ботинки, даже шелковые носки и галстук шикарный. А какие подтяжки! Венские! Немца разоденем — хоть сейчас под венец. Или на катафалк. — Ставит чемодан на пол и подходит к окну.— Евреи здорово напуганы,— шепчет он.— У них своя разведка. Говорят, плохи дела. Война будет.

— Евреи толкуют о войне уже не первый год.

— Которые побогаче, собирают манатки. Один здешний крупный торгаш только что умчался сломя голову. Три полных фургона погнал. Со всем имуществом, с чадами и домочадцами.

— Бегут, как крысы с корабля.

— Какие крысы! — неожиданно возмутился Зенек. — Люди! И умные притом! С головой на плечах!

— Боишься?

— Я? — спросил Зенек, принимая воинственную позу. — Я-то ничего не боюсь.

— Ладно, ладно, — сказал Коссович. — Пока еще тихо.

— Плохо только, что мы возле границы болтаемся. Если начнется, лучше быть при штабе армии, чем в каком-то паршивом батальоне. Чем ближе к алтарю, тем слышнее проповедь. Впрочем...

— Пока война еще не объявлена.

— Евреи говорят, что Гитлер развяжет мировую войну, так в их книгах написано. И что Гитлер — новый Ирод.

Коссовича начала утомлять болтовня Зенека.

— Еще два слова, — не унимался сержант. — Как вы, пан подпоручик, отнесетесь к тому, что евреям известно о нашем немце? Говорят, важная птица. И с письмом от Гитлера пришел.

— Хватит молоть чепуху.

Зенек рассмеялся неприятно, визгливо.

— А нам теперь ничего другого и не остается, как трепать языком. Ага! И на спасителя нашего, стало быть, как его там, на Кубицкого, что водителю подсоблял, я наткнулся. Аж сюда следом за нами прикатил.

Коссович поморщился, Зенек сегодня действовал ему на нервы. Подумал о Хеленке. Все-таки следовало бы ей позвонить.

— На всякий случай я осторожненько его прощупал. Он скотопромышленник. Из Лодзи. Скот заготовляет для интендантства нашей армии. Я проверил. По документам. Все в порядке. А мотоцикл стоил ему кучу денег! Хороша машинка!

— Чего же он на границе болтается?

— Спрашиваете! — сказал Зенек. — Это мужик башковитый. Скот теперь здесь самый дешевый, многие отсюда драпают. Кто — куда! На восток, на запад. — Он тяжело вздохнул. — А денежка к денежке катится да звенит.

Немец умылся и переоделся за ширмой. Он сидел на тахте. Тесноватый ему синий костюм и впрямь был сшит словно для деревенской свадьбы. Переодевание совершенно преобразило Гохмана, и, странная вещь, в штатском он показался Коссовичу крайне подозрительным. Что его, черт побери, к нам принесло? Если бы не он, сидел бы я сейчас с Хеленкой в кино. И чего так боится? Раз уже здесь. Раз уже решился... Последняя мысль внезапно смутила Адама. Впрочем, зря горячусь, признает он со стыдом, нет, отнюдь не просто перейти границу, отдаться в руки врагу, сообщить ему какой-то секрет, причем важный, судя по реакции Клёна, очень важный. А мне все это кажется пустяками. Словно принадлежу к людям, которые запросто принимают решения.

Задумавшийся немец сидел недвижимо в потоке солнечного света. Порой на его лице появлялось выражение досады и гнева. Тогда он вставал и закуривал сигарету из пачки, которую дал ему Адам. Нервно тыкал окурок в пепельницу. И снова усаживался на тахте. У ног его стоял небольшой фибровый чемодан с обмундированием. Он был готов к отъезду.

Солнце скрылось за соломенной кровлей дома по ту сторону улицы. Смеркалось. После ужина, который принес Зенек, явился

майор Вильчинский. Смерил немца деловитым, оценивающим взглядом, потом глазами показал Адаму на дверь.

— Извините, что вызвал вас сюда, — зашептал он на лестнице. — Повозка будет через пять минут. Матуля проинструктирован, как надо ехать. Пароль нынешней ночью в расположении дивизии: Лисварта. Отзыв: Львов. Счастливого пути.

Он пожал руку Адаму, но все еще медлил.

— Ну и угораздило же нас! — сказал майор, глядя в сторону. И по-прежнему не уходил. — Глаз не спускайте с этого немца.

— Разумеется.

— Всякое может случиться. Надеюсь, вы меня правильно понимаете: за ним надо следить! Хорошенько следить.

Вильчинский, старый курильщик, надсадно раскашлялся. В тревожной атмосфере пограничной полосы — Адам быстро это сообразил — майор испытывал непреодолимое желание потолковать с человеком, близким к «верхам», а именно таковым он считал Коссовича, пусть полуштатского, но тем не менее штабника. Штабиста.

— Жаль, что нельзя вас свозить на передовую линию, — повторил он уже в который раз и тяжело вздохнул. — Послушали бы, что эти проклятые немцы каждую ночь за рекой вытворяют. Мне-то ни к чему слушать. Нам и чужих ушей хватает. Это уж такое местечко. Люди мне помогают. И мужички, что возвращаются с заработков, с жатвы, достаточно порассказали. С подробностями...

Адам молчал. Вильчинский морщил лоб и воплощал собой величайшую озабоченность.

— Не какие-нибудь бабьи гадания на кофейной гуще, а предчувствие старого солдата подсказывает мне, что вот-вот начнется.

— А дипломатические переговоры?

— По моему разумению, теперь уже не время болтать. И потому этот немец...

Он умолк на полуслове.

— Что немец?

— Эх, не стоит говорить!

— Вы полагаете, пан майор, что их превосходство в технике...

— Я полагаю... — произнес Вильчинский упавшим голосом. — Помните высказывание маршала: поляки-де уже двести лет уповают исключительно на господа бога. Будем их бить маневрированием, знанием местности, — произнес он бодрее. Прозвучало это фальшиво и поэтому добавил: — А потом задействуем резервы. Ну и поглядим, на что способны наши западные союзники. Лишь бы они пожелали воевать по-настоящему. Будет, что бог даст. А вот и повозка.

— Хоть бы дерюжку подстелили, — ворчал Зенек, уже на козлах. Повозка действительно была завалящая, с изодранной клеенкой на сиденьях, которые казались замшелыми. Адам помог усесться немцу, который неуверенно ступал в новых ботинках и вообще держался как человек, страдающий нарушением равновесия. Физического и психического.

— В любом случае прошу хранить молчание, — предупредил Адам. Гохман кивнул головой.

Еще не стемнело окончательно, небо на западе, за рекой, было светло-фиолетовым. Не спала и Брашка. Когда Матуля подхлестнул лошадей, повозка затарахтела по ухабам мостовой, густо испещренной пятнами света, падавшими из окон. На тротуарах стояли солдаты, но хватало и штатских. Они провожали взглядами повозку, так, по крайней мере, казалось Адаму. Зенек, сидевший на козлах рядом с капралом, отчаянно фальшивя, насвистывал какой-то шлягер, и настроение его, пожалуй, все ухудшалось. Вдруг он обернулся и сказал Адаму:

— Главное, чтобы повезло. А кто из нас счастливчик?..

Матуля превратился из сверхсрочника, служаки-капрала в батрака-кучера. Он покрикивал: «Но-о, голубчики, но-о!» Когда миновали пропустившую их заставу и околицу местечка, Зенек опять обернулся и сказал:

— Слава богу, что уезжаем отсюда. Опротивела мне эта дыра.

Сужавшуюся светлую полосу на западе теперь отделяли от них деревья. По мере того как они приближались к лесу, из-за пригорка словно выбегали и выстраивались поротно батальоны деревьев. Вот уж и сравнения напрашиваются какие-то милитаризованные, подумал Адам. Они углублялись в сгущавшийся сумрак, с полей наползали клочья тумана. Над головой зажигались в небе августовские звезды. Матуля продолжал выкрикивать свое мужицко-батрацкое: «Но-о, голубчики, но-о!» — следил за дорогой, знал, когда свернуть с мощеного тракта в луга, на проселок.

Адам, горожанин, не понимал, как Матуля ориентируется в темноте. Безмерное спокойствие ночи, охватившее весь мир, передалось и ему. Его даже поразила столь внезапная перемена настроения. Он с недоверием подумал: уж не обычная ли это моя беззаботность? Мое легкомысленное отношение к жизни? — но ему было отрадно, усталость не докучала, нервное напряжение сгладилось. Авось обойдется. Лишь спокойствие может нас спасти. К чему нервничать... Вон Вильчинский удалец с виду, а как все к сердцу принимает. Все в руках судьбы. Вдруг она будет милостива именно к нам, ко мне?

Немец, загадочная личность, неподвижно сидел рядом с ним в гробовом молчании, словно готовый броситься сзади на Зенека. Адам слышит тяжелое дыхание Гохмана. Видит его крупную сгорбленную фигуру. Кто знает, что ему взбредет в голову? Майор Вильчинский предупредил: будьте бдительны. Следовательно, нельзя спать. Не уснуть — вот основная задача. И отнюдь не легкая, ибо монотонность езды, мягкий сумрак и приятная после жары прохлада располагают ко сну. И не заметишь, как голова упадет на грудь. И вот уже храпишь.

— Присматривай за мной, чтобы я, боже избави, не уснул, — Адам хлопает сержанта по спине. Тот резко выпрямляется.

— Вы что-то сказали, пан подпоручик?

— Я сказал, что по приезде выспишься. А теперь бодрствуй, ты же на боевом посту.

Лучшее противоядие от сонливости — раздумья. И мечты о повести. Прокрутить мысленно один из эпизодов. И прикинуть — как бы его написать. Может, так? А может, иначе?

Э. Т. А. Г. является сразу, по первому зову. И вот уже сидит в бричке и куда-то едет бором, лесом, возможно даже в такую, как сегодня, теплую августовскую ночь. Но в какую сторону, куда, по какому делу направился этот чертов немец? Ибо дел этих может быть несметное количество. Следовало бы одно из них приспособить к данной ситуации. Допустим, что Э. Т. А. Г. возвращается с финансовой инспекции, связанной с кругом его служебных обязанностей. Уполномоченный регентства, господин советник Гофман следует именно в такую ночь на перекладных, скажем, из-под Равы, где приводил в исполнение решение суда о ликвидации имущества бывшего арендатора королевской вотчины Свинско — как значилось в одних документах. Или с какой-либо иной публичной распродажи имений, растранжиренных легкомысленными поляками. Наверняка подобных ночных вояжей ему довелось совершать немало в этой стране. Любопытно, какое у него сложилось о нас, поляках, мнение? Ах, еще один вариант «польского вопроса». Оставив в покое шляхту — запьянцовскую и дремучую братию, Адам пытается представить себе этого чертова немца-художника и одновременно адвокатишку, когда, кутаясь в плащ и надвинув на лоб шляпу, тот качает-

ся в такт бричке, подскакивающей на ухабах, полусонный и не вполне трезвый. Чертов-то он чертов, да наверняка отобедал с гостеприимными наследниками или кредиторами покойного, чье имение ликвидировал. А вокруг равнины Мазовии. А вдоль скверной, чудовищной дороги — вербы, пугающие возницу и лошадей. Тут и там мерцают гнилушки. Оживляющие пейзаж детали тем более памятны, что встретились на чужбине. На экзотическом востоке. Голова у Э. Т. А. Г. тяжелая от выпитого вина. В ходе разбирательства запутанного дела о наследовании обе заинтересованные стороны по польскому обычаю несомненно поили этого нетипичного крючкотвора, чертова немца, токайским, которое он недолюбливал, и старкой, которую не выносил. Но, возможно, они знали о его пристрастии и заранее достали, согласно принципу: не подмажешь — не поедешь, ящик бургундского? Отсюда — шум в голове. И что-то грезится. И мерещится. Сливаются воедино сонные видения. Космы ночного тумана. Услышанные небылицы. Уханье филина... Тут уже представить себе рождение первоначального творческого замысла довольно просто.

Адам вздыхает. Что толку от буйного воображения, если повесть по-прежнему ни с места. Почему я не способен заставить себя взяться за перо? Лишь бы начать! И тут же самоопровержение: не время помышлять о розах, когда пылает лес. Но в лесу тишина. Деревья стоят недвижимо в безветренной ночи. Может, и войны не будет? Начну повесть, решает Адам, и на мгновенье Э. Т. А. Г., мигая огоньком трубки, обращает к нему свою дьявольскую физиономию, окаймленную кудрявыми бакенбардами. Он тоже ждет таинства, почина. Первой исписанной страницы. Таково в данный момент ощущение Адама Коссовича.

А время течет, как в песочных часах, отмеряемое прахом земным, который пересыпает спицы колес. Зенек старается отогнать сон, курит сигарету за сигаретой. Вонючие, махорочные. Матуля напевает вполголоса, то фыркнет лошадь, то в носу защекочет от запаха свежего навоза, и комья его громко зашлепают по мостовой. До чего же хорошо, думает Адам. Блаженное состояние необычайно радует его. И расслабленность вместо напряженности. И этот польский лес, такой дружелюбный у самой границы.

Примерно через час на опушке березовой рощицы их остановил пост полевой жандармерии. Жандармы возникли из ночи, лунный свет поблескивал на штыках. «Канарейки» и примкнутые штыки! Откуда такая воинственность? — удивился Адам. А те были бдительны, несговорчивы, грубы.

— Не светите в глаза, сукины дети! — разозлился Зенек и швырнул окурок в канаву. Красная точка прочертила траекторию и погасла.— Мы же сказали пароль.

— Ты кого так величаешь? — рявкнул чей-то голос, сверкнул луч фонарика и задержался на лице сержанта.

— Да вас, а кого же еще? — Ни капельки не смущаясь, сержант рассмеялся и, низко наклонившись с козел, подсунул удостоверение к жандармскому фонарику. Он знал себе цену и никому не уступал.

— Пропустить! — сразу же смягчился голос во мраке.

Проехали деревню, тихую и словно бы опустевшую. Все окна были темны. На небольшой площади у костела повозку атаковали злые, визгливые собаки. Матуля отбился от них кнутом. Колеса снова загрохотали по булыжнику. Теплый воздух, напоенный влажным ароматом лугов, ласкал лица. Опять въехали в лес, дорога была песчаная, тяжелая, темп езды замедлился, лошади плелись нога за ногу, громко екали селезенками, монотонно шелестел песок, осыпаясь с колес.

Немец уснул. Долго качался взад-вперед, пока Адам вдруг не почувствовал его голову, тяжелую, обременительную, на своем плече. Хотел было сбросить ее резким, досадливым движением, но передумал.

Воистину непостижимое, загадочное явление этот немец, совершающий вместе с Адамом на убогой, реквизированной телеге неправдоподобное ночное путешествие. Немец, перешедший на польскую сторону в военной форме. По-прежнему перед глазами у Коссовича маячило изумленное лицо Клёна-Савицкого, в ушах звучали его слова: «Впервые за тридцать лет службы...» И такое дело именно мне доверено, думал Адам, начиная испытывать некое подобие гордости. Гохман становился его собственной, интимной тайной. Впервые он спохватился, что иногда думает о немце с сочувствием. Стал доискиваться почему. Вероятно, игра ума, перекличка, хоть отдаленная и лишенная оснований, с Э. Т. А. Г. Впрочем, Гохман не укладывался в рамки его представлений о провокаторах. Безумец, психопат, ущербный интеллигент, страдающий раздвоением личности. Но чтобы провокатор? Однако Клён-Савицкий, тертый калач, знаток — да еще какой! — тонкостей разведработы, с первой же минуты что-то заподозрил. Для полковника внешняя сторона не имела значения. Все могло быть маской, ролью и игрой.

■

И вдруг тихий голос Матули:

— Пан подпоручик!

— Чего?

— Вы уже написали рапорт?

— Тихо, не забуду...

С минуту ехали молча. Гнедой мерин заржал, почуяв где-то поблизости пасущихся в лугах лошадей. Потом снова заговорил Матуля:

— Если война начнется, то порядок. Хуже, если войны не будет. Не миновать мне тогда в октябре дембиля.

— Неохота?

— Конечно неохота. Что за жизнь на гражданке у таких, как я.

— А без рапорта о вас забудут?

— Забыть не забудут. Но на гражданку отправят.

— Почему?

— Малограмотный я.

— Надо было учиться.

— Конечно надо бы.

Адаму сделалось не по себе. Разговариваю с этим мужиком как с нерадивым школьником, который не справился с контрольной.

— Я напишу рапорт, не беспокойтесь,— заверил он капрала.

Дорога снова полегчала, Матуля прикрикнул на лошадей: «Но, голубчики, но!»

Через несколько километров их снова остановил патруль. Обменялись паролем и отзывом.

— Сворачивайте к обочине! — гаркнул голос, привычный к командам. Зенек спрыгнул с передка и отправился на переговоры. Приближалась какая-то колонна, сопровождаемая бряцанием металла и выкриками ездовых. Шум нарастал, но во тьме не блеснуло ни единого огонька. Пришлось съехать почти в канаву. По дороге катила артиллерия, целый полк. Значит, и по эту, нашу сторону железа хватает, есть силенка. У Адама отлегло от сердца. Он вспомнил Вильчинского. Хорошо было бы стоять сейчас вместе с ним здесь и вдыхать пресный запах пыли, которая густой пеленой вздымалась из-под копыт и колес движущейся колонны.

Немец проснулся, выпрямился, Адам растирал занемевшее плечо. Вернулся Зенек.

— Постоим,— сказал.-- Незачем лезть, пока не проедут.

Остановка затянулась. Если кто-нибудь закуривал самокрутку, тотчас раздавались проклятия и огонь немедленно гас. Адам вспомнил учебные сборы, маневры. Ночные марш-броски и величай-

шую неразбериху. То выдвигались не на тот рубеж, то запаздывали, начальство вечно бывало недовольно, отыгрывалось на подчиненных. И все соответствовало извечному порядку вещей. И было чудесно, ты чувствовал себя совсем иначе, среди товарищей все представлялось легким, менее страшным, совсем простым.

Между тем ждали. Приятно попахивало лошадиным потом, колесной мазью, ружейным маслом, терпкой гарью. То и дело проносились галопом офицеры. Адам позавидовал этим молодым офицерам, их служба вдруг показалась ему привлекательной. И новый приступ недовольства собой: мне надо бы сразу — рапорт или что-то еще? Голоса, командовавшие во мраке, менялись. По ним Адам догадывался, сколько тут всего: батареи, дивизионы. Действительно сила.

Наконец их миновала последняя повозка обоза, растянувшегося, пожалуй, на километр,— грохот и окрики стихли. С минуту Адама занимала мысль: может ли немец быть свидетелем подобных передислокаций? Да что там! Ночь, ничего не разберешь. Полковник этой темы не касался. Впрочем — и эта мысль была более тревожной,— Дед в сущности не дал никаких четких указаний. Ладно, как-нибудь перебьемся.

Матуля встрепенулся, махнул кнутом: «Но, голубчики...». Съехали в низину, заполненную густым, почти удушливым туманом. В воздухе стоял горький запах торфяника, перегретого от зноя, а теперь остывающего. Заверещала ночная птица и пролетела низко, над самыми их головами. Влажная трава глушила стук колес, заболоченная луговина все более предостерегающе чавкала под копытами.

— Матуля, мы не заблудились? — встревожился Зенек.

— Я вижу дорогу.

— Смотри не завези нас к немцам!

— Сержанту пошутить охота,— обиделся Матуля.— Это они к нам приходят, а не мы к ним.

Он все еще гордился своим подвигом и связывал с ним большие надежды. Это чувствовалось по тону, каким он отбрил Зенека. Адам улыбнулся. Закурил сигарету, заодно взглянул на часы: предсказание полковника не сбывалось. Ехали уже три часа.

— Далеко еще? — спросил Коссович.

— Ближе, чем были,— буркнул Матуля.

Когда снова выехали на мощеную дорогу, что-то хрустнуло, раздался треск, Матуля резко осадил лошадей. Остановились. Повозка медленно накренилась вперед.

— О господи, колесо накрылось! — охнул Зенек.— Надо слезать.

Их силуэты едва различались в белом тумане, однако Коссович заметил, что Зенек расстегивает кобуру. Сверху струился профильтрованный сквозь испарения болот слабый свет луны. Завтра снова будет жара, подумал Адам, спрыгнув на песок. Немец слез с повозки последним. Адам стоял рядом с ним, касаясь его плечом.

— Посветил бы мне кто-нибудь,— попросил Матуля.

Фонарика ни у кого не нашлось. Почему я о нем не позаботился? Какая неопытность, огорчился Коссович.

— Колесо рассыпалось,— объявил Матуля загробным голосом.

— Веселенькая история. И что же дальше?

Пришлось подложить камень под ось, задать корм притомившимся лошадям. Потом уселись в злосчастной повозке втроем: немец, Коссович и Зенек. Дожидаться рассвета. А Матуля, ничего не поделаешь, направился в ту сторону, откуда доносился далекий лай собаки. Он шел за помощью, за колесом, за чем придется, возможно и за повозкой.

Их обступила тишина, только лошади с хрустом жевали овес. Посветлело, хоть до рассвета было еще далеко. С лугов тянуло все более пронизывающей сыростью, на лицах и руках оседали крупные капли росы.

Главное, не принимать своей военной миссии слишком всерьез, размышлял Адам. Как отец. Я гражданский в офицерском мундире. Штатский недотепа. А наши перипетии — золотая жила: все может мне пригодиться. Надо запомнить впечатления, препирательства, звуки, картину нынешней ночи. Повторить испытанные переживания. Стоя у окна, выходящего даже в самый великолепный парк, я никогда не изведал бы ничего подобного.

К счастью, сонливость миновала и словно бы обострилась наблюдательность. Уже обозначился горизонт, ближе — купы деревьев и усеянная кустами пойма в шлейфах тумана. Если хорошенько прислушаться, там уже что-то происходило. Пробуждалась жизнь, покрикивали птицы, в соседнем болотце что-то тяжело заплескалось.

— Этот пейзаж...— вдруг заговорил немец.

Адам угостил его сигаретой, щелкнул зажигалкой. В трепетном отсвете ее огонька лицо Гохмана казалось невыразительным, бесстрастным.

— Слушаю вас...— подбодрил его Коссович.

— Этот пейзаж напоминает мне мои родные края. Мекленбург,— сухо сказал немец.

С минуту он молчал, в тишине раздавалось похрапывание Зенека, который, свесив голову на грудь, спал сном праведника. Завидный характер у этого парня, ничто его не беспокоит, подумал Коссович. И испугался: не хватает еще, чтобы и меня сморило. Коссович сознавал, что сон может одолеть его, если он не поддержит разговора.

— Среднеевропейская низменность...— пробормотал Адам.

— Родина... Достаточно ночного мрака, чтобы все смазалось.

Коссович не понял немца. А тот нервно закашлял и закончил:

— Под родиной я подразумеваю понятие чисто географическое.

О чем это он? — доискивался Коссович. И сказал, ибо следовало что-то сказать:

— Ну да, родина являет собой и некую территорию. Определяющуюся с точностью до квадратного метра.

— Сейчас, только сейчас, в моем трудном положении, я, поразмыслив, убедился, что самыми существенными слагаемыми содержания, вкладываемого нами в понятие «родина», являются его психологический и моральный аспекты,— сказал немец.— География — всего лишь форма, контур. Вы согласны со мной?

— Разумеется.

— Видите ли, до сих пор я не отдавал себе отчета в том, что у родины есть границы, определяемые отчасти, а иногда и полностью исключительно моральными представлениями человека.

— Англичане говорят: Right or wrong its my country [1].

— Сколь опасным может оказаться этот софизм.

— Но мы это так понимаем... Право, я имею в виду моральное право,— сказал Коссович,— последние сто лет, пожалуй, было всегда на нашей стороне. Именно в этом находит удовлетворение порабощенный... И мы сделаем все, что в наших силах...

Немец потерял интерес к разговору. Поэтому сидели молча. Коссович отчаянно боролся с сонливостью. То и дело призывал на помощь Э. Т. А. Г., но тот, лишь по ему ведомым причинам, не являлся. Единственной реальностью были нынешняя ночь и этот клочок польской земли, подернутый туманом. Поддавшись драматизму ночи, Адам почувствовал, что его собственная личность, обычно столь важная, вдруг как бы обесценилась. Впервые он испытывал такое чувство. И думал о войне.

Через час Матуля доставил на помещичьей телеге спасительное колесо, реквизированное в ближайшем фольварке. Туман сгустился, но уже фосфоресцировал в отсветах приближающегося рассвета. Ма-

[1] Плохая или хорошая, но это моя родина *(англ.)*.

туля с батраком-возницей управились в два счета, и вскоре повозка двинулась дальше.

К Белюню подъехали уже засветло, как сказал Зенек. Зеленое местечко спускалось к реке. С макушки высокого облысевшего холма они увидали на фоне разрумяненного утренней зарей неба в обрамлении темных лесистых плоскогорий несколько колоколен и остроконечных кровель, крытых реже черепицей, чаще — толем, и множество соломенных крыш, рассыпанных по густым садам. В местечко спускались по белой, круто извивающейся дороге, вымощенной известняком. У околицы из придорожных кустов выскочил какой-то штатский. Замахал руками.

— Наши,— сказал Зенек, и Матуля резко осадил лошадей. Остановились.

Штатский обратился прямо к Адаму:

— Гость в дом,— сказал он пароль и, не дожидаясь реакции офицера, добавил: — Все готово. Есть вилла. Хозяин, немец, несколько дней назад сбежал.

Без спроса вскочил на ступеньку повозки и приказал капралу:

— Гони прямо. Скажу, где сворачивать.

От окраины ехали недолго. Вилла стояла на «полуспуске», как по-здешнему выразился штатский, огороженная высокой стальной сеткой, ворота и калитка были на замке.

Матуля остановил лошадей.

— Пан майор велел отослать назад коней и бричку,— сказал он.— Пан майор на этот счет очень строгий.

— Я этим займусь. Отправим вместе с мобилизованными подводами,— заверил штатский и взобрался на козлы. Отобрал у Матули вожжи и спросил Зенека: — Ключи возьмете? — В вытянутой руке он держал целую связку.

— Настоящий дворец,— сказал сержант.— Кто тут наслаждался жизнью?

— Инженер, предприниматель,— проворчал штатский.— Фамилия Задке. Мосты строил. Впрочем, черт его знает...

— И удрал?

— Со всем семейством. Поехал, как всегда, отдыхать в Гданьск. А через день — наши с обыском и ордером на арест. Был у гитлеровцев самым главным начальником в этом районе.

— Дали ему сбежать?

— Что ж поделаешь, если не было приказа задерживать?

— Философы!— усмехнулся Зенек и отпер калитку: смазанная, она даже не скрипнула. Вошли один за другим — сперва немец, потом уже по старшинству. Последний, Зенек, запер калитку на ключ. Адам осмотрелся по сторонам, глянул на безоблачное августовское небо. Долгонько добирались они до Белюня. Всходило солнце. В его красноватых косых лучах нежно порозовела побелка, пламенно зардели оконные стекла. Приезжие шагали вдоль колючей живой изгороди. Одуряюще пахли полуувядшие, несколько дней не политые цветы ранней осени. Ветви яблонь, груш и слив сгибались под бременем ярких, зрелых, никем не срываемых плодов. Зенек прыгнул в сторону, вернулся, уплетая огромную, сочную грушу, сок стекал по подбородку. Вручил каждому — и немцу — по штуке. Адам надкусил грушу и тоже облился соком.

Ключи, нанизанные на металлическое колечко, были снабжены изящными бирочками с надписями по-немецки: веранда, кухня, балкон, дверь на террасу. Адам невольно вспомнил бабушку Северину, которая тоже заботилась о таких мелочах. Ключ легко повернулся в замке. Тяжелая дубовая дверь с дощечкой — буквы стилизованы под готику: инженер-строитель Генрих Задке — отворилась без звука, пахнуло прогретым, малость уже застоявшимся воздухом, и Коссович ввел свою «спецгруппу» в давно не проветривавшиеся хоромы. Вилла была

просторная, двухэтажная, комфортабельная. На первом этаже столовая, обставленная гданьской мебелью. Рядом кабинет в стиле модерн. Зенек прямо застонал от восторга:

— Пожить бы тут, черт побери!

Адам заметил книжный шкаф, множество книг, а также радиоприемник высшего класса, он знал эту модель, поступившую в продажу прошлой весной, пустячок — восемьсот злотых! «Блаупункт». Мимоходом заглянул в приоткрытую дверь белой кухни. По винтовой лестнице поднялся на второй этаж — там была спальня, действительно слишком уж роскошная, полная зеркал на створках стенных шкафов, и ванная салатового цвета, прохладная, особенно соблазнительная после путешествия. Проверил, заперта ли дверь на террасу. Подумал немного и крикнул сверху:

— Herr Hochmann! Ваша комната на втором этаже.

Немец подымался с чемоданом в руке по приятно поскрипывающим, навощенным ступенькам.

При дневном свете Гохман снова как бы преобразился: снял очки, и его открывшееся лицо оказалось заурядным. Он мог бы сойти за коммивояжера, из тех, что ездили по деревням и селеньям, предлагая эликсир «Самая длинная коса на свете» — средство для ращения волос или цветные портреты в рамках, выполняемые с фотографии за две недели, а также на фарфоре — кладбищенский вариант. Может, у шпиона и должна быть такая внешность? Никакая?

— Могли бы вы уделить мне минуту внимания? — спросил немец каким-то странным тоном, оглядывая будуар.

— Слушаю вас.

— Зачем я привезен сюда?

В голосе немца все же появилась новая нотка. Какая? Адам внимательно прислушался и определил, что это возмущение.

— Мы были вынуждены удалить вас из пограничной полосы,— сымпровизировал он,— по соображениям вашей безопасности.

Прозвучало это убедительнее, чем предполагал Адам. Гохман посмотрел ему в глаза испытующе и как бы с укором. Пожал плечами, но пилюлю эту проглотил, а Коссович решил развить успех.

— Из этих соображений я вынужден просить вас не покидать второй этаж.

Он подошел к винтовой лестнице и, перегнувшись через балюстраду, крикнул:

— Зенек! Заступай в первую смену, будешь спать с ним вместе наверху!

— Ей-богу, пан подпоручик, вы прямо-таки настоящий профессионал! — сказал Зенек. Он взбирался на второй этаж тяжело, словно восхождение стоило ему огромного труда.

— Его нельзя оставлять одного.

— Будет полный порядок!

— Лишь бы не сбежал,— проворчал Адам, стараясь изображать деловитость. Достаточно было взглянуть на Зенека, чтобы убедиться, как тот измотан. И мечтает принять душ.

— Не похоже, что собирается бежать. Впрочем, и мы не шляпы, чтобы проворонить,— бормотал Зенек, входя в ванную. Что-то там заскрежетало, забулькало. И сержант вышел разъяренный.— Воды нет! — крикнул он.— Матуля, ищи ведро, колодец во дворе...

(Окончание следует)

ДЕРЕК УОЛКОТТ

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Названья

I

Мой народ возникал как море,
без названья, без горизонтов,
шел из-под разных созвездий
с галькой под языком.

Здесь теперь мой народ —
скорбь левантинских глаз,
лоскутья индийских полей.

Я возникал без памяти,
я возникал без будущего,
не ждал минуты, когда
мой ум распахнут горизонты.

Я не дождался минуты,
не распахнули мой ум горизонты,
я, ювелир из Бомбея,
каменотес из Кантона,—
как леска с крючком, горизонты
тонут в моей памяти.

Так что же, мы канули в зеркало,
оставив здесь наши души,
ювелир из Бомбея,
каменотес из Кантона,
кузнец из Бенина?

Морской орел кричит со скалы —
мой народ возник как морской орел,
с орлиным криком,
с ужасным возгласом:
Я!

Над нами склонились все небеса,
как история над рыболовным крючком,
прибой отказал нам в правах,
лишь принес голую ветку —

© by Derek Walcott, 1978, 1979.
Стихи печатаются с разрешения издательства Farrar, Straus and Giroux.

чертить на песке свои имена
и равнодушно глядеть,
как их смывает море.

II

Что́ в названьях заливов,
этих заливов,
ностальгия или ирония?

Где была элегантность
в непричесанных чащах,
в неприглаженных травах?
Разве что в острословии.
Где здесь дворы Кастилии?
Колоннады Версаля
заменили капустные пальмы
с коринфскими завитками,
с уменьшительными значеньями,
так что словом Версальчик
тут называют свинарник,
или дикие яблоки,
или зеленые гроздья
изгнанья.

Память давно окислилась,
но имена остались;
смотрите, Валенсия светится
в фонарях апельсинов,
Майаро —
в обугленных канделябрах какао.
Люди — повсюду люди,
они не способны жить,
не признавая права вещей
на собственные названья.
Африканцы молча выслушивали,
повторяли и переиначивали.

Что говорят мои дети:
свиная слива — мубэн,
дикая вишня — шериз,
наш залив — бэй-ля,—
ярко-зелеными голосами
они обволакивают слова;
так обвевает ветер
изгибы наших тел.

Эти пальмы величественнее Версаля,
ибо не человек воздвиг их,
эти колонны величественнее Кастилии,
ибо не человек повалил их,
но червь, у которого нет короны
и который всегда царь.

Эй, дети, взгляните на звезды
над лесом Валенсии!

Это не Орион,
не Бетельгейзе —
кто знает, как они выглядят?
Отвечайте, чертовы арапчата!
Сэр, как светлячки
в черном меду.

Парады, парады...

В широкой пустыне люди идут
по старым путям, где шли караваны,
в широком море кили взрезают
старые верные меридианы,
широкую голубизну над горами —
след по старому следу — чертят
реактивные самолеты,
и по старинке политиканы,
люди без воображенья, топчут
тот же старый, угрюмый сад,
где фонтан иссяк у ворот,
а пальмы григри, точно козы, пьют
на заднем дворе из навозных луж,
все то же записано в Белой книге,
все то же объявлено в Белом зале [1],
и пробковые все те же шлемы,
только другие в шлемах болваны
напыщенно принимают парады
в День независимости, а танцоры
так же в калипсо кружат столицы,
и медно, бесстыдно гогочут тубы.

Почему прелестные чистые дети
в парадных формах этой страны
вдруг озадачены и смущены,
отчего им страшно, когда в их умы
гордость вколачивают барабаны?
Честнее ли были старые песни,
когда закон обитал вдали,
когда удобные, как подушки,
указы таинственной королевы
поддерживали порядок земли?
Мы ждем, что сменятся истуканы,
что кончатся эти парады, парады.

Вот он идет, вот он идет!
Папá! Папá! И за ним министры,
скользкие топчущиеся тюлени,
неловко взбираются на трибуны,
и ветер в горном ущелье хвост
вдруг прищемил, и волна встает
и кашляет громко, на целый свет.
Это молчанье кто назовет
почтеньем? Эти пустые осанны —
благоговеньем? Эти жестянки,
эти пыхтящие врущие трубы —
Возрожденьем? Найдите названье
тому, что сейчас выражают лица
избирателей. Объясните,
как это вышло и почему
я промолчал?

---

[1] Уайтхолл, резиденция английского правительства.

Из цикла ШХУНА «ФЛАЙТ»

Моряк поет о казуа́ринах

Ты видишь их на низких холмах Барбадоса,
стены от ветра, иглы для урагана,
высокие мачты с перистыми облаками
изорванных парусов; когда я был зелен,
как они, я думал, что шумные кипарисы —
они вбирают шум моря в свои ветви —
на деле не кипарисы, а казуарины.
Капитан говорит, что это канадские кедры.
Кедры они, кипарисы ли, казуарины —
кто дал им названье, имел на это причины,
он видел: они, как женщины, бьются в слезах,
когда после бури шхуна приходит с вестью,
что в море сгинул еще один моряк.
В слове самом «кипарисы» побольше смысла,
чем в слове «казуарины», хотя для ветра —
какое бы горе ни гнуло их — все равно;
он знает, что два назначенья имеют деревья:
стремиться к небу и сторожить могилу́.
А мы — мы живем нашими именами,
и надо быть колониалом, чтоб это понять
и боль истории распознавать за словом,
раболепной любовью деревья эти любить
и верить, что казуарины, как кипарисы,
гнутся под ливнем, подобно моряцким вдовам.
Они — классические деревья, а мы —
подражая названьям, которыми нас наградили
хозяева,— мы, может быть, станем людьми.

Схватка с командой

Ко мне пристал сент-винсентский [1] этот осел,
стервец наш кок — голубые жидкие глазки,
а морда красная, как эвкалиптовый ствол,
и так же лупится; он усвоил замашки
такие, как будто он белый. Вот эту тетрадку,
я ее держу при себе, никому никогда
не показываю, потому что пишу стихи,—
так он вдруг выхватывает ее из руки,
кричит: — Лови! — и швыряет туда-сюда
команде, и дразнит меня, как девчонку,
стихами. Бывает дело для кулака,
бывает для бляхи, бывает и для ножа.
Что ж, я сперва подобру попросил дурака,
но он все читал: — О дети мои! О жена! —
и команда смеялась. Дело как раз для ножа,
он выпорхнул серебристой летучей рыбкой
и вонзился в бедро; герой оказался хлипким
и рухнул на палубу, стал еще больше похожим
на белого. Я полагаю, меж мужиками
такое необходимо. Конечно, оно негоже,
но так уж водится. И речь совсем не о ране —
понавытекло крови, и Винси мне лучший друг,
и никто не рискнет дурить с моими стихами.

[1] Сент-Винсент — один из малых островов Вест-Индии. Отсюда прозвище **Винси**.

Из глубины

Назавтра мразный рассвет. И темное море.
(Сучий ветер скачет, как бабий ум.)
Волна вспучилась с гребнем, горный хребет
с каемкой снега.
— Эй, шкипер, в небе темно!
— Не дело для августа.
— Странный поганый цвет;
в небе сейчас должно быть чисто, как в поле.

Скат гонит сквозь волны плоское тело,
хлещет хвостом; военные корабли
вдвигаются в сушу. Мимо, мимо, как стрелы,
летучие рыбы. Винси кричит: — Берегись! —
и черногривый шквал налетает на парус,
как пес на голубя, шею ломает шхуне
и в пасти трясет добычу: ага, попалась!
— Сроду не видел такой неожиданной бури!
— Прямо из бокового кармана господня!
— Куда глядит капитан? Ему свет не мил?
— Винси, раз уж тонуть — потонешь сегодня!
— Шабин, помолись, если не все забыл!

Кого я любил, я, конечно, недолюбил.
Больней, чем копыта пролива Брыкливой Дженни,
ливень колотит по корпусу «Флайта» между
горами воды. Я что, потерял надежду?
Шесты дождя подпирали нависший мрак
и вдруг подломились, и небо по швам распоролось,
и я сквозь брызги услышал собственный голос:
— В ее соннике я и есть утонувший моряк.

Я вижу призраки кораблей и в морские
травы ввинчиваюсь саженью за саженью;
стиснул зубы, и мысль, что мои дорогие
в безопасности дома — единственное утешенье.
И силы мои приходят мне на подмогу
и говорят, что я из отсталой страны
и мой народ по сегодня боится бога.
Всемогущий, брашпилем воли своей подыми
в воздух со дна беспокойного Левиафана,
он колеблет море! — Это осталось от веры,
ее я в детстве узнал в методистской церкви
на Чизел-стрит, когда колокол с китобоя
пел о службе, и мы на скамьях, как в клетке
китовых ребер, гордились горькой судьбою
и пели, как море щадило наших отцов;
я это вспомнил и был ко всему готов.
Но буря осталась лишь в бороде капитана,
на мокром лице и в разъеденных солью глазах —
этот негр был распят на мостике у штурвала,
пригвожденный, друг, точно Иисус к кресту,
и ранами глаз как будто оплакивал нас;
я вливал в него ром, а туша Левиафана
шевелилась, и «Флайт», как воришка, дрожал от страха.
Каторжная всю ночь продолжалась вахта,
но проглянул рассвета красный и ясный глаз,
и сделалось легче, стало легко дышать.
К полудню в море райская тишь-благодать.

Море ~ наша история

Где ваши пророки, памятники и походы?
Где память народа?
Сэр, в этом сером склепе. В море.
Море — наша История.

В Начале хаос, волны кипели
тяжко, как масло;
потом, как проблеск в конце тоннеля,

фонарь на каравелле,
это уже из Бытия.
Потом переполненный трюм,
стоны, смрад, толчея:

Исход.
На коралловых рифах мозаика из костей,
По ней
проплывает благословенье акульей тени,

и это Ковчег Завета.
Море перебирает на дне
струны дневных лучей,

звучные арфы Вавилонского плена,
а наручники раковин на руках
утонувших женщин — запястья

слоновой кости,
и это Песнь Соломона;
океан все листает пустые страницы —

но где же История?
Потом с глазами тяжелыми, как якоря,
появлялись и пропадали в море

убийцы,
на вертелах запекали туши коровьи,
обгорелые ребра оставляли на взморье,

потом прилив проглотил Пор-Рояль,
это был наш Иона —
но где же ваш Ренессанс?

Сэр, взгляните на взмыленную межу
рифа, он там, под гладью водных пространств,
где проплыли военные корабли;

нацепите маску, я вас провожу.
Все так зыбко, подводно,
сквозь колоннады, мимо готических окон —

это все построил коралл,
а вот ониксоглазый окунь
моргает, в латах, словно лысый король;

а это пещеры,
взгляните — крестовые своды,
это наши соборы,

а когда собираются ураганы,
в пекле — наша Гоморра.
Ветряные мельницы превращают
кости в муку и пыль,

это плачет наш Иеремия —
это всего лишь Иеремия,
где же История?

Потом, как пена на дне иссякающей речки,
красный камыш деревень,
срастающихся в города,

на закате хором поет мошкара,
и над нею церковный шпиль
по Писанью пронзает ребра Христа,

это и есть наш Новый Завет.

Потом появляются белые сестры,
рукоплещут прогрессу моря,
и это Деколонизация —

эмансипация, о ажитация,
иссякшие вскоре,
как кружево моря на солнце,

но это была не История,
это слепая вера
и на каждой скале внезапно отдельная нация;

потом на собранье слетелись мухи,
потом председателем стал журавль,
о праве голоса забрехали собаки,

светлячки понесли свои светлые мысли,
как послы, замелькали летучие мыши,
богомолы построились, как полисмены в хаки,

и мохнатые гусеницы, как судьи,
поползли, изучая людские судьбы,
и тогда вдруг папоротник услыхал

и соленые озерца между скал
услыхали отчетливый звук, а не призвук
Истории —

это и было Начало.

■

МАНЛИО АРГЕТА

День из ее жизни

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского АНАТОЛИЯ МИНИНА

Половина шестого утра

Каждый божий день в пять утра я уже на ногах. С петухами просыпаюсь. А услышу, как пичуга со свистом по темному небу скользнет,— встаю.

Это кларинеро[1] пролетает над ранчо и будто подает сигнал: «Пора-пора!» Меня-то будить не надо. Но кларинеро — птаха ранняя, шумливая — кого хочешь поднимет.

Когда мне вставать, я и сама знаю, но есть чем и проверить себя: щели в стенах. Стены моего ранчо из тиуилотовых жердей; этих деревьев, тиуилоте, у нас много растет, стволы длинные, но жерди из них очень ломкие, и потому часто приходится их менять. И все же тиуилоте хорош: прожорливые термиты-комехены его не едят. Другое вот дерево насквозь источат, никак от них не избавишься, только в одном месте выведешь — они в другом тут как тут. Так и жрут, пока не погубят балки и столбы. Без крыши над головой недолго остаться.

Вот в щели между жердями я и подглядываю за ночью.

Когда долгое время спать ложишься под одной и той же крышей, то все вокруг становится каким-то близким, родным, что бы это ни было. Люблю смотреть на рассвете в небо, когда ночь уходит, а день ее настигает. Вот в одну из щелочек заглянет первая утренняя звездочка. Робкая, но игривая. Блеснет и тотчас же исчезнет, а затем уже заиграет вовсю. Но пока до щелочки не доберется, ее не увидишь. Утренние звезды — словно луна или солнце — по небу гуляют.

Да, свет приблизился к хорошо знакомой мне щелке. Значит, четыре, и я, понятно, уже проснулась, хотя вставать не хочется, рано. Лежу в полудреме, прижавшись к Хосе грудью, если холодно, и спиной, когда жарко, и разглядываю, как по небу плывут облачка, похожие то на скорпиона, то на плуг, то на красивые белые цветы — глаза святой Лусии — и еще на всякую всячину.

Вот снова птичка летит. Опять кларинеро. Сам себя выдает: «Пио-пио». И в лучах зари перышки у него так и горят, переливаются. Сверкает кларинеро потому, как говорят, что живет возле кладбищ. Люблю на кларинеро глядеть, когда он летит и посвистывает. Много всяких птиц пролетает на рассвете, но кларинеро ни с одной не спутаешь — выделяется среди всех своими иссиня-черными сверкающими перьями.

Но вот небо алеть начинает, словно разлилась кровь убитой птицы. Из-за холма выглядывают первые солнечные лучи. Яркие,

© Manlio Argueta, 1980.

[1] Птица семейства воробьиных. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

сначала они искрятся словно головешки в темноте. Ну как тут не скажешь: «Красота-то какая! Получше мантии пресвятой девы!» Понемногу небо светлеет, делается прозрачным, как вода в колодце, когда в ней полуденное солнце отразится. Как на ладони все видно. Вот стеклышки цветные — осколки от разбитой бутылки. А в глубине облака плывут. Облака — это божья обитель.

Каждый день любуюсь я такими картинами. Запомнились они с самого раннего детства, когда мне еще лет восемь или десять было. В ту пору я и про Хосе узнала.

Меняли в стенах жерди, а небо не менялось, не менялись и щели между жердями, и утренняя звездочка, за которой я всегда слежу, тоже не менялась. Да и сама я все такая же.

Как сейчас помню, сижу я за плетнем, разглядываю свои остренькие груди, будто птичьи клювы, и слышу:

— *Донья Рубения! Лупе-то у тебя с каждым днем все краше!*

Он на меня обратил внимание, когда я совсем глупенькой девчонкой была.

— *Поздоровайся с доном Хосе. Ну, не будь дурочкой. Ты что, язык проглотила?*

Вот с тех пор я и начала рано просыпаться и, вглядываясь в страшную ночную темень, думать о Хосе.

А когда развиднеется, мне веселее становится, кажется, будто листочки на дереве светятся. На самом-то деле я грустить не люблю. Правда, пугаюсь очень, когда мне про сумерки или про ночь говорят.

И вот эти слова тоже хорошо помню:

— *Я подумал, пусть мне подарят Лупе, она жалеть не будет. А мне поможет, одному трудно.*

Помню, я вся зарделась от стыда, уже тогда я стала понимать, что значит «пусть мне подарят Лупе».

— Иди, иди, дочка. Не видишь, взрослые меж собой разговаривают,— сказала мама. И я убежала в коридор, откуда было почти все слышно.

— *Знаю, молоденькая она еще, да потому-то и нравится. Хотя еще и девчонка, а уже как большая. Я ее не обижу.*

И опять перед глазами встают картинки знакомые: взглянешь наверх — яркие точечки словно искорки, как от петушка, когда его палишь, летают. Облака все ярче алеют, будто раны кровью наливаются. Рана — она и есть рана. А ночь никак уходить не хочет, и от ее сырости я начинаю дрожать. Точно так же, как дрожат покрытые холодной росой листья тамаринда. Известно ведь, что если холод заставляет дрожать другого, то и тебя забирает. Зубы начинают стучать, по коже мурашки бегают, в озноб кидает, и волосы дыбом встают. Вся дрожишь и дрожишь без конца. Матерь пресвятая, дева непорочная! Прочтешь молитву — глядишь, и приободришься немножко. А куда деваться-то? Страх — он и есть страх.

В ту пору ты первый вставал. Я слышала, как ты по малой нужде шел под манговое дерево, как потом перед уходом доставал мачете из чехла и, поплевав на пальцы, проводил по острию рукой, пробуя, годится ли оно для работы.

А трусливой я все же была немножко, наверное потому, что семья у нас такая. Росла я одна среди братьев. Опекая меня, они, сами того не желая, только страх на меня нагоняли. То и дело от них было слышно: «Смотри не ходи туда, не лазай сюда, вечером не выходи». Одним словом, нянчились со мной, ведь была я в семье единственной дочкой.

Вот и получилось — как увижу улитку, так в комок и сожмусь, особенно если она еще с рожками на голове и вся в зеленых пупырышках. На огород ночью и то заглянуть опасалась, так и чудилось, что из травы вся нечисть вылезает.

Люблю я вставать на рассвете, На душе как-то весело. Это, наверное, потому, что я свет очень люблю, а особенно ранний сверкающий луч солнца, которое в шесть утра выходит из-за зарослей и потом взмывает вверх по горам воздушным змеем и зажигает фонарики на зеленых листочках лимонных деревьев и тамариндов.

Здравствуй, день!

С богом ложусь и с богом встаю, уповая на бога и святого духа.

Надеваю темное платье — я все еще ношу траур по матери. Вообще-то мне нравится рисунок из черных горошин или цветочков на белом фоне, только обязательно черных, такой обет я дала, когда мама умирала. У меня и всего-то три платья. А черную юбку я ношу еще и потому, что грязь от поросят на ней не так заметна. Они ведь жмутся к тебе, когда их кормишь. Хотите верьте, хотите нет, но поросята — самая прожорливая животина, когда их кормишь, они толкаются, так и норовят пролезть один вперед другого.

Ну что ж, теперь к колодцу пора. С десяток ведер вытянуть надо: самим помыться, пойло сделать, ачиоте[1], которое в патио посажено, полить. С водой нам здорово повезло. У себя во дворе нашли, и совсем неглубоко. Колодец у нас одних только и есть. Остальные за водой на речку или в ущелье ходят, а на рытье колодца не хотят тратиться. Нам тоже было бы это не под силу, если бы не Хосе. Заметил он, что во дворе один клочок земли всегда сырой и травка тут круглый год зеленая, и говорит мне:

— *Здесь вода, Лупе. Я зря болтать не буду.*

А мне тогда еще подумалось: «Ну и пусть вода. Все равно на колодец денег нет. В нашем Чалате иметь воду во дворе вовсе не обязательно, река недалеко, а если из реки не хочешь брать, иди в ущелье.

— *Тебе полегче будет. Ходить не придется.*

Что верно, то верно. За водой тащиться все же порядочно, побольше километра будет. Правда, ущелье ближе, но зато вода в нем не всегда чистая, особенно когда дожди начинаются. Да и опасно тоже: вода с гор потоками катится.

— *А чем ты мастеру за колодец платить будешь?*

Но Хосе сделал все сам, своими руками. Вода была совсем неглубоко, потому травка и зеленела круглый год.

— *Поросятам с водой раздолье. Летом от жары не подохнут.*

Уж если про воду, кстати и о мыле. Чего-чего, а мыла самодельного из плодов хабонсильо — мыльного дерева — у меня вдосталь. Мыло что маис, без него не проживешь. Не только вши, но и перхоть от него пропадает. Волосы мягкие, шелковые становятся. Гребешок легко скользит по ним, не ломается.

Раньше, бывало, Хосе мне говорил:

— *В воскресенье я помогу натаскать воды из ущелья.*

Так вот мы вместе и наполняли врытую у очага бочку. А теперь я одна справляюсь. Работа не тяжелая. Четыре раза перехватишь веревку — и ведро наверху. Десять ведер вытянешь, и хоть бы что.

— *Мужское это дело,* — говорила я ему раньше, когда приходила с реки с кувшином за спиной. Одним словом, с водой нам повезло здорово.

— *Ну вот, а ты еще не хотела, чтобы колодец был.*

Да разве я не хотела!

А вот и кларинеро опять черной стрелой пронесся по золотистому небу. «Пио-пио», — кричит. Значит, уже половина шестого. Звездочки на небе в это время гаснут, остаются только самые большие и круглые.

Всегда перед утренней зарей осеняю себя крестом. С богом ложусь и с богом встаю. Привычка такая. Отчего — не знаю, но когда

[1] Тропическое деревце, зерна плодов которого используются в фармацевтике, употребляются в качестве приправы к пище.

солнышко заходит, я как-то слабею сразу, духом падаю, правда, ненадолго. Может, это у дня такая сила чудодейственная, накатывает она потоком светлым.

Пора уже и кофе ставить, совсем рассвело. Куры с насеста попрыгали. Разгуливают по двору, камушки и скорлупу поклевывают. Кудахчут — маисовые зернышки просят. У петушков зобы надуваются. Все зашевелилось под солнечным светом. Из дома доносятся голоса проснувшихся ребят. Это они тебя вспоминают, в это время ты всегда их будил, пошлепывая легонько.

Съедят они по маисовой лепешке, запьют кофе и в новых сомбреро, которые Хосе им на рождество подарил, отправятся, захватив мачете, на работу в поместье. Даже нашу песенку запоют: «С насеста курочка сошла, на работу нам пора».

Такая вот и есть жизнь наша. Другой не ведаем. Потому и говорят, что мы счастливые. Не знаю. Слово «счастье» слышала, а что это такое? Откуда мне знать. Иногда мы веселимся, правда, но это совсем другое дело.

Принимаюсь за поливку. Хожу с ведром по огороду, поливаю лимон, горошек, перец, фасоль, а вот и сапоте взошел. Никто это деревце не сажал, видно, семечко случайно обронили. Теперь поросят накормить пора.

Поросята — наша копилка к рождеству, когда ребят приодеть надо. Потому всегда весь приплод и держим. Возни, конечно, с ними хватает, зато подработать можно. Особенно если дону Себастьяну, который на развилке живет, продать. Он тамали[1] со свининой делает.

— *Упрямая ты, Лупе, поросята все кругом изроют, весь двор загадят...*

Хорошо еще, он не знает, что они в дом лезут, ларь с маисом взломать пытаются. Прожорливая скотина, что и говорить. Да ведь только на них и надеешься, когда придет день и попросят ребятишки рубашку или штаны праздничные купить. Отказать-то им не откажешь. На рождественской неделе все приодеваются. Каждый ждет подарка.

— *Мое это дело. Я за ними хожу. А если туго приходится, так от этого никуда не денешься. Все равно ребятам что-нибудь да купить надо. Хотя бы свистульку глиняную.*

И правда, покупаем мы только свистульки. Дешевые они. А все равно сколько радости! Все рождество только и слышно: фьють, фьють.

— *Ну, дело твое, раз, по-твоему, без поросят не обойтись.*

Это уж верно — дело мое. В ноябре по хорошей цене продать мясо можно. Часть выручки идет на игрушки. Другая — на книжки, тетрадки и карандаши тем, которые в школу пойдут. А старшим надо одежду купить, чтобы они как люди в воскресенье по улице пройти могли. Они уже тоже гордые, и в лохмотьях на улицу их не выгонишь. Тем более они уже сами зарабатывают и все до последнего сентаво мне отдают.

Попозже, когда солнце выше поднимется, иной день я хожу на развилку за покупками. Всегда чего-то надо купить: то соли, то кофе или гостинец какой вроде леденца, молока кокосового или пастилок. Ребята любят это, особенно когда усталые после работы приходят. Только маис нам покупать не надо. Своего на год хватает, и даже остается несколько фунтов соседям на продажу.

От дома до развилки, наверное, с километр будет. Там у дона Себастьяна лавка. Он нам в долг дает, и цены у него поменьше, чем в городе. Хосе каждый месяц ездит в город, чтобы купить то, чего нет в лавке у дона Себастьяна: соду — маис варить, лекарство от живота какое. Одним словом, что нужно и что лучше привезти из города.

---

[1] Пирожок из маисовой массы, завернутый в банановый лист.

Перед тем как уйти, я ставлю фасоль на огонь и на всякий случай набираю еще несколько ведер воды. Днем пригодится. Все это я делаю, пока младшие еще в школе, а которые постарше — с отцом в асьенде работают или плантацию расчищают, сажают что-то.

В эту летнюю пору только и работы, что поля расчищать, землю к посеву готовить. Раньше не так делали. Поджигали стерню, да и все тут. Но потом приехали какие-то городские и сказали, что огонь землю губит, что лучше ее вручную очищать от сорной травы и стерни. Нам-то от этого только лучше, можно заработать побольше. В эту пору все, что убирать нужно, уже убрано и землю под новый посев пора расчищать. Дело выгодное. Асьенда рядом, да и хозяин, как говорит Хосе, подходяще платит.

— *Я хочу, чтобы все наши дети обучились грамоте, чтобы им не пришлось, как нам, батрачить, чтобы они не мучились, как мы, особенно в мертвый сезон, когда малых кормить нечем, чтобы они не только на фасоль и рубашку к страстной неделе могли заработать.*

Дети — наша надежда под старость. По крайней мере будет кому руку протянуть, если у тебя уже сил работать не станет и ты всем будешь помехой, только и останется что подохнуть. Совсем другое дело — когда у тебя дети есть.

Я согласна себя не жалеть, чтобы ребятишки могли в школу ходить, чтобы они не остались неучами, которых все обманывают. По правде сказать, мы, родители, можем каракули выводить и даже подписаться можем, только чтобы не значиться в документе неграмотными: «Читать умеете?» — «Да».— «Писать умеете?» — «Да».

А на самом деле читаешь по складам, да и то не все. Вот уже несколько лет, кроме надписей на пакетах в лавке, я ничего не читаю. А эти надписи я наизусть знаю. Бывает, конечно, взгляну на цифры и буквы, которые ребята пишут, когда уроки делают.

А вот Хосе, которого дома почти не бывает, наверное, и слогов не составит. Никогда я его не спрашивала, не разучился ли он читать. Да и зачем ему это? Ему только мачете в руки. Так вот он и живет.

Мои родители только в первый класс меня в школу и посылали. Не потому, что не хотели, нет — семья большая, детей много, а девочка только я одна. Надо было маис варить, зерно молоть, лепешки печь, носить их братьям в поле, где они работали. Братья мои вместе с отцом как проклятые днями спины гнули. То урожай собирали, то поля расчищали. А нам с мамой дела по дому оставались.

Нас четырнадцать всех было: мама с папой, одиннадцать братьев и я. Да еще трое умерли от родимчика. Помню, как последнего отец подвесил за ноги, чтобы кишка на свое место встала. Да не помогло. Рвота так и не прекратилась, пока ребенок не посинел. Как начнется, уж спасенья не жди. И до года все трое не дожили. Дети умирают маленькими. Косточки у них еще мягонькие. Чуть недосмотришь — рвота. Вот ею они и захлебываются.

Священник говорил нам, что дети в рай попадают. Мы и успокаивались. Всегда и во всем с ним были согласны. Одна только была забота: чтобы один за другим не умирали; окрестить бы успеть. Если не успеешь — худо, потому что дитя с первородным грехом на свет появляется. И если так и умрет с этим грехом, то в чистилище попадет. Не страшно и в чистилище, но все-таки это место наказания, там всегда пламя горит, хоть и не очень жаркое.

Так нам падре говорил, когда наезжал сюда. Вот мы и знали, что, как только у ребенка рвота начинается, надо скорее бежать за кумом, чтобы успеть окрестить.

Без четверти шесть

Однажды я камень в лягушку бросить захотела. Тут-то я и поняла, что такое голос совести. Хорошо все помню, двенадцать мне

тогда исполнилось, и я перемену уже почувствовала в себе, женщиной стала.

Подошла я, замахнулась и хотела было бросить, как вдруг слышу голос совести: «Не кидай в лягушку камень. Что она, бедняжка, тебе сделала?»

Я так и замерла на месте. Чувствую, будто это чужой голос, откуда-то изнутри идет. Напугалась и подумала, что это, верно, наказанье божье. «Это грех»,— сказал мне голос. Пальцы мои ослабли, камешек выпал из руки и, чуть по затылку меня не стукнув, прокатился под платьем по спине. А рука так и осталась вверху.

Голос этот всегда с нами. Даже когда спим, он что-то говорит нам, предостерегает нас. Потому мы и всхлипываем во сне по-настоящему, словно наяву. Голос совести — это и есть сон. Вернее, не сон, он только похож на сон. Во сне мы все в розовом цвете видим. А голос совести — он суровый, приятного в нем мало. Таким голосом всегда выговаривают: «Этак не делай, делай так, это грех, нельзя». Одним словом, сам себе не хозяин.

Когда камень упал позади меня, лягушка высоко подпрыгнула и нырнула в зеленую лужу. Напугалась я, конечно. И опять слышу голос: «Бросишь камень в лягушку — она тебя молочком обольет и кожа у тебя ссохнется, будет такая же, как у лягушки, грубая, морщинистая». Выходит, голос совести советы добрые дает, даже если и не просишь.

Хорошенькую он мне службу сослужил, этот голос, когда Кадэхо[1] обернулся. Понадобилось мне как-то на развилку за шнуром сходить. Ну и заболталась я там до темноты до самой. Гамак мы чинили, а шнур кончился.

— *Сходи купи, а то я устал чего-то очень,*— сказал мне Хосе,— *да поспеши, поздно уже.*

Смахнула я пот полотенцем и побежала на развилку.

— *На ночь глядя пришла, дон Себас.*— Хуже всего, что и бечевки-то у него не оказалось.

— *Погоди, Лупе. Возьми вот этот фонарь, а завтра мне его пришлешь. Не дай бог в темноте оступиться да ногу поломать.*

Я еще спросила, сколько же у него фонарей и как сам он без света останется.

— *Ничего, мы уже ложиться спать собираемся,*— ответил он.

— *Ой, дон Себас, ничего не вижу, будто курица слепая,*— сказала я. Еще раз поблагодарила — и скорее к дому. Еще помню, подумала: «Фонарь-то все равно потухнет».

Надо бы мне сразу, как пришла, уйти. Да как не поболтать с женой дона Себаса. За разговорами и не заметили, что совсем стемнело.

— *Как хочешь, можешь фонарь и не брать. Только потом не скажи, что я жадный.*

— *До свидания, Конча,*— успела я крикнуть и помчалась во всю прыть.

— *С богом,*— донесся ее голос, когда я уже почти добежала до дороги.

«Вот сейчас пригляжусь к темноте,— думаю про себя,— и горя мало».

А Конча кричит мне вслед:

— *Смотри с дьяволом не повстречайся.*

— *Что днем, что ночью на него нарваться можно,*— успела я ответить.

Тут на меня такой страх нашел, что поджилки затряслись. «Пойду-ка я по траве,— думаю,— мягко, как по ковру. Да и ямок там нет, где трава сакате конэхо растет».

[1] По народным поверьям, чудовище со сверкающими глазами, длинной, густой, черной шерстью, преследующее по ночам людей.

И вот тут-то вижу: прямо мне навстречу — огромный зверь. И говорит он человечьим голосом: *«Не ходи по сакате конэхо!»* Узнала я этот голос. Тот самый, которым совесть говорит. Но по запаху апельсиновых цветов поняла, что это голос Кадэхо. Он любит под апельсиновыми деревьями валяться, потому от него и запах такой.

«И чего этой собаке надо?» — подумала я, чтобы подбодриться немного. Хорошо ведь понимала, что это вовсе не собака. Но страх прошел. «Значит,— подумала я,— это добрый Кадэхо. На людей он страх не нагоняет, ему доверять можно». Говорят, что, если со злым Кадэхо повстречаешься, от одного вида его можно в штаны напустить.

И опять услышала голос: *«Сверни в сторону!»* Конечно, я тут же свернула. Он сразу же исчез. И только я несколько шагов по голой земле ступила, чувствую — под ногой что-то холодное. К счастью, успела отскочить вовремя, и ядовитая чинчинторе — а это была она — укусить не успела. Слышу, шипит где-то близко.

— Сгинь, окаянная,— прошептала я да как припустилась бежать. А позади она все шипела. Видно, гналась за мной. «У, проклятущая»,— подумала я.

Так что голос совести спас меня от змеи шипучей. Он и дорогу мне указал. Он все знает. И появляется неизвестно откуда. Потому я и говорю, что он с тобой и не с тобой.

Шесть часов

Из Чалате мы. Наше селение неподалеку от Чалатенанго[1]. Песни у нас петь любят. И смеяться даже просто так — тоже. Почти все мы бедные, но за беду это не считаем, хотя и не согласны, что заслужили такое. Мы про это и не думаем никогда, потому что давным-давно, испокон веков жили здесь точно так же. Ничего не менялось. Все мы друг друга знаем и друг другу ровня: и те, у кого повозка есть, и те, у кого, кроме мачете, нет ничего.

Возьмет иногда Хосе свою гитару да запоет такие наши песенки деревенские, что прямо за сердце берет. Или корридо[2] затянет: «И что стало со мной от твоей любви». Эту он любит больше других. А может, ее одну и знает.

Мы все любим наши деревенские песенки — слова у них красивые, понятные. А что и другие песни бывают, я потом только узнала. Это когда в нашу церковь парни со священником приехали. Они пели песни протеста — так эти песни называются.

Да, в последнее время все переменилось.

Раньше священники, которые приезжали мессу отслужить в часовне на развилке, только и делали, что все обещали. Говорили, чтобы мы не сокрушались, что на небо обязательно все попадем, что на земле надо жить тихо и скромно и что в царствии небесном обретем счастье. А на дела земные, житейские, дескать, нечего обращать внимание.

А когда мы говорили падре, что наши дети от глистов умирают, он призывал к смирению или упрекал нас, что не прочищаем каждый год ребячьи желудки. А сколько ни давай детям слабительного, они все равно умирают. Глисты кишмя кишат в них. Внутри все пожирают и даже через нос и рот вылезают. Когда мы приносили этих скелетиков с горящими глазами к падре, он нам говорил:

— *Смирись, раба божья, молись да церковь святую оделять не забывай.*

У меня один сын тоже вот так вот умер. Глисты его совсем съели, и поносом изошел. Две болячки сразу. Нам повезло. Только одного и схоронили.

[1] Главный город одноименного департамента на севере Сальвадора, ныне района активных военных операций партизан Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.

[2] Народная баллада.

— Ну, что у твоего дитяти?

— О падресито, понос у него, одной водой ходит...

— Может, прокисшим молоком напоила?

— Что вы, падре! Молока он совсем не пил.

— Тогда что же с ним?

— Глисты, падре.

— Дай ему слабительного, а потом корми хорошенько. Чем его кормишь?

— Днем отваром маисовым, а на ночь сладкой водой.

— Сколько, Лупе, твоему младенцу?

— Девятый пошел, падре.

— Тогда ему уже и сыру дать можно, раз он молока не пьет. Вместо молока это хорошо.

— В лавке у развилки творог продают. Это все равно что сыр, да на такое у нас денег нет. И опять же, хозяин моему Хосе говорил — мы-то и так без него знаем,— что от молока животы болят и что нехорошо ребят к молоку и мясу приучать.

— Это тебе хозяин сказал?

— Ну да, все про это знают.

— Ничего не поделаешь. На все воля господня.

— Окрестите его, падре.

— Но, дочь моя, ты же без крестного отца пришла.

— Падре, может, завтра не поздно? Я думала, что вы лекарство какое мне присоветуете. Хотела настоем чернобыльника живот ему промыть, да за этой травой в ущелье надо идти, а Хосе нет дома.

— Дочь моя, я сам сходил бы за чернобыльником, но он, знаю, не поможет. В таких случаях только глистогонное надо.

— А где, падре, нам взять глистогонное?

— Это уж твоя забота, дочь моя. Приходи завтра с крестным. Окрестим раба божьего на всякий случай.

И наставлял меня падре, чтобы я не теряла веру в святую церковь, что Христос тоже много мук принял, а если ребенка спасти не удастся, он в этом не виноват, он обязательно окрестит сына, чтобы тот прямо в рай, минуя чистилище, попал. Что нам делать оставалось? Только соглашаться со всем. На все воля господня.

Не всегда мы и оплакивали наших детей, потому что сердцем понимали, что лучше умереть, чем всю жизнь мучиться в этой юдоли слез. Падре нас так завораживал, что мы про все забывали и не плакали. Я тоже по сыну не плакала. Значит, так нужно. Спасибо господу богу за то, что взял к себе моего сыночка. Прав отец святой, который раз в полмесяца приезжал в Чалате и утешал нас в страданиях наших.

— Хорошо, что принесла его. Слабое дитя.

— Да, падре. Окрестите его.

— Ясное дело, для того мы и здесь, чтобы спасать души. Надо бы тебе дитя пораньше принести. Он сейчас скорее на том свете, чем на этом. Поздно ты собралась. И не пришло тебе в голову, что он по дороге умереть мог?

— Когда вы в последний раз, недели две назад, приезжали, он совсем здоровенький был. Я и не думала, что он так вдруг занеможет.

— Все вы на потом оставляете.

— Нет, падре. Я уже и крестного нашла.

— Ну, ладно. Подожди меня здесь. После мессы займусь. Дитя еще потерпит.

— Спасибо, падре.

И вдруг священники какими-то другими стали. Начали нас в кооперативы зазывать, чтобы помогать друг другу и урожай делить. Большое это дело — другим помогать, жить со всеми в мире, знать всех до единого, вставать до восхода солнца и идти вместе с сыновь-

ями на работу, поросят откармливать и яйца по хорошей цене в городе продавать, а не отдавать за бесценок дону Себастьяну. Он-то жук хороший, его не проведешь.

Все в селении пошло к лучшему. Проповеди и те другими стали, не как раньше, на каком-то языке тарабарском. Только и запоминали: «Dominus vobiscum» [1]. Но переделывали на свой лад: «Не донимайте нас, епископы, господь-то с вами, а не с нами».

Теперь во время мессы шутить и смеяться перестали, потому как священники нам глаза открывают. Один из них все время повторял: чтобы рай небесный заслужить, надо бороться за рай земной. Мы понимали, что так оно, конечно, лучше. Но все же спрашивали, почему прежние священники заставляли нас со всем мириться. «Забудьте про старых священников»,— отвечали нам молодые падре.

Но самым важным было то, что дети наши больше не умирали.

Не уберечь дитя — грех смертный. Теперь, чуть малыш заболеет, сразу бегут к падре. Да сами-то падре стали чаще к нам в Чалате приезжать. Страх перед ними пропал. Раньше мы их боялись. Думали, что это колдуны какие-то, которые, если захотят, убить всех могут. Говорили те хриплым голосом, грозили концом света или преисподней. Так и казалось, что летают они с места на место по воздуху в своих черных сутанах. И всегда-то они у нас курочек да маис выклянчивали. Отказывать им мы, конечно, не могли — отказать священнослужителю в чем-нибудь грехом считалось.

— *Падре, к страстной неделе курочку для вас откармливаем.*

— *Спасибо, Лупе. Но лучше раз дать, чем сто раз пообещать.*

— *Вот я и говорю, чтобы вы знали.*

— *Да не в этом дело. Или принеси цыпленка в следующий раз, или забудь, про что говорила. До страстной недели еще четыре месяца.*

— *Тогда на рождество я вам поросеночка принесу.*

— *А что я с ним делать буду, дочь моя? Ведь в дом епископский, где все мы живем, мне его принести нельзя. Курочка — дело другое. Ты же можешь дать мне ощипанную.*

— *Хорошо, падре. Поросятинку принесу. Только поджарить останется.*

— *Вот это другое дело. Но сама без мяса не окажись.*

— *Нет, падре, нет. Мне останутся ножки, голова, потроха да и кровь еще на колбаски.*

— *Твое дело, дочь моя. Я не могу заставлять вас приносить мне что-то.*

— *Да что вы, падре, для нас это удовольствие.*

— *Передай Хосе, чтобы поросят хорошенько кормил. До рождества три недели осталось, пусть мясцо нагуливают.*

Раньше священники страшнее ядовитой змеи представлялись. Упаси господи рассердить, обозлить кого из них. Такую мягкую тебе дорожку в ад постелят. Конечно, когда им это выгодно, они и добряками бывали.

— *Послушай, Лупе, скажи Хосе: если он не придет к мессе, то потом пусть лучше отпущения грехов не просит.*

— *На работе он.*

— *Работает в воскресный день?*

— *Ну да, падре. Уборка началась. Нельзя время упускать, пока работа есть.*

— *Значит, дома нет его?*

— *Нет, падре. Ушел в Санта-Теклу. Раз в две недели появляется дома.*

— *И вы одни остались?*

— *Он нас в январе заберет, когда сыновья смогут помочь кофе*

[1] Господь с вами *(лат.)*. — обращение католического священника к молящимся.

собирать. И я тоже пойду. Нечасто такое бывает, когда еще несколько сентаво подзаработать можно.

— Хорошо, Лупе. Возьми вот карамельки своим детям. Да пусть не едят все сразу. Давай им по одной, может, и до рождества хватит.

— Спасибо большое, падре.

— Да не забудь Чепе[1] привести. Скажи ему, чтобы ходил к мессе, раз он не масон.

После какого-то конгресса (что это такое и где он был, я не знаю) молодые священники, которые теперь стали чаще появляться в Чалате, сказали нам, что церковная служба нынче уже совсем другая. И верно, падре теперь приезжали в обычных брюках, и мы поняли, что они из такого же теста, как и мы. Только одеваются получше. И голос у них нормальный. Курочек не просят, а даже наоборот — нам дарят какую-нибудь городскую вещицу на память.

— Возьми своему малышу, — говорили они, когда бывали у нас.

Они приезжали в наше селение, заходили в ранчо посмотреть, как мы живем. А ведь прежде священники по домам никогда не ходили. Все в часовне делалось. Подъезжали к ней на джипе, отслужат мессу, опять садятся в машину и скрываются в пыли дорожной.

А новые священники ведут себя как друзья. Хотя они тоже на джипе до развилки приезжают. Они по домам ходят, расспрашивают, как живем, сколько в семье ребят, сколько зарабатываем и хотим ли жить лучше. Не понимали мы таких разговоров. И слова ихние не все понимали. Но это до тех пор, пока не создали первые кооперативы.

Стали мы зарабатывать побольше. Они нас учили, как хозяйство лучше вести, как яйца, кур и поросят продавать подороже. Конечно, мы и раньше кое-что умели. Не в том дело, что мы такие простофили, а в том, что у нас никогда ничего лишнего не было. Какие там доходы? Заработанные деньжата тут же и уплывали. Правда, к концу года удавалось собрать немножко, чтобы купить игрушку для ребят. А что еще я им могла купить? «Пускай, Лупе, они рты от зависти не разевают,— говорила я себе,— когда видят у других хорошие игрушки».

Вот в это-то время и случилось такое, чего раньше никогда не бывало. В Чалате стала наведываться национальная гвардия. А если она появилась — беда, каждый пулю схлопотать может. Стало быть, остерегаться надо. С национальными гвардейцами шутки плохи, они люди строгие. Нельзя, например, ходить с мачете в руке — наверняка прикладом огреют или большой штраф платить заставят. А где бедняку взять на штрафы денег?

Гвардейцы говорили, что незачем все время с мачете шляться. Ну а у мужчин наших привычка такая — без мачете ни шагу. Разве убедишь их, что если не на работу идут, то мачете брать не надо. А им как-то не по себе становится, если на руке мачете не висит. Начались всякие неприятности. Особенно по воскресеньям, когда мужчины гуаро[2] хлебнут. Национальная гвардия строгая. Не церемонится. Если какой шустрый за мачете схватится — живо прикладом усмирят. «Мачете в руке — руку отрубят».

И тот, кто им сопротивляется, понимает, на что идет. Национальная гвардия всегда порядок наведет. А кто не подчиняется, тех саблей или пулей успокаивают. В нашей округе раньше никогда не убивали. А если и находили убитого, то было ясно: дело рук гвардейцев. Люди в наших краях мирные, не задиристые и даже не пьяницы. Пропустят по глотку, и довольно. Головы не теряют. Хосе тоже изредка прикладывался, но понимал, что нельзя на это тратить монету, когда дома у тебя столько ртов голодных сидит. А еще он не пил много и потому, что в руководство кооператива вошел, сам решил. Так что с такими делами у меня забот не было.

[1] Ласкательное обращение от имени Хосе.

[2] Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

— *Ты куда, Чепе, опять с мачете?*
— *Дров нарубить...*
— *Смотри в оба. Гвардии на глаза не попадись.*
— *Похоже, они сегодня здесь не появятся...*
— *Может — воскресенье...*
— *Пронесет, Лупе. Не раз я от них уходил. Я их издали чую.*
— *Раз на раз не приходится.*

И вот гвардия начала говорить, что священники нас надувают, вдалбливают нам в головы чужие идеи. Если раньше гвардейцы проверяли документы и обыскивали, нет ли мачете, то теперь им этого было мало. Теперь они в первую очередь стали спрашивать, не к мессе ли идем, про что нам говорят священники в своих проповедях. Вначале мы ничего не понимали. Почему, за красивые глаза, что ли, мы должны выкладывать все начистоту. Если надо, пусть сами сходят и все собственными ушами услышат. Оказалось, что они просто запугать нас решили, чтобы мы поменьше в церковь ходили.

— *Вот идем к мессе. А какой у нас падре хороший, сеньор гвардеец! Вы бы только посмотрели! Совсем не такой, как прежние.*

Гвардейцы, наведя на нас автоматы, говорили нам, что эти сукины сыны, которые к нам приезжают, и другие, которые где-то там сидят, просто сопляки в сутанах, что они сбивают нас с пути истинного, учат властям не подчиняться. Потому в часовню лучше не ходить. А когда по воскресеньям мы стали пробираться на развилку по зарослям, они там засаду устроили. Выскакивают неожиданно из своего укрытия, документы требуют, расспрашивают, куда идем, не на мессу ли.

— *Чтобы на священника поглазеть, эти сучьи дети принаряжаются, даже рубахи белые надевают. На это у них деньги есть. А вот детей своих накормить у них денег нет.*

А мы делали вид, будто это нас совсем не касается. Знали, с кем дело имеем. Подлюги они хорошие. Если мы молчали, дело кончалось только руганью. Нас просто запугивали, чтобы мы в церковь не ходили.

А нам-то что? Шли как все верующие. Правда, и Чепе и я не такие уж и верующие, но в часовне чисто, красиво. Почему не сходить туда в воскресенье? Нам нравилось, как говорил падре, мы чувствовали, что начинаем кое-что понимать.

Свою злобу к священникам гвардейцы на нас срывали. Трогать падре они не трогали, где-то в глубине души у них таился страх. А почему? Да потому, что гвардейцы такие же, как и мы, католики и почти все из крестьян. Разница только в том, что гвардейцы учились, а мы нет. Они в школу ходили. Попасть в гвардейцы не так просто, учиться нужно. Потому они такие чванливые. Учились охранять порядок, законы заставлять исполнять. А законы всегда суровые. Говорят, что только так всех и можно заставить законы соблюдать. Много ведь людей есть, которые по-хорошему не понимают. Говорят, что и мы только по-плохому понимаем. Как же это так? Я, например, никогда никому ничего плохого не сделала. И Хосе, и дети мои тоже. Зло ведь не спрячешь. Оно всегда там, где не ждешь, наружу вылезет. Они за частную собственность стоят. Дело это святое. Мы можем до кровяных мозолей работать, но взять чужое — это уж нет, никогда. Мы — честные люди. Честные до конца.

А священников они, гвардейцы, боялись. Боялись потому, что те не молчали и в проповедях осуждали темные дела, которые творились на дорогах. Напоминали гвардейцам, что деньги им платят не за то, чтобы над народом измываться.

Но с них как с гуся вода. В одно ухо влетело, в другое — вылетело. Облавы теперь и средь бела дня пошли. Нас за людей совсем считать перестали. А потом они на самое худое решились.

Мы прямо чуть со страху не померли, когда узнали, что за нашим селением у дороги полуживого священника нашли. Лицо так изуродовали, что и узнать нельзя, тело исполосовали ножами. Кто-то из наших деревенских шел по дороге и вдруг слышит стон из оврага. Заглянул и видит: человек лежит голый, в зад палка вставлена, а рядом на кусте сутана, в клочья разодранная, висит. И стонет, бедняга, еле слышно. Узнали мы про это и бросились бежать к тому месту. Вытащили его на дорогу поскорее и с попутной машиной в больницу отправили.

Вот тогда-то я и поняла, какие мы стали сильные. Никто не запричитал, никто не заплакал. Только про себя каждый с болью в сердце подумал: несчастный. Такое и вообразить мы никогда не могли. Теперь нам только огненного дождя не хватало, да чтобы мыши стали нападать на кошек.

Обгоревший джип священника мы нашли неподалеку, в соседнем овраге.

Десять минут седьмого

От церкви мы никогда ничего не получали, только давали ей. Давали, конечно, немного. Это точно. Священники утешали нас. Но нам никогда и в голову не приходило винить их за нашу жизнь. Если у нас умирал ребенок, мы верили, что он в царствие небесное попадет. И у нас по крайней мере на душе было спокойнее. Священники наши всегда были толстенькие, холеные. Мы никогда их не спрашивали, счастливы ли они. Какое нам дело до чужой жизни, тем более жизни священника. Обещали они нашим детям кущи райские на небесах — мы им верили. Нисколько не сомневались.

А когда появились другие священники, мы тоже стали меняться. Ведь как хорошо узнать, что есть что-то такое, что правом называется. Право лечиться, право сытым быть, не голодать, право посылать детей в школу. Если бы не священники, мы бы так и не узнали, что такое на свете бывает. Они нам прямо глаза открыли. А дальше мы сами пошли, выучились на все по-своему глядеть. Молодой священник, которого на дороге изуродовали, больше не приезжал к нам. Потом мы узнали, что он за границу уехал, потому что его убить грозились.

Нам стало лучше, а другим хуже. Особенно хозяевам асьенд. Они ведь больше всех пострадали, когда мы свои права потребовали. Теперь они тратили больше, а получали меньше. И еще одна штука. Узнав про то, что правом называют, мы перестали перед хозяевами головы опускать, когда они нас бранили. Научились смотреть им прямо в глаза и будто на несколько сантиметров подросли. Ведь опустив голову, человек ниже становится, а когда он ее поднимает, то и дух у него поднимается.

Через несколько месяцев приехали новые молодые священники и опять то же самое говорить стали. Мы понимали все больше и больше. Когда-то набожному Хосе не стоило труда подружиться со священниками.

— *Надо в кооператив вступать, легче будет.*

У каждого человека много всяких зеленых надежд в душе, но бывает, что они и созревают.

— *А с чем вступать будем, если у нас нет ничего?*

— *Ну, хотя бы с поросятами,*— отвечал он.

Курочек можно побольше завести. Каждое яичко опять под курочку. Маленьких поросят забивать не будем. Пусть растут. Так вот и доведем до четырех дюжин кур. Яиц много будет на продажу через кооператив.

Иногда в часовню городские приезжали и пели песни про бедных. Мы все больше и больше понимали, что нас обманывают, что правда совсем другая. Каждый должен быть добрым, но добрый — это не значит покорный. И в памяти вставал молоденький священ-

ник, которого чуть до смерти не забили. Если творят такое с падре, которые только перед богом держат ответ, то что они с нами могут сделать? После вечерней молитвы на улицу стало лучше не показываться и уж конечно не ходить на развилку. Не потому, что до нее далеко, а потому, что гвардейцы там до семи с лишним вечера сидят, пока не уйдет последний автобус в Чалатенанго.

И не дай бог стопку опрокинуть в неурочный час. Понятное дело, что и Хосе раньше тоже любил промочить горло. А теперь бедняга мучился оттого, что не мог сходить на развилку и поболтать там немного со своими друзьями. У Себастьяна торговля хуже пошла. Посетителей стало меньше. Теперь дон Себас спешил поскорее отправить по домам мужчин и пораньше закрыть лавку.

Власти не появлялись в Чалате две недели. Знала кошка, чье мясо съела. Потом снова объявились. Начали с дома дона Себастьяна:

— *Приезжал ли кто-нибудь из священников, сукин сын, в часовню мессу отслужить?*

Дон Себастьян не спешил с ответом. А что ему было делать? Хоть с нас за товары он и брал немало, но всегда был заодно с нами, бедняками.

— *Видите ли, после случая с падре Лу́ной никто больше сюда не приезжал. И часовенка, вон она, запаршивела. Люди даже близко к ней не подходят.*

Гвардейцы, конечно, знали, что Себастьян здешний и с нами заодно, и потому ему не поверили. Они решили его подловить:

— *А кто, по-твоему, палку вставил этому священнику-коммунисту?*

Себастьян пошел к стойке, чтобы налить имбирного газированного из бутылок, которые он открыл, в кружки и не спеша ответил:

— *Никто не знает, чья это работа.*

А они подначивают, ловушки ставят вроде этой:

— *Надо же, вставить палку в зад священнику! Ну и злодеи.*

Теперь у дона Себастьяна на раздумье времени не было. К стойке за имбирным идти уже не надо, а ответа ждут от него. Тогда он, будто зевая, сказал:

— *Возможно,*— и отпил глоток имбирного.

— *У тебя что, язык отсох?*

Дон Себастьян засмеялся, другого выхода у него не было.

— *Все утро у меня зуб болел.*

Тогда они начали пиво ему предлагать. Но он ответил, что на работе не пьет. А они опять свое:

— *Мы же тебя угощаем!*

«В таких случаях,— рассказывал потом моему Чепе дон Себастьян,— лучше дурачком прикинуться».

— *Дело не в расходах, а в том, что мне как хозяину лавки нельзя пить. Могу барыши упустить. Потому угощайте не угощайте, а выпить не могу.*

«Если бы я беспокойство выказал, они сразу же поняли бы, что я их за нос вожу,— заканчивал свой рассказ дон Себастьян,— с вами другое дело, могу и выпить, а с этой публикой нет, не мог, потому что им выспросить каждого хочется».

Все это мне потом Хосе рассказал.

— *Видишь, Лупе, до каких пакостей доходят.*

— *Честных людей шельмуют,*— сказала я тогда Хосе.

А в другой раз, когда я в лавке была, дон Себастьян меня спросил:

— *Не знаю, рассказал ли тебе Чепе.*

— *Кое-что рассказывал.*

— *Говорят, что коммунизм — это когда всякие идеи в головы вбивают и что падре Луна был из самых настоящих красных.*

— Вот не подумала бы.

— Они говорят, что самое плохое — это коммунистические идеи да еще в церковь лезть с политикой.

— А что такое «политика» и «коммунизм», дон Себастьян?

— Это когда говорят, что сначала нужно на земле жизнь лучше сделать, а потом о рае на небесах хлопотать.

«Вот, Лупе, как раз этого-то власти и не терпят. Священники рассказывают, что во всем хозяева виноваты. Хозяева понимают, что народ бунтует потому, что священники его просвещают. Власти считают, что красный дьявол завладел душами священников и что виноват во всем этом один из этих пап римских, которого вовремя отравить успели. А если бы не успели, то все католики уже давно были бы коммунистами»,— так мне объяснял Хосе. «Раньше,— отвечала я ему,— священники нам на небесах рай сулили. Им и дела не было, что наши дети умирали. Была у нас больница — хорошо. Не было ее — тоже хорошо».

— И подумать только, что прежде священники из хозяйских вилл никогда не вылезали. Только там и сидели. Появятся к мессе — и к друзьям своим обратно.

— Про что я тебе и толкую, Лупе. Я власти не выгораживаю. Дело в том, что на другую сторону многие священники перешли. Вот власти и бесятся, что они народ просвещают. Если бы не вмешивались ни во что, ничего с ними не было бы.

— Христос учил: бедным помогать надо.

— Вот и получается, что они на хозяев насели, а те их на дух переносить не могут за то, что священники изменили своим благодетелям.

— Ну, дон Себастьян, вы вроде власти защищаете.

— Нет, Лупе. Я только тебе говорю про то, что они мне рассказывают, когда выпить ко мне заходят. Ты же знаешь, что в друзьях я у них по необходимости.

«Я вас понимаю»,— думаю я. Но одного я все же уразуметь не могу: почему власти на стороне богатых? Адольфина мне про это толковала. Например, сын Тичи — тоже власть. А мы все знаем, как Тича бьется за свой кусок хлеба и за то, чтобы прокормить внуков, которых ей оставили дочки, а сами в столицу за хорошей жизнью уехали.

В общем-то ясно. Другое дело — как это объяснить. Дон Себастьян, конечно, это тоже понимает. Может, и сама Тича догадывается. Бедняжка в отрепьях ходит. Того, что они с мужем зарабатывают, хватает только внуков прокормить.

Хосе тоже все это понимает, а кое-что даже и словами объяснить может.

Мария Ромелия

Я была со всеми, когда мы направились к банку за ответом на наше требование снизить цены на инсектициды и удобрения. Банк оказался закрытым. Только мы начали митинг, как вдруг кто-то закричал: «Разбегайтесь!» Ну мы и бросились кто куда. За нами рванулись восемь полицейских патрульных машин. Началась стрельба. Пулей мне левую руку поцарапало.

Добежали мы до места, где автобусы оставили, но их там не оказалось. Полиция угнала. Сан-Сальвадора мы не знали. Со мной братишка двоюродный был. Артуро. Никак отвязаться от него не смогла: поеду с тобой, да и все тут. Еще и пятнадцати ему нет, а такой настырный. Он мне говорит: «Надо в церковь идти, которая поближе». Кажется, это была церковь святого Хасинто. Но полиция на всякий случай, чтобы мы не могли в ней укрыться, уже ее заняла. Тут вдруг откуда-то появился тридцать восьмой автобус. Брат закричал: «Гляди, «Чалате» написано». Мы побежали к автобусу.

Повезло нам натолкнуться на маршрут, который недалеко от нашего селения проходит. «Садимся»,— сказала я брату. В автобусе народу было много. Сели и другие наши товарищи. Когда автобус пошел, мы услышали, что над нами летит вертолет. Автобус остановится — и вертолет тоже повиснет. Через окошечки это хорошо было видно.

На каждой остановке какая-то компаньера[1] высаживала группы людей. Она сказала, чтобы мы с Артуро выходили на следующей. Когда автобус затормозил, мы увидели полицейский радиопатруль сзади, а впереди — кордон из охранников асьенды. Всем приказали выйти для обыска. А когда мы вышли, нас сначала построили в ряд лицом к кузову, а потом приказали поднять руки над головой и расставить ноги. Но обыскивать не стали. Начали стрелять. Мы бросились под автобус. Рядом засвистели пули. Когда стрельба поутихла, мы кинулись в автобус. Тогда полицейские закрыли дверь и застрелили сеньора водителя. Около автобуса с автоматом в руках стоял полицейский. Мы попáдали на пол и на сиденья. Полицейские заорали, чтобы мы не шевелились, иначе убьют. Потом они опять открыли стрельбу, на этот раз по окнам. На нас посыпались осколки стекол. Помню, что мой братишка Артуро лежал ни жив ни мертв. Тут я почувствовала, что по правой руке течет кровь, и сказала компаньере: нам, пожалуй, лучше из автобуса выйти. Привстали мы на глазах у охранников и выскочили из автобуса. Почему-то по нам стрелять не стали. Оказавшись на дороге, мы увидели, что за автобусом по-прежнему стоит полицейская машина, и услышали, что охранники из асьенды просят у сидящих в ней полицейских вызвать по радио другой вертолет. В это время с вертолета, который висел в воздухе, сделали по автобусу несколько выстрелов.

Вот тут я и увидела, что по обочинам дороги лежат в засаде люди с винтовками, направленными на автобус. Мы отбежали в сторону и, наткнувшись на охранника, сказали ему, что нам домой ехать надо, а сумку мы потеряли. Он спросил у меня, сколько мне лет.

— Тринадцать,— ответила я.

— А тебе? — спросил он у компаньеры.

— Пятнадцать,— ответила она ему.

Как раз в эту минуту подошел полицейский, схватил компаньеру за волосы и потащил к автобусу. Там еще двое стояли. Втроем они подняли ее и бросили через разбитое окно в автобус. К счастью, она каким-то чудом не поранилась о стекла. Вдруг она выскочила из автобуса и кинулась к обочине. И тут я увидела, что полицейские бросают в автобус гранаты, и из него валит дым. Значит, это слезоточивые. Потом в автобус швырнули еще одну гранату, и он начал гореть. Но люди из него не выскакивали, боялись угодить под пулю. Тогда полицейские сами полезли в автобус. Опять затрещали выстрелы, из автобуса послышались крики. Я побежала к тому месту, где укрылась компаньера. Я все время окликала подругу, но никто мне не отвечал. Добежала я так до дороги, вижу: развилка рядом и ранчо вдалеке. Направилась прямо к нему и примерно через час была уже там. Встретила меня совсем седая старушка и спрашивает:

— Что с тобой, доченька? Почему все платье в крови?

Тут я увидела, что на куче маисовых стеблей девочка спит. Как я удивилась, когда поняла, что это та самая компаньера.

— Тише, не буди ее. Она все плакала, пока не заснула,— сказала мне старушка.— Хочешь, снимай свое платье, я его постираю, а пока прикройся вот этим.— И она подала мне шерстяное покрывало. Завернулась я в него и тоже прилегла на маисовые стебли.

[1] Товарищ *(исп.)*.

Только успела чуть задремать, вдруг слышу разговор. Старик рассказывает хозяйке, что здесь неподалеку яму копают, что два вертолета около выезда из Апопы расстреляли тридцать восьмой автобус, и что автобус загорелся, и что теперь останки погибших захоронить хотят в ямах.

На следующее утро компаньера сказала, что домой мне ехать нельзя, что так и руку потерять можно. Рана-то ведь опасная, потому она решила отвезти меня в больницу. Я ей только ответила: «Тебе видней». А все потому, что уж очень я в нее поверила, будто в мать родную.

Положила она меня в больницу и уехала. Только и успела ее спросить перед отъездом, откуда она да про братишку Артуро. О себе она ничего не сказала, а насчет Артуро — нашли, дескать, труп пятнадцатилетнего мальчика.

Один из моих братьев тоже ходил к банку. Обратно он ехал на другом автобусе и видел, как горел тридцать восьмой. Конечно, он про меня подумал.

Домашние мои меня повсюду разыскивали, хотя это и трудно было. И в конце концов узнали, что я в больнице. Спрашивали и у брата: не видел ли он меня и Артуро. Он ответил, что нет, потому что ездил не с нами. И что, кажется, из моей группы люди потерялись, и что автобус их бросил, и что скорее всего мы на тридцать восьмом уехали. Мама тяжело заболела. Но потом узнали про меня. В больнице я десять дней лежала, мои домашние долго меня не навещали. Боялись. Все больницы и другие медицинские учреждения были под наблюдением. Власти хотели выявить родственников раненых. Только на восьмой день мои осмелились в больницу прийти. От них я узнала, что брата моего двоюродного Артуро не оказалось ни среди живых, ни среди мертвых.

Окрепла я немного, и мама взяла меня домой. Лежу в кровати, а она подходит и говорит:

— И за что, доченька, нам, беднякам, страдания такие. Работаешь, работаешь, а на кусок хлеба и чашку фасоли не заработаешь. Про одежду уж и говорить нечего.

А я ей отвечаю:

— Не горюй, мама. Мы боремся — значит, чего-то добьемся. По крайней мере чтобы семена для посева нам давали и удобрения тоже, тогда и урожай хороший мы собрать сможем.

А она мне:

— Знать бы, сколько за это выстрадать придется. Не верится, что нам чего-то дадут. Все обман один. Сроду нам ничего не давали. Только тем и живем, что своим горбом заработаем.

Возражаю я ей:

— Не просить надо, свои права требовать надо. Ведь правительство заявило, что банки должны нам кредиты давать на закупку семян и удобрений.

— Послушай,— говорит она мне,— ты такая маленькая еще, совсем ребенок, и тринадцати нет, а тебе уже так тяжко приходится. Лучше бы я сама отправилась на эту чертову демонстрацию в Сан-Сальвадор. Что ни говори, а я уже старая, и ничего не случилось бы, если б я пулю схватила. А вот ты еще и не жила на этой земле. Я думаю, у правительства мы только и можем что выпросить, так это жить на земле. Ведь бог для чего-то нас создавал.

Я ей:

— Очень ты, мама, все преувеличиваешь.

А она сердито:

— Как же преувеличиваю?! Еще неизвестно, с рукой ли останешься.

Я:

— Не беспокойся. Всего-то царапина. Раз из больницы выписали, значит, неопасно.

Она:

— А если б без правой осталась, чем бы на кусок хлеба заработала?

Мама уже ни во что не верит. Такой она стала с тех пор, как забрали отца. Он уехал в Илобаско работу искать. Там много работы, когда ананасы срубают, и за это хорошо платят. Отца моего никогда дома нет. Он за работой гоняется. Где работа, там и он. Мы его почти и не видим, потому как он кормилец наш. Да и все мы только на еду и работаем. Каким-то чудом живы еще. Бывает, что отец появляется раз в полмесяца. Последний раз, когда уезжал убирать ананасы, он сказал нам, что его не будет целый месяц, и добавил мне: «Веди себя хорошо и маме помогай. Постараюсь тебе отрез на платье привезти».

Никогда его так долго не было дома. Потом сказали, что его гвардейцы забрали за то, что это он организовал группу крестьян, которая на демонстрацию к банку в Сан-Сальвадор ходила. Но я его там не видела. Народу-то ведь сколько было. Где там увидеть.

Мой отец состоял в Христианской федерации. И однажды он сказал мне, что хоть я еще и не доросла, все же могу в эту федерацию вступить — ума набираться. Ну я и вступила. Но на собрания ходила редко. Все больше помогала маме нянчить моих маленьких братьев. Мама нанялась в поместье прачкой. Кому, кроме меня, дома за малышами присматривать? А все другие дела по дому? Вот и получилось, что, когда по воскресеньям из федерации приходили звать меня на собрание, мне всегда отказываться приходилось, потому что в этот день у мамы дел было еще больше.

Случалось, что приходили очень хорошие компаньеры. Они говорили:

— Пойдем с нами. Мы тебе поможем. Давай заберем всех малышей с собой.

Посадим мы их за спину и идем. Так вот мне и удалось вместе с малышами на собраниях бывать. Иногда они разревутся, хоть плачь сама. Людям мешают. Неловко мне перед товарищами. Прошу, чтобы не брали меня. Объясняю, что ребята дома спят когда и сколько хотят, а здесь им не заснуть, потому и плачут. А товарищи свое: «Уложи их тут на полу». И сооружают что-нибудь вроде постели. У малышей, наверно, глисты были. Потому они так много и плакали. Я даже прославилась тем, что с тремя малышами на собрания ходила. Одному было восемь месяцев, второму — два года. А старшей девочке пять лет. Она была спокойная и уже помогала мне. Носила тряпочки с вареным ячменем, которые малышам сосать давали.

Мама решила на мою простреленную руку горячую повязку с листьями гуарумо наложить. Накручивает она тряпку, а я ей говорю:

— Ой, мама, берегите себя с папой, одной мне по дому не управиться.

В это время в дверь постучал кто-то. Подошла мама к двери и оттуда кричит:

— Мария Ромелия, тебя спрашивают.

— Пусть заходят,— отвечаю. И вдруг вижу компаньеру, с которой в автобусе ехала и которая группы на остановках высаживала.

Спросила я:

— Каким ветром в наши края занесло?

— У бабушки была. Она-то мне и сказала, что в селении есть одна раненная в руку. Конечно, я про тебя сразу подумала.

— Спасибо тебе за все. Без тебя я, наверно, погибла бы.

— Да нет же. Ты сама ловко из автобуса выскочила.

— Ты не представляешь, как нам досталось,— сказала я ей, а сама думаю, что, наверное, хватит про это, и продолжаю: — Моего двоюродного брата Артуро мы уже в покойники записали.

— Бедняга,— говорит она,— я даже не знала, как его зовут.

Тогда я ее спросила:

— А как тебя зовут?

Выкладывает она апельсины и фигурные галетки, которые мне принесла, и говорит:

— Зовут меня Адольфина. Я внучка Гуадалупе Фуэнтес.

Тогда мама моя в разговор вступила, спрашивает:

— Чья ты будешь?

Подруга ответила:

— Я дочка Марии Пии.

Предложила я ей галетинку, но она отказалась:

— Нет-нет, спасибо, это я же тебе пачку принесла. Бабушка для меня их припасла. Но когда я поняла, что это ты та самая, что со мной в автобусе ехала, то подумала, уж лучше тебе отнести. Ну и еще сбила с дерева на бабушкином дворе вот эти апельсины. Последние.

Мама ей сказала:

— Всем достается. Не одно, так другое. Видишь, что с дядей твоим Хустино случилось,— продолжала мама.

— На нас они особенно злы, потому что мы глаза людям открываем,— сказала Адольфина.

— Круто приходится твоим бабушке с дедушкой,— вставила я.

— Кому больше всех достается, так это бабушке Лупе,— ответила Адольфина.

— Одна она сейчас. Дедушка Чепе в горах, с тех пор как пригрозили убить его.

— И что только в нашем департаменте творится. Скоро без мужчин останемся,— сказала мама.

— Трусить нельзя,— вставила Адольфина.

— Вот именно,— поддержала я, подбодренная словами подруги.

А мама:

— Когда-нибудь кончатся наши страдания? Всех мужчин изведут. Какой хороший человек Хосе, а ему в горах прятаться приходится.

— А твой отец тоже в горах? — спросила меня Адольфина.

— Нет, его гвардейцы взяли и не говорят, где он. Пропал.

— А как зовут твоего отца?

— Эмилио Рамирес.

— Я слышала про него.

— Ты что-нибудь знаешь? — спросила мама.

— Да. Его взяли вместе с моим отцом недалеко от Илобаско.

— Мы уже и спрашивать про него боимся. Оскорбляют нас, издеваются,— сказала мама. Потом она умолкла на некоторое время в раздумье, а затем добавила: — Так ты дочка Марии Пии, которая у матери почти и не бывает? Я-то ее недавно видела.

— Из-за малышей ей сюда трудно приехать. Только мне иногда и удается. Когда я маленькая была, меня сюда на несколько месяцев привозили. Родители в это время на весь сезон уходили в Санта-Теклу кофе собирать. Бабушка за мной присматривала. Можно сказать, что я у нее и выросла. Знаете, как я по ней скучаю, когда не удается побывать у нее.

— Я, наверно, тебя видела у дона Себастьяна. Но только мы никогда не разговаривали,— сказала я Адольфине.

А потом вот какой разговор повела мама:

— И подумать только, где вам пришлось встретиться. Я про автобус. Хорошо, что живы остались. А вот мой племянник Артуро там, наверно, и смерть свою нашел. Нам даже и труп не отдали, так и похоронить не смогли, ни заупокойную отслужить. И на могилку помолиться не сходишь. А может, так и лучше. У родных все еще надежда теплится, что посочувствуют горю человеческому и отпустят детей, если они еще живы.

Так говорила моя бедная мама — с болью и надеждой. Мысли ее уходили все дальше и дальше:

— Наверно, конец света скоро настанет. Столько зла кругом. Видела, что сделали с твоим дядей Хустино? Звери. Чем Лупе только держится. Говорят, что она даже не заплакала. Ну и сила у твоей бабушки. Ни у кого такой нет. Я всегда ей по-хорошему завидовала. Да и правда! Ну что тут сделаешь? Остается только терпеть да терпеть... и надеяться, что вам по крайней мере будет хорошо, что вы будете жить спокойно и что ваши дети не будут голодать.

Когда мама расчувствуется, ее остановить трудно. А если ей что против сказать — она рассердится. Но мы ее слушали внимательно. «Бедная мама»,— проносится у меня в голове, а в глазах подруги вижу слезы.

Адольфина, воспользовавшись нашим молчанием, сказала:

— Я узнала, что ты в федерации. Это правильно. Наша сила в организации. Я тоже состою в союзе сельскохозяйственных рабочих.

Потом опять про мою руку заговорили. Мама сказала:

— Слава богу, в больнице подлечили ее неплохо.

А когда через некоторое время Адольфина собралась уходить, у меня к горлу комок подступил.

Половина седьмого

Хорошее у меня сегодня настроение. Хосе ночевал дома. Часов в пять утра он ушел. Наверно, потому я так ранехонько проснулась и все вспоминаю, вспоминаю. Как спала я, тесно к нему прижавшись, как тепло с ним было, как пахнет его рубашка, как он меня рукой по щеке гладил, словно малого ребенка ласкал.

Появился он из-за банановых зарослей. Пихириче, собака, как всегда чего-то вынюхивала, потом вдруг забеспокоилась и кубарем покатилась в глубину двора.

— Не лезь к курам, Пихириче! — закричала я.

Куда там. Только сильнее завертела своим обрубком, как виноватая. Я опять кричу на нее:

— Вон оттуда, кур распугаешь!

И вдруг вижу, как собака прыгает и визжит от удовольствия. Такая она у нас. Увидит Чепе — конца нет радости. А тот словно из-под земли вырос и к дому направляется.

— Ну, знаешь! Хоть бы камешек бросил, чтобы я поняла, что это ты. Напугал меня до смерти!

Он сказал мне, что удивить хотел, потому и подошел задами. Он и раньше не раз так делал. Но вчера перепугалась я очень, потому что не ждала его. Хосе, как почти все мужчины округи, дома не ночует. Они на ночь в горы уходят. Днем я его тоже не вижу — он работает. С гор они спускаются на плантации. После гибели Хустино угрожать стали и Хосе; хочешь жить — дома не появляйся.

А что бедняге оставалось делать? Его уговорили уйти, это точно. Сам по себе он никогда бы не ушел. Но и оставаться одному, когда все остальные мужчины ушли, ему никак нельзя. Потому и подался. Я тоже его уговаривала:

— *Уходи, ради детей наших уходи. Трое ведь, совсем маленькие.*

— *Ну, так и быть, ладно,*— сказал он. По всему было видно,

что он не очень уверен, правильно ли поступает. Я еще сказала ему тогда:

— *За нас не беспокойся. Одни справимся. Без тебя нас никто не тронет.*

В ответ он только буркнул: «Угу-угу». Это означало, что он не был в том уверен.

— *Да хоть пару дней там побудь. Я тебя и ждать не буду.*

— *Да-да, конечно,*— ответил он.

Но не видеть долго ребятишек он не может. Вот потому и пришел в воскресенье и на целый день дома остался.

— *Днем не опасно,*— сказал он.

— *Это верно. Полицейские будто вампиры — только ночью нападают.*

Понимаю я, что в горах ему без меня несладко приходится. Конечно, и мне без него холодно. Но у меня есть гватемальское покрывало цветное. Его мне Хосе на рождество подарил. «Смотри, красота какая!» — сказал он мне тогда. И мы радовались, как малые дети. По ночам в ранчо холодно, хотя жерди вроде и плотно пригнаны. Днем жарко, особенно летом.

С той поры, как Хосе пришлось уйти в горы, домой он начал заходить раненько утром, когда ребята еще спят. Съест пару лепешек с фасолью, выпьет кружку кофе, поглядит на малышей и отправляется на работу.

А вчера на ночь пришел. И чтобы на глаза никому не попадаться, пробрался задами. Первым его учуял Пихириче. А я-то подумала, что собачонка за курами погналась.

Спать, конечно, не пришлось. В четыре уже небо разглядывала. По утренней звездочке время узнать хотелось. Блеснет она для меня между жердочек, и я ей в ответ тоже подмигиваю. Увидеть утреннюю звездочку — к удаче. Она весточку шлет: пора маис на огонь ставить. Лучше на нее прямо смотреть, когда лучики мерцают, словно сама звездочка то загорается, то гаснет. Говорят, она счастье приносит. Эх, если бы это была правда, я бы самая счастливая всегда была. Люблю смотреть на нее. Дня не проходит, чтобы, проснувшись, я с ней не поздоровалась.

Хосе говорит, что я чудная. Не знаю. С самого детства такая. Мои мама с папой говорили мне: «Всегда, как увидишь эту звездочку, здоровайся с ней. Она счастье приносит».

Вот потому я так и делаю. И звездочка в долгу не остается. А разве нет? Хосе пришел и на ночь не ушел, не побоялся, и все было хорошо. Выпил он утром свою кружечку кофе и собрался на работу.

Пока я ему про то да се толковала, он поглядывал на меня при свете фонаря. Темно еще на дворе было. В эту пору солнышко поздно встает. В пять утра темно, хоть глаз выколи. Огонь приходится зажигать. А в темноте разговаривать трудно: ни губ, ни глаз не видно, будто с покойником. Покойники, они, конечно, могут и в темноте разговаривать. Они же под землей лежат, вот и привыкают понемногу. На то они и покойники, чтобы жить в потемках. Живые — совсем другое дело.

— *Куда это я спички засунула,*— сказала я, роясь в кармане передника.

— *Ничего не надо, скоро рассветет,*— ответил мне он.

А я ему:

— *Все равно огонь развести надо. Кофе сварить, фасоль разогреть. Иначе так и уйдешь без горячего.*

— *Да не беспокойся ты ни о чем. Тебе за день с ребятами еще достанется.*

Вот такой он у меня. Все по нему. Никогда «нет» не скажет.

Раньше погрубее был, а теперь изменился. Ест он, а я вглядываюсь в его лицо. Так мы и попрощались.

— *Дня три не приду,*— сказал он и потом добавил: — *Потому на ночь и остался.*

Я его ни о чем не спросила. Только было подумала спросить, а тут самый маленький заплакал.

— *Слышь, как ревет.*

— *Глисты, должно быть,*— сказал он.

— *Надо бы змеиного порошка достать,*— сказала я.

Тут он рассердился:

— *Опять ты за свое. Знаешь же хорошо, что только лекарства помогают.*

— *Ну да! Давала я ему порошки, которые недавно покупала, а толку никакого.*

— *Давай и дальше, до тех пор, пока не помогут.*

— *Дорогие они, лекарства-то. Раньше были по десять сентаво, сейчас за пару надо двадцать пять отдать. Купила четыре порошка бисмутовой соли, уже только один остался,*— ответила я.

— *Я тебе дам песету, деньги там мне совсем ни к чему. Купишь еще два порошка,*— говорит он мне.

— *А сам с чем останешься?*

— *Не нужно мне. На что мне тратить, если с работы мы в горы уходим.*

— *Ну ладно,*— соглашаюсь я и протягиваю руку.

Умолкла я, залюбовавшись, как он за обе щеки уплетает. После него сковородку мыть не надо.

Нехорошо в темноте. Я люблю, когда солнце светит.

А жизнь становится все труднее и труднее. Говорят, что нас много в этой стране. Что правда, то правда — кого много, так это бедняков. Десятки, сотни тысяч бедняков. Они везде, куда ни глянь. А что сделаешь, если жизнь такая. Потому столько голодных в нашем проклятом краю. Думается мне, что жизнь не должна быть такой. Чепе мне все время твердит: «Нам осознать нужно, что мы бедняки».— «А зачем это нужно?» — спрашиваю я его. И он отвечает: «Только так мы наберем силу и сможем свои права требовать. Остальное пустое. Мы должны требовать наши права, права бедняков».

Жители нашего Чалате всегда хорошо все понимали, хотя, конечно, как и везде, есть и несознательные.

Управляющие асьенд — вот это гады настоящие. Вечно все подслушивают и своим хозяевам доносят.

Асьенды нам работу дают, но и пакости всякие тоже оттуда идут.

Недалеко от нас, меньше пол-лиги[1] будет, есть одна асьенда. Она-то нас и кормит, работу дает, это правда. Но ведь и то правда, что нашим трудом она в гору пошла. Раньше даже мощеной дороги к ней не было. Летом пыль столбом стояла, а зимой — грязь непролазная. В дожди, где-то в сентябре, даже на муле и то туда проехать было нельзя.

А теперь какими асьенды стали? Дорогами асфальтовыми друг с другом соединились. С ветерком по ним на автомобилях гоняют.

Завистливыми мы никогда не были. Сколько себя помню, такого греха в наших душах не было. А если малым детям и говорят, что от зависти коростой покрываются, так это все ерунда. Дело не в зависти, а в справедливости.

Землевладельцы забывают, что без наших рук ни вспашешь, ни посеешь, ни прополешь и урожая не соберешь. Мачете сами по себе не работают. Работают руки крестьянские.

---

[1] Лига (или легуа) — старинная мера длины, равна 5 км.

Некоторым из нас с трудом удается обзавестись парой быков, чтобы в город можно было отвезти продать что-нибудь или купить там чего-то. Они же носятся как бешеные на своих джипах да лимузинах, на тех, кто пешком ходит, смотреть не хотят. Про все про это мы не раз с Хосе говорили. Теперь мы не боимся говорить, про что хотим. А раньше как? Подумать и то страшно было. Греха боялись. Нас ведь адом пугали, геенной огненной. Вот и держали язык за зубами. Нам говорили, что дорога в ад грешниками выложена. А у грешников и мысли грешные. Мы же всегда хотели праведниками быть. Верили мы, что праведник — это тот, который со всем согласен, ничему не противится, ничего не требует, никогда не злится. Никто нам ничего не объяснял. Только все время рай обещали в награду за добрые дела на земле.

«Возлюби ближнего» на деле означало «возлюби хозяина». А возлюбить хозяина означало никогда ему не перечить, делать то, что он прикажет. Если за работу в асьенде не давали фасоли, значит, ты должен понимать, что хозяину дать нечего, у него урожай плохой. Если хозяин не ставил навесов, где отдохнуть можно, ты должен понимать, что у него времени в сезон уборки не хватило, чтобы их устроить.

Вот и работали голодные от зари до зари. А вечером или ночью домой поесть бегали. А то и голодными ложились спать прямо на плантации под кофейными деревьями.

Добродетель с покорностью мы смешивали. Мы с Хосе как раз вчера про это говорили. Теперь ведь и времени поговорить нет Мужчины даже ночевать дома права не имеют. Разве не жестоко нас, женщин, в тревоге и страхе держать? И кто их, богатых, такими злыми сделал?

Тесно друг к другу прижавшись и укрывшись гватемальским покрывалом, мы почти всю ночь проговорили.

— *Помолчи, ребят разбудишь.*

— *Спят как убитые, даже громом их не разбудишь.*

И опять мы говорим, говорим. Только теперь совсем тихонечко, почти шепотом.

— *Поздно уж,*— сказала я.

— *Да нет еще,*— ответил он.

— *Сверчки и те уже поутихли.*

Замолкли и мы в темноте, раздумывая о себе, о посапывавших в углу детях. Конечно, в первую очередь про малышей думаешь, потому как взрослые уже живут отдельно своими семьями. Об этих душа меньше болит. Как ни говори, а они свою жизнь уже устроили. Нас изредка навещают. Раз в сто лет.

На самом деле, значит, у меня было еще двое взрослых детей Хустино, который, пока с ним беда не приключилась, жил неподалеку от Сан-Мартино. С той поры мы все еще в себя не придем. И мученица Мария Пия — в Илобаско. Хустино по крайней мере уже отмучился. Нет его в живых. А был опорой нашей. Каждые полмесяца приносил несколько сентаво.

— *Мама, вот тебе немного*

— *Ой, сынок, пожалей себя, сколько можешь, столько и дай.*

— *За меня, мама, не беспокойся.*

И все в нем радовало сердце родительское.

С разницей в пять лет он шел за Марукой. Наверно, бог не пожелал нам дать дитя в те годы. Еще один был, но восьми или девяти месяцев умер от родимчика Теперь ему бы уже лет двадцать шесть было: на полтора года старше Хустино и на четыре года младше Маруки. Бедняжку даже окрестить не успела. Это так давно было, что как во сне вспоминаю. Тогда даже не заплакала. Они, бедняжечки, так мучаются, когда родимчик на них находит. Думаешь: лучше бы господь бог к ангелам взял, чем такие мучения. Миссио-

неры-священники, которые раз в год в наши места наезжали, тоже так говорили.

Соседи были очень добрые. Дали нам кусок крепа, чтобы прикрыть головы ребятам, которые пошли проводить Мануэля де Хесуса до его последней обители. Назвали его Мануэлем де Хесусом, чтобы отпеть можно было и чтобы безымянным среди ангелов не появился и не опечалил бы их. После Хустино бог, видно, не хотел нам давать детей. А потом еще трое малюток на свет появились. Вот теперь, к старости, они со мной: одному семь, второму четыре и последышу два годика. О них больше всего сердце и болит.

Взрослый может обойтись без фасоли и лепешки, а малышей без еды оставить нельзя, по крайней мере простокваши или творогу дать надо. Чего для них не сделаешь? На любые страдания пойдешь. А вот когда нечем накормить, то хоть в петлю полезай. А уж если заболеют, то и говорить нечего. Хорошо, если быстро поправятся. А если нет? Как они, бедняжечки, мучаются! Хуже всего то, что лекарств здесь не бывает, а чаще денег нет, чтобы порошок или пилюлю купить. Потому и получается, что домашние снадобья предпочитают: кто куриный помет, кто жир игуаны, кто змеиный порошок, кто листья гуарумо или жидкость от вонючки. Одним словом, все, что может помочь, хотя нам и твердят постоянно, что лучше отвыкать от этой привычки и пользоваться только аптекой. Так священники говорят, вот мы их и слушаемся. Потому что все равно докторов нет. По крайней мере я слушаюсь. Да еще богу спасибо говорю за то, что ни одного доктора не видела и не знаю, какие они бывают.

Хосе сказал мне однажды:

— *Если у ребят доктор был бы и он лечил бы их, наверняка они бы не умирали.*

— *Нас никто не лечил, никогда.*— А про себя подумала: «Ну а если бы здесь был доктор, откуда деньги взять, чтобы заплатить ему. Говорят, что они много берут». Это я сама себя спрашиваю. А когда ответа не придумаю, опять же к Хосе обращаюсь.

— *Дело в том, что медицинская помощь должна быть бесплатной,*— говорил Хосе.

— *Ого, да ведь это невозможно. Люди работают, чтобы деньги на жизнь были.*

— *Дело в том, что бесплатная медицина — это совсем другое, ну вроде как в больницах,*— объясняет он.

Я не хочу показать, что ему так легко удалось меня убедить, и потому возражаю:

— Да, но за больницы взносы всю жизнь платить надо. Потому многие и не ложатся в больницу, а предпочитают умирать у себя дома, а не в городе. Тратиться надо не только на автобус, но и на взносы. А откуда взять деньги, если их нет? А еще говорят, что трупы из больниц в морг увозят, что там их режут и сами доктора на них учатся.

Спорю я с Хосе, а он мне спокойно все объясняет. Теперь я, как раньше, на судьбу столько не жалуюсь. Потому что становлюсь, как говорит Хосе, сознательной. Не чурка же я, чтобы не понять. Лучше страдать молча, а если придется, то надо уметь за себя постоять, когда на нас наговаривают. Чтобы жить с открытыми глазами, нам много понять надо. Мы должны сами себя освободить.

В последнее время я кое в чем разобралась — бедняку всегда интересно, чем община живет. Я так говорю, потому что знаю: как бы тяжело ни работал человек, ему всегда интересно, как другие живут.

— *Надо помочь людям, чтобы они сами разобрались в своих проблемах,*— говорит Хосе.

Люблю я Хосе за это. И люди его тоже за это любят. Они зна-

ют, что он не себе, а всем добро делает. А когда надо сказать, он не смолчит. Я иногда думаю: «Дай бог, чтобы с Чепе ничего не случилось. Разве мало, что мы Хустино потеряли, разве мало мучений у Марии Пии: муж пропал без вести, одна осталась».

А Хосе, бывало, будто читает мои думы:

— *Не переживай. Если мы, которые понимаем, ничего не будем делать, то жизнь нас задавит.*

И чтобы не добавлять ему еще моих забот, я ему отвечала:

— *Да я и не переживаю.*

Вот я и говорю: человек не каменный. Смерть Хустино меня надломила, чего уж там скрывать. Словно небо надо мной почернело. Только и надежды, что Элио, муж Марии Пии, вернется, если еще в живых ходит. Да еще внучка Адольфина радует.

Она иногда из Илобаско приезжает. Умная девочка. Училась немного, едва пять классов окончила, а прямо диву даешься, откуда она так много знает. Огонь девчонка. Приезжает и все мне по дому делать помогает. И воду из колодца натаскает. И маис вместе с моими малышами начистит. Как будто играют, а смотришь, полная корзина. Очень она к нам привязана. Не забывает бабушку с дедушкой. После смерти Хустино ее к нам послали. Сидит, маис лущит и все рассказывает, рассказывает. А слова такие же, как у Чепе.

— *Не переживай, бабушка. В один прекрасный день мы свое возьмем, и мы, бедные, так страдать больше не будем.*

И откуда она это берет в свои пятнадцать лет, прямо не знаю. Единственное, что мне в ней не нравится, так это то, что очень быстро оформилась, уже совсем взрослая. Какой-нибудь нехороший мужчина позариться может. У нас-то здесь не опасно — все друг друга знаем. Но ведь едет она издалека, от самого Илобаско. В таком возрасте, а особенно когда девчонка смазливая — как мне не бояться за нее. А когда я ей говорю про это мое беспокойство, она только смеется. Такая уж нынче молодежь. Их понимать надо.

— *Слушай, бабушка, я приехала не только чтобы помочь тебе воду таскать и маис лущить, но и, поверь, чтобы тебе повеселее было. Ты теперь никуда не ходишь. И мама тоже приехать не может. Так что пусть хоть внучка с вами побудет.*

Вот такая она у нас.

— *Да это я так, это я за тебя и твою маму переживаю. Хоть бы такого горя, как тогда, у нее больше не было. Ты же знаешь, что радуюсь не тому, что ты нам помогаешь, а тому, что ты с нами. Больше ни слова о горе не скажу. Нынче все случиться может, никому не заказано, даже в своем собственном доме.*— И пока я это говорю, она сидит себе на камушке, поджав ножонки так, чтобы юбочка их прикрывала, и все лущит и лущит, а сама улыбается, совсем как ребенок. Ну прямо майский цветочек на стебельке зелененьком. Вот такая у нас Адольфина. По взгляду и по манере разговаривать на Хосе похожа. В словах ее слышится уверенность, и чувствуется, что характер у нее сильный. Такое от рождения бывает.

— *Бабушка, хочу когда-нибудь взять тебя в Илобаско, чтобы ты другим воздухом подышала. Как тебе кажется, нужно с дочкой и внуками повидаться? Вот заработаю на уборке кофе и увезу тебя.*

Всегда она шутит. В жизни своей я дальше Чалате не была. Помилуй, господи.

Семь утра

С тех пор как я себя помню, наше Чалате всегда было таким. Тихое селение без больших, если не считать домашних, забот. Воровства, а тем более преступлений тоже не было. Моя мама говорила, что местечко это спокойное, что последний раз здесь человека убили сорок лет назад, когда она еще девочкой была маленькой.

— Приехал сюда один паренек работу искать. А какая у нас тут работа? — рассказывала мама.— *Наконец ему что-то удалось подыскать. Начал он работать, но не прошло и месяца, как нагрянули власти и схватили его. Сказали: враг демократии. Интересно, что они имели в виду, если человек этот вел себя тихо, никогда ни с кем не ругался. Единственно, к чему они могли придраться, так это к тому, что у него было ружье и что он охотился на голубей и тепескуинтле* [1].

Моя мама хорошо помнила этого белокурого, длинного, как кокосовая пальма, человека, у которого из-за спины постоянно выглядывал ствол ружья. Ну а поскольку документов у этого человека не оказалось да он еще и не подчинился, сопротивлялся, то его тут же и прикончили.

Рубения Фуэнтес:

— Никогда не забуду, как били его остервенело, будто душу отводили.

Гуадалупе Фуэнтес:

— Почему же они такие злодеи, мама?

Рубения Фуэнтес:

— Об этом знает лишь Иуда. Верно только то, что и ты понимаешь,— с властями шутки плохи.

Гуадалупе Фуэнтес:

— Но вы же мне говорили, что он никому ничего плохого не сделал. Только охотился.

Рубения Фуэнтес:

— Вот в том-то и дело, что властям и такой зацепки нельзя давать. Они должны быть, за это им платят. А жалованье оправдывать нужно.

Гуадалупе Фуэнтес:

— Им платят не за то, чтобы честных людей убивали, и не за то, чтобы из-за каждого пустяка стреляли.

Рубения Фуэнтес:

— Ох, доченька, тогда для чего же им дают эти здоровенные, будто колья, винтовки? Чтобы стрелять из них, дочка, чтобы стрелять. Если они стрелять не будут, то молва пойдет, что власти ни на что, кроме парадов, не годятся.

Говорят, что тот человек тут же и скончался. Точно известно, что жители селения в это дело не вмешались, потому как в то время про коммунизм говорили много и власти зверствовали.

— Индейцы восставали, а этого они не могли позволить, даже если бы пришлось перебить здесь всех до единого,— говорила мне мама.

Это было сразу же после тридцать второго года [2].

— Ты не представляешь, какое это страшное время было. Даже открытку со святым нельзя было иметь. Считали, что на обратной стороне не молитва, а коммунистические лозунги напечатаны. Вот и пришлось нам сжечь пресвятую богородицу, святого младенца из Аточи и даже самого Христа Спасителя.

Я сказала ей тогда, что, должно быть, жуткое было время.

— Всхлипнуть боялись, не поверили бы, что просто по человеку плачешь. Тут же заподозрили бы, что это убит твой родственник-коммунист. Больше сорока тысяч христиан погибли в те времена.

---

[1] Грызун, размером с кролика, обитающий в пещерах Центральной Америки, мясо его съедобно.

[2] В январе 1932 года в Сальвадоре вспыхнуло народное восстание под руководством коммунистов. Реакционная диктатура генерала Эрнандеса Мартинеса, захватившего власть, жестоко расправилась с повстанцами: около 30 тысяч крестьян, рабочих и студентов было убито, погибли почти все руководители компартии, в том числе был расстрелян национальный герой Агустин Фарабундо Марти.

Я ее спросила: а как же удалось спастись ей и моему отцу? И она объяснила мне, что в Чалате не было кофейных плантаций, рабочих мало, потому и не было выступлений и никто в этих краях не бунтовал. Тогда я сказала, что им повезло.

— *Боже упаси, чтобы ты без отца осталась! Тогда ведь каждого мужчину только за то, что он мужчина, коммунистом считали,*— сказала она мне тихо и продолжала: — *Здесь нет больших кофейных плантаций, потому и жизнь спокойнее, а бедность для нас от бога вроде. Сыты, и ладно.*

— *Страшное дело. Правда?* — сказала я.

Они утащили его на развилку, потому что там у них стояли мулы, на которых они приехали. Груза никакого не увозили. Значит, там поблизости они его и закопали. А может, и стервятники его склевали.

В глазах палачей светилось веселье, когда они уезжали на своих мулах,— ни улыбаться, ни смеяться они не могут, им это запрещено. По крайней мере громко. Они на то и есть, чтобы требовать, спрашивать, забирать. Смеяться — значит слабость выказывать. Сами они говорят, что только дураки смеются. Власть не должна проявлять слабость. Она должна действовать. Только так они и могут защитить собственность. А это дело святое. Вот потому многие из них хозяевам служат, а те им платят. Если хорошо служат, дают побольше, особенно те хозяева, которые здесь не живут, а на их землях только и растет что трава для выпаса.

Здешние асьенды большие. Даже и не знаешь, докуда их земля тянется. Если на ограду или на высокий камень залезть, то сколько глаз хватит — все земля одного хозяина. До самого горизонта все ихнее. И небо тоже. Власти стерегут эти земли. Если кому своровать захочется чего-нибудь, то в этих краях поживиться нечем, разве что засохшей травой. Правда, есть маис. Но гром разрази, если кто-нибудь из нас решится украсть початок.

Власти остаются за хозяина асьенды. Я никогда и не видела хозяина, а вот власти постоянно здесь. Хозяин к асьенде даже близко не подъезжает. Со свистом они пролетают через развилку в своих лимузинах или на джипах. Но боже упаси, если кто отважится тайком клочок земли засеять или дерево срубить. Без разрешения не имеешь права взять стручок тамаринда, простого тамаринда, который вообще ничего не стоит. Зачастую человек ни души не видит на дороге, и ему может захотеться просто так под деревья зайти и поднять упавшее манго или агуакате. Это очень опасно, неизвестно, откуда могут власти появиться. Зверюги издалека точно попадают. Они в кустах или за камнями прячутся. Иногда на манговые деревья залезают. Наедятся манго, да там же и отсыпаются.

Все всегда охраняют, потому что, как говорится, и праведник согрешить может. Вот они и глядят за нами, чтобы не утащили чего. А честнее нас в мире никого нет.

Не буду врать, иногда они нам дрова разрешали собирать в асьенде.

Вот и получается, что несчастная душа белокурого горемыки скитается в этих местах, ведь останки его даже не захоронили, а если их стервятники склевали, все равно хоть кости зарыть бы надо было. А может, его собаки сожрали? Говорила же мне мама, что в тридцать втором году собаки трупы ели. Такой голод был, что зверью и тому нечего поесть было. Даже авокадо, которое так собаки любят, и то нельзя было найти. А еще хуже то, что люди, которые поросят откармливали, свинину продать не могли: поросята тоже трупы ели, и люди боялись есть свинину. Все это было в Санта-Текле, рассказывала мама.

Да, так о чем я говорила-то? Ах да. Значит, смерть того белокурого была здесь последней. Это почти сорок лет тому назад.

Может, потому мы и смирились со смертью Хустино. Свершилась воля божья и воля этих бандитов.

Не люблю вспоминать про это. Так недавно его не стало.

Мария Пия

Я тоже здешняя, из этих краев. Я жена Элио Эрнандеса, которого власти схватили. Досталось ему крепко, когда его брали. Били прикладами и по спине, и по голове.

Он вернулся с гор, хотел дома поспать и на них напоролся. Вместе с Эмилио Рамиресом они пришли. Этого тут же и сцапали, а Элио бросился бежать. Но запутался в лианах и упал. Вот тут-то они впятером на него навалились и давай бить прикладами по чем попало, пока он замертво не упал. Я кричала: «Убийцы, не трогайте его!»

— Почему ты, мерзавец, побежал? Ну куда ты убежишь!

Когда они повели захваченных, мы все на улицу высыпали. Я с полуторагодовалым ребенком на руках. Полицейские по дороге срезали себе по палке гуайабо [1], а когда поравнялись с толпой, бросились на нас и начали лупить всех подряд. Избитые Элио и Эмилио шли со связанными сзади руками и видели все это. Потом нас стали бить ногами. «Шлюхи,— кричали они,— всех вас прикончим». А мы в ответ: «Что мы вам сделали?»

Потом их увели к автобусной остановке, где стояли другие мужчины. Но тут же полицейские вернулись. И за то, что мы все еще не разошлись по домам, опять принялись нас дубасить. У меня отняли ребенка и так ударили его по голове, что чуть не убили. Потом стали меня палками бить по спине, по голове, по рукам. Всю синяками разукрасили. Били до тех пор, пока сами не устали. Бросили меня и пошли туда, где лежали в крови Эмилио и Элио. Кто-то успел прикрыть их головы тряпкой. А может, это сами полицейские сделали, чтобы схваченные не видели ничего, хотя полицейским наплевать, видит кто или нет их «подвиги». Подняли они несчастных на ноги, притащили в поселок и давай снова бить — прикладами, ногами, руками. Удары сыпались градом куда попало. Даже пена на губах полицейских выступила. Элио после очередного удара прикладом по голове наконец упал как подкошенный.

Тогда полицейский сказал Эмилио:

— Если он твой дружок, подними его, не будь тряпкой.

Эмилио повернулся, чтобы взглянуть на Элио, но не мог даже руки ему протянуть, руки-то за спиной были связаны.

Элио в это время пришел в себя и, опираясь на локоть, попытался встать. И когда это ему удалось с трудом, его опять начали бить прикладами.

На наши крики, а орали мы так, что во всем поселке слышно было, народу на улице много собралось. Люди спрашивали, что тут происходит. Потом задержанных снова потащили на автобусную остановку. Теперь уж почти волоком. Мы двинулись следом. Бросили полицейские наших мужчин на землю — и к нам:

— А вам, шлюхи, чего надо?

— Муж это мой, Элио.

— Вот оно что, стерва. Как тебя зовут?

Старший над ними, капрал, достал записную книжечку.

В капрале я узнала сына Тичи. Видно, он боялся, что его признают, потому в селение не пошел, а поджидал на остановке. К счастью, Адольфину в другой дом отвели, а потом сказали, чтобы она шла к моей маме. Хорошо, что ее не было.

— Ты Мария Пия...

— Ты же знаешь меня.

[1] Фруктовое тропическое дерево.

А другой замахнулся палкой и прошипел:

— Я тебе, шлюха, покажу.

Тогда сын Тичи сказал:

— Брось, не бей, ей и так уже хорошо прописали.

Вмешался еще один:

— Никак нет, капрал. Если с ними церемониться, толку не будет.

— Так-то оно так, но ведь им уже хорошо вложили. Давай лучше этих ублюдков увезем, пока заваруха не началась.

В это время из селения к остановке люди подходили и все спрашивали, что такого сделали Элио и Эмилио. И я им сказала:

— Да они домой поспать с гор пришли.

А в горах они скрывались потому, что кто-то донес, будто они к банку на демонстрацию ездили просить скидку на удобрения и семена. Их дважды пытались схватить. Вот они и решили в горы уйти. Власти всегда по ночам рыщут. Хватают людей дома, а не в асьенде, чтобы хозяев не беспокоить.

А ведь сам хозяин и донес, что они в Сан-Сальвадоре были. В тот день многие, прикинувшись больными, отпросились с работы. Управляющий асьенды составил список тех, кого не было на работе, и передал его властям.

Вчера я ездила в Илобаско навестить наших. Попросила разрешения поговорить с капралом Мартинесом, сыном Тичи. Но мне сказали, что он в отъезде, и спросили, кто я такая. Я сказала, что разыскиваю Элио Эрнандеса, которого забрали две недели тому назад. Он нудно и долго меня допрашивал и все записывал в книжку.

Потом я пошла в сквер напротив тюрьмы и села на скамеечку отдохнуть. Тут и увидела, что из ворот вышел Вильям, парнишка, который непонятно почему около полиции вертится. Вроде их любимчика. Я его давно знала, потому что он часто в селении появлялся вместе с полицейскими. Может, у них на обучении? Бог его знает.

Я ему закричала:

— Вильям, Вильям!

Может, через него что-нибудь передать удастся, думаю. И живет он при тюрьме в Илобаско. Все его знали, и потому рассказала я ему все как есть. Когда он подошел, я его спросила:

— Вильям, ты видел Элио?

Он засмеялся и ответил:

— А как же!

Я опять его спросила:

— Ты его видел, Вильям?

Тогда он мне ответил:

— Где же ему быть еще?

Я привстала от волнения со скамейки и опять спросила:

— Правда, Вильям, ты его видел?

Он мне ответил:

— А почему бы и нет...

Я еще больше разволновалась. Какой он добрый, этот Вильям, дитя тюрьмы.

— Вильям, с ним ничего не случилось?

Он сказал мне, не переставая ухмыляться:

— Первые дни ничего. Их в чан с наперченной водой посадили. Сама понимаешь, каким огнем у них раны пылали. Потом били посумасшедшему, а потом натерли зубную щетку перцем и между ягодиц мазали. А после сунули эту щетку им в рот зубы чистить.

Я ему сказала:

— Вильям, нельзя ли их повидать...

А он продолжал без остановки:

— Жара страшная была, и им несколько дней не давали воды.

Тогда начальник спросил, не хотят ли они квакерского прохладительного, которое в бутылке стояло. Они ответили, что хотят.

Я уже не могла его дальше слушать и чуть не закричала:

— Живы они, Вильям?

— Конечно. Почему они должны быть мертвыми?

— Потому что свидания не дают с ними, будто их нет уже.

А он все продолжал:

— Элио умирал от жажды. Он схватил бутылку и начал жадно пить. Но тут почувствовал, что рот словно пламенем обожгло. Квакерская водица была с малатионом — это яд такой, который животным дают, когда чума. Мы все захохотали, увидев, как Элио прохладительного хватанул...

Я поняла, что он издевается надо мной, и попыталась его остановить:

— Вильям, бога ради, что с Элио?

А он, не переставая ухмыляться, сказал мне:

— Последний раз ему кость в плече выбили, кажется, ключицей ее называют. А вот Эмилио, наверное, отбросил копыта, не выдержал...

Тут и я не выдержала:

— Изверги вы. Отдайте хоть тело. Мать Эмилио умирает с горя. Элио в больницу надо, может, не поздно, я...

Но он отбежал от меня и, конечно, уже не слышал, что я кричала. А я поплелась на автобусную остановку, чтобы уехать домой...

А что дальше? А дальше... приехала домой примерно в полвосьмого и тут же свалилась: жар поднялся, голову ломить стало. А около девяти в дверь постучали. Я спросила:

— Кто там?

— Открывай,— раздался снаружи чей-то голос.

Я переспросила:

— Кто там?

Мне ответили:

— Открывай дверь, а не то утопим в дерьме. Это власти.

Узнала я голос капрала Мартинеса, сына Тичи, и, собравшись с силой, крикнула ему:

— Сеньор капрал, мне не подняться, больна я.

Они опять свое:

— Открывай, или мы тебя в дерьме утопим.

И ребячий голос послышался:

— Открой, Пия, открой, курочка, пио, пио, пио!

Это был Вильям, дитя тюрьмы.

Меня всю трясло от жара, но я собралась с силами и сказала моему десятилетнему сыну:

— Встань, сынок.— Но он мне ответил, что боится.

Тогда я крикнула им:

— Погодите, я оденусь.

А они:

— Еще чего, так и будем ждать, пока ты, дрянь, оденешься.

Я схватила платье и в темноте надела его наизнанку.

— Подождите,— сказала я, зажигая фонарь.

— Не тяни. Или ты сейчас же откроешь, или дверь в щепки разнесем. Сколько можно ждать?

Поправила я платье и вижу, что дверь чуть не на меня валится. Едва успела к кровати отскочить, на которой с тремя ребятишками спала: девочкой семи лет, с тем, которому десять, и еще грудным пятнадцати или, вернее, шестнадцати месяцев. Тогда они перевернули кровать, и я вместе со всеми ребятами очутилась в ларе с маисом.

Они орали:

— Дура, почему не открывала нам?

Сидя все еще на маисе с кричащими от страха ребятами, я ответила:

— Больна я, не трогайте меня.

— Вот теперь будет чему болеть! — орал полицейский и ударил прикладом. Мне показалось, что глаз вылетел. А потом били по ребрам, по спине и все ругались. Моя доченька закричала:

— Не бейте маму! — В отчаянии она бросилась на них: — Пустите!

Тогда полицейский замахнулся, чтобы ударить девочку по лицу, но я успела подставить руку, по руке он и стукнул. Боль была такая, словно руку перебили. Подскочил еще один и прошелся по моим ребрам.

Потом сын Тичи заорал:

— Если будешь властям сопротивляться, не то еще покажем! Мало тебе.

Мой шестнадцатимесячный сын громко плакал у меня на руках. Я его держала, чтобы меня не убили — в ребенка стрелять не будут. А десятилетнего было и не слышно. От страха он замер, лежа на маисе.

— Получай еще,— кричал сын Тичи и колотил меня по спине. Колотил долго, а под конец так по ноге дал, что я до сих пор хромаю.

Потом капрал забрался на кровать и начал прыгать на ней, пока она не развалилась. Сетку из веревок разрубил, подушки распорол. На полу у меня стоял большой кувшин с очищенным маисом. Когда они покончили с кроватью, капрал Мартинес подошел и разбил его. Маис рассыпался по всему полу. Забрали новый отрез, который я купила сыну на рубашонку, Библию и со всем этим направились к дому моего свекра. Там они принялись стучать в дверь, Вильям орал:

— Эй, хрыч старый. Сейчас мы тебе кое-что отрежем.

Свекор отвечал:

— За что, Вильям?

Тот ему в ответ:

— Говори спасибо еще, что пришли отрубить тебе твою круглую башку.

Свекор открыл дверь, и они стали избивать его. А Вильям хихикал.

С тех пор я не ночевала дома. Они мне сказали, что если на этот раз не застрелили, то в следующий обязательно повесят. И еще мне сказали, что должна я выбрать одно из трех: или продать дом, или убираться отсюда, ничего не продав, или оставаться здесь, но тогда они прикончат всех женщин, которые остались одни без мужей в своих ранчо. Ну а так как все мужчины уходят спать в горы, то ночью нас, женщин, защитить некому. Теперь — без Элио — мне страшно и днем и ночью. Я тоже на ночь буду в горы уходить. Помолюсь, заберу детей и пойду в горы. Возьму им что-нибудь поесть и чем от холода укрыться, хоть не одна там буду — все мужчины там ночуют. Правда, от москитов и холода не уснешь, и все же в горах лучше. Только бы Элио объявился, тогда не будет так тяжко.

Хочешь не хочешь, а начинаешь задумываться; и что это за штука такая — жизнь. Вильяму ведь едва двенадцать исполнилось, а он уже бандит. Я его знала, когда он был совсем маленьким мальчиком, помогал покупателям в одной лавке в Илобаско товары выносить. Был к клиентам очень внимательный, пока не пошел в тюрьму прислуживать.

Страшная неделя была. Больше всего я за старшую дочку боялась. Хорошо, что соседи уговорили ее уйти в Чалате, где моя ма-

ма живет. Я не знаю, что могло бы быть с ней. Даже думать об этом не хочу.

Адольфина

Дорога, которая к северному шоссе ведет, совсем плохая. Наша старая развалюха-автобус в горы еле тянет, дымит, будто паровоз, поднимает огромный столб пыли. Моя прабабушка Рубения говорит, что сам дьявол в такой пыли живет. Наверно, и мама моя в это немного верит. И вот, чтобы дьявола прогнать, мы по старому обычаю повторяем такие слова: «Твоя теща идет, твоя теща идет». Дорожная пыль садится на ветки деревьев, на листья так густо, что они становятся серыми, хотя зимой такие зелененькие-зелененькие, даже блестят после дождя. Пуф-пуф-пуф — отдувается наш автобус, будто задыхаясь пылью. Мы подпрыгиваем на своих сиденьях всякий раз, когда под колесо попадает камень. Нелегкое это дело — ехать в субботу. Теснота, пылища. И вдруг автобус останавливается. Что-то с колесом. Только этого еще не хватало. Умираю от усталости и духоты. Автобус набит пассажирами, словно банка сардинами.

— Останови на минутку,— кричит сероволосый кондуктор сероволосому шоферу, чтобы из автобуса вышли сероволосые люди. На каждом толстенный слой пыли. К счастью, такой дороги всего несколько километров. Потом выедем на асфальтированную, по которой наш автобус полетит словно на крыльях.

По этой дороге приехали компаньерос и сказали, что лучше мне на несколько дней исчезнуть из дому. И я подумала, что удачнее места, чем у бабушки, не найти. А маме сказала:

— Да нет, мама, наверно, не надо.

— Надо уходить. Не зря же говорят...

— Мы же ничего плохого не сделали, мама.

— После того, что около банка было, власти обязательно заявятся. Я в этом даже уверена. И отец согласен, чтобы ты на неделю к бабушке Лупе уехала.

— Ну хорошо.

Вот так я и оказалась в дороге, которая вьется впереди. Она в этих краях на серпантин похожа. На подъеме к Чалате по обеим сторонам громоздятся огромные скалы. Сверху к побережью спускаются грузовики, набитые сборщиками хлопка. Сколько здесь высохшей земли. Серые столбы пыли поднимаются к небу. «Твоя теща идет, твоя теща идет».

Мы сами из этой пыли сотворены. Прах мы в этом мире и в прах обратимся, говорит священник. Плоть в прах превратится, а душа вознесется. В этих местах даже небо не голубое, а какое-то серое, пыльное.

— Жаль, что некому с тобой поехать.

— А зачем? Одна поеду.

— Не опасно ли, доченька?

— И похуже приходилось, мама. Это уж точно. Умею за себя постоять, ничего страшного.

— Пожалуй, страшнее, если ты здесь останешься.

«Чалатенанго, земля моя благословенная, сад цветущий Кускатлан» [1]. Эту песню я в школе выучила. И хотя отец говорит, что это самая дурацкая песня, которую можно сложить про такой город, как Чалатенанго, мне она все же нравится. Отец мой грубоват немного, ему никогда не нравились школьные песни. А может, он и прав.

Банан съесть в нашем автобусе — все равно что комок грязи проглотить. Смотрю и удивляюсь, как люди апельсины сосут. Мо-

[1] Чалатенанго и Кускатлан — соседние департаменты.

жет, жажда одолевает и другого выхода нет? В моей сумке лежат бананы для бабушки. Я всегда, когда к ней еду, везу несколько штук ароматных гинеос, потому что в ее краях такие не растут. Там только карликовые, толстые махончо да яблочные. Или беру пару крупных бананов, которые жарить можно. Такие там тоже не растут.

Всегда будто чудом появляется птичка. Это гуис[1]. «Куио-куио»,— издалека доносится ее резкий голос, до того как ей прилететь. Бабушка говорит, что он и смерть тоже предвещает. А мой отец говорит совсем наоборот.

«Гуис кричит не просто «куио-куио», а «Христос нас покинул». Разве ты не замечала, что гуис заливается на страстной неделе или накануне ее?» А я думаю, что эти птички поют, когда пить просят. Но никто им не дает. Между тем гуис взлетел на самый кончик ветки гуанакасте, и если бы он не пел, вряд ли бы его увидели. В чем я уверена, так это в том, что гуисы гостя предвещают. Не раз в этом убеждалась. Если мама чего-то готовит и слышит гуиса, она говорит: «Похоже, придет кто-то». И правда, кто-то заходил. Ну чем не доказательство.

— Целую неделю у бабушки с дедушкой — это много.

— Послушай меня, уходи и не возвращайся до следующего воскресенья. Вот тебе отец деньги на билет оставил. Разве ты не видишь, что он сам не ночует. Беречься надо, доченька.

— Да разве я против, я только сказала, что долго.

— Ну ладно, ладно. Не упрямься, я уже сказала последнее слово.

Гуис — отважная птица. Она даже с ястребом дерется, сядет на него, будто оседлает, и, сколько бы тот ни крутился, никак сбросить не может. Интересно смотреть, когда гуисы с ястребом дерутся. Какие они фигуры в воздухе выписывают! А как сядет гуис ястребу на спину, ястреб кричать начинает, а гуис, сидя у него на спине, поет: «Куио-куио, Христос нас покинул». И не желает слетать со своего «коня».

Обливаюсь потом, грязные струйки скатываются по телу. Пот, перемешанный с пылью. Как только приеду, сразу же вымоюсь. Кругом одна пыль: и на платье, и на платке, и на руках.

— Выходите, влипли мы с нашим автобусом,— сказал кондуктор,— все выходите.

Лучше было ехать в Сан-Сальвадор, а оттуда на тридцать восьмом в Чалате. Дороже получается, зато надежнее. Чтобы подогнать нас и быстрее освободить автобус, шофер продолжает кричать:

— Выходите все!

— Тише, тише,— говорят пассажиры.

Моя соседка по сиденью держит ребенка на руках.

— Пить хочу.

— А, заговорила. Помолчи, осталось недолго. Ну что за девчонка. Вот приедем на развилку, тамариндовой куплю тебе, прохладительной,— говорит она девочке.

— Может, дать ей глоток воды? — спрашиваю я.

— Капризничает. Были бы дома, не просила бы. Перед дорогой я водой специально ее накачала, чтобы спокойней была, а она — на тебе.

— Да уж такие они, дети,— говорю я.— Чем больше с ними возишься, тем больше они куксятся.

— Сил прямо нет никаких,— говорит она.— Если хотите, дайте ей этот банан. Неизвестно, сколько здесь простоим.

Она взяла банан, очистила его и протянула девочке. Та быстренько его весь съела. Мы присели на камень отдохнуть. А я опять

[1] Небольшая, но весьма агрессивная птица Центральной Америки.

вижу гуиса. Должно быть, это тот же самый следом за мной летит. Он раньше меня до Чалате долетит и пропоет моей бабушке. А бабушка тогда скажет: «Слышите гуиса, кто-то приедет». Гуис вроде гонца вести приносит. От жары меня в дрему клонить стало. И девочка тоже уснула. Словно во сне слышу: «Если хотите, дайте мне девочку, я помогу».

Проснулась я от крика кондуктора:

— Заходите!

На самом-то деле я и не спала совсем.

— Спасибо за помощь,— сказала мне соседка.

Половина десятого

Я давно заметила, что Пихириче сам не свой бегает. Что с собакой такое?

— Пошел отсюда,— прикрикнула я, надоело его визг слушать. Он забился под табуретку, но вскоре выскочил оттуда и опять прямо места себе не находит, дрожит весь. Не блохи ли его донимают? Я-то знаю, что не блохи, потому что несколько дней тому назад в воде с порошком ДДТ его выкупала. Хотела было палку взять да стукнуть хорошенько, но как раз в это время власти и появились. Это их собака почуяла.

Разрешения войти они не спрашивают. Слышу, дверь заскрипела — и они тут как тут. «Чего им надо?» — успела я подумать. А они спрашивают:

— Здесь живет Адольфина Гуардадо? Это дом Адольфины Гуардадо? Мы ее разыскиваем.

— Никакая Адольфина Гуардадо здесь не живет. Пошел отсюда, Пихириче. Здесь живет Гуадалупе Фуэнтес. Чем могу служить?

А они вынули книжечку и читают глухим, словно из пещеры, полной вампиров, или из глубокого темного колодца, голосом диктора, который в полдень последние известия передает.

— Здесь все записано точно. Это ее дом.

Если бы пса со мной не было, у меня коленки бы от страха подломились. Фамилия у Адольфины — Эрнандес.

— Лучше не пытайтесь нас за нос водить.

— Я и не вожу вас за нос. У моей внучки фамилия Фуэнтес. Адольфина Фуэнтес.

Обуты они в высокие, до икр, кожаные ботинки. Грудь ремнем через плечо перехвачена. А хуже всего то, что на плечах висят железяки здоровенные. Это знаменитые автоматы, которые трещать умеют. На головах стальные каски, как у фашистов в кино. А на спине штуковина какая-то, вроде радио. Сами такие серьезные, будто на президента обучаются. Как Хосе говорит: кто посмеет им противиться, если железяки ихние в минуту кучу свинца выплевывают? Попадет в ногу — нога отлетает, попадет в руку — и рука долой. Сила есть — ума не надо. Давно известно, что у этих умом и не пахнет. Умные люди в полицию не идут, это мы на собственной шкуре испытали. Из нашей округи кое-кто подался в полицию. Конечно же, самая шваль. Это так же точно, как то, что меня зовут Гуадалупе Фуэнтес де Гуардадо, жена Чепе, Хосе.

— Нас не интересует ее настоящая фамилия. Мы ищем твою родственницу по имени Адольфина. Вы же имена меняете.

«Говорят, что винтовки у них — лучшие в мире. Даже в кино, Гуадалупе, даже в кино таких не увидишь. Это самые новые. А кинофильмы, которые сюда привозят, старее нас с тобой»,— говорил мне Хосе.

Внучка Адольфина — дочь Марии Пии Гуардадо Фуэнтес, моей дочки, которая вышла замуж за Элио Эрнандеса. Я знаю, что врать

грешно, а эти люди за грех берут дорого. Так что, если назвали верно, придется правду говорить. Теперь ведь не только бог, но и эти люди карают. Лучше притвориться, что не понимаю. Что с такой взять? А может, все это во сне? Почему эти люди спрашивают про мою внучку? Это, наверно, ошибка, сеньор полицейский. Она внучка моя. Маленькая. Совсем ребенок. Лучше спросили бы про меня или про Хосе. В конце концов, взрослые люди могут быть плохими, а дети — нет. С каких это пор им пришло в голову связываться с малолетними. Скорпион и тот не дает своих детенышей на съедение. А внуки? Они тоже наши дети.

«Раз они мне говорят, что ошибки нет, что ее, Адольфину, спрашивают, придется выкручиваться»,— подумала я про себя и ответила:

— Она ушла на развилку, соли и малышу чего-нибудь поесть купить.

— Какую развилку?

— В лавку к дону Себасу.

И как иначе разговаривать с ними? Может, предложить перекусить горячей лепешечкой? Жаль, что огонь уже погас и теста сегодня не ставила я. Закусят — про все забудут. А времени хватит и огонь разжечь, и комаль [1] нагреть.

А они вспотели на солнышке. Печет здорово. Пешком шли бог знает откуда. Они всегда джип оставляют далеко. Такая у них привычка. Разглядываю я их — рослые фигуры в форме цвета бычьего дерьма, в крагах и с автоматическими железками на плечах. Ребята крепкие, упитанные. И не случайно это. Кормят как на убой. Их двое, но там, у джипа, должно быть, сидят остальные. Вот один взял свою штуковину, которая похожа на радио, и слушает. Должно быть, с джипом говорить будет.

— Тогда мы подождем ее.

— Пожалуйста.

Они остались стоять в коридорчике. Один достал свой пропахший потом грязный платок и начал отирать лоб. Другой разглядывал стены и видневшееся через дверь банановое дерево, будто пытался что-то обнаружить под его ветвями и сухими листьями.

— Садитесь, если хотите.

Но они отказались. А у меня комок в горле встал. Словно я крючок проглотила и кто-то снаружи его тянет. И не за себя испугалась. Нет. В своей жизни и не такое видала. Страшно стало за Адольфину.

Они всегда ссылаются на законы, а сами убивают, и концы в воду. Не простая это штука — закон.

— Может, воды дать?

Но они меня не слышат. Делают вид, что не понимают. А вода свеженькая, только что из колодца, холодная, даже кувшин запотел. Не отвечают, будто оглохли. В таких случаях лучше всего на бога положиться. От волнения чуть окурок не проглотила, но тут же его сплюнула вместе с черной от табака слюной. Эти люди всегда беду приносят. Воду я им предложила, чтобы беду немного отпугнуть. Да и к тому же в воде никому отказать нельзя.

Попыталась огонь разжечь, но ничего не получилось. Ветками никак не раздуешь. Ливану-ка я немного керосинчику на поленья. Они не хотят от меня ничего принять, чтобы потом не чувствовать себя обязанными, неблагодарными. В долгу не хотят оставаться. Хворостинки, охваченные огнем, затрещали, словно тысячи хлопушек. Пламя становится все больше и больше. Начинают гореть толстые поленья. Теперь и на скамеечку присесть можно. Есть у меня такая: гладкая доска какаового дерева на четырех ножках.

Вот они о чем-то вполголоса заговорили.

[1] Тонкий глиняный диск, на котором пекут маисовые лепешки.

— Нет ее еще.

Какое мне дело, знают они или нет, что мне все слышно, обращают они на меня внимание или нет. Но, пожалуй, лучше объяснить им.

— Она пошла с тремя ребятишками, один грудной, на руках. Так что ей несладко приходится,— сказала я, а у самой поджилки затряслись и горло словно узлом перехватило. И не помню, не то я сказала так, не то подумала. Все как-то смешалось в голове. Страха настоящего не чувствую. Чего бояться, если я ничего такого не сделала? Просто за девочку страшно. Она ведь еще совсем маленькая.

Адольфина рис любит, и всегда к ее приезду мы стараемся его купить. Ей ведь не так просто добраться от дома до Чалате. Так что стоит ее порадовать. Приятно, когда над сковородкой белый дым над рисом, будто в Ватикане [1], поднимается. Пепел летит до закопченных стропил, на которых крыша крепится. Домишко уже больше пятнадцати лет стоит. Чудом еще держится. Вот так седеют раньше времени. Рис без воды тоже сохнет. А руки морщинистыми делаются, будто пауки с пятью лапками. Заботы людей подтачивают. Только и живешь что заботами да налетами.

Не подумав, поднимаю руку, чтобы перекреститься. «Еще решат, что я ненормальная или перекрестилась, потому что боюсь их». В этом возрасте уже не боятся. Если правду говорить, то не такая уж я и старая. Дело в том, что рожать начинаем с детства. Я от Хосе понесла в пятнадцать лет. Никто не скажет, что мне всего сорок пять будет. Жизнь сильно потрепала.

«Может, они воды хотят?» — снова мелькает у меня в голове.

Нет, этим мерзавцам лучше ничего не предлагать. Слезы глаза застилают и все катятся и катятся по щекам. А этим грязным передником даже вытереться нельзя— года два назад его мне Хосе подарил,— да, наверно, и незачем. Все равно заметят, что глаза от слез красные.

Кого они из себя корчат? Да нет, не корчат. Они просто хлюсты от роду. По глазам это видно. И кто только выдумал эти власти. Осатанели они. Это точно. Хотя и упитанные все, а кожа-то сухая какая-то. Вероятно, невеселая жизнь у них. А у нас — чего уж там зря говорить, хоть мы бедно живем, но веселиться умеем. Ясное дело, нужно уметь хвост держать кверху.

— Нет-нет, не хотим,— сказали они, когда я им воды предложила. А что сталось бы, если б попили? Вода — дело святое. Никогда от нее нельзя отказываться, хоть сам дьявол подает. «У нас фляги есть с водой».

— Да я так, на всякий случай.

Ну и пусть, как хотят. Одно дело — страх перед ними, а другое — внимание.

Тут я увидела, что Пихириче, повиливая хвостом, направляется ко мне. «Пошла отсюда»,— прикрикнула я. Не скажу, что она у нас умная, нет. Но хорошо, что молчит. Другая давно бы уже гостей облаяла. Только я это подумала, а она как зальется.

— Сказала тебе, пошла вон!

- Откуда взялась эта псина?

— Вот видишь, дуреха, тебя уже псиной называют.

Раз облаяла, значит, теперь пристукнут. А Пихириче между тем спокойно направилась к одному из полицейских. Я не выдержала и что было мочи крикнула:

— Стой!

Но было поздно. Слышу грубый, хриплый голос:

— Ах ты шелудивая! Прямо на ботинок напрудила! Гадина паршивая.

[1] Белый дым, согласно традиции, возвещает избрание нового папы конклавом кардиналов в Ватикане.

Пинок ногой, и полетела моя собачонка будто мячик. Так я и думала, что этим дело кончится. Иди отсюда, пока ребра тебе не поломали. За дело. Так тебе и надо. Вот какая глупость может приключиться. А я еще говорила, что собачка умная. Смотрю, как полицейский ногой в ботинке трясет, стараясь собачью мочу смахнуть, и смех меня разбирает. Не могу удержаться от смеха, да и все тут. «Что это с ней, со старой дурой?» — наверное, подумали они. Молодец собачка, отомстила за меня. Ну, тот сукин сын тоже хорош. А по правде сказать, смех меня одолел не потому, что собака на человека помочилась, а потому, что вспомнила шутку, которую мне Хосе рассказывал.

К знаменитому генералу Гомесу приходит гость. Генерал возлежит в своем гамаке. Посетитель садится на табуретку, под которой устроилась генеральская собака. Неожиданно посетитель издает непотребный звук. Чтобы как-то выйти из неловкого положения, он, делая вид, что это произошло с собакой, бросает с упреком: «Ну и песик!» — и заглядывает под табуретку. Генерал, дымя сигарой, покачивается в гамаке. А посетитель неожиданно еще раз издает тот же звук, нагибается к собаке и повторяет: «Что ты, песик?» Генерал продолжает спокойно раскачиваться в гамаке. А когда случилось то же самое и в третий раз, генерал, обращаясь к собаке, говорит: «Убирайся поскорей, не то на тебя еще и напакостят».

Любимая шутка Чепе Гуардадо.

— А старуха, видать, чокнутая.

Видите, что можно заработать из-за твари неразумной. Моя мама всегда мне говорила: «Дурочка ты, все хохочешь и хохочешь». Это правда. Когда маленькая была, смеялась просто так, без всякой причины. «Зубы у тебя от смеха вылетят»,— говорила мне мама. Или еще: «Когда девчонка начинает слишком часто смеяться, парня ей надо».

Но мне тогда еще лет десять только и было, и ничего я этого не понимала. И надо же так случиться, что через четыре года я за Чепе замуж сразу вышла без всякого там ухаживания. Он старше меня был, и мама все сама уладила. Едва пятнадцатый пошел, когда Хосе взял меня к себе. Мне и погулять-то в девушках нисколько не пришлось: выходишь замуж — про все забыть должна. А я еще и забеременела Марией Пией сразу. Хочешь не хочешь, а серьезной будешь, если детей растить надо и забот все больше и больше становится. Мы, взрослые, можем и поголодать, а дети — совсем другое дело.

А потом, когда чуть окрепла первая девочка моя, стала я ее за спиной на работу таскать. Вместе с Хосе в Санта-Теклу на кофейные плантации ходили. Потом второй ребенок появился. Такая вот жизнь.

Несколько раз мне все же довелось улыбнуться Хосе до замужества. Так что нельзя сказать, что я его не привораживала. Помню, я вплетала в волосы цветы, а когда он приходил, быстренько снимала их и рвала, он мне очень нравился с самого начала, хотя и был старше меня. Я и вообразить, конечно, не могла тогда, что все кончится тем, что мы поженимся. Разве такое можно было подумать? Когда он приходил к нам, я искоса на него поглядывала, или чего-то рисовала рукой в воздухе, или прохаживалась перед ним, пока мама не скажет: «Дочка, тебя что, муравьи кусают, чего ты дергаешься!»

А Чепе глядел на меня. И я на него тоже.

Конечно, потом человек устает. Не до смеха ему, не до улыбок. Дети появляются. А как подойдет сезон кофе собирать, так подымайся всей семьей, с малышами. На всех одна циновка и один шалаш. Переодеться не во что, ходишь все в одном и том же. В чем

смеешься, в том и плачешь. Недаром сочинили песню «На тебе все то же платье».

Ну а что можно сделать, коли живешь бедно? И ничего-то тебе не понять. Только и остается, что на судьбу жаловаться. Оно так и бывает, пока у человека нет ясности. А сколько пакостей власти могут тебе сделать? После того как я однажды спросила у Хосе, что значит быть сознательным или что-то в этом роде и он объяснил мне, стало понятно, откуда всякие пакости идут и почему власти так нагло ведут себя.

Надо знать, почему это все так. Наверно, больше всего меня смех разбирает потому, что я понимаю: им-то хочется, чтобы я тряслась перед ними, места себе не находила. Конечно, за девочку я боюсь. Жизнь бы за нее отдала. Но трястись перед ними — ни за что.

Хосе не раз мне советовал: с властями, пока можно, надо быть уважительной. Не надо открыто вражду выказывать, дразнить не надо и убегать от них тоже не надо — они стрелять начинают. Если ты видишь, что цепляются к тебе,— значит, чего-то хотят. Значит, смотрят, как ты отвечать будешь, и думают, как тебе голову свернуть. Не надо самой поддаваться на их уловки. Своего можно добиться и без того, чтобы трястись перед ними. Так меня учил Хосе.

Власти

Видишь ли, раньше мы не знали ни вилок, ни ложек, которые блестят, будто серебряные или золотые. Миски у нас были из высушенной тыквы, ложки из хикаро[1]. Металлические, «точно серебряные», рот обжигают, а из хикаро — нет. Ешь горячую похлебку, и хоть бы что. На скатерти есть тоже не приходилось, ну, вроде тех, в которые маисовые лепешки-тортильи заворачивают, только побольше и с цветочками по краям, из материи наподобие шелковой, тонкой такой, мягкой, как бархат или голубиное перышко. А тут еще и стулья появились. Прямо рай настал. Чего нам еще не хватает?

Хоть, правда, этот умник, чертов гринго — инструктор, нас за людей не считает, но все равно — боже упаси, чтобы эту жизнь я на другую бы променял.

Мясо каждый день едим. Вначале без привычки мне даже тяжело было, живот болел. Тортильи больше не едим, к этому не так легко привыкнуть. Дают хлеб, намазанный чем-то, что маргарином или чесночным маслом называют. Да чего там говорить! Все равно не поймете.

Другой инструктор — китаец, по-испански очень плохо говорит, что-то все тараторит, но как преподаватель — да, он дело знает.

Скажу про пюре, например. Такого я не знал раньше. А теперь могу объяснить: что-то вроде маисовой каши, но только из картошки. Вы не поверите, просто протертая картошка на воде. Поначалу тошнит от него, есть не хочется, невкусно, да еще поверх несколько стебельков петрушки положено. А потом привыкаешь. Жратва богов.

Я хотел принести вам немного на пробу, но на выходе каждого обыскивают. Только мне не хватало, чтобы у меня пюре нашли. Я даже не представляю, почему оно «пюре» называется. Как на духу говорю, на дерьмо оно, это пюре, похоже. И воняет. Вот и поймите, как его через силу есть приходится. В конце концов привыкнуть можно. Говорят, что это во Франции выдумали. Не знаю. В тех странах народ хитер на выдумки.

По утрам нам дают стакан апельсинового сока и стакан молока, которое «югуром» называют. Сок — штука хорошая, но зато этот югур — блевотина, простите за слово. И приходится его как кас-

[1] Тропическое дерево, из твердой скорлупы плодов которого крестьяне делают чашки, миски, ложки.

торку глотать. Вначале я ради предосторожности нос затыкал. А теперь мне только стоит подумать, что это хорошо, и ничего, идет. Югур надо пить как наше гуаро — не смакуя, а то все назад вырвет. И уже тогда верняком накажут. Так оно и случилось однажды. И зачем бедняге это было нужно? Начальник сказал нам тогда: «Ну и мерзавцы вы все. Больше ни видеть, ни слышать не хочу про ваши штучки. Имейте в виду».

И действительно, ведь живем мы будто принцы.

«Чтобы вы могли родину защищать,— говорит гринго,— вам нужно хорошо питаться». За такое довольство мы не можем людей подводить. Каждый должен быть готов защищать родину от врагов не щадя ни брата, ни свата. Да что там — мать родную не щадя. Может, подумаете, слишком загибаю, но, поверьте, Запад в опасности. И мы знаем, что самая большая опасность для западного мира — это то, что наши инструктора называют «народом». Инструктор громко спрашивает:

«Кто наш злейший враг?»

А мы хором кричим:

«Народ».

И дальше в таком же духе:

«Кто злейший враг демократии?»

Мы дружно отвечаем:

«Народ».

«Громче»,— приказывает он нам. И мы орем что есть мочи:

«На-род, на-род, на-род!»

Сами понимаете, что это я вам все по секрету говорю. Нас называют «особыми», «специальными». Стараются, чтобы каждый из нас хорошо это понял. Конечно, мы особые. Если бы это было не так, зачем тогда на нас столько денег тратить, такую шикарную житуху нам устраивать.

Даже сыр нам дают и тот особый. Сверху он красный, а внутри желтый, будто золото.

Да чего там говорить! Мог ли я, католик, в моей сволочной жизни мечтать когда-нибудь о таком? Нет, это не для всех. Это только для особых. Наши инструктора — все иностранцы, кроме начальника. А того почти и не бывает. Изредка придет спросить, как наша учеба, как наша дисциплина. Мы хором должны ему отвечать: «Ради родины стараемся, начальник!»

Все это я по секрету рассказываю. Смотрите, никому ни гу-гу.

Есть у нас инструктора по таким делам, что вам даже и не снилось. Например, по искусству, ну да, так у нас называют военное дело. А еще нас «сихологии» учат, или по-другому — как можно одними словами заставить людей раскалываться. Вы же знаете, что не все физической силой выжать из человека можно. Есть люди, которые и со слов все понимают. Этой «сихологией» да еще электрическими аппаратами всего можно добиться.

Спасти от опасности демократию мы сможем, если будем крепкими. Но берегитесь, ежели проболтаетесь, кум. Давно известно, какая тому цена, что по пьянке говорится. Да я могу заявить, что вы специально меня пригласили, чтобы споить и выведать кое-что. Да нет, нет, не бойтесь. Ну, еще по последней! Я, кум, угощаю, не кисни. И чтоб не дрыхнуть!

Понимаешь, значит, гринго говорит, что нашему народу душу отравили. Нужно промыть ему мозги. Это по-ученому. Мы этого не понимаем, потому как мы — страны отсталые. Не в том дело, что мы глупые, а в том, что мы неграмотные. Как кто-то говорит, лодыри мы, лень родилась прежде нас.

Нам не повезло, что нас испанцы завоевали. Выпивохи они были хорошие. А туда, на север, англичане пришли. Они знают дело. Англичане покончили с индейцами, а испанцы нет. В этом их боль-

шая ошибка. Вы же знаете, я не к тому, чтобы ругать, а к тому, что мы, индейцы, ленивые, очень хотим, чтобы нам все с неба упало. Мы всегда на все согласны. Вот я, например. Если бы у меня не хватило духу в город уйти, был бы я такой же, как вы. Не в обиду будь сказано. Жил бы, с маиса на фасоль перебивался. То, что вы едите, разве можно едой назвать. Например, в Соединенных Штатах маисом только поросят и лошадей кормят, а для нас здесь маисовая тортилья с солью — радость.

Вот я и говорю, что не повезло нам. Даже насчет веры и то плохо обернулось. Туда, повыше, в Соединенные Штаты, к ним настоящий Христос являлся. У них — белые культурные пастыри, которые и божье слово несут, и науку «сихологию» понимают, и каратэ тоже. А нам испанцы принесли сифилис и веру католическую, которая чистейшим коммунизмом отравлена. Ясное дело, испанцы не убивали индейцев, наоборот, даже спали с индеанками. Вот оттуда и пошла наша раса. Да что там говорить! Поглядите на свой цвет кожи. Если бы мы в Соединенные Штаты поехали, нас бы там за негров приняли, ни в гостиницу, ни в автобусы для белых бы не пустили. Больше того, хуже чем с неграми обращались бы. Говорят, что, хотя цвет и подводит их всегда, их все же считают американцами, а мы, латинцы, с нашим цветом кожи ни то ни се, ни чича [1], ни лимонад. Лучше бы мы были индейцами или белыми, а не болтались бы где-то посередке. Надо, кум, определяться. А испанцы нас под монастырь подвели, даже с религией, как я говорил. Вот теперь и получилось, что священники стали хуже, чем миряне. Вот теперь и видишь, как их берут в узду, а то и вообще в расход пускают. Знаете уже, что мы сделали с теми, которых убрать надо было? А хуже всего, что от этого нам не легче. Вдруг еще какой-нибудь красный епископ приедет и отлучит нас от церкви. А если по правде сказать, то мы не знаем, есть ли ад, нет ли его — об этом узнают, когда ноги протягивают. Но знать хотелось бы. А может, и не отправляют человека в котел огненный.

Хотя гринго нам и говорит, что подлинная вера христовая — это ихняя вера, но священники опоганили ее с тех пор, когда папой был коммунист, им пришлось его отравить, а потом посадили другого папу — антикоммуниста, говорят, что он еще хуже. Но даже если все так и есть, все равно верить нельзя, потому что католики с нечистой силой заодно. Так гринго говорит.

Вы, кум, мне не верите, потому что думаете, что я не соображаю. Но коммунисты и священники кое-что выиграли. Потому нам и трудно, что столько сволочей перестрелять надо. Раньше все было здорово. Никто не бунтовал. Никто не болтал про такие вещи, как «минимальный заработок». Почему сразу не просить максимальный, и делу конец. До чего дошли! Не боятся сыр требовать. Когда вы в своей вонючей католической жизни сыры разъедали? Пузо заболит ведь, если чего-нибудь кроме тортилий да фасоли поедите.

Много на земле сволочей развелось! Подбивают нас требовать у богатых то, чего не могут нам дать.

Вот так, кум. Не серди меня. Если я ем то, про что говорил, то не тебе меня упрекать. Я должен хорошо питаться. Потому и не хотел ничего вам рассказывать. Мне за работу мою дают. Я в божьей армии состою. Мы цивилизацию спасаем, не еретическими идеями, взятыми из книжек, а каждый божий день на деле. В нашем распоряжении средства самой цивилизованной страны в мире. На бога надейся, да сам не плошай. Давай, кум, еще по одной пропустим. Но только заплачу я, чтобы не сказали, что я в армии испортился. Дело в том, что вы, штатские, думаете, что мы тупые. Только и умеем стрелять. Но теперь ты знаешь, что у нас свои идеи есть. Так вот, мы гарантируем, что наши мозги никому не промыть.

[1] Дешевый алкогольный напиток.

Не надо, кум, этих штучек. Я же двойную выпил и хоть бы что. А вы уже окосели, не в обиду будь сказано. Не надо на меня сердиться, как положено дело сделаем.

Давай, кум, еще по кружке пива, чтобы гуаро хорошо осело. Вы, кум, думаете, что если я пью стаканами, то не вижу, как вы только пригубливаете? Хотите, чтобы я нализался, а потом скажут, что от одной бутылки свалился? Уважать перестанете? Ну да ладно. Не буду больше ругаться. Пейте пиво.

Но видите ли, кум, насчет промывания мозгов я спросил у гринго, вначале я думал, что действительно мозги моют с мылом и водой. Все покатились со смеху, кроме гринго. Он серьезный человек, даже слишком серьезный. Никогда и ни с кем не шутит. Он ответил мне тогда:

«Ты прав. Это действительно как водой с мылом, неважно каким. Для вас и этого вполне достаточно». Дело в том, кум, что это очень сложная научная проблема. Вот так-то. К тому же страна наша отсталая, а мы люди темные.

Больше я не спрашивал. А мои приятели продолжали смеяться. Тогда гринго скомандовал: «Молчать, сукины дети!» Эти слова он произнес четко по-нашему. Как он сам однажды признавался, эти слова были первые, которые он заучил, потому что был уверен, что ему придется их часто повторять. В тот раз насчет «часто повторять» мы не поняли. А потом разобрались, что все начальники иначе как сукиными детьми нас не называют. Затем американец объяснил нам, что все входит в программу обучения, чтобы мы привыкали к этим словам и потом, когда надо, сами спокойно их употребляли.

Если гринго из себя выйдет, то разве его остановишь! Взбеленится — и никакого удержу. Начальник с первых дней нас предупредил, что у гринго, да и у других инструкторов права неограниченные, могут даже дать пинка под зад, если мы чего-то не понимаем. Чтоб ты знал, я говорю все начистоту. И такое бывает. Сразу ко всему не привыкнешь. С гринго, кум, да и с другими шутки плохи. Они здесь для того, чтобы из нас настоящих мужчин сделать и чтобы мы поняли проблемы борьбы с коммунизмом в этой отсталой стране. Хотел бы я поглядеть на вас, когда вам под зад дадут или когда китаец ударом каратэ по затылку с ног сшибает. Стоит кому-нибудь на занятиях отвлечься или задремать — будь спокоен, тут же он сзади окажется и... трах палкой по затылку. Могу сказать, что не один прямо в госпиталь после этого попадал и не возвращался оттуда. Вот так-то, кум. А вы как хотели? Но дерьмом питаться и вкалывать от зари до зари за гроши, на которые и поесть досыта нельзя, еще хуже. По-вашему, так и должно быть. Для того вы и на свет божий появились. Если бы вас хоть чему-нибудь научили, вы бы мне такие вещи не говорили. А если я прощаю, так только потому, что вы ни черта не смыслите. Но зато не сомневайтесь, захочу — могу связать вас и отправить куда надо. Для того и прохожу специальные курсы.

Ни мать, ни отца не пожалею. А тебя, кум, тем более.

Дело в том, кум, что все вы — штатские — одно дерьмо. И никуда вы от этого не уйдете. Вы завидуете нашей военной форме и тому, что мы в люди вышли.

Потому, когда до дела дойдет, никому пощады не будет. Понял, кум?

Десять часов утра

Начну-ка я готовить, чтобы не видеть и не слышать, как Пихириче жалобно под банановым деревом скулит. Не на все глаза могут спокойно смотреть, да и сердце не каменное. Оно, конечно,

жалко, но получила за дело. Чего это ей вдруг помочиться захотелось? Да и где?

Ну ладно, сейчас тебя возьму, раз ты сама не выходишь. Наверно, больное место зализываешь. А можно ли отойти от этого проклятого очага? Лучше бы, конечно, спросить разрешения у гостей незваных. Хоть они и в чужом доме — теперь они тут хозяева. Да и зачем их злить без надобности, выказывать свое неуважение к ним. Давно известно, что, если они и не говорят ни слова, все равно надо с ними быть повежливее. Правда и то, что ей за дело попало. Вот и вертит теперь своим обрубком, как змея.

Вернулась я с Пихириче на руках. Бедненькая моя. А солдат так и сидит, будто окаменел, будто и не ему совсем в ботинки собака надула. Больше четырех лет собачка со мной не расставалась. Как я могу ее не пожалеть. Она, как хвостик, всюду за тобой. Она и сторож, и для детей забава.

Потом я, будто нехотя, направилась к калитке, чтобы посмотреть, не появилась ли Адольфина с ребятишками. Нелегко ей с тремя идти, да к тому же самый младший ходить не любит. Да он и не может ходить, хоть и старается. И будто обращаясь к собаке, говорю:

— Сейчас вон оттуда появятся.— Тень на плетень навожу. На самом-то деле они придут не скоро. И еще раз повторяю: — Вот-вот вернутся.

Они делают вид, будто не понимают. Наверно, решили ждать, сколько ни придется. Терпения у них хватает, потому что во власти своей крепко уверены. А я ведь так, хотела только, чтобы не так тяжко было. Все равно, когда придет Адольфина, нового ничего не произойдет. Должно быть, им нужно что-нибудь проверить.

Разве разберешься, когда нынче такое кругом творится. Даже ни в чем не повинных людей и тех хватают. А Адольфина ни в чем не виновата. Все мы ни в чем не виноваты. Если кто и виноват в худых делах, так это только власти. Это все из-за них, из-за того, что они такие.

А единственно, кого в тюрьму сажают, в кого стреляют и убивают на дорогах,— это бедняков. Все потому, что власти не любят нас, знают, кому досадить хотят. Для того власти и есть, чтобы порядок среди бедных наводить, командовать бедняками, бить бедняков, как скотину, увозить. Когда-нибудь кончится для властей праздник. Другого они ничего не заслуживают. Им никогда не приходилось туго. Вот потому они такие и важные. Напялят форму и думают, что боги. Сами же хвастаются: чего захотим, то и сделаем. Оно так и есть, чего уж там говорить. А по мне, ладно, пускай сидят, хоть и одна я одинешенька с ними. Но не подумайте, что душа покойна, когда видишь перед собой эти ихние фляги, ножи, автоматы. Им даже наши собачонки мешают, так и норовят пристукнуть. С такими ничего не поделаешь. Но когда-нибудь все по-другому будет. Говорит Хосе, что этот день недалек. Я не очень хорошо во всем разбираюсь, но согласна. Мне это нравится. Особенно люди, которые взялись наши права добывать. Иногда я им немного и помогаю. Но, по правде сказать, все это Хосе делает, а я сижу с малышами. Оставить их одних нельзя. Вот потому я и говорю, что помогаю как могу. На то мы и есть, чтобы самих себя защищать, потому что нас защищать некому. Каждый должен за всех беспокоиться. Вот потому я за крестьянскую федерацию.

— Если она вскоре не появится, нам придется привести ее.

Разве им объяснишь? Да и зачем? Звери, а не люди. Не понимают, что девочка с тремя малышками пошла и что летать, как птица, не может.

— Подождем еще немного.

Говорят они негромко, но мне понятно, что им хочется, чтобы я услышала и напугалась.

Думаете, моя внучка взрослая? Ей всего-то четырнадцать. Когда время подошло, она вытянулась и оформилась, прямо как женщина. Бедра округлились, волосы длинные, почти до колен, стройная до невозможности. Такая красивая. Про нее ничего плохого не только не скажешь, а даже подумать нельзя. Это наша кровь. Кровь Марии Пии.

Дело совсем не в том, что я трушу. Ни-ни. Но после еще не зарубцевавшейся раны на сердце от смерти сына разве может оно не болеть. Я тогда сказала себе: довольно! Хустино я потеряла. Он знал, за что борется. Он мне говорил про это, может быть, даже больше, чем Хосе. Но как я ни стараюсь не вспоминать родную кровинушку, все равно при имени его горло петлей перехватывает и слезы ручьем льются. Хоть я и не из тех, кто плачет. Лишний раз не дам нашим врагам радости увидеть мои слезы. Они еще поплатятся. Так я говорила себе. Ни с одним христианином не сделали такого, что сделали с моим сыном эти убийцы проклятые. Никто бы такого натворить не смог! — так я себе говорила.

Как бы там ни было, хотя они и не жалуют моего гостеприимства и даже от воды отказались, я все же решила предложить такое, от чего они не откажутся: ананасную чичу. Пусть хоть чем-нибудь займутся.

— Ну ладно, если водички не хотите, может, по кружечке чичи выпьете? Не подумайте, что это контрабандное гуаро.

При этом я улыбнулась. Зачем? И сама не знаю. Глупая, просто так, чтобы зубы показать. Но лучше, если они будут ждать Адольфину здесь. Она вернется только к вечеру.

— Свеженькая, вкусная.

Ну и дура же! А в глубине души у самой все же теплится надежда, что сумею смягчить их сердца. Но боже сохрани на это надеяться. Ничего нельзя дарить корысти ради. От этого правила нельзя отступать. И все же надо их ублажить, чтобы они не отправились за ней.

И они ответили:

— Ну что ж, давай.

Я с радостью наливаю в кружки до самых краев чичу, а они с опаской, словно боясь обжечься, потянули руки. Сначала сержант несмело протянул свою, а за ним солдат. Ну и люди, никому не верят.

Я знала, что от чичи они не откажутся. Она ведь такая вкусная.

— Недурно, наливай еще.

— Смотрите не пролейте на форму, чича крепкая...

«Хитрая старуха,— наверное, думают они, поднося к губам кружки.— Она нас этим дерьмом купить хочет».

— Крепкая!

— Точно, мой сержант.

Выпей, не бойся. Тебя не свалит. Чистая ананасовая.

После первой они повеселели и за разговором не заметили, как кувшинчик прикончили. От чичи не пьянеют, только слегка голова кружится. Она вкусная. Чепе Гуардадо всегда мне говорил, что жаждущему надо всегда дать напиться. Гостю прежде всего предлагают воду. Особенно у нас, в Чалате. Здесь от жары деваться некуда. Так и хочется все с себя скинуть. Иногда под вечер северный ветерок подует со стороны Гондураса [1], примерно после четырех. А с одиннадцати, вернее, после одиннадцати до трех — прямо пекло адово. Чепе как-то мне сделал веер из пальмовых ветвей. Им и освежиться можно, и огонь раздуть.

[1] Департамент Чалатенанго, в котором происходит действие повести, граничит с Гондурасом.

В жару никто не откажется от кружки перебродившего за неделю сока. Но самое главное, я потому, любимый Чепе, напитка не пожалела, чтобы они забыли про девочку. Чтобы они от безделья не стервенели. Конечно, если они захотели бы, они могли бы за ней сходить. Это же ведь недалеко, полтора километра. Но по всему видно, что идти им уже не хотелось. Тем лучше.

К счастью, Хосе не придет обедать. Даже подумать страшно. Хорошо бы, если бы он и ночевать не приходил. Лучше ему в лесу остаться. Мне мужчина в постели не нужен, разве только согреться.

Мария Ромелия

Моя мама рассказала, что на бедную Лупе большое горе обрушилось. С тех пор и трех недель еще не прошло. Ей тогда сказали, что видели израненного, изуродованного человека, и все подумали, что это Хустино.

Набросила она платок на голову, быстро надела черное платье и, сама себя не помня, побежала туда, где нашли человека. «Нет-нет. Это не мой сын. Он в Илобаско работает». А в глазах слезы. Наверно, сердцем почувствовала, что это он, ее сын. Опознать его не опознали. Убитый лежал без головы. «Ну и что ж, что люди подумали? Дай бог не Хустино. Мало ли что скажут. И чего это мне взбрело в голову, что это моего сына убили».

Лучше было бы обмануть ее и сказать, что Хустино тяжело ранен, но правду уже выпалили, и весть быстро облетела все селение. С Хустино и на самом деле жуть что сделали. Тело нашли в одном месте, а насаженную на кол голову — в другом. Раненько утром, часов в шесть, шли люди на работу и увидели что-то круглое на колу. Кто мог подумать, что это голова человеческая. Мыслимо ли такое злодейство!

Потом заметили, что к дому Гуадалупе люди бегут. А когда спросили, что случилось, они нам и рассказали да еще спросили у нас, как лучше сказать об этом Лупе, чтобы не сразить ее на месте. Моя мама посоветовала не спешить и добавила, что лучше, если Лупе своими глазами увидит и сама все поймет, ей не так больно будет, и еще — что нужно сходить в асьенду и сообщить Чепе. А потом мама сказала, что пугать Чепе не надо и что она сама сходит и скажет ему. А пока пусть он спокойно работает. «Пригляди за моими ребятами, кума».— «Кума Лупе уже все знает». И те, которые к ней пришли, отправились вместе с ней.

А рассказывали вот что:

— Видишь ли, дело какое. Работал я тут неподалеку. Вижу: висит на колу что-то. Но мне вроде бы и ни к чему как-то, пока не заметил, что люди останавливаются и разглядывают. Я-то давно уже видел, что висит что-то. Но что? Разобрать трудно, темновато еще было. Я ведь на работу до свету прихожу.

Потом какие-то люди, одетые в штатское, понесли его домой. Первой их увидела жена Хустино. Она в патио была одна, без ребят. Ребят не было, они ушли, вернее, их увели — малы еще. Наверняка власти пронюхали, что несколько недель тому назад Хустино собирал в округе народ на демонстрацию к банку. И жена Хустино подумала, что власти ведут расследование. А потому на всякий случай она спряталась — так и Хустино ей раньше советовал — за стволами пальм, которые принесли несколько дней тому назад, чтобы уборную сделать. Дом-то у дороги стоит. А по дороге постоянно с раннего утра народ ходит. И все видно, что в патио делается, а кое-кто любит еще подглядывать.

— Семь пуль в него всадили.

— Толкуют, одной такой пулей пальму свалить можно.

— Какое зверство-то!

— Говорят, когда тетушка Лупе пришла на место, где был ее сын, она только глаза закрыла...

— Ни одной слезинки не проронила...

— Могут подумать, что сердце у нее каменное. Но только те, кто этих людей не знает...

— На остаток жизни силы бережет...

— Мертвые уже свое отмучились, а мы, живые, все еще ползаем в этой юдоли горя и слез.

— Все знают, как Лупе и Хосе всю свою жизнь трудились да так ничего и не сумели добиться, никакой радости не видели. Только работа и работа.

— Трудно на поденщину жить.

— Даже на девятый день за него не молилась...

— Нечего нам в чужое горе лезть.

— И священник не захотел вступиться...

— Хосе пошел на работу, как будто ничего не случилось, а Лупе дома закрылась, не показывалась сколько дней.

— Я иногда к ней заглядывала, хотела помочь, с ребятами посидеть. Про свое горе она ни слова. Зачем раны бередить.

— В таком разе лучше помолчать...

— Чем горю поможешь...

— Живым помогать надо...

— Не приведи господь такое пережить.

Каждому хотелось выразить Лупе свое сочувствие. Сегодня тебе, завтра мне. Горе тетушки Лупе стало нашим горем.

Какое-то время властей в селении совсем не было видно. Понимали, что натворили. Дальше развилки носа не совали. Приедут туда, зайдут к дону Себастьяну, прохладительного выпьют, спросят про новости, но и то скорее не потому, что на самом деле их что-то интересует, а так, чтобы не молчать. Дон Себастьян отвечал им, что все тихо. «Скорее уйдут, сволочиться не будут».

Люди стали бояться ходить на развилку. Никому не хочется с властями связываться. Особенно тем, кто дела делал. Они на глаза властям не лезли. От властей пощады не жди.

А народ говорил:

— Молодец Лупе...

— Как можно такое выдержать...

— Не думай, такое даром не проходит. Полжизни потеряешь, потеряешь раньше времени.

Так судили соседи.

И Чепе под стать Лупе. Настоящий индеец своего сына про себя оплакивать должен. Перед нами он крепкий, как сейба. Никто не знал, что у него на душе, как он страдает. Обо всех он заботился, почти не отдыхал, дела общины решал. Мы подмечали, сколько он сердца в них вкладывает. Туда, сюда. Все время в делах и заботах. Душа кооператива. Выдержки у него, как у сеньора, на все хватает. Есть у него слабости, но не такие, как у других. Например, он не разрешает называть себя доном Чепе. Когда мы собираемся в кооперативе, он как бы в шутку говорит нам: «Называйте меня просто Чепе, никаких мне даров[1] не надо». А мы ему в ответ: «Ну, дон Чепе, выходит, что и молодым свое уважение к тебе нельзя выказать?» И он: «Для меня все друзья. Если в кооператив вступил, значит, компаньеро, и неважно, молодой он или пожилой». Вот так мы и привыкли называть его: Хосе или ласково — Чепе.

Мы не оставляли Чепе в горе, вместе с ним переживали утрату, но говорить о ней можно было только с Лупе. Он сам сказал

[1] Непереводимая игра слов: don — по-испански почтительная форма обращения, принятая и среди крестьян, и вместе с тем — дар, подарок.

нам: «Мне никаких утешений не надо. И поминок на девятый день тоже. У священника попрошу прощения».

И даже священник понял, что только так Чепе может заглушить свою боль по Хустино. Мы все уважаем Чепе.

«Жизнь продолжается»,— сказал он.

Половина одиннадцатого

Собачонка мне все одно что родная. Она меня охраняет, когда остаюсь одна с ребятами. Она со мной, когда ночь черным пологом нависает и тебя охватывает страх, что больше уже никогда не рассветет. Посапывает она себе под повозкой, и нам вроде веселее становится. Иногда вынюхивает что-то, а то вдруг, задрав морду к небу, лаять принимается.

Веки вечные собаки около человека. В Евангелии же говорится, что, когда миропомазанник вместе с бедным людом шествовал, собаки вокруг него резвились и подпрыгивали, стараясь за тунику зубами ухватить. Божьи твари.

Вот потому я и говорю, что моя собачка для меня вроде дочки, сестры, тетки родной, бабушки, племянницы, внучки, правнучки, праправнучки. Собачка лает, когда о себе напомнить хочет или дать знать, что поесть хорошо бы, или когда озябла. Правильно говорят, что без собаки и дом не дом.

Когда души умерших бродят неприкаянные, собаку лучше привязать к дереву — хокоте или какаовому,— иначе собаке может достаться. А если ее привязать, то души принимают собаку за собрата по несчастью и тогда не нападают на нее. Только обязательно к хокоте или какаовому.

Бедненькая моя собачка-авокадочка. Так их называют за то, что они паданцы авокадо едят в асьендах, тем только и живы. Но я-то своей голодать не даю. Всегда кинешь ей лепешку. Она, как и мы, с солью любит. Правда, иногда уходит искать чего-нибудь своего, собачьего, а то и авокадо наестся. Откуда мне знать.

А теперь лежит собака побитая, глаза такие жалостливые, полные слез, хочет вымолвить что-то она языком, который я не понимаю — труднее английского. Все глядит и глядит на меня, будто старается объяснить, чтоб я поняла.

Говорят: человека — лаской, а собаку — таской. Но это только говорят. А иногда и совсем наоборот бывает: собаку ласкают, а человека бьют. Собака — хозяйка наша. Красивая, кофейной масти, шерстка мягонькая, голова словно свеколка, а глаза будто искорки. Кто же тебе ребрышки посчитал?

У собак есть что-то от нас, а что-то от бога. Они тоже или в ад, или в рай попадают. Что заслужат. Им тоже выпадают то милости, то наказания. Так со всей домашней скотиной бывает. Мне тяжко смотреть на тебя, моя собачка, видеть, как ты ворочаешься, чтобы улечься поудобней, чтоб не так больно было. Собаки лают на луну. А какое у собак чутье? За лигу опасность чуют. «Уаа, уаа» — голосят они, словно новорожденные дети. Стоит услышать где-то далеко собачий вой, как нас страх начинает одолевать. Значит, смерть близко бродит.

У нас постоянно было две собаки. Одна всегда в бегах, а вторая — кофейная — с нами. Недавно та, которая все время убегала, околела. Заводить взамен ее новую что-то не захотелось.

Каждую собаку, которая в доме у вас жила и потом подохла, зарывать в землю надо. Зачем бросать на съедение стервятникам. Вдруг у собаки тоже душа есть. Значит, лучше захоронить.

В селении нашем собак больше, чем людей.

А в семье нашей? На первом месте дети, потом двоюродные братья, дедушки, бабушки, родители, а уж потом собака. Как же без нее?

Адольфина

Я только на минуточку задумалась о том, что вам рассказать. Этих людей я повстречала на дороге. Они были одеты в пеструю желто-зеленую военную форму, хорошо вооружены. Только я с дороги свернула, вижу: идут навстречу. Своими ножами срубают и чистят стебли сахарного тростника, сосут их, весело разговаривают между собой о чем-то, громко смеются, будто они одни и кругом никого нет. Я шла с детишками, самого малого за спиной несла и все подгоняла:

— Поживей, а ну поживей.

Так вот, значит, идут они, стебли тростничка свежего посасывают. Ясное дело, на плантацию чью-то залезли да и срубили. Вижу, веселые они, смеются. А ведь смеяться на людях им нельзя. Я решила, что лучше сделать вид, будто не замечаю их. Какое мне дело до этих бандитов.

Мама мне всегда твердила, что я отчаянная бунтарка. А папа говорил, что это не бунтарство, а характер. Я на дух не переношу эту публику, которую властью называют. И как бы я маму ни любила, а все равно с ней не согласна, когда она говорит, что они выполняют свой долг и за это им платят. Это неправильно. Им платят за то, что они убивают. Вот какой у них долг.

— Значит, убивать — их долг? — спрашивала я у отца.

Он отвечал:

— Примерно,— и дальше добавлял: — Они режим защищают, потому и убивают.— Тогда я ему говорю:

— Это же нехорошо.

— А разве я тебе сказал, что это хорошо? Сколько себя помню, власти всегда так делали: сначала стреляют, а потом выясняют. Потому я и понимать их научился.

Так что не ругать, а ненавидеть их надо. Вот и я стала кое в чем разбираться. А маме он говорил:

— Это сознательность, а не бунтарство.

Моему отцу нравилось быть в организации. Он туда одним из первых записался. Мне он говорил:

— Единственный способ защитить наши интересы — это объединиться и стать таким образом еще сильнее.

Так он меня учил. А еще говорил, что я у него умная родилась и что он знает почему.

— Конечно, невелик кулик. Только пять классов кончил, но все же кое-что соображаю. А все это из-за бедности нашей. Да и сейчас много чего еще понять не могу.

Отец мой — человек откровенный. И хотя уже старый, но бодрый. Постепенно мне становилась понятнее наша жизнь и то, почему мы бедные.

— Вот я тебе и говорю,— учил отец,— у тебя это не от бунтарства, а от сознания идет.

Я очень люблю своего отца. Он мне так нужен, мы столько с ним переговорили. Я чувствую, что ему нравится больше со мной говорить, чем с мамой. Со мной он говорит про все серьезное, а с мамой, конечно, меньше и про дела житейские, вроде того, чтобы тортильи потоньше делать, что от фасоли и маиса ума не прибавится. Хотя сыт от них и будешь, но все равно трудно человеку всю жизнь с пеленок до последнего вздоха есть только тортильи да фасоль: утром лепешки с фасолью, днем — фасоль с лепешками, а вечером опять лепешки с фасолью.

Мне очень нужен мой отец. Но власти не хотят нам его отдавать. Как же мне после этого спокойно смотреть на этих бандитов?

Они заявили нам, что нашего отца у них никогда не было, что они ничего не знают, что они на днях его отпустили и что он, может быть, уже не любит маму и ушел к другой женщине.

Эти пакости они говорят просто для того, чтобы поиздеваться над нами. А ведь не так легко все это слушать, уши не заткнешь. Это еще не все. Сегодня, например, дон Себас говорит мне:

— Послушай, Адольфина. Только что власти заезжали, про тебя спрашивали. Я им сказал: «Эта девочка — внучка Чепе Гуардадо — еще маленькая». Может, ошибка вышла, думаю. Даст бог, она в этих делах не замешана.

«О ней и речь».

«Она нездешняя. Иногда приезжает к бабушке Лупе».

«А где дом Лупе?»

— Они и пошли туда. Должны были тебе навстречу попасться.

— Да, да, видела. Тростниковые палки сосали. На меня и внимания не обратили даже.

— Они тебя в лицо не знают, потому и спрашивали, знаю ли я тебя. Да так строго!

— Бабушка одна дома осталась, вот я и пришла с ребятишками.

«А часто она сюда приезжает?»

«Раз в месяц, сержант».

«Тогда пойдем за ней».

Я-то не знал, здесь ты или нет, и старался им втолковать, что приезжаешь по воскресеньям, да и то не каждый раз.

«Мы пойдем потихоньку»,— сказали они.

— А я бегом побегу, отпустите меня поскорее. Надо узнать, что там такое. Дайте по конфетке каждому, из тех, что по три на пятак.

— Должно быть, ничего особенного.

«Мне еще за лепешками надо забежать»,— пронеслось у меня в голове.

— Бабушка Лупе одна там.

— К счастью, ни про нее, ни про Чепе не спрашивали. А ты — девочка, тебя не тронут.

— Посмотрим.

— Правда, от властей чего хочешь можно ждать.

В это время в лавку забежала соседская девочка:

— Тетушка Лупе сказать велела, чтобы по дороге не разгуливала много, потому что колбасники[1] тебя ищут. И еще сказала она, что к ним с уважением обязательно надо, чтобы, не дай бог, какая беда не вышла.

«Бабуля ты моя»,— подумалось мне.

— И что еще сказала?

— Чтобы ты на завтрашний день помидор купила, а то рис дома приправить нечем.

«Ну и молодец девочка,— думаю,— все запомнила».

— Тут внизу они два джипа оставили. Я своими глазами видел, что к ранчо Лупе только двое пошли,— сказал дон Себас.

Я подумала: «Чему быть, того не миновать».

Дон Себас заворчал:

— Да не дави ты их так сильно, а не то мне самому их есть придется.

— Ну что вы, дон Себас, я их только чуть потрогала. Дайте мне на десять сентаво, которые покраснее.

— Бери вот эти, спелые. Лупе всегда любит немного перезрелые.

— Вы что, хотите, чтобы я не глядя взяла?

— Верно Лупе говорит, что ты девочка с характером.

— Ну а разве так можно, дон Себас?

— Посмотри на этот пакет.

— Я вижу, что на нем написано: «Если меня не берешь, не надо меня давить». Это ко мне, дон Себас, не относится. Я, конечно, куплю. Дайте мне вон те, совсем красные.

[1] Презрительное прозвище полицейских в Сальвадоре.

— Да поспеши, доченька, узнать, чего этим людям нужно.

— Ладно, не бежать же мне бегом с малышами.

— Да я из-за Лупе. Она ведь беспокоится. Мы все за нее переживаем. После того, что с Хустино случилось, она совсем переменилась.

Сердце заколотилось. Будь что будет.

— А ну, ребята, живо.— И я пошла, разглядывая маленьких ящериц, высовывавших свои головки из листьев тиуилоте. «Если не спрячешься, голову оторву». А ящерица шустрая, обманывает меня, меняя свой цвет. Мне нравится, когда у них отрывается хвостик и словно живой подпрыгивает. Говорят, что ящерицы потом на то же место приходят и своей слюной хвосты обратно приклеивают. Как игуаны. Сколько им хвост ни отрывай, никогда без хвоста не увидишь.

— Лови вот этого,— говорю я своему дяде Бенхамину. И подумать только: эти малыши — мои дяди и тети. Мончо всего два года. Мой дядя Мончо. Моей тете Эстер — четыре.

— Поспешим, ребятки. Шагайте, шагайте, дяди и тети.— Бедняжечки. В такую-то жару. Солнце палит нещадно.— Идите лучше в тень. А не то ножонки обожжете.— Они уже привыкли ходить по горячему. А вот и тень тиуилоте.— По травке, по травке ступайте.

Как раз в эту пору цикады свои песни заводят. Говорят, что они по Иисусу Христу плачут. А бабушка, должно быть, вся переволновалась. Цикады звенят, когда очень сильно припекает солнце. Так они против жары протестуют. Над кустарником сплошной концерт. «Дзинь-дзинь-дзинь» несется отовсюду, будто велосипедные звонки звенят кругом.

Если кому вздумается цикад ловить, то знайте: они в ветках тиуилоте сидят и пакостят на тех, кто под деревьями укрыться от солнца хочет. Но моим малышам уже все равно, будет на них сверху что-нибудь падать или нет. Ноги больше не выдерживают раскаленной земли. Вот я и повела ребятишек в тень под тиуилоте.

От стона цикад на душе у меня тоскливо. А может, это потому, что страстная неделя подходит? У всех ведь так. В страстную неделю бегать не полагается, потому что это значит Христа топтать. Плевать нельзя — все равно что на Христа плевать. На дерево забраться тоже нельзя, потому что это означает оскорбить Христа. Говорят, что только иуды плюются. А если кто-то камень бросит, то он в Иисуса Христа обязательно попадет. Даже если он и в ящерицу попадет, все равно считается, что Иисуса Христа ударил.

Все это с детства в голову вбивают. Мама моя не очень верит, а вот бабушка во все еще верит. И люди уважают ее за эту веру. «Это христианская вера»,— говорит моя бабушка.

Звенят цикады. Страстную неделю возвещают. На людей печаль нисходит. На меня-то, конечно, нет. Разве только немножечко, почеловечески, против моей воли. Эту печаль все за откровение принимают. Кто больше, кто меньше. Все это, наверное, совсем неважно.

— Дядя Бенхамин, иди в тень.

— Цикады там на меня...— И все-таки уходит в тень.

— Ну и что? Хуже, если с тобой случится то же.

— Понеси меня за спиной,— говорит, картавя, Мончо.

— Потерпи немного, вот дойдем до поворота.

А он возьми да зареви.

— Тетя Эстер, подержи помидоры, пока я мальчишку за спину посажу. Немножечко осталось. Я же вам говорила, чтобы все не ходили.

С поворота я увидела открытую настежь дверь дома. «Там и куплю лепешек»,— подумала.

А жара была адская. Дядя Мончо перестал плакать. Протопал он сегодня не по возрасту много. Этот бандит, оказывается, заснул, уро-

нив свою головку мне на плечо. Весь взмок, словно больной. Спи, спи, моя радость. И я вхожу в дом Марии Ромелии:

— Добрый день!

Половина двенадцатого

Туча закрыла солнышко. Она играет с ним, словно кошка с мышкой. Столб пыли поднялся чуть не до неба. За ним ничего не видно. Но вот наконец солнце победило тучу и все на какое-то время затихло. Подул свежий, будто росой умывшийся ветерок. Таким ветерком дышишь не надышишься. «Ветер, как мальчишка шаловливый, сумочку с тетрадочкой унес». Это единственная песенка, которую я в школе выучила. Ходила я в нее до второго класса, почти научилась читать и писать, но сумочки у меня никогда не было, потому что носить, кроме тетрадки за пятак и карандаша, было нечего.

Читать научилась между молитвами святой Лусии, «Отче наш», «Верую». В мое время научиться читать было не так легко. Пока не выучишь урок, из школы не уйдешь. Да и не только это. На колени ставили и читать заставляли. Самым обычным делом было на коленях стоять или руки кверху воздевать, будто душа неприкаянная. Учили строго, зато надежно. Но в том и дело, что забывается все. Если не читать, можно понемногу в осла превратиться.

Сержант почесал ногу. Это я так думаю, что он сержант, на рукаве у него нашит угольник красного цвета. Наверно, ему Пихириче в отместку блоху подбросила. А может, про деревню свою вспомнил. Наверняка он сам из поселка вроде нашего.

Вот он поскреб большим пальцем по плотной бурой штанине. Не хватало еще, чтобы он обозлился и начал кричать. Когда власти начинают на себя злиться, жди бури. Расплачиваться тебе придется. Так всегда было. Потому люди и говорят, что властей ублажать надо. Через щель между жердями я вижу, как прошмыгнула курица, вижу, где яички лежат, как цыплята снуют, где горшок с маисом стоит. Жизнь идет, не останавливается. Вижу еще и двоих солдат. И того, которого блоха кусает, сержанта. Ему на косяк опереться хочется, и потому он ерзает. Ногтем большого пальца он все еще скребет по толстой материи, но, видно, никак ему не прочесаться. Проворная блошка с нашей собачки.

Другой солдат, сидя на корточках, позевывает и палочкой чертит по земле. Потом он вдруг начинает во что-то всматриваться. Я невольно тоже в ту сторону поглядела. Оказывается, там муравей зеленую травинку на спине тащит. Солдат берет муравья и подносит к глазам. Муравей травинку не бросает. Ну не дурак ли ты муравьиный? Сколько у этой твари силы! А солдат взял да раздавил муравья пальцами. Травинку стало держать некому, и она медленно, будто нехотя, упала.

А я снова иду к очагу. Вот-вот Адольфина должна прийти. Надо бы встретить ее. Но как это сделать? Они же не позволят. Лучше и не пытаться впустую.

И я, ни к кому не обращаясь, говорю:

— Ну что за жизнь, проклятая.

Сержант посмотрел на меня. Молчат, словно воды в рот набрали. От такой тишины мне как-то не по себе стало. Хоть бы кто зашел. Не знаю, что изменилось бы, но мне — спасенье. Хоть бы кума на худой конец заглянула. Да нет, зачем желать зла ближнему, который тебе ничего плохого не сделал. Властей уважать надо и когда они молчат.

А я опять, будто ни к кому не обращаясь, говорю:

— Все еще не идут мои ребята.

А на небе тучка с солнышком в кошки-мышки играет. Хорошо бы туча победила. Ребятишки ноги не обожгли бы. Наконец солнце за

тучу зашло, и сразу же подул свеженький, словно ночной, ветерок. Меня будто от холода в дрожь бросило. Холодок в такое время в наших краях — это просто чудо.

Мы этот час называем часом дьявола, потому что только он осмелится на солнце выйти, лечь на камень и жариться, словно в пекле.

— Всего ожидать можно...

— ...

— Эта старая шлюха меня раздражать начинает.

— ...

— Может, эта собачонка — авокадница. Шума поднимать не хочется, а то с удовольствием всадил бы в нее пулю.

«Они для того и созданы, Лупе, чтобы режим защищать». Если бы не Хосе, меня давно бы в живых не было. «Стоит тебе это понять, и ты увидишь, что вопросы надо решать по-другому, не по прихоти одного человека, дескать, это мне нравится, а это нет, дескать, они гады. Нет, Лупе, они не гады и даже не сучьи дети. Они такие же, как и мы. Только они — на стороне врагов, на стороне своих собственных врагов. Разве среди полицейских ты увидишь владельцев асьенд, двухэтажных домов или роскошных автомобилей? Они-то ездят в джипах. Эти у богачей — слепые орудия, вроде как для нас мачете. Разве их увидишь по моде разодетыми? Нет. Когда они переодеваются в гражданское платье и идут повидаться со своими домашними, они такие же бедолаги, как и мы. Их даже не узнаешь. Они другими становятся, такими, какие они на самом деле и есть. И не я это выдумал, и не кто другой. Это же ясно, как божий день».

Так мне говорил Хосе. Что мы без него!

«Вот потому и говорю, что вопрос нельзя решить так, как того один захочет. Решать нам всем угнетенным вместе нужно. Сознательным самое главное. Можешь быть угнетенным и ничего не понимать, что кругом творится. Дело не в том, бедняк ты или не бедняк. Дело в том, насколько сознателен каждый, насколько сознательны все мы. Тогда и жизнь станет чистой, словно вода в горном ручье».

Что бы из меня вышло без Хосе?

«Вы не должны забывать, что эту форму защищают до последней капли крови, что в винтовке весь смысл жизни, что мы сильные и что нас боятся, когда мы, как настоящие мужчины, беремся за оружие и умеем стрелять, когда нужно. Пока у нас в руках оружие и пока не дрожит рука — мы живем».

А сволочная блоха все кусает.

— Похоже, идет девчонка...

— Кажется...

— Стой, не будь болваном...

Обрадовавшаяся Пихириче, виляя обрубком хвоста, проворно выскочила на улицу. Я же обрадовалась тому, что они не двинулись с места. Один все чесался, другой разглядывал муравьев. Моей девочки так долго нет, что чуть было они за ней не отправились. А она наверняка еще к куме за лепешками не заходила. Когда они поймут, что она не скоро появится, их ничем не удержишь. Вон увидели, что за забором кто-то появился, и сразу заерзали: «Похоже, девчонка».

А она сейчас, наверно, к куме в дом заходит. «Добрый день»,— говорит. Хорошо бы, если бы ей там задержаться подольше случилось. Пусть бы им от меня что нужно было. Я бы их скоро выпроводила. Но они темнят что-то насчет Адольфины, и мне страшно становится.

— И чего такого девочка могла сделать?

— Удрала же она от нас.

— Я видел их у поворота.

— Что-то, похоже, водит нас за нос.

Мне только и остается, что играть в дурочку. Если хотят с девочкой поговорить, пускай ждут ее.

Они

Все эти женщины здесь, конечно, шлюхи. Такими они и родятся. А вот мужчины на два вида делятся: мы, настоящие мужчины, кто вот эту форму носит, остальные — недоноски. А среди нас надо выделять самых-самых сильных, особую гвардию,— тех, которые школы с китайцами-каратистами и белыми «сихологами» окончили, тех, которые, чтобы сильными быть, картофельное пюре едят.

С нашими врагами нельзя церемониться. Никакой жалости и пощады. Быть веселым и добреньким — это значит проституткой быть. Дай индейцу только палец — он руку отхватит. Стоит тебе только улыбнуться — индеец считает, что ты ему свой в доску. Вот почему полумерами с гражданскими не обойдешься. Стоит тебе глаза прикрыть, как унесет тебя течением, словно щепку. И то надо учитывать, что индеец еще с тысяча девятьсот тридцать второго года за коммунизм.

Как же нам националистами быть, если националисты толкуют, что все равны. А ведь мы совсем не такие, как все. Такого здесь быть не может. Как мы можем быть равны с гражданскими, у которых к коммунистам любовь такая. Для нас лучше чужое, иностранное, оно хоть и не свое, но почти всегда пользу приносит. Тогда как индеец думает, что имеет право наплевать на всех только потому, что он индеец. Вот мы и держим его в узде. А если его надо убивать, будем убивать, потому что сволочная натура в нем испокон веку заложена. Дело совсем не в том, что мне на свою расу наплевать, а в том, что это правда. А за правду Иисус Христос жизнь отдал.

В день, когда индейцу из гражданских удастся стать президентом республики, будьте уверены, в этот день всех нас за ноги повесят. Я убежден в этом не потому, что инструктор-янки особенно много говорил нам про это. Мы сами это понимаем.

Гринго толковал нам, что самое важное для нас не высокая плата и хорошая жратва, а убеждение, что мы за веру воюем, что мы спасаем эту проклятую страну от коммунизма. В тридцать втором году, когда коммунисты еще и не победили даже, уже начали теснить богатых людей, людей с положением. Народ ненавидит богатых. Мы рождаемся с чувством зависти, мы не можем видеть счастливого взгляда у другого, потому что все время думаем, как напакостить ближнему своему. Мы для того и созданы, чтобы штыком и гранатой, решительностью и силой покончить с завистью. Коммунизм на пороге. Потому мы все больше и больше готовимся. Наши инструкторы-иностранцы не дают нам ни минуты отдыха. Они говорят, что за свободу и демократию готовы умереть вместе с нами, лишь бы вырвать национализм с корнем. И я с этим согласен. Надо огнем выжечь всю нечисть. Со всей этой вонью будет покончено тогда, когда все мы, объединившись во Христе, пойдем за ним и уберем священников-коммунистов. Не думайте, у нас есть высшая религия, подлинная, та, которая с севера идет к нам. Нам предоставлено право выбрать между святыми последних дней: мормонами или иеговистами. Их вера несет человеку свет и надежду на вечное счастье. И нечего нам цацкаться с братьями и сестрами, дядями и тетями, двоюродными братьями и сестрами и даже с родителями. Если они хотят оставаться темными, это ихнее дело. Каждый из своего зада волен сделать барабан. А пуль захотят, пусть не сомневаются, получат. Любоваться не будем и слюни не распустим.

А женщины — это точно — чем старее, тем сволочнее. Ясно как божий день. Но некоторые все еще сомневаются, особенно относительно матерей. Однако гринго поясняет: сволочи те, кто с нами не согласен или мешает укреплять безопасность страны, но бывают исключения, хотя их немного. Например, я верю, что моя мама никакая не шлюха и в лагере наших врагов никогда не окажется. Инструкторы нас учат: нужно помочь своим родным найти правду. Но с наро-

дом ухо держи востро, время не трать даром. Если они наши родственники, так что? Дураков среди них мало? У меня самого двоюродные братья и сестры играют в политику, будто в детские игрушки. Я их предупредил. Правда, чтобы родителей не вмешивать, сделал это потихоньку. Ведь им будто пелена глаза застлала. Инструкторам я про это говорить не буду, и не потому, что боюсь, а потому, что все равно не поймут.

А вот сестры мои — совсем другое дело. Они, как и все женщины, с малолетства мужа искать начинают, а уже в пятнадцать рожают. Потому наша страна такая и нищая. Не терпится нашим женщинам скорее ребеночка родить. Значит, они и виноваты, что нищих так много. Нас ведь больше четырех миллионов на таком маленьком кусочке земли. А еще хотят переделить землю. Только подумать: сколько же каждому достанется? Кусочек с гусиный носочек! Ногу поставить некуда. Ну как сказать, что умные. На могилу и то не хватит. Уж если делить землю, то делить надо по справедливости, всем дать по одинаковому клочку. А не лучше ли покончить со всей этой болтовней?

А сестры? Устанут от них мужья, вот они и возвращаются к родителям, оставляют им на попечение малышей, которых они народили. Им-то я не говорю. Отпетые они. Вот потому, когда здесь и поутихнет, то есть когда не будет столько бунтовщиков, мы их всех уничтожим, и тогда наша работа не кончится. Правда, она другая будет. Придется, например, обучать, как поменьше детей рожать. Такая у нас задача на будущее. Родина станет великой, когда у нее сыновей будет столько, сколько надо, и таких, которые бы любили ее, чтили и готовы были умереть за нее.

И с религией у нас тоже работы будет много. Надо убедить людей вернуться к вере Христовой. Все надо под корень вырубить, чтобы в тысяча девятьсот девяностом году, как объявлено, Иисус мог на землю спуститься. И тот, кто сохранил веру, спасется. Он всех накажет, кроме тех, кто верным ему остался.

Более того, возможно, господь изменит день своего пришествия, раньше придет. Так что нам поторопиться с делами надо. Действовать решительно, смело, твердо. Никаких церемоний, будь ты мой друг, кум или брат — рассуждать нечего. Пусть ублюдки рассуждают. Или мы, или они.

Я ведь не такой уж и болван. Больше всего мне занятия «сихологией» по душе. Для каратэ у меня силенок маловато. Но ничего. Мне помогло то, что я шесть классов кончил, и то, что к общественным наукам у меня способности были. За это меня и отобрали в специальную часть.

Так вот я в люди и вышел. Я из очень бедной семьи. Моим братьям и сестрам вместо школы с семи лет пришлось с отцом на работу ходить: кофе, хлопок, какао собирать. Я тоже в семь лет работать начал, но потом меня в школу послали. Учительница сказала, что я способный и чтобы обязательно учился, как бы трудно ни было. Одолел шесть классов. И вот теперь поглядите кем стал. Никому не отдам того, за что так дорого заплатил.

А потом я в Сан-Сальвадор уехал. Там я достиг того, чего хотел. Мои сестры тоже в Сан-Сальвадор приехали, но толку-то что? Нарожали сразу детей. Отправили малых к родителям, а потом и сами вернулись. Вот как это бывает. А двоих из них, говорят, на авениде Индепенденсия видели. Это там, где плохие женщины собой торгуют. Раньше я стыдился про это рассказывать, а теперь нет. Инструктор гринго сказал нам, что демократия — это штука хорошая: каждый может делать что хочет. Свобода личности.

Конечно, надо честно признать, не все по справедливости делается. Но такая она уж есть, демократия. Вот что касается того, будто все мы равны, это уж точно бред. Мир потому и достиг

такого развития, что мы не равны между собой. Сами понимаете, разве я могу с китайцем-инструктором сравняться? Он — каратист, а я нет. Как моя сестра может быть ровней тем девушкам, которые на лошадях верхом скачут? Это было бы идиотизмом. Бог нас всех сотворил равными, но каждого со своими различиями.

Я помню, как всей семьей мы ходили хлопок собирать. Брали с собой всех, даже самую маленькую сестренку, которой только семь лет исполнилось. На голове — сомбреро от солнца, на плече — сумка с едой и тряпки, на которых поспать можно. Работали все от мала до велика. А в списки надсмотрщик записывал только взрослых, потому что по этим спискам фасоль и лепешки давали. Нам, ребятам, этого не полагалось. Приходилось брать с собой соль и воду, которую носили в пустых тыквах. Тортильи с солью да с водой — вот и вся наша еда. Но никто с голода не умирал. Правда, двоих моих братьев в живых нет, но это по недосмотру матери. Она спохватилась, когда они уже сильно запоносили и было поздно. Дизентерия их доконала.

В деревне малые дети от поносов только и умирают. Скорее всего из-за нашей собственной серости мы бежим в аптеку и начинаем их лечить, когда уже слишком поздно. А как иначе? Врачей-то ведь нет. Зато проститутки есть настоящие. Это уж точно.

Инструктор учит нас: «Военную форму уважать должны. Уважать всегда и везде, даже когда со шлюхой ложитесь». Тут встает один шустрый и говорит, обращаясь к гринго: «Но ведь со шлюхой-то без формы ложатся». И чего ему было надо? Мы, конечно, заухмылялись потихоньку. Тогда гринго схватил штуковину такую — палку с тряпкой, которой мел с доски стирают — и запустил ею в рожу шустрому. Разукрасил его прилично, пришлось к врачам отправить. Так что жизнь наша — не только прогулки да выпивки. В эту мою военную форму я всю жизнь вложил. Крови из-за нее немало попорчено.

Ну, вот вы сами рассудите. Однажды ночью кто-то из нас громко дернул. Звук дошел до нежного слуха гринго, котрый что-то писал за перегородкой. Гринго вошел к нам, посмотрел и, ничего не сказав, направился через открытую дверь в сад. Мы, естественно, замерли, ни звука. Спали мы на галерее. Стен нет, только крыша. Это для того, чтобы мы к полевым условиям жизни привыкали. Ну вот и догадайтесь, зачем гринго в сад пошел. А оказывается, вот зачем: он взял шланг, подсоединил его к крану и окатил всех водой. На мокрых подушках и простынях нам в ту ночь было не до сна. Продрогли до костей. Он нам сказал тогда: «Чтобы впредь неповадно было».

Так что понимаете, о чем речь. Хоть я его и уважаю очень, все же он сукин сын. Я еще про тренировки не рассказываю вам. Потому как это военная тайна.

Так что форма, которой я горжусь, штука не простая.

А еще говорят, что мы легко живем, только и дел у нас, что людей хватать. Так говорят те, кто ни хрена не знает, или враги родины, потому как порядочный человек не будет говорить того, чего не знает.

Без четверти двенадцать

Не знаю почему, но ты у меня из головы не выходишь. Скорее всего потому, что еще маленьким обещал всегда быть со мной. Хорошо, что ты не придешь уже. Тебя во второй бы раз убили. Для меня-то ты не умер. И если хочешь прийти, приходи. Ты давно, еще до того, как явился и все рассказал нам, ты давно для меня покровитель мой и опора и все то, во что верит человек.

И отец твой, и я согласились с тобой, когда ты явился к нам.

Конечно, я, мать, не так, как отец, но все же понимала, куда дела клонятся: там, где Хосе и Хустино, мой сын, там буду и я.

Сын всегда в сердце у матери. Она у него на устах, когда он погибает. Вот потому и отправилась я к тебе по пыльной дороге. И увидев тебя, поняла, что ты не дрогнул, когда тебе вонзали в горло штык. Я долго смотрела на тебя. Даже лицо твое не перекошено от боли. Ты знал, что в этот миг мы все с тобой, и ты не мог струсить. Тебя схватили неожиданно, когда ты в предрассветных сумерках шел проселком.

А если я им сейчас предложила кружку воды, то это только потому, что дать напиться жаждущему — самое святое дело в жизни. Воду нельзя не дать даже преступнику просто за то, что он преступник. И в том, что я так поступила, я ни капельки душой не покривила и не угодничала. Сам бог не отказал бы в этом дьяволу. Ты, Хустино, должен это понять. Никто свою душу не отдает здесь преступникам и убийцам. Ты сделал бы так же, и не по трусости, не из-за предательства или угодничества.

Однажды ты мне сказал: «Даже когда я умру, я приду к тебе воду из колодца таскать, и приду не тайком — мне не хочется тебя пугать,— а открыто, и скажу только: «Здравствуй, мама». Тебе не придется самой воду таскать».

Но открыто никогда не приходил ты. Только тень твоя.

До сих пор вижу тебя как живого, слышу твое дыхание и ощущаю запах бальзама [1].

С тобой в дом свежий ветер ворвался и пение птиц — сенсонтле, гуакальчия, горлицы. А ты по дому в лохмотьях бродишь.

— *Значит, ты, сукин сын, в организацию вступил. Чего же они не пришли тебе на помощь? Испарились? Значит, ты собрался хозяев асьенд похоронить. Отвечай нам: где пистолет взял? Говори, дерьмо, кто тебе его дал, все равно тебя прикончим. Скажешь — сразу же кокнем, а нет — будем медленно убивать, чтобы подольше помучился. Зови твою крестьянскую федерацию, чтобы спасать тебя бежали. С властями не играют. Мы вас всех перебьем, потому что с богатыми, которые нас кормят, шутки плохи.*

Они не могли простить тебе твое молчание. Ты им так ничего и не сказал. Ты плевал на них. Потому они и решили тебя подольше мучить. Но сами не выдержали. Молчание для них — худшее оскорбление, то, чего они не прощают. А самое большое оскорбление — когда они видят, что их не боятся, когда им и ударами прикладов не удается выбить ни единого слова.

Тогда и блеснул штык. Весь ваш путь, враги нашего народа, залит кровью. Вы сеете смерть кругом. И когда вы измываетесь над народом, от вас мертвечиной несет, ладаном. За вами — могильные кресты, и вы не понимаете, что сами себе могилу роете.

И все равно я предлагаю вам воду, глоток ананасовой чичи. Но вы не думайте, что это от души, из расчета или от страха. Нет Это просто по-человечески.

Когда мертвые воскреснут, они увилят и поймут. И еще лучше, если они смогут посмеяться вместе с нами, поесть вместе с нами тортильи с солью. Мы им хорошие и ласковые слова скажем. Но надо воскреснуть.

Вы должны жить.

Это я тебе, Хустино, говорю Говорю, чтобы ты услышал. Я знаю, что ты здесь, но ты шутник и не хочешь объявляться. И не говоришь ничего, будто язык откусил. Я знаю, что каждый день сюда приходишь, выпиваешь свою чашку воды и медленно уходишь чтобы не напугать меня. Ты приходишь, чтобы только посмотреть.

[1] В Сальвадоре произрастают бальзамовые деревья, смола которых, являясь ценным сырьем для фармацевтической и парфюмерной промышленности, экспортируется под названием «Сальвадорский бальзам».

как мы тут, чтобы про себя, не вслух спросить: «Ну, как дела?» Я знаю это. Знаю потому, что в патио я посыпаю золой дорожку к кувшину с водой, потом во сне вижу следы твоих босых ног. Я же знаю отпечатки твоих ног. Ты ведь, чтобы поменьше шума было, ботинки снимаешь. Я узнаю твои следы и запах твоего пропотевшего от работы тела. Он на запах бальзама похож. От тебя только тень осталась. Но этого хватит. Спасибо тебе за твою заботу о нас, за твой молчаливый вопрос «Как дела?», за твою невидимую тень. Мы тебя, Хустино, не видим, но чувствуем. И этого довольно.

Без десяти двенадцать

Я люблю вспоминать. Это голос совести, про который я говорила. Моя мама, когда я с ней спорила или когда она мне помогала уроки повторять, а я болтала всякие там считалочки, говорила, что язык у меня без костей. Читаю, бывало, букварь: «Мой папа любит меня. Я люблю папу» — и тут же добавляю: «Па-пе-пи-по-пу, никуда я не пойду». Или: «Пепе любит свою маму». А дальше: «Пепе, папа, пупа, пепа, в огороде растет репа».

Потом я убегала на улицу и ловила там бабочек.

До школы побольше лиги было. Я не любила ходить туда, лучше помогать дома маме тортильи печь.

Мама говорила: «Нужно читать научиться». А по мне лучше с мамой идти кофе собирать на плантации неподалеку от нас. Если сомбреро с широкими полями надеть, то солнце вовсе и не обжигает. Конечно, в семь-то лет это не просто. Но мне нравилось больше ходить на плантацию, чем зубрить в школе: «Мою собаку зовут Фидо» или: «Фидо принес мяч своему хозяину». «Кукукнул-аукнул, кто-то пукнул» — а чтобы узнать, кто это сделал, мы писали имена на пальцах, а потом, намочив их слюной, выставляли кверху, чей палец высохнет скорее, значит, тот и виноват.

Хорошо утречком на речку сходить.

«Можно с подружками на речку искупаться сходить?»

«Так я тебе и разрешила, негодная девчонка. Разве не знаешь, что девушки одни не ходят. Будешь приставать, я тебе такую речку покажу!»

Кончилось тем, что я совсем перестала ходить в школу. Мама сказала, что неграмотному жить плохо, его жуликам обмануть легче. Что самый несчастный человек — это неграмотный, что забросила я школу потому, что много с отцом хожу. Это верно. Отца я очень любила, гонялась за ним словно хвостик. А маме я сказала, что не могу ходить в школу, потому что учительница очень злая, что в ливень меня в море унести может. Это была правда. В сезон дождей ходить было страшно, особенно по ущелью, где потоки с гор скатывались сплошной лавиной.

Мама сказала: «Ну ладно, тебе лучше знать».

И вот я с шести утра за вертушкой, на которой он шнурки вьет. Этим мой отец и жил. Он покупал волокно сизаля и из него шнурки скручивал, которые продавал в городе по хорошей цене в мастерскую, где карнавальные ракеты шутихи делали. Верчу я вертушку, а отец с нитью в руке все отходит и отходит назад. Клубок становится все толще и толще, отец далеко отходит. От работы руки окрепли. Я такая сильная стала, что могу корзину с маисом поднять.

Мама все удивлялась: «Нет чтобы мне помочь маисовые початки лущить, тортильи делать, постирать белье или фасоль с маисом приготовить, тебя все куда потяжелее тянет».

Как мне нравилось вернуться домой усталой, пот в три ручья, но я довольна, оттого что дело мое мне по душе.

Мой отец с клубками на спине был похож на кокосовую пальму, на которой орехи висят. А себя я так и запомнила — у колеса вертушки.

«Папа, подожди меня». На хлеб я с малолетства зарабатывала. «Поскорее, дочка, уже полдень». И помню, как стояла я позади отца, вижу: верно, тени уже нет. Значит, уже двенадцать. Если тени не видно, стало быть, солнце точно над тобой.

Когда подросла немного, меня стали брать на побережье хлопок собирать. Рот у меня не закрывался от удивления: море, которое падает с неба, облака, словно белые барашки, надо мной плывут. Любила я вдаль глядеть, наблюдать, как встает рассвет. Моя учительница говорила, что морская вода, словно дымок или пар, кверху поднимается, а потом эта же вода дождем падает.

Про все про это я думала, когда в сомбреро ходила по полю и собирала хлопок. А после работы просила отца сходить вместе на берег ракушки пособирать. Он любил раков, крабов искать. Иногда мы ловили хутий [1], которых продавали приезжавшим на пляж на машинах.

Значит, вода поднимается по невидимой реке в небо. Вот поэтому зимой и льет как из ведра. Бывают страшные бури с ливнями, когда с неба лягушки и змеи падают. Раньше я думала, что такого не бывает. Ну а если знаешь, что вода с земли поднимается на небо, почему же этому не быть. На побережье мы жили два, а то и три месяца. А когда возвращались домой, устраивали большой праздник, молились пресвятой богородице за то, что мы все живы и здоровы, домой добрались.

В тот день, когда уже были дома, шли купаться на речку и отдыхали там до полудня. Мы шлепали по воде, охотились за водяными жуками. Мама в это время стирала белье. То и дело слышался ее голос: «Убивать грешно. Довольно визжать. Не касайтесь своих глаз руками после морского конька, а не то они слипнутся». Она присматривала за тем, чтобы мы к омуту близко не подходили. Там водоворот был, который мог нас в глубину засосать.

Наигравшись в воде, мы грелись на солнце. Смотрела я в небо и думала: вот по этой летящей в небо струйке дыма уходят дети, когда умирают. Ангелы не потому могут летать, что у них крылья есть, а потому, что они могут плавать в воздухе, в котором много всего, например, рек невидимых. Ангелочков нет на свете. Это души умерших младенцев летают, место себе подыскивают. Умирает только тело. После смерти ему не больно. Больно только перед смертью, когда последний вздох делают. Это душа от тела отделяется.

Наверно, люди всегда в такое верить будут. Когда умирает человек, которого ты очень любил, надежда всегда остается. Может, душа ушедшего поселяется в наших головах? Потому и не можем мы забыть никогда наших близких. Неправду люди говорят, что покойника зарыли и про него забыли. В жизни так не бывает. Когда кто-нибудь от нас уходит насовсем, все равно целую вечность память о нем нас мучает, особенно если это сын, кровинушка родная. Сердце до боли сжимается, всякий раз щемит. Только мать такую боль знает. Это враки, что можно забыть покойного. Память о нем никогда тебя не покидает.

Очень я люблю туман над землей. Это же река, в которой души плавают, плавают ангелы, которые раньше были детками малыми. Мой отец говорил мне, что надо верить во все это, потому что только так в жизни смысл можно найти.

И вот за то, что я много про все думала и про все спрашивала, мама меня называла «почемучкой». Потом мне Хосе на многое глаза открыл. Сказал, что невидимых рек и душ не бывает. А ему я верю, он всегда прав. Но все-таки у каждого своя искорка есть, которая велит и верить и не верить до тех пор, пока кто-нибудь хорошо не объяснит непонятное.

---

[1] Небольшие грызуны, мясо которых съедобно.

Про отца уж и не говорю. Он верил в домовых, ведьм, в кадэхо. И не только верил, а не раз с ними встречался. Он был немного с хитринкой и потому рассказывал про свои встречи, вроде нам в назидание. Мне он о них говорил, когда мы шнурки с ним крутили или когда маис лущили. А может, он говорил, чтобы попугать нас. Иногда я начну про ведьму думать и уснуть не могу. Я ее представляла точно такой, как отец рассказывал, или такой, как Чепе на полном серьезе описывал однажды.

Не знаю, почему нам приходится жить в страхе вечном. Может, потому, что искорка надежды живет в каждом из нас? Как-то еще давно Хосе мне сказал: только глупый надеждой одной живет. Я никогда в это не верила. Но поняла, что он хотел сказать. Надежда нас тоже кормит. Нет, не та надежда, которой глупый живет, а надежда человека, когда ему все ясно.

Адольфина рассказывает про собор

В тот день мы пошли в кафедральный собор Сан-Сальвадора. Все началось из-за убийства Хустино Гуардадо на дороге в Илобаско, где у него маленькое ранчо было. Однажды ночью к нему в дом ворвались четверо национальных гвардейцев, ну, тех, которые с оружием ходят. Избили его дубинками, выгнали детей и жену на улицу и сожгли дом. Хустино Гуардадо — мой дядя.

Самого его куда-то увели. На следующий день нашли его изуродованный труп. Голова была насажена на кол, выдернутый из ограды, а тело лежало неподалеку в канаве.

Возмущению нашему не было конца, но мы не знали, что делать. Мы все любили Хустино. Такой смерти он не заслужил. Он был трудолюбивый, добрый человек, кормилец семьи и опора моей бабушки Лупе. Он всегда ей по дому помогал.

Четверку, которая увела дядю, знали во всей округе. Чуть не все здешние мужчины поднялись.

— Хустино никогда никого пальцем не тронул, хороший человек был.

— Помог нам организовать демонстрацию у банка, где мы просили снизить цены на семена и удобрения. Только и всего, что он сделал.

— Так оставлять это нельзя. Надо что-то предпринять в память о погибшем товарище.

Сколотилась группа мужчин. Вооружившись палками и мачете, они отправились разыскивать убийц. Искали по всем домам. Вскоре одного за другим убийц отыскали и под конвоем крестьян привели на место преступления. И вот они перед нами. Дрожат от страха, словно курицы мокрые.

— Мы, в отличие от вас, не убийцы, — заявили наши мужчины и заставили бандитов копать могилу для Хустино.

Копать там же, где его убили.

И еще заставили встать на колени, просить у покойника прощения, заставили прочитать молитву «Верую». Мы стояли вокруг с мачете наготове, а они молились под палящими лучами солнца.

— Мы — гражданская власть, — хныкали они.

— Вы власть убийц, — отвечали им наши компаньерос.

А чтобы покойник их простил, заставили каждого из них бросить в могилу хотя бы по лопате земли. После похорон мы их отпустили, еще раз сказав, что делаем это потому, что мы не убийцы, а христиане.

Так мой дядя Хустино, сын мамы Лупе, был отомщен.

Но мы и представить себе не могли, какие муки нам придется испытать за то, что мы тронули власть.

Когда начальники узнали, что произошло, сразу же послали джипы с солдатами, вертолет и даже самолет. Устроили бойню.

Многих убили. Сжигали дома, насиловали женщин, избивали детей. Даже животным и тем досталось. Стреляли по курам и поросятам. Исполосовали штыками быков и лошадей. Некоторым мужчинам вместе с женами и детьми удалось бежать по глухим тропинкам в горы и леса.

Через пять дней голод, москиты и хищные звери заставили нас вернуться в поселок. За это время в семи департаментах прошли повальные обыски. Почти все ранчо в том кантоне, где отомстили за смерть Хустино, были сожжены.

В газетах об этом не писалось. Люди не могли работать в этих условиях.

Вот тогда-то и решили занять кафедральный собор. Нам предложила так сделать прибывшая группа студентов и преподавателей. Мы уже были хорошо организованы и потому сразу согласились, рассчитывая на то, что о нашем положении напишут в газетах.

В назначенный день сто двадцать крестьян, а также студенты и преподаватели пошли к мессе.

Примерно в десять утра, когда месса закончилась, мы спокойно, потупив головы, остались сидеть на своих местах. Вскоре кто-то скомандовал: «Закрыть двери». Тогда священник, убиравший святые чаши и вино для причастия, прекратил свое занятие, подошел к нам и сказал: «Что вы делаете? — И потом добавил: — Вам лучше уйти».

Мы ему ответили, что не двинемся с места, что некоторое время пробудем здесь. И попросили ключи, которыми запираются замки на засовах соборных дверей.

А поскольку священник не пожелал отдать нам связку с ключами, нам пришлось достать заранее запасенный напильник и распилить дужки замков, которыми собор закрывался изнутри, и тут же повесить их так, чтобы снаружи нельзя было двери открыть. Открытой оставили только маленькую дверцу, ведущую на паперть. Двое студентов и трое преподавателей встали возле этой двери в качестве привратников и объясняли приходившим креститься или на конфирмацию, что по таким-то и таким-то причинам сегодня службы в соборе не состоятся. А тех, кто заходил помолиться, просили сделать это по возможности поскорее и удалиться. Мы разрешали остаться в соборе только тем, кто пожелал присоединиться к нам в знак протеста против бесчинств в департаменте Чалатенанго.

Прихожане выслушивали нас, крестились и пускались наутек. Часам к двенадцати мы все, кроме наших «привратников», уже были взаперти. Они стояли снаружи у чуть приоткрытой главной двери и через мегафон произносили речи. Это было что-то вроде митинга для толпившихся у собора зевак.

Все остальные сидели внутри в готовности наглухо закрыться, если это потребуется. Собор сразу же окружила полиция. Появились патрульные полицейские машины.

Через некоторое время мы начали получать помощь от населения. Люди несли продукты, одежду, аспирин, медицинский спирт. На стены собора кто-то повесил простыни с написанными на них лозунгами.

В час дня пришел какой-то священник и попытался убедить нас покинуть помещение. Он сказал мне:

— Послушайте, вы избрали самое неподходящее место. Будет лучше, если вы уйдете. Нет необходимости подвергать себя опасности. Мы знаем, что причины вашего поведения весьма основательны, но не следует добавлять новое к тому, что уже случилось.

— Монсеньор, — обратился к нему один из студентов (хотя до сих пор мне было известно, что в городе так обращались только к архиепископу), — мы верим, что вы и все христиане не допустите чтобы с нами что-то случилось.

Священник ответил:

— Я вас предупредил. Если вы хотите, можете оставаться. Единственное, о чем я вас прошу, так это об уважении ко всему, что здесь есть. Это вещи святые.

Один из наших ответил на это так:

— Не волнуйтесь, монсеньор, мы люди честные, и, как вы могли убедиться, наш протест носит мирный характер. Ни у кого из нас нет с собой оружия, даже мачете.

Монсеньор не сдавался:

— Да, но я вижу, что вы на все способны, вы уже сломали замки на дверных засовах.

Мы тоже настаивали:

— Да, монсеньор, но падре не пожелал отдать нам ключи, потому в целях безопасности и для того, чтобы можно было закрыть двери, мы так и сделали.

Монсеньор был вне себя, но старался это скрыть и все время нервно подергивал свою красную сутану. Казалось, что он вот-вот ее порвет.

Один студент сказал:

— Послушайте, монсеньор, мы ведь не виноваты.

На что тот ответил:

— Да, но вы забыли, что находитесь в святая святых сальвадорского католицизма.

Я ведь не привыкла не только с монсеньорами разговаривать, но даже и с простым пономарем. А тут вдруг откуда что взялось:

— Вот именно, потому мы и здесь, монсеньор.

Вдруг появился еще один священник. Одет он был лучше первого. «Красивая смена караула», — отметила я про себя. Кто-то прошептал: «Это архиепископ». И пока он шел, все повторяли: «Архиепископ, архиепископ».

Ходили разговоры, что он за нас. Мы про это слышали и потому встретили его аплодисментами. Он такого не ожидал и заулыбался. Потом сказал монсеньору, что все в порядке, он разрешает нам здесь остаться и надеется, что недоразумений со священным имуществом не будет.

Видимо испугавшись большого количества присутствовавших, он сказал:

— Однако вас здесь многовато.

Тогда один из организаторов уточнил:

— Сеньор архиепископ, нас сто тридцать. Сто двадцать пришло из Чалатенанго. Это крестьяне. И десять местных.

Архиепископ сообщил нам, что он обо всем знает, что сегодня у него состоится встреча с властями для возможно скорого решения проблемы. Нашего организатора провели по собору, чтобы показать наиболее безопасные места, где можно людям спрятаться при чрезвычайных обстоятельствах. После этого священники ушли.

В три часа дня мы устроили «обедоужин». И очень обильный, еду принесли в полиэтиленовых пакетах из столовой и с рынка. Мне никогда так вкусно есть не доводилось. Чтобы продукты не испортились, пришлось съесть все. Прямо скажем, наелись до отвала.

Через некоторое время вернулся монсеньор и отобрал двоих для приготовления пищи. Он сказал, что только они могут входить в святую соборную кухню. И дальше пояснил:

— В эту кухню заходят только мои родственники и моя кухарка.

Кто-то сказал:

— Огромное спасибо, монсеньор.

Опытным взглядом он окинул нас и выделил двух единственных бывших среди нас учительниц. Они попросили себе помощницу. На эту роль взяли меня.

— Ну вот и хорошо,— сказал монсеньор,— пожалуйста, осторожнее.

— Хорошо-хорошо, падре, — вмешалась я, как будто только меня одной это касалось.

Потом назначили ответственных за уборку и дежурных.

Время в тот день летело стрелой. Только и успела что вспомнить маму, папу и дедушку Чепе. Еще о бабушке Лупе и моих троих братьях и сестрах подумала. Одному моему братишке год с половиной, сестренке семь лет, а самому старшему — десять. По правде сказать, об отце вспомнила мельком. Он у нас пропал без вести, а это почти одно и то же что погиб. А я решила взять за правило не думать о погибших, потому что грустно это очень, а от грусти и печали человек совсем сникнуть может.

Моего отца зовут Элио Эрнандес.

Он был опора и кормилец семьи. Теперь все заботы на мои плечи легли.

Немало мы горя хватили с тех пор, как исчез отец.

Лучше об этом и не думать, а то становится просто невыносимо.

Плита на кухне была газовая, маленькая, из тех, на которых готовить непросто и опасно, потому что, когда спичку подносишь, она взорваться может. Чтобы на всех хватило, нам приходилось готовить завтрак с шести утра до десяти. Обед — с одиннадцати до трех.

Тарелки у нас были пластиковые для одноразового пользования. Но мы их не выбрасывали. Мыли и опять в дело пускали. Так что времени у «поварих» было в обрез.

В соборе мы пробыли восемь дней. Мыться никому, кроме поварих, было негде. У нас же на кухне была небольшая ванночка, где нам и удавалось немного освежиться с помощью пары кружек воды и хозяйственного мыла.

С самого первого дня было организовано дежурство. Заступали не меньше чем по двое. Спали по очереди группами (было создано две группы: А и Б), в одежде и не разуваясь.

Первое испытание выдержали ночью, когда бодрствующая группа А подала сигнал группе Б. Мы быстро повскакивали со своих мест и собрались в установленном месте. Оказалось, что дежурные заметили, как несколько полицейских бежали к главному входу. Но тревога оказалась несерьезной. Полиция лишь сорвала с фасада простыни с лозунгами и удалилась.

После этого уснуть уже никто не мог. Ответственный призвал к бдительности тех, кто перед сном все же разулся, и тех сонь, которые по сигналу группы А не проснулись. Затем он сообщил, что сейчас три часа ночи. Я поднялась последней, когда обе группы были уже в сборе. Еще поругали тех, кто спал на скамейках против двери, ведь в случае стрельбы это опасно. После той ночи спали на полу или на скамейках в местах, защищенных стеной. В дневное время, чтобы не было скучно, кто-нибудь проводил беседу о правах народа или же все мы разучивали песни.

Через два дня опять появился монсеньор Ромеро и, увидев, что мы в соборе устроились как у себя дома, обратился к нам со словами:

— Ну что ж, вижу я, никто из вас не помнит, в каком священном месте находится.

Мы в один голос ответили:

— Как можно, монсеньор.

Тогда он сказал:

— Хорошо, посмотрим. Кто из вас молился?

Все как один подняли руку. Я чуть-чуть не рассмеялась прямо в лицо священнослужителю. Конечно же никто из нас и не вспомнил, что был католиком или верующим. А молиться тем более никто не

подумал. Не за этим мы пришли сюда. У нас проблемы поважнее.

Монсеньор сказал нам очень серьезно:

— Не надо меня обманывать. Руку вы тянете по привычке, а не потому, что молились.

Тогда наш руководитель ответил ему не менее серьезно:

— Монсеньор, хотя вы и не поверите, но мы все здесь верующие и строго выполняем заповеди господни. Это точно. Но точно и то, что, если нас тронут, мы будем вынуждены защищаться.

Монсеньор решил, что лучше сменить тему разговора, и обратился с такими словами:

— Как вас кормят, работает ли плита, хорошо ли вы спите?— А потом, перейдя совсем на другое, сказал: — По радио сообщили, что по вашим требованиям уже есть решение. А потому, если хотите идти, идите спокойно. Есть приказ каждому из вас гарантировать жизнь и никого, кто отсюда выйдет, не преследовать.

Руководитель ответил:

— Большое спасибо, монсеньор, за новости. Но мы отсюда никуда не пойдем до тех пор, пока не получим приказа из нашего центра. Вы нам гарантируете жизнь здесь, а не у нас дома, в деревне. Кроме того, в провинции еще сидят национальные гвардейцы. Пока они оттуда не уберутся, мы никуда не пойдем.

Монсеньор предпочел удалиться и на прощание сказал, что придет завтра в девять, чтобы отслужить нам мессу.

На четвертый день стал ощущаться недостаток продуктов. Теперь на каждого приходилось по лепешке или по галете. Когда собирались, шутили: «Чтобы здесь с голоду не помереть, надо этих трех толстячков беречь». Те отвечали: «Ну и злодеи! Неужели вы нас поджарите и съедите?»

Я, как помощница повара, вставляла: «Да, компаньерос, лучше их поберечь».

Шутки, какими глупыми они бы ни были, веселили нас всех.

Руководитель сказал нам:

— Не волнуйтесь из-за того, что продукты кончились. Уже хлопочут, чтобы нам их доставили по линии Красного Креста.

Ну а так как Красный Крест не появился, то на следующий день решено было идти покупать продукты. Потребовались люди, готовые рисковать, потому что и выйти и войти было весьма опасно. Тут же могли арестовать. Чтобы риска было поменьше и чтобы продукты привезти поскорее, конечно, лучше было взять такси.

Вызвались идти две девочки: одна лет пятнадцати, другая — шестнадцати. Они вышли через заднюю дверь в сторону монастыря. Это было в десять часов утра. К четырем они еще не вернулись, и мы, конечно, начали беспокоиться. Может, их уже арестовали давно, думали мы. А может, они испугались и сбежали?

Тогда руководитель сказал:

— Нет, эти девушки не робкого десятка. Наверное, дело в том, что церковь сильно охраняют и им не войти.

Так оно и оказалось. Дежурные у двери вскоре увидели, как они вокруг собора проехали раза четыре в такси, а потом куда-то исчезли. Собор действительно находился под сильной охраной. Полицейские внимательно наблюдали за каждым, кто подходил к его дверям. Вот девочки и решили внимательно посмотреть, что вокруг делается. Они установили, что со стороны строящейся церкви охраны нет, и попросили каменщиков перекинуть сумки за ограду, где мы их могли подобрать.

Уже без сумок девочки направились к собору со стороны монастыря, и одному богу известно, каким образом уговорили полицейских на углу разрешить им пройти. Монастырь находится за собором, в том же самом квартале. У дверей монастыря тоже стоял по-

лицейский. Девочки завели разговор с ним, а когда увидели, что дверь перед какими-то посетителями открылась, прошмыгнули мимо изумленного полицейского. Встретили их аплодисментами. Они рассказали, что с ними произошло во время похода за продуктами, и попросили добыть веревки, чтобы поднять продукты через окошко, которое выходило к стройке и к которому можно добраться только через спальню монсеньора. Окошечко это находилось на высоте метров пятнадцати. Верхолазов нашли из тех, кто умеет на кокосовые пальмы влезать за орехами. Примерно через полчаса продукты оказались в нашем распоряжении.

В пять вечера мы устроили неплохой обед. Утром ведь нам только по полгалеты на нос досталось.

На следующий день наша организация и женщины с рынка сумели через Красный Крест переправить нам достаточное количество продуктов.

Все шло неплохо. Но люди страдали от распорядка дня. Сидеть взаперти было нелегко, особенно крестьянам, которые привыкли работать под открытым небом. Единственно, кто не отчаивался, так это «привратники». От постоянных криков в мегафон они уже охрипли. Кроме них, никто и уголка улицы не видел.

Высовываться в двери и окна было запрещено. Только четыре стены перед глазами. Наверное, потому так часто и отпрашивались в туалет — хотя бы так размяться. Чтобы туда попасть, надо подняться, потом спуститься по лесенке, пройти по темным коридорам в другой зал, где раньше тоже мессы служили. А сейчас там спали то ли не пожелавшие, то ли не успевшие вовремя покинуть собор два или три семинариста, три-четыре родственника монсеньора или его друзья, молодые студенты и служащие. Что касается монсеньора, то нам всем показалось, что он рискует так же, как и мы, и что, в общем, он неплохо себя ведет, особенно если учесть, что старики больше дрожат за свою шкуру, чем молодые, к тому же он страдает от диабета. Об этом он сказал нам, поварихам. Ну, а кроме того, он, наверное, чувствовал себя арестованным, потому и выходить не пожелал. А нас устраивало, что он, «хозяин» кафедрального собора, находился у себя.

Однажды монсеньор, обращаясь к учительнице, сказал:

— Да наградит вас господь бог. У вас же нет необходимости сидеть здесь взаперти и делать добро ближнему.— И потом добавил: — Я второй раз попадаю в плен к крестьянам. Но у меня уже сил нет сидеть столько дней в помещении.— Вот тогда он и упомянул про свой диабет. Компаньера-учительница сказала ему, чтобы он не чувствовал себя заложником, он вместе с теми, кто борется за правое дело. Монсеньор только улыбнулся и продолжал творить свою молитву, перебирая костяшки четок.

Случались и смешные истории. Падения, например, со ступенек, которые то вздымались, то спускались в темных коридорчиках. Растяпам худо приходилось. Всегда кто-нибудь из них шлепался.

Как-то без кофе остались несколько компаньерос из-за того, что тот, кому поручили его нести, пересчитал ступеньки носом, и кофе, естественно, разлился по полу. На самом деле там и не было уж так темно. Дело в том, что цвет кирпича на ступеньках сливался с цветом кирпича, которым был выстлан коридор. Казалось, что место ровное, поэтому и спотыкались о ступеньки или падали с них.

Желудочных заболеваний было мало. Во-первых, потому, что ели немного, а во-вторых — все было хорошо проварено.

В один из дней мы получили сумки с мороженым мясом, рыбой и цыплятами. Люди, которые принесли сумки, позже были арестованы. Как раз в этот день в монастырь позвонили. Это было примерно часов в восемь вечера, когда варили на кухне фасолевый суп.

Трубку сняла кухарка монсеньора. Она услыхала: «Завтра они уйдут». И больше ни слова.

Сеньора сказала мне:

— Кто-то очень неприятным голосом передал, что завтра они уйдут. А как уйдут? По-хорошему? Будьте осторожнее, берегите себя.

Мы ей ответили:

— Спасибо большое. Пожалуйста, приглядите за фасолью, пока мы сбегаем к нашим и сообщим новость.

Чтобы попасть туда, где находились остальные, мы пользовались дверью, через которую только мы, кухарки, могли ходить сколько угодно. Но в целях безопасности мы это делали не часто. Чтобы дежурные открыли эту дверь и впустили нас, надо было постучать два раза. Дело в том, что возле этой двери была щель, через которую можно наблюдать за улицей. Но мы никогда этого не делали. Это было запрещено, да и небезопасно. Всегда мы проскакивали это место как можно быстрее, но на этот раз решили поглядеть сквозь щель. И увидели, что пеших полицейских стало намного меньше и патрульная машина только одна стоит.

В зале мы застали товарищей сидящими в полной тишине вокруг маленького приемника. Мы отыскали руководителя и сообщили то, о чем нам рассказала кухарка монсеньора. Он нас попросил не строить иллюзий и никому ничего не говорить. А потом добавил, что уже обратил внимание на сокращение охраны и что они включили приемник, чтобы послушать вечерние новости. Вот тогда-то мы и услышали, что завтра в двенадцать часов Красный Крест заберет всех нас из собора.

Мы решили, что опасность уже позади, и потому, когда возвращались на кухню, отважились подняться на чердак. Через слуховое окно было видно, что где-то далеко сильно горит, будто целый квартал домов. Мне вдруг стало весело — не потому, что пожар увидела, а потому, что наконец завтра сумеем покинуть собор. Подумалось, что, может, дома в наших краях и селениях все уже решено.

Именно так все и произошло. На другой день подогнали автобусы Красного Креста и вывезли нас. Теперь я нахожусь в горах. Моего отца так и не видели с тех пор, как его схватила национальная гвардия. Бедной маме достается больше всех. Мои сестренки и братишки еще маленькие: одному скоро будет два, сестренке — семь, а третьему уже десять. Он уже зарабатывает и помогает по дому. Я тоже.

Живем словно на вулкане, хотя каждый знает, что вечно так жить невозможно. Мы делаем все, чтобы так не было. Конечно, на некоторое время в департаменте и в нашем селении преследования прекратились. Но все опять начнется сначала. Национальные гвардейцы вернутся снова. Но мы с каждым днем становимся все сильнее и сильнее и сможем дать отпор. Как бы там ни было, несмотря на отчаяние наших матерей, сестер и братьев, дедов и бабушек, то, что мы, крестьяне, сделали, оставило свой след.

Все кончилось хорошо. И я возвратилась в Илобаско.

Полдень

Воркует горлица на ветке макулиса[1]. Перышки у нее цвета корицы, а по краям крылышек кайма белая. Все протяжнее воркует она, словно плачет. Горлица — птица грустная, смирная и одинокая. Воркует, будто хочет сказать: солнце высоко стоит, а обед не кипит. Эту самую горлицу, наверное, слышит и Адольфина, шагает она по горячей пыли, уже к повороту подходит. А малые, наверно, за ней тянутся.

[1] Декоративное дерево тропиков.

Вон с той стороны они появятся, на дороге, обсаженной тиуилоте и акациями, на которых горлицы сидят и про полдень напоминают. Вот оттуда они и придут и птиц голодных вспугнут. Птицы — они как люди, в полдень едят.

Тортильи делать времени не хватило. Напекла бы лепешек, и все тут. Когда они горячие да с солью, как хорошо. Я ей сказала: «Захвати по дороге тортилий». Может, потому ее и нет до сих пор. Ждет, пока тортильи напекут. Разленилась я совсем сегодня. «Скажи куме, чтобы дала три больших тортильи и несколько маленьких для ребят». Она ответила: «Ладно, ладно».

А вот уже и гуардабарранка[1] проснулась, прыгает с ветки на ветку, клюет зрелые плоды и насвистывает громко-громко. Или сядет на влажный мох, напьется воды болотной, поглядит на себя в водяное зеркало и опять — фьють-фьють. А горлица отвечает гуардабарранке. И другие птички подают свои голоса.

По этой дороге под пение птиц бредут Адольфина, Бенхамин, Эстер и Мончо.

— Наконец показалась девчонка...

— Быстро к двери. Я тебя отсюда прикрою...

— Тебя ищут! — успела я крикнуть.

А она, будто ничего не случилось, говорит поотставшим малышам:

— А ну живее, поторапливайтесь.

Пихириче выскочила навстречу и радостно вовсю крутит остатком хвоста. «Вот и моя внучка», — говорю я. Нет, совсем ничего я не говорю. Это у меня в мыслях проносится. Зачем говорить, если вот она входит в дверь, на голове узел с тортильями, и кричит:

— Живей, живей. Давай поскорей, деточка, все бы тебе играть. Всю дорогу с Мончо ссорились. Никак идти не хочет. Уснул у крестной, пока тортильи пеклись.

Солдаты достали свои записные книжки. И началось как обычно:

— Полное имя и фамилия. Кто твой отец? На что живешь? Откуда пришла? Как попала в Чалате? Состоишь ли в крестьянской федерации? С какого времени? Сколько лет? Зачем приехала к бабушке?

А Адольфина в ответ:

— Вы капрал Мартинес, не так ли?

А он:

— Что с этой дурехой?

Другой вмешивается:

— Разве я не говорил, мой командир, что народ совсем не слушается, совсем обнаглел.

Адольфина:

— Моя мама и мой отец мне про вас говорили. Вы приходили вместе с Вильямом в дом к моему деду, отцу моего отца.

А он:

— Ну, девчонка, хватит. Я тебя уже наслушался. Ты меня с кем-то путаешь. И довольно спрашивать. Здесь только мы вопросы задаем. Не хватало еще, чтобы ты книжечку достала и записывала...

Другой опять вмешивается:

— Не хочет народ по-хорошему. Чем лучше относишься к ним, тем больше тебе хотят напакостить. Прямо из себя выходят, когда мы спокойно свое дело делаем.

А он:

— Без твоих речей обойдусь. Я и сам могу врезать ей по затылку. Это правда, что ты даже не моешься? Правда, что ты с коммунистами якшаешься?

---

[1] Певчая птица Центральной Америки.

А я:

— Дон сержант, до сих пор мы уважали власти. Если они спрашивают, мы отвечаем на вопросы. Хоть мы и бедные, мы вежливые. Я попрошу и вас быть такими же. Не грозились бы и не оскорбляли бы лучше. Вы должны понять девочку. Она спрашивает, потому что пережила много. Отец в тюрьме, матери власти чуть глаз не выбили, а теперь и к деду пришли. Сами посудите, сколько на нашу долю досталось.

Другой:

— Мы женщин не трогаем.

И Адольфина:

— Да вам все равно. Мою маму вон как ногами били. Я знаю, что и вы, сеньор капрал, в этом замешаны. Это я хорошо знаю. Больше того, я знаю вашу маму, донью Патрисию. И не вздумайте сказать, что это не так. Я дочь Элио Эрнандеса, о котором вы не хотите сказать, где он.

А я взяла ее за руку, прижала к себе и сказала:

— Девочка, не будь грубой, уважай сеньоров и отвечай, когда тебя спрашивают. Вы должны понять, дон сержант, что она еще маленькая и не может прийти в себя после пережитого. Мы же не каменные и иногда срываемся...

И другой:

— Хочешь не хочешь, а видно, тут еще не перевелись слишком грамотные старые шлюхи.

И я:

— Вы должны сказать, зачем пришли. А вы уже тут столько времени и все молчите, вот потому и спрашиваем. Она же еще несамостоятельная, собой не распоряжается. Понимаете, дон сержант?

И он:

— Власти вы уважать перестали, вот что. Вам будто в голову что-то ударило. Давайте по-умному. Лучше будет. Скажите своей внучке, чтобы она покладистей была. Мы дело свое делаем, и у вас ни один волос с головы не упадет.

И я:

— Не хочу, чтобы при ней так говорили. Со мной — пожалуйста. Я старая и ко всему привыкла.

И Адольфина:

— Ну ладно, пусть скажут, что им от меня надо.

И мне показалось, что у них нет плохих намерений. Хотя людям этим доверять совсем нельзя.

Десять минут первого

— Мы хотели поговорить с вами наедине.

Чудо какое: на «вы» обращаются. Ишь ты — воспитанные, особенно когда туману напускают.

— Дело в том, что мы нашли раненого, так как вы до нас по этой дороге проходили, вот мы и подумали, что вы тоже его видели.

«Вот, оказывается, почему они молчали. Неужели у меня спросить не могли?» — подумала я.

И Адольфина:

— Я никого не видела.

— Вы прошли в этом месте в девять...

— В каком месте?

— В том, где этого человека нашли. Он назвал нам Адольфину. А вас ведь так зовут?

— Я не понимаю, о чем речь...

— Человек этот не хочет себя называть и документов у него

нет. Вот мы и решили найти Адольфину, про которую сказал раненый. Вы здесь одна-единственная Адольфина.

— А вы уверены, что он это имя назвал?

— Не очень уверены, иначе зачем бы нам вас спрашивать. Вот мы и хотим все выяснить.

— И что же вы хотите?

— Чтобы вы пошли опознать раненого. Если это ваш знакомый, помогите нам.

— А не лучше ли его в больницу отвезти, вы же сами сказали, что он тяжело ранен.

— Не надо нас учить. Мы пришли за вами. Оставьте эту ерунду, которую вы принесли, и следуйте за нами.

А я сказала:

— Нет, зачем, если этот раненый знает Адольфину, он должен знать и меня. Давайте я пойду с вами, а она посидит с детьми. А лучше пойти всем вместе.

А они:

— Вы, старая, сюда не лезьте. Времени мало. Человек примерно в лиге отсюда. Как затолкать малых ребят в полицейскую машину? Эта машина важная.

Я поняла, чего они хотят, и сказала, что Адольфина одна шагу из дома не сделает; они должны понять, что она еще девочка, мне ее поручили, она моя внучка, с ней ничего не должно случиться, пока она на моих руках. Берите меня. Я могу ходить столько же, сколько и вы. Я могу опознать этого человека, если он из наших мест. Я знаю всех. А если он нездешний, то это не наше дело. А может, вообще ошибка произошла. Вы же сами говорили. Вы понять меня должны. Видите, что я в черном. Только недавно у меня близкий человек погиб. Я вся комок нервов и не позволю девочке никуда идти. Лучше застрелите меня на месте, если вам от этого будет легче. Но девочка отсюда никуда не пойдет. Лучше убейте нас всех.

Я уже и не помню, что им говорила. Помню только, что Адольфина меня упрашивала: «Подождите, бабушка, успокойтесь, пойдем мы все вместе».

— Почему, сеньоры представители власти, почему, сеньоры представители власти, нам вместе не пойти? — я с трудом повторяла одно и то же. После Хустино я ни за что не могла позволить, чтобы ее увели гвардейцы, на лице которых ничего, кроме плохого, не было видно.

Они на какое-то время будто замерли на месте. Только чего-то все приказывали и с удивлением разглядывали меня. Наверно, я их удивила. Столько часов молчала и вдруг заговорила.

Они и на самом деле уставились на меня. Наверное, думали: «Что с ней, с этой сумасшедшей? Такие уж они, эти старые».

А мне уже было все равно. Я даже о своих малышах не думала, не только о том, что в меня пулю всадить могут. Малыши выли воем. Слезы у них в три ручья лились. Плакали они так, как плачут голодные, страдающие или больные дети.

— Моя внучка отсюда ни шагу! — закричала я, да так, что Пихириче даже на меня залаяла. Адольфина обняла меня, все еще держа в руках горячие тортильи, со слезами на глазах она уговаривала успокоиться. «Не надо, не надо», — просила она сквозь слезы. Хустино мне не простит, если я позволю ей уйти с этими типами. Когда я вспоминала о нем, у меня прибавлялось сил. — Лучше убейте меня, убейте нас всех!

Наконец они заговорили:

— Пора унять эту старуху.

— Ну и скандальная тетка.

— Отпусти девчонку, не то силой заберем и тебя не спросим. Она издевается над нами, а мы с ней по-хорошему.

Потом заговорила Адольфина:

— Я с вами не пойду, с места не двинусь. Не знаю, кого вы хотите, чтобы я опознала. Ведите нас лучше всех вместе, хоть и медленно, но дойдем, если потребуется, эти ребятишки смогут идти, а самого малого возьму за спину. Справлюсь.

И она вытерла глаза передником, который повязала еще утром. Бедняжка говорила ровным голосом, так, что они, если бы не видели, как слезы смахивает, не поняли бы, что она плачет. А в глазах слезы огромные, будто шары стеклянные.

— Наглеет народ с каждым разом. На что надеется?

— Будто они здесь власти и уж приказать им нельзя?

— Как ослы упрямые. Станут — с места не сдвинешь.

— Только и понимают, когда врежешь. Если хотите, сейчас всыплем как положено, и конец базару.

— Подожди. Я здесь командую. Не лезь.

Тогда вдруг Адольфина решила еще раз по-своему с ним поговорить:

— Я же тебя знаю. Лицо твое очень знакомое. Ты сын Тичи, сеньоры, которая зеленью по воскресеньям на рынке торгует.

— С ума совсем здесь спятили. Будто семейные дела обсуждают.

А потом, обращаясь к Адольфине, заявил:

— Я тебя не знаю. Не знаю никакой Тичи. Власть уважать надо. Пошли.

— Ты приходил в дом моей матери.

— Мой капрал, эта сумасшедшая над нами издевается как хочет. Значит, по-хорошему не хотят.

— Перестань, доченька, старое ворошить. Что прошло, то прошло. А не то они опять за свое возьмутся.

— Это не старое, бабушка, оно у меня вот здесь, в груди сидит, — ответила она мне тихим голосом.

Между тем сержант достал из-за спины радио, вытащил то, что называется антенной, и стал вызывать какие-то номера, спросил, нельзя ли сюда доставить раненого. Он говорил на каком-то странном языке, но все же было понятно, что раненого будто хотят привезти к нам.

Малыши с Пихириче забились в угол, жевали тортильи с фасолью.

— А ну марш во двор играть. Слезайте с маиса, а то крошек туда насыплете.

И поплелись они вместе с собакой. А я смотрю на них, будто прощаюсь. В наше время ведь так: всегда надо попрощаться на всякий случай, вдруг больше не увидишься. Ведь не знаешь своего часа, когда глаза твои закроются. С Хустино так и было. Голову на кол насадили. Глаза остекленели, а на лице вроде улыбки, будто он прощался со своими сыновьями и доченьками, со мной или друзьями, для которых ничего не жалел.

Вот так всякий раз, когда ты, уже большой и толстый Бенхамин, ты, худенькая и легонькая, как пушинка, Эстер, ты, Мончо — молочка любитель, и ты, Адольфина, кровинушка родная Марии Пии и моя тоже, — когда вы уходите, я на всякий случай прощаюсь и молюсь богу.

Вот такие нынче дела. Не знаешь, откуда беда придет.

Думая о боге, я всегда думаю и про ту сознательность, про которую Чепе говорит. Может, это одно и то же? Что бы со мной стало, если б у меня не было сознания? Я бы не перенесла всего этого. Как могут вынести это несознательные люди? Те, у которых нет Чепе. Я им сочувствую. Страшное дело.

А солдаты нажимали кнопки и продолжали переговариваться по радио.

Вот уже и смеркаться начало. Смотрю, как у горлиц грудь, словно меха в кузнице, поднимается и опускается, смотрю на их перышки цвета корицы. Вот они повернули головки, чтобы лучше слышать воркованье сидящих подальше подруг. Им не нужны ни радио, ни антенны. Каждый вечер они прилетают поклевать зернышек маиса. В свадебную пору голубки прилетают доверчивые и садятся прямо на повозку. А потом, набрав зерен, они делают круг над домом, и доносится только шелест крыльев.

Если хочешь, поешь, пока я схожу с властями. Возьми рис и пару-другую ложек фасоли и накорми ребят. Каждому дай по одной ложке. Ты соли привезла, правда, доченька? Тогда по щепотке каждому. Соль дешевая, но бросаться ею нельзя, это грех. Человека крестят с солью, чтобы смыть грех первородный. Я тебя благословляю именем отца и сына и святого духа. Кажется, только вчера мы крестили Адольфину. Как она выросла! Скоро замуж. Дети пойдут.

Однажды Чепе мне сказал: «Если мне придется кровь пролить, свою кровь, я не дрогну, раз это для блага всех». Вот он какой. Мне он говорил, что сознательность — это значит собой пожертвовать ради тех, кого эксплуатируют. Я бы никогда не узнала, что эти слова означают, если бы Чепе мне не объяснил. Немало мне стоило труда понять, почему мы эксплуатируемые. Думала я, что природой так устроено. Я верила, что каждому своя судьба предназначена свыше. Если человек бедный — значит, на роду так написано. Что поделаешь, если господь бог не сотворил для нас жизнь лучше. Мы должны его благодарить за то, что мы живем и нам хватает маиса, соли и фасоли.

Так было, пока я не открыла слово «эксплуатируемый». Нас, крестьян, в этой стране эксплуатируют. Потому мы такие бедные. Если бы нам правильно платили, было бы совсем другое дело. Дети не росли бы неграмотные. Нам бы легче понять было наши крестьянские проблемы, говорил он мне.

Он всегда обо всех думает. И не только думает, но и делает. За это его люди любят. Они хорошо знают, что он всегда готов ради них свою жизнь отдать. Таким он в нашей организации сделался. Даже выпивать перестал, чтобы всего себя делу отдать. Для него нет ни суббот, ни воскресений. Поначалу я не понимала, почему он нас оставлял. Не в том смысле, что уходил, а в том, что мало на нас обращал внимания. Только и были у него на уме задания да задания. Он объяснял нам, почему так нужно. Это и есть сознательность, говорил он мне. Вот и выходило, что это штука сложная, одним словом не объяснишь. Сознательность — это все, что мы делаем на благо других, забывая про свои личные интересы.

Вот потому я и говорю: Чепе — моя совесть.

Час дня

Пока они занимались со своим радио и оставили нас в покое, мы решили пообедать.

Но в это время небо, словно стрела, рассек ястреб. Услыхав своим острым слухом наседкино кудахтанье, он закружился над двором напротив нашего. И вдруг камнем вниз, прямо на цыпленка. Курица попыталась закрыть свой выводок, но ястреб, схватив цыпленка, взмыл стрелой в небо. Наседка подпрыгнула было, а потом бросилась к оставшимся цыплятам и накрыла их. А довольный добычей бандит-ястреб был уже высоко.

Воспоминания из головы не выходят.

— Вот я и говорю, дон Себас: придет беда, открывай ворота. То не было дождя, а когда чуть помочило, будто кот наплакал, мы обрадовались, посеяли маис, да все пропало.

— Может, в этом году лучше будет. Уже много дней летят асакуаны [1].

— Правда, дон Себас? Люблю смотреть, как они летят в вышине. Но нынче я их даже не видела.

— Их столько летело, что наверняка хороший дождичек будет.

— Наверно, на север летят.

— А кто их знает, куда они летят.

— Вот бы год нынче хороший выдался.

«Дождик, дождик, пуще...» Мне нравилось петь эту песню, когда на горизонте появлялась туча и приходилось спешить, чтобы успеть дела доделать. «Еще далеко!» И бежишь на развилку к дону Себасу купить бурого сахара для кофе. Только успеешь вернуться, а туча уже совсем над головой. С нашего холма видно, как от горизонта стеной ливень надвигается. И я пела: «Дождик, дождик, пуще...» Так на душе весело.

— Мама, расскажи мне секрет, как ты кофе готовишь. Я подруг научу. Стоит твой кофе попробовать, сразу разницу чувствуешь.

— Это ты говоришь, потому что кофе бабушкин. Он самый вкусный.

— Правда, мама...

— Когда женишься, Хустино, и из дома уйдешь, вот тогда и поймешь, что самый вкусный кофе тот, который тебе жена приготовит.

Так жил Хустино. Он любил людей. Мало быть добрым. Важно, чтобы эту доброту другие чувствовали. Как он любил делать добро и как он ценил, когда ему добро делали!

— Да вот ведь дело какое, уже двадцать один год по земле хожу, а жениться не успел...

— А может, ты уже обхаживаешь какую-нибудь девочку? Дома-то тебя частенько не бывает. Дело, сын, житейское.

— В федерации забот по горло, так что на глупости времени не хватает.

— Это, сынок, жизнь, а не глупости.

Мне всегда казалось, что он на Хосе похож. Глаза, рот — такие же, и точно так же вытирает пот со лба, а потом медленно опускает руку.

Вот поэтому я на тебя и любовалась, как на молодого Хосе, когда он только начал в наш дом заходить.

Но ты, Хустино, одевался лучше Хосе. У Хосе ничего, кроме рубашки самотканой, не было, а тебе такая материя никогда не была по душе, с тех пор как стал понимать себя. В поселок ты ходил и красовался всегда в покупных рубашках. Парни сейчас другие пошли, все у них лучше, зато и жизнь у мужчин стала опаснее.

С тех пор как мы перестали молчать и начали права требовать, жизнь для мужчин в этих краях стала невыносимой. Мы родились бедняками, и господа хотят, чтобы мы такими всегда и оставались. А если мы не согласны, они готовы всех нас уничтожить. Это можно понять по тому, как они с нами обращаются, как легко разделываются с людьми. Мы живем в нищете, голодаем, и все равно они хотят уничтожить нас. Они хотели бы, чтоб нас вообще не было. Кто же тогда им будет собирать хлопок, кофе, кто будет расчищать поля под посевы, кто будет засевать им такие огромные землевладения? Может, они сами? Может, власти снимут эти пушки, которые носят, чтобы народ запугивать, и поменяют их на мачете и бычью упряжку? Может, они перестанут властью быть, у которой только и забот что туда-сюда ездить и все выслеживать? Может, такое будет, когда они покончат с бедняками?

[1] Асакуан — вид центральноамериканского коршуна, его прилет сальвадорские индейцы связывают с наступлением периода дождей (улетает в апреле, возвращается в октябре).

«Не будет этого», — говорил мне Хустино, а Хосе подтверждал: «Но мы должны организоваться. В этом наша сила. Мы их больше не боимся. А если останемся одни, то все равно упрямо пойдем вперед. Нас не испугают ни их сила, ни их зверства, ни убийства. Испугаться — значит погибнуть, значит признать себя побежденным, хотя правда и на твоей стороне».

— Не знаю, почему Хустино не выходит у меня из головы.

— Надо забыть его.

— Не тебе так говорить. Уже не одну ночь я слышу, как ты плачешь потихоньку, а потом идешь во двор будто по нужде и долго-долго не возвращаешься. Память о нем лишает тебя покоя.

— Я не могу его забыть. Но не люблю, когда ты мне его напоминаешь, сил не хватает слушать, когда говорят про сыновей, которых больше никогда не увидишь. А нам они нужны.

В тот день Хосе проснулся спокойный и сказал мне:

— Пусть ребята соберут все эти вылущенные початки маиса с пола и сложат в старый мешок. Кума просила на растопку.

Ушел раненько, на рассвете.

— Может, до захода солнца приду. Ночевать в горах, хоть и с товарищами, все же хуже.

Я сказала:

— Пока опасно, лучше не приходи. Знаешь, как с Элио вышло. Его не отдают и ничего о нем не говорят. Мы-то хоть смогли тело Хустино увидеть и знаем, что его уже нет в живых.

Когда без вести пропадает человек, еще хуже. Тут хоть знаешь, что нет в живых. А когда человек исчезает и никто не знает, где он и что с ним, вдвойне всем хуже. Все родные и близкие с ума сходят от отчаяния и неизвестности. А отчаяние — это все равно что медленная смерть.

Опасно было очень. Потому он и ушел ранехонько, на дворе еще темно было, на дорогах ни души.

— Знаешь, ястреб сегодня на соседский двор прилетал.

А он мне:

— Береги наших, ястреб-курятник привычку имеет на старое место еще раз прилетать.

Это уж точно, я и сама знаю. И, продолжая разговор, сказала:

— Он будто выбирал. Сцапал самого жирного цыпленка. Бедняга наседка чуть за ним не взлетела, а потом, спрятав остальных под крылья, вовсю раскудахталась. И зачем эти ястребы?

А он мне:

— Все живое свое дитя жалеет, даже птицы и звери.

Говорят, что деревьям больно, когда ветку срубают. И про Адольфину мне тогда он сказал:

— Хорошо, что девочка побудет у нас еще несколько дней. Тебе поможет. Да и лучше ей здесь, пока в Илобаско не утихнет. По слухам, власти бог весть что там творят.

Я ему заметила:

— Бедная Мария Пия. До сих пор ничего ей не ответили.

А он мне:

— Хуже всего, когда о человеке ничего не говорят. Так никогда и не узнаешь, где он.

Удивляюсь, какая молодчина наша Адольфина! Не знаю, может, нынешняя молодежь вся такая. Мать ее передала, что Адольфина с неделю у нас побудет.

И говорю Хосе:

— Адольфина во многом мне помогает. Я прямо отдыхаю, когда она здесь.

Она малышей, своих дядьев, нянчит. Смешно, а что я сделаю, если последний, Мончо, у меня примерно в сорок лет родился. Повезло этому сосунку, всей семьи баловень.

Половина второго

Каждый раз, когда он про это рассказывает, я умираю от смеха. За грехи бог его наказал. Он и не отпирается. Даже совсем наоборот. Когда у него настроение хорошее, он и мне, и внукам, и малым детям все повторяет и повторяет: «Ну, так вот как у меня с этой теткой вышло». И опять то же самое. Остановить его невозможно.

«Значит, отправился я за чернобыльником, потому что у Марии Пии, которой в то время девять лет было, живот заболел. Зашел к бабушке моей и попросил лошадь, которую Каньяфистолой звали.

— А зачем тебе, парень? — спросила она.

— Девочка заболела, к речке надо съездить за чернобыльником.

— Не успеешь дотемна, — сказали дед с бабкой, — ну да бери. Вот тут тебе что под себя подостлать, а вот уздечка.

Часов пять вечера было уже, темнеет. В четыре работу заканчивают — и домой. А тем более небезопасно было тогда, после расправ тридцать второго года. Отправился я, чудак, на речку. За кофейные деревья в туман опускалось солнце. Холод до костей пробирал. На безлюдной дорожке у реки любого куста пугаешься. А тут вижу девицу на камне. И чем ближе подъезжаю, тем лучше различаю, что не просто девица, а красавица. Волосы длинные, платье на ней цветастое, но довольно грязное. Интересно, кто ее оставил одну? — подумалось мне. А когда я подъехал и спросил, чем могу помочь, то успел заметить, что груди у нее подрагивают. И ясно мне стало, что она без лифчика. При каждом ударе сердца на платье у нее появлялась волнистая складочка вроде тех, которые на дюнах с мелким песочком или в лужах под лунным светом увидеть можно. Ну как тут не разволноваться вконец. Бедра у нее словно кувшин с холодной водой. На щеках ямочки, хоть шарики в них закатывай. Взгляд мягкий, бархатистый, а глаза горят, как у змеи. Уставился я на нее, рассматриваю глаза, бедра. Ямочки у нее со щек не сходят — все улыбается она и улыбается.

Сами понимаете, не повстречай я ее, разве мог бы такое придумать.

Ну, значит, говорю я ей:

— Почему на камне сидите? Он, должно быть, горячий, припечь кое-что можно.

А она мне:

— А вот и нет, этот камень прохладный, сидеть на нем хорошо. Только то плохо, что одна я здесь.

Тогда я ей сказал:

— Если я по вашему желанию могу что-нибудь полезное вам сделать, стало быть, вы не будете в одиночестве.

И признаюсь откровенно, весь я пятнами пошел. Куда и осторожность вся делась, когда она пожаловалась, что одна сидит. Да и как мне было голову не потерять, молодой был, ретивый, как жеребенок.

— Я, моя любовь, так говорю для твоего же блага. — Только вспомню, так волосы дыбом и встают.

Начинаю улещивать незнакомку и совсем внимания не обращаю на то, что сумерки сгущаются, темнота окутывает притихшую кофейную плантацию.

Спрашиваю:

— Что же делаете одна-одинешенька в этих местах?

А она отвечает мне, что не одна здесь. Огляделся вокруг, никого не вижу. Дурацкая рожа, видимо, была у меня, а ведь никого близко нет.

А она говорит:

— Вы же со мной.

Сердце у меня еще чаще забилось:

— Значит, мы здесь совсем одни?

— Ну да, — отвечает она.

Тут я решил взять быка за рога. Говорю ей:

— Если со мной на речку за чернобыльником поедете, потом куда захотите доставлю. — Но голос у меня дрожал от волнения, внутри будто все оборвалось. Сердце готово из груди выскочить только от одной ее талии. — Ну что ж, садитесь, — говорю.

Помог я ей подняться, усадил впереди себя и, крепко прижав, чтобы не свалилась, говорю:

— Не беспокойтесь, я вас крепко держать буду, чтобы не упали на скаку. — А никто скакать и не собирался. Это я так, схитрил, чтобы попользоваться случаем.

— Я поеду с вами, а потом кое-что скажу, — прошептала она.

— Не беспокойтесь, довезу, куда только душа ваша пожелает. Все сделаю, что ни прикажете.

Даже про болезнь Марии Пии забыл. А самое плохое, что врал я ей, чтобы она ревновать не стала. Зеленый еще был.

— Чернобыльник для соседки моей. У нее живот вдруг схватило.

Может, потому что молодой был, вот и хвост распушил, мне казалось, что на всем белом свете я единственный создан для этой женщины. А хуже было еще то, что она мне все о цветах вдоль дороги да о всякой рыбьей мелюзге в реке рассказывала.

Я ей говорю:

— А пепески вам нравятся?

— Нет, не нравятся,— отвечает она.

— Тогда почему же вы говорите, что вы оломинок любите?

— Потому что это одно и то же, — отвечает она.

— Нет, это не одно и то же, — говорю я. — Пепески — это сухие оломинки, их едят жареными, а оломинки называются пепесками, когда они живые.

— В том-то и дело,— поясняет она,— мне нравятся свежие рыбки, живехонькие.

Я тут прямо подпрыгнул. Ну, а по дурости, сразу-то непонятно, значит, говорю я ей дальше:

— Ну и шутница вы. — А сам все крепче и крепче ее к себе прижимаю. И все это с умыслом, а не так просто. Думаю: «Ну вот сейчас-то мне перепадет».

Когда Хосе впервые рассказывал мне эту историю, я даже поначалу ревновала, но только поначалу.

На самом деле все было не так. Вернулся он до костей продрогший. Мы подумали, что не иначе как с дьяволом повстречался. Весь в болотной тине, мокрый, замерзший. Молчал, как глухонемой, и только прижимал к груди чернобыльник.

Как мы ни старались, не могли от него добиться ни слова.

«Тебя что, змея укусила? С дьяволом свиделся?»

Ни звука. И чернобыльник не отдает. Тут уж не до смеха нам стало. Испугались мы не на шутку. Но вот что было с ним дальше:

«Я уже вообразил картину, как она лежит на голых камнях, как мне остается только раздеть ее... Все это я рисовал себе в голове, пока обнимал ее, прижимал и как бы случайно пускал в ход руку, в такт лошадиному шагу. Я ей сказал, что таких красивых волос в наших краях ни у кого нет. А она говорит, чтобы я не завирался слишком, потому что она, мол, очень уродлива. Но чертовка была красива, по крайней мере мне так показалось, когда я ее на коня подсаживал. Спрашиваю я у нее:

— Есть ли хозяин у такой красоты?

А она мне:

— Как знать, как знать.

Я уже совсем с ума сходил. Мне казалось, что она моя. И говорю я ей:

— Полюбил тебя сразу, как твои ямочки да блестящие, словно светлячки, глаза увидел.

А она отвечает мне:

— Вы их еще не видели вблизи.

— А какие у тебя глаза вблизи? — спрашиваю.

— Лучше, если вы их рассмотрите, пока к реке не подъехали,— говорит она.

— Вы такая игривая, — говорю я.

Тогда она будто с претензией:

— Вы меня так прижали, что ни дохнуть, ни охнуть, ни повернуться лицом, чтобы глаза показать. Не спешите, уберите-ка руку.

А у меня от нетерпения руки не повинуются, что с ними делать, не знаю. Они змеями извиваются, готовы впиться в нее ногтями.

— Вы с ума свести можете.

— А вы, такой грубиян, тискаете меня.

Тут мне стало очень стыдно, и я чуть-чуть разжал руки. И как же я удивился, когда она с упреком вскрикнула:

— Посвободнее, да не совсем.

Вот вы и вообразите: для чего ей было это нужно?

Я притворился, что не спешу, и говорю ей:

— Там пониже у реки будет попрохладнее...

А на самом деле у меня по спине холодные мурашки бегают.

— То холод костлявый. — Так мне и говорит.

— Вы назвали меня грубияном. А сами вы — хитрая плутовка.

Правду я сказал. Издевается над человеком, за святошу меня принимает.

— А разве вы не замечаете, что чем ближе к реке, тем я все теплее становлюсь?

Когда она про реку сказала, мне совсем уж невтерпеж стало, в жар бросило.

А она то прижмется, то отринет. Я даже обе руки сцепил, стараюсь ее не отпускать от себя, чувствую ее упругое тело.

Солнце совсем скрылось за высокими деревьями. Лошадь будто догадалась, что со мной происходит, сама с трудом находила путь в густой траве.

Врать не буду, груди у нее как две голубки с твердыми, словно клювы, сосками.

Вдруг лошадь стала спотыкаться, остановилась и даже попятилась. Что случилось с животным? От ее тревожного ржания проснулись птицы, послышались взмахи их крыльев. Совы и филины залетали.

— Не иначе ядовитую змею тамагас увидела, — заметил я.

А лошадь стоит как вкопанная. Всадил я ей шпоры, а она ни шагу вперед, встает на дыбы и все.

— Давай, несчастная, вперед. Не видишь, уже подъезжаем к реке.

И думаю я про себя: «Нет худа без добра. Может, нам удобнее здесь слезть с седла, спешиться».

Я ей и говорю:

— Тут мы чернобыльника нарвем, а потом я вас отвезу куда захотите. — С женщинами мы все как телята. — Ну что, слезаем?

А она игриво:

— Да нет, нет. Может, вы что со мной сделать хотите.

— Бросьте шутить, не видите, что лошадь дальше не идет, ничего плохого с вами не будет.

Тогда она прижалась ко мне и говорит:

— Я хочу, чтобы со мной было что-нибудь хорошее.

И когда она мне это сказала, колени у меня задрожали еще сильнее.

А она опять:

— Скажу вам правду: я ищу темень у реки, там, в самом низу. А здесь я боюсь.

— Чего боитесь?

— Света боюсь.

— Значит, вы, должно быть, очень капризная. — И чтобы завлечь ее дальше, говорю: — Идите сюда, к скале поближе. Под ней чернобыльник должен расти.— А сам думаю: «Внизу темнее, и там она не откажет». Но она ни с места. — Ну, пошли, не будь дурочкой, пошли к камню.

А она стоит с опущенной головой и лицом, закрытым волосами. Взял я ее за руку и попытался потащить, будто ребенка.

— Не надо меня тащить, сама с удовольствием пойду, — сказала она.

А потом, когда я опять запустил руку туда, где у нее две голубки спрятались, она говорит совсем другим, незнакомым мне голосом:

— Я — дочь темноты. На камне света много, а внизу уже совсем темно. Вот пойдем туда, сами увидите.

Но я не Хуан-простофиля, меня не проведешь. Взял ее обеими руками за голубки и хотел было уже к делу приступить, да вдруг вижу: глаза ее сквозь волосы блестят, будто кошачьи. Или это мне кажется, думаю, или глаза у нее такие красивые?

— Почему твои глаза так блестят? — спрашиваю.

— Это еще что! Видел бы ты их в темноте! — отвечает она.

Ну, если уж черт тебя оседлал, разве остановишься. Такое дело парень упустить не может, иначе про него плохо говорить будут.

— Ну так пойдем туда, где потемнее, чтоб я мог на них полюбоваться, — говорю ей, совсем обалдев.

Она спокойненько направилась к камню и говорит:

— Это что, а вот погляди на мои ноготки.

И вижу я длиннющие ногти. Никогда таких не видывал раньше. То ли они в один момент выросли, то ли я от волнения их не замечал. Не помню, брал ли я ее за руки или нет. Ведь мужчина, если встретит на пустынной дороге девицу, скорее старается свое получить, а особенно когда она игривая. Конечно, если парень что надо. Я-то особенно этим не отличался, но ведь конь о четырех ногах и тот спотыкается.

Она встряхнула головой, отбросила волосы с лица. И вижу — бледная, словно покойница, и никаких ямочек. Чувствую я, что она вся похолодела. Тут я и бросил ее. Напоследок она мне сказала:

— Это еще что. Погляди на мои зубы.

И я увидел огромные клыки. Потом услыхал оглушительный хохот и... наложил в штаны.

А она скинула платье и кричит мне:

— Вот твои голубки, вот твои голубки!

Не знаю, как я оттуда ушел, как нашел лошадь.

А из-за деревьев все еще доносился ее голос:

— Вот тебе голубки. Вот тебе голубки.

Домой я приехал весь в горячке. И не помню, как добрался. Бабушка мне сказала:

— Ты на покойника похож.

Я не мог произнести ни слова. Язык словно прилип. А она свое:

— Да ты и впрямь в штаны наложил. Что с тобой?

Дней пять, а то и больше провалялся. Люди говорили, что все время прижимал к груди чернобыльник. В недобрый час его сорвал. С тех пор только на Лупе и смотрят мои глаза. На других — ни-ни.

И если какая женщина мне улыбается, я сразу же в ней колдунью вижу. Давно это было, всего-то почти и не помню».

— Потому-то ты, — говорила я Хосе, — больше десяти дней на маисовом отваре да на твороге сидел, будто грудной ребенок. Ничего другого в рот взять не мог, все обратно шло. Кто-то нам подсказал кормить тебя как ребенка. Люди приходили поглазеть и просили рассказать. Но только через месяц ты сказал про случившееся.

Мне-то ты открыл все почти сразу. Доверил по секрету, нелегко тебе было говорить про свои шашни с колдуньей.

«Если тебе не расскажу, греха с души не сниму, — сказал ты мне. — Только так и полегчает».

Так оно и вышло. Рассказал мне, и лучше тебе стало. Я тогда сказала тебе, что прощаю. Это было единственное приключение в твоей жизни, и ты про него много лет рассказывал, всякий раз добавляя новые подробности. Последние разы мы просто лопались от смеха.

А сейчас Хосе считает, что все это ему просто приснилось.

Два часа пополудни

Над оградой поднялась пыль.

— Человека везут на джипе, — сказал капрал, которого, по словам Адольфины, зовут Мартинесом.

Машина остановилась против дома. Из него вылезли четверо национальных гвардейцев, вытащили человека и поволокли его по земле к дому, словно раненого зверя. Человек был будто ряженый, разглядеть что-нибудь было невозможно. Лицо, рубашка, брюки залиты кровью.

— Давай его сюда, может опознают.

Еще издали я поняла, что это был ты, твое лицо все в крови. Это твой один глаз видит знакомую картину, а второй выбит и висит.

У Адольфины спросили:

— Узнаешь?..

— Разве узнаешь, если он весь в крови. Лица совсем не видно. Откуда я знаю, кто это. Не пойму, почему вы считаете, что я его знаю.

Так им ответила, вернее, выкрикнула Адольфина, обращаясь все время к тому, которого она называла капралом Мартинесом.

А мне казалось, что я тебя и узнаю, и все еще боюсь узнать. Нет, это не ты. Только бы не ты! Ну, а брюки? Твои. Не по себе мне стало. Нет, не ты. Откуда находит это, будто я не узнаю тебя? Кто меня заставляет отказаться от тебя? Может, это надежда на то, что я и правда тебя не узнаю? Может, это совсем не те брюки? Может, эта рубашка просто на твою похожа, хотя из-за крови цвета ее и не определишь. Разве у тебя была когда-нибудь рубашка кровавого цвета? И почему у Адольфины, а не у меня спрашивают, кто это? Почему у этих людей, у которых тоже есть матери, отцы, дети, братья, такие жестокие сердца? Почему им позволено пытать человека, издеваться над человеком? Кто их растил и кто им кровь заменил? У них в жилах течет кровь не нашего народа, христиан, бедняков. Какая бешеная собака выкормила этих псов и вместо человеческой крови влила в их жилы подкрашенную воду?

Едва расслышала я голос Адольфины:

— Бабушка, что с тобой?

И тут же другой голос:

— Может, вы его знаете?

Я едва на ногах держусь, сердце останавливается, холодным потом обливаюсь.

— Знаешь ли ты этого человека?

Я застыла вся, когда увидела, что ты будто обрубок, изглодан-

ный собаками. Одежда в лоскутьях, проклятые живодеры по куску от твоего тела отрывали, кровью твоей упивались.

Но я все же сказала «нет» и сказала без дрожи в голосе, без колебаний, чтобы не оставалось сомнения. В эту минуту ты приоткрыл свой здоровый глаз, который тебе оставили. Может, ты и закрывал его, чтобы не говорить, чтобы тебя не признали. На меня смотрел ты тем же самым карим глазом, которым больше тридцати лет видел меня.

Это был ты, Хосе. Такого глаза я ни у кого другого не встречала. Это был ты, я в этом уверена. Господь озарил мой разум, и я вспомнила, как ты мне говорил: «Если когда-нибудь почувствуешь опасность для себя и нашей семьи, без раздумий откажись от меня».

И ты заставил меня тогда поклясться, а я не верила, что такое может случиться.

«Мы всю жизнь под угрозой живем. Вспомни Хустино, Элио и других. Мы не можем приносить в жертву людей без надобности. Если увидишь, что выхода нет, отказывайся от меня, и это может меня спасти», — так он мне тогда говорил.

Вот я и увидела, что другого выхода не было. Потому ты и открыл глаз, когда я от тебя отказалась, я ведь сделала самое трудное. Мне показалось, что ты своим мягким взглядом карего глаза послал мне привет и сказал: «Спасибо, Лупе», хотя глаз твой вовсе и не открылся, потому что был залит кровью, как и все лицо. А второй твой глаз погас навсегда. Он висел на щеке, у носа. Не понятно, как ты мог быть еще в сознании. Два солдата держали тебя за одежду сзади, словно пугало.

Я не подвела тебя, Хосе. Я поняла, что, приоткрыв глаз, ты прощаешься, благодаришь меня и гордишься мной, видя, что я удержалась на ногах, положив руку на плечо внучке. И я вспомнила. Вспомнила, как ты говорил мне: «Когда я умру, не закрывай мне глаза, потому что хочу видеть, как делает первые шаги человек в лучшем мире. Положи мне только руки на сердце, чтобы я думал, что вы со мной, припали к моей груди».

А потом ты вдруг рассмеялся и сказал, что не веришь, будто умрешь спокойно, в постели.

Я понимаю, ты не можешь уже стоять, это солдаты не дают тебе рухнуть на землю. Ты, конечно, не хотел появляться здесь. Однако у тебя хватило сил проститься. Будто кто-то мне сказал: «Веди себя хорошо, держись, будь со мной, я поклялся отдать свою кровь за правое дело».

Вот сейчас и исполнились твои слова. Я тоже выполню свою клятву. Обещаю тебе, что выполню.

— Ничего, девочка, — говорю я Адольфине.

— Мне показалось, что тебе плохо, — сказала она.

— Доведись такое любому христианину, доченька... — ответила я ей.

Капрал Мартинес:

— Знаете его или нет?

Я:

— Нет, не знаю. Откуда мне знать?

— Мы его привезли для того, чтобы все увидели, так кончают бандиты, которые записались в свою сволочную крестьянскую федерацию. Всем вот такое уготовано, — вещал чей-то глухой, словно из пещеры или с того света голос.

Капрал Мартинес:

— Мы знаем, что ваша внучка замешана в этих делах, ее уже засекли кое-где.

Я:

— Не знаю, в чем замешана моя внучка. Знаю только, что у девочки другие понятия. Мы, старые люди, действительно уже по-

лумертвые, даем вам себя убивать медленной смертью. Но мы поняли это слишком поздно. А моя внучка — человек живой, и вы ее не заставите умирать медленной смертью. Я знаю, вам не нравится, что она живет ради нас, дышит ради нас. Может, ей еще и удастся нас спасти.

Не представляю уж и откуда у меня такие слова взялись. Чтобы говорить, мне пришлось закрыть глаза. Закрыть глаза и не видеть тебя, Хосе. И вспомнить все, о чем ты не раз мне говорил.

Капрал Мартинес:

— Мы хотим, чтобы вы это хорошо запомнили. Все вот так кончат. Все, которым богатые не нравятся. Враги демократии отравили ваши души ядом ненависти к богатым.

Адольфина:

— Если вам больше делать нечего, если уж отвели душу свою, можете идти и съесть сеньора, который у вас висит на руках.

Солдат:

— Мой капрал, не позволяйте, чтобы к вам относились без почтения. Если хотите, я возьму на себя эту потаскушку.

Капрал Мартинес:

— Не лезь в то, что тебя не касается. Девчонка права.

Ты, капрал Мартинес, знаешь правду, ты все знаешь. А делаешь это, чтобы помучить нас, чтобы на Адольфине выместить то, что не мог сделать с Элио. Иначе зачем было ему пропадать? Чтобы не слышать, что люди говорят про пытки, лучше замести следы. Когда не слышишь, о чем люди толкуют, страх за твои преступления проходит. Я тебя не знаю, капрал Мартинес. Но Хосе мне про всех вас рассказывал. Ты не выстрелишь в меня. Если ты смелый, то прикажи солдату, чтобы он нас прикончил из винтовки, которая у него за спиной висит. Ну, прикажи ему, если ты смелый.

И снова ты, Хосе, у меня перед глазами стоишь. Вспоминаю, как ты бежишь за быками, которые понеслись по ухабистой дороге. Вижу, как ты шлепаешь в своих резиновых сапогах, пытаясь их нагнать. А ведь сам их подхлестнул, чтобы скорее выбоину проехать. Повозка вначале на тебя сверху навалилась. Ты ее выправил, они и понеслись, а ты за ними вслед с кнутом в руке. А мы кричали тебе с повозки. Это когда у нас еще повозка была. Когда мы еще так не бедствовали. У нас и пара быков была, и корова. Но потом трудное время настало, и нам пришлось продать их, а на вырученные деньги купить земли клочок.

Ты говорил тогда: «Самое лучшее — землю обрабатывать, хотя и вручную. А быки и повозка — это слишком».

Я хорошо помню твои слова. Но повозку у нас никто покупать не захотел. Вот она и стоит здесь заброшенная. Пусть, хоть посидеть на ней можно. После продажи быков мы смогли прикупить немного землицы и посадить банановые деревья. И под маис у нас земли стало больше.

«Ладно, ты знаешь, что делаешь», — сказала я, когда нам и корову пришлось продать, хотя она нам и молочко, и творожок для детей давала. «Увидишь, не так плохо будет».

И нам было неплохо. Хватало поесть, имелась и циновка, чтобы положить покойника, если кто умрет. Несколько курочек, которые яйца несли, да и продать кое-какую из них было можно. На краю огорода мы ананасы посадили — на продажу дону Себасу. Соседи у нас хорошие. Нас любили все, никому мы ничего плохого не делали. Мы люди честные, до гробовой доски честные. Вся округа про это знает. И работящие. В поте лица на прожитие зарабатывали. Все об этом знают. Все у нас было, чтобы тянуть. И мы живем и никому, даже сейчас этому капралу Мартинесу, зла не желаем.

Единственное, чего у нас не было, так это прав. А когда мы начали это понимать, в нашем селении для наведения порядка по-

явились всемогущие власти с автоматами. Время от времени они приезжали и смотрели, как мы себя ведем, кого надо забрать, кого надо избить, чтобы уразумел, что к чему.

Мачете и пулей они хотят заставить нас смириться с нашей бедностью. Сами-то они знают только одну бедность — бедность духа. И думают, что винтовками добьются своего. А когда не выходит, в зверствах изощряются.

Хорошо, что Адольфина его не узнала. Что бы тут могло быть? Может, тут на месте нас бы и прикончили.

Хосе был крестьянин настоящий, как и все. Выпивал и по воскресеньям даже ходил играть в кости. Я ему говорила: брось ты играть, это опасно. Были и у него плохие привычки. Но все переменилось с тех пор, как он вступил в федерацию и его там полюбили.

Я ему говорила: «Молод ты еще, чтобы играть. Придут гвардейцы и заберут вас всех». А он, как бы защищаясь, в шутку говорил, что играть в кости — дело плохое. Но если здесь другим заняться нечем, значит, ничего не поделаешь.

Вот тут-то и появились священники и молодые парни. Они организовали христианскую федерацию и Союз трудящихся крестьян. Через эти союзы мы требовали хороших кредитов. Дела наши пошли лучше. Добились кое-чего. Мужчины стали серьезнее. Какая-то цель у них появилась. Даже пьяницы перевелись. Не говоря уж про игроков в кости.

Началось все с праздников в часовне. Мы складывались понемножку, покупали шоколад, муку и сладкое пекли. Какое веселье было кругом. Так было в самом начале.

Потом на праздники уже времени не стало. Всем захотелось ходить в федерацию, чтобы учиться, свою сознательность поднимать. Только изредка были праздники, но больше для сбора денег в общественный фонд или для помощи нуждающимся: то ли оставшемуся без работы, то ли потерявшей кормильца компаньере. «Так мы лучшей жизни добьемся»,— говорили в федерации.

Почему лучшей, если нас бьют, как не били раньше? Потому что теперь мы знаем, куда идти. И они знают, что нам известно, куда идти. Оттого власти так и зверствуют. Но мы не бахвалимся. Мы пойдем именно туда.

С нами Хосе Гуардадо.

Половина третьего

Не знаю, как я заметила, что ты глядишь на меня единственным глазом, который тебе оставили? Может, это ты сигнал хотел подать и открыл глаз всего на секунду? Каких трудов тебе это стоило. Или ты так попрощаться решил?

А бедняжка Адольфина не могла его узнать и не признала. Ну и что ж? Для всех лучше: и для Чепе, и для ребят, и для Адольфины, и для меня.

— Ну ладно, если уверены, что не знаете, мы повезем его по департаменту. Наверняка кто-нибудь опознает. Здешний он.

— Как дважды два четыре.

На сук тамаринда сел красивый с взъерошенным гребешком и длинным хвостом фазанчик. Огляделся немного и запрыгал по веткам в поисках сухих ягод.

Я люблю птиц, но Хосе так никогда и не поймал для меня ни одной. «Бедненькие. Зачем их в клетку запирать? Умрут от тоски»,— говорил он. Птицы неволи не переносят. Даже певчая сенсонтле, уж кажется самая ласковая и ручная птичка, и ту надо на воле держать. Подрезают ей немного крылышки, и она со двора не слетает. Прыгает себе между деревьями и гамаками. Если посадишь ее в клетку, петь не будет. Кому понравится взаперти сидеть, хотя бы

и с большими удобствами. А тем более, если привык к воздуху, реке, деревьям.

— Повезем. Может, в лавку...

— Будем его в каждый дом завозить.

— Они должны его опознать, чтобы вину свою искупить. Не везет нам с искупителями.

— И как только господь непокорных терпит!

— После такого, наверное, поумнеют.

— Заводи джип.

И они уехали. В когтях он у них, словно цыпленок у ястребов. Он во второй раз приоткрыл глаз. Зачем? Не надо сил тратить, не надо прощаться. Мы скоро-скоро увидимся. В один из этих дней.

Остался только запах Чепе, тот самый запах, который он каждый день приносил с работы. Чистый, здоровый запах пота настоящего труженика. В нашей жизни он вроде духов или одеколона. Привыкает человек, и когда тело от пота влажное, оно еще красивее. Кожа сама впитывает пот. Может, мы потом и питаемся? По крайней мере люди, которые из года в год потеют от зари до зари.

На небе какой-то след появился, вроде как от летящих в вышине самолетов. Дым или пар, который они выбрасывают позади себя, в чистом, только что вымытом небе за полдня рассеивается, а пока он стоит будто ветвь гигантской пальмы.

Надо готовиться к худшему.

Теперь все на мне. Не знаю, хватит ли меня поднять трех малых. Это самое страшное: даже когда Хосе работал, нам едва на маис хватало. А фасоль, которую мы для себя сажали, на весь год все равно не растянешь. Рано или поздно прикупать приходилось. Сумею ли я на фасоль заработать? Вот что меня беспокоит.

И почему так устроено, что человек о пище, о пище для своих детей только и думает? Если бы мы могли воздухом быть сыты. А может, это и есть самая главная печаль наша?

Надо к худшему готовиться. Слышится сильный гул, будто сама злосчастная смерть, лязгая челюстями, мчится на коне по каменистой дороге. Она смеется над нами, знает, что нам не остановить ее бешеных коней. Она ищет нас и видит нас всегда нищими. И всегда у нас одни беды да заботы: то ребенок заболел, то фасоль не уродилась, то сына ранили или убили. Всегда мы в проигрыше в этой жизни.

Вот и сейчас мы — самые бедные. Словно обреченные. И откуда только у нас сила берется?

Ради наших детей и детей наших детей мы не должны уставать. Когда-нибудь земля будет наша, и тогда мы начнем силы набирать. Возьмем за все прошлое. Тяжело будет, Чепе. Не думай, что будут одни радости. Вот поэтому мы и не должны надеяться на милость. Как только мы начнем побеждать, они-то не дадут нам воды. Они нам этого не простят и будут безжалостны. Мы раздразнили ягуара, а ягуары не прощают.

Сейчас нам только и осталось времени, чтобы к бедам приготовиться. Больше ничего сделать не можем. Потом увидим. Сейчас важно нам только одно: не забывать, что нам не простят. В конце концов, нас схватили за горло, но мы не умрем.

Не умрем, Хосе, хоть и нет тебя. Нет, не умрем.

Вот об этом обо всем я и думала, пока не прилетели чачалаки [1]. Фазанчик улетел, а чачалаки прилетели.

Помню, когда Адольфина была маленькая, она долго не говорила. Уже два года ей было, а она едва произносила папа, мама, котя, лепа вместо лепешка, толь вместо соль. И больше ничего. Нас это очень беспокоило. Мария Пия считала, что это наверняка по-

[1] Центральноамериканская птица, мясо ее съедобно.

тому, что у них попугайчик был и, может, Адольфина наелась крошек от его еды. Тогда знахарь посоветовал нам накормить ее супом из чачалаки. Я сама к нему ходила, и он сказал: вот съест она чачалачий суп и обязательно заговорит. Так оно на самом деле и вышло. Чачалак мы называем болтушками-хохотушками. А еще сладкоежками, потому что по утрам на ананасах пасутся и без умолку кричат. Никому их не остановить, этих балаболок никому не перекричать. С раннего утра горланят как оглашенные. А то, бывает, заберутся под навес. «Доченька, швырни в них камень, а то разбудят малыша, и ничего тогда я сделать не успею». Сколько камней в них ни бросай, все равно орут.

Пять раз через день Адольфина поела чачалачьего супа и заговорила. Надо верить и верить всегда. Вот и наступит чудо.

А чачалаки на ананасах кричат и кричат без конца. Но мне не мешают. Без них было бы тяжелее. Одна я. Конечно, еще есть дети. Но они малые. Им лучше, когда они тихонько между собой играют. Плачут, только когда заболеют. Хороших детей мне бог дал. Не могу пожаловаться. По чистому небу устало, потея, катится день.

Прощай, Хосе.

Три часа дня

Хосе с ребятишками всегда был очень ласков, нежен. Когда он приходил из асьенды, первое, что делал, это про детей спрашивал: не плакали ли, хорошо ли я их покормила. Мне даже жалко его было. Такой усталый, а еще время у него есть поиграть немного с ними или погулять. Я не могу пожаловаться, в этом смысле он хороший отец, но ведь мужчины так много работают, что на детей, как бы они их ни любили, времени не хватает. А ему-то особенно. Сколько у него забот! Особенно по кооперативу. Я любуюсь им, потому что другие мужчины не такие ласковые. Их головы забиты тем, как заработать, как прожить. А нам, женщинам, остается детей растить. От мужчин и требовать ничего другого нельзя. Если так смотреть, то мы, деревенские женщины, как рабыни. Но это не вина наших мужчин. В конце концов, тем, что мы за детьми ходим, мы помогаем богатеть нашим хозяевам. Мы создаем нашим мужчинам условия, чтобы те спокойно работали от зари до зари, а хозяева бы их эксплуатировали.

Если так смотреть, то у нас рабство. Без него плантации не будут очищены, кофе вовремя не убран, хлопок зальют дожди или попортят птицы.

«Есть сознательность, — говорил Хосе, — а еще есть душа. — Не обязательно знать, где она обитает. Это душа народа, который живет на этой земле».

— Я вижу, ты один надрываешься на работе.

— Твоя работа хуже. Попробуй-ка весь день, как раба, пробыть с ребятишками.

— Может, ачиоте посадим? Я бы им и занялся.

Поскольку маиса нам не хватало, я посадила ачиоте. Он шел на продажу дону Себасу, потому что проезжающие по асфальту люди хорошо его покупали. Перец наш знаменитый. Цвету много дает и долго не портится.

Чего только в голову не приходит. Даже подумать страшно. Что будет с Хосе без глаза? Одного глаза у него уже нет. Ну, ладно, когда мы рождаемся, мы уже наполовину покойники. Но самая важная — первая половина жизни... Все зависит от того, на что отдадим эту половину. За меня, Хосе, не беспокойся. Я твои слова не забуду.

Он мне говорил:

— Они должны в школу ходить.

— Ну да, потому что в батраках так тяжело.

— По крайней мере грамотных не так легко будет обмануть.

— Вот я тебе об этом и говорю, а сама думаю, что надо купить удобрений под перец, чтобы урожай собрать получше, тогда можно рассчитывать не только на те крохи, которые тебе платят в поместье.

— И с семи лет не будем ребят посылать на работу. Лучше пусть в школу идут, хоть бы и мне их водить пришлось. Школа-то совсем не близко.

— Вот и я говорю, что в дожди они ходить не смогут. Даже опасно, когда все заливает и по дорогам потоки текут, будто реки.

— А с перцем я тебе помогу.

Вот так перцем и перебивались много лет. А когда создали кооператив, дела немного переменились. Но что удивительно, люди уже не захотели одним перцем питаться. Так что я и не надорвусь, если понемногу буду растить перчик на продажу дону Себасу.

Если с ним что случится, лихо нам придется. Мы будем плакать по нему и стараться быть достойными его. Пусть не думает, что мы трусливы и забыли все, про что он нам говорил.

— Если со мной что случится, ты знаешь...

— Ох, подержись лучше за деревяшку. Ты и думать не смей плохое. Все, что делаешь ты, хорошо...

— Кто знает, Лупе...

— Ладно, ладно. Не такая я уж и слабая. Я за себя постоять сумею...

— Вот так-то. Смерти нечего бояться. Особенно нам, которые в последнее время так близко ее увидели, столько горя пережили, что сами удивляемся, откуда силы берутся.

Но как бы ты силен ни был, смерть родного человека всегда трудно перенести.

Тебя мне будет не хватать.

— Все равно, — говорил он мне, — если меня не будет, не падайте духом. Если меня сожрут звери в горах, не плачьте обо мне, потому что в любом случае покойнику уже не больно и не важно, как кто с жизнью прощается. — Вот видите, он всегда меня подбадривал. Хосе — не наивный человек. Он знает, что делает. Мы самые бедные, значит, мы должны больше всех бороться. Это позволяет человеку вперед идти, вырабатывать, как говорил он, сознание.

Я ему отвечала:

— Вот видишь, Чепе, ты уже меня убеждаешь, что покойник ничего не чувствует...

— Ясное дело, ничего не чувствует. Это все равно что уснуть. А если перед смертью тебе придется выстрадать жесточайшую агонию, то все равно эту боль ты в могилу с собой не возьмешь. Эта боль остается убийцам, которые мучают людей.

— Ну и нашел про что говорить. Что бы ты ни толковал, я хотела бы умереть спокойно, будто уснуть, как люди раньше умирали.

— Ты же знаешь, что власти творят. Что они сделали с родными и друзьями! Вот поэтому и надо помнить, с каждым такое может случиться.

— Да я ничего не говорю...

— Конечно, каждому хочется жить лучше, чувствовать себя спокойнее, не иметь лишних забот. Но это несправедливо. Если мы не подсолим пищу, нам все пресным покажется. Так жить не имеет смысла...

— Я тоже так думаю, хотя и очень боюсь. А если уж придется кому, так придется... Мы же не знаем, как умирать придется. Как мы родимся, знаем, а как умрем — нет.

Но не думайте, что мы все только и говорили про грустное да печальное. Он мне и истории всякие рассказывал. У него это хоро-

шо получается, как у моей мамы. С шутками да прибаутками, прямо смеяться хотелось.

Больше всего он любил про колдунью вспоминать. Видели бы вы иной раз вечером, как он рассказывает, а кто-то весь дрожит от страха. Сядет он, бывало, на повозку, закурит самодельную сигару и начинает рассказывать. Особенно он это любил делать в лунные ночи, когда к нам кто-нибудь из друзей заходил. И я тут же с ребятами. Слушать-то я уже не слушаю, а только приглядываю за малышами, чтобы те не очень пугались, обнимаю их: «Не бойся, сынок. Такого не бывает. Это все сказки».

А Хосе такой счастливый оттого, что его слушают. Мне больше всего нравилось, когда он в свои побасенки солененького добавлял, как в этой истории с колдуньей. Дело в том, что в нашем селении многие рассказывали, что колдунью видели. Одним она навстречу вышла, другие издалека ее видели. Все клянутся чем угодно. Но только у Чепе про нее так красиво получалось. И даже совсем не страшно. Я-то думаю, что все это выдумки.

Ну лучше не думать. На ум все больше неприятности лезут.

Надо за деревяшку подержаться. И ты тоже подержись, говорю Адольфине. Она берется за нее, хотя и не знает почему.

Четыре часа

Несколько дней тому назад власти заходили к нам, но я не придала этому значения. Они спросили: «Живет ли здесь Хосе Гуардадо». Я рассказала об этом Чепе, но не передала ему все, что они говорили, чтобы его не беспокоить. Я им ответила:

— Да, здесь живет, чего еще нужно?

А они мне:

— Тебе какое дело, не о тебе, а о нем спрашивают. Глухая, что ли?

— Ну тогда будьте здоровы. Что он чужой мне, что ли? Уж и спросить нельзя.

Они обозвали меня старой дурой, добавили: и как таких земля держит.

— На побережье он. Раньше чем через пару недель не вернется. Давно уехал.

— Ну хорошо. Скажи ему, что разыскиваем его и пускай не лезет куда не надо. Мы кое-что о нем знаем.

На том все и кончилось. А когда Хосе вернулся, я ему рассказала, а он ответил:

— Преступлений я не совершал. Хотят — пусть приходят. Нам от этого ни холодно, ни жарко.

А у меня все равно на душе неспокойно было. Так и казалось, что вдруг они снова на пороге появятся и начнут дурные вопросы задавать. Так уж мы напуганы.

И помню еще, как я им сказала, что пусть меня простят, но у меня дел много, что мне вымыться надо, а при них я не могу. А они сказали, что будут ждать. Тогда я вспылила: «Где же ждать, когда мне вымыться надо. У нас же тут ванн не водится». Они засмеялись и сказали: «Ну что за вредная старуха. Кому охота глядеть на ее мощи». Наконец им надоело, и они ушли. Сидели больше часа. Вот на этом самом месте, как сегодня.

— Мы еще вернемся, — сказали они напоследок.

И хватает у них смелости над честным народом измываться. Что они с тобой сделают? Где, в каком месте? Кто тебя опознает, когда будут спрашивать людей?

Кто скажет: «Чепе. Это Чепе Гуардадо?»

И опять тебя сюда привезут, чуть живого. И перед нами поставят. Что с Адольфиной и с ребятишками будет? Что с Чепе сделают, когда поймут, что я им соврала.

Ничего не случится, говорит мне сердце. Никто из здешних не скажет: «Это Чепе Гуардадо». Никто.

Тогда случится самое страшное. Мы найдем его уснувшим, да так, что он уже не будет чувствовать, как кусают звери и клюют птицы: «Когда человек умирает, он ничего не чувствует».

Вот лежит он на поваленной сосне, будто отдыхает, спит. Даже муравьи его не трогают. Я спокойно осмотрю его, потому что уже готова увидеть его навсегда уснувшим.

Его вечный сон — мой кошмар. А плакать не буду, потому что он останется моей надеждой. Я уже слышу его голос оттуда. Бог — это сознание. А сознание — это мы, бедняки, те, которые сейчас всеми забыты.

Потом его унесут в горы.

Друзья будут искать тебя по стаям черных стервятников, которые медленно кружат над тобой, поглядывая с высоты зоркими глазами, будто желая захватить в клювы.

Но *они* не найдут тебя.

Он будет лежать на сосновом стволе. С гор спустится прохлада, словно стайка коз с гондурасских сосняков.

Потом скажут: «Чепе лежит там». И я, завернувшись от холода в покрывало, стуча зубами, с застывшей в жилах кровью, приду после всех. В тех местах очень холодно, а его ведь высоко в горы унесут, к гондурасским сосновым рощам.

Но найдут его тело уже изъеденным червями. Оботрут его куском рубахи, омоют его родниковой горной водой, окропят настоем мяты, оденут в чистое — в воскресную белую сорочку и брюки холщовые в полоску, в которых он в часовню ходил, чтобы выступить перед товарищами.

Кто-то скажет:

— Наголодался бедняга за эти три дня, весь исхудал.

— А роса. А холод. И укрыться было нечем.

— Покой у него на лице, будто отдохнуть прилег на сосновый ствол.

И понесем его на руках. Я позади пойду, придерживая платье, чтобы за колючки не задевать. Силенок-то уже у меня маловато. По дороге на нас собаки будут лаять. По всему селению пройдем. Купим ящик, некрашеный ящик. И опять пойдем по селению.

Люди скажут: «Вон Чепе несут».

А я все буду дрожать от холода. Но дрожать будет только мое тело, а не душа.

Не пойму: не то я сама с собой разговариваю, не то с Адольфиной, а может, с тенью. Нет, это говорит мое сердце, а оно еще никогда меня не обманывало.

Пять часов вечера

Говорит мне Адольфина, что хоть и тяжелый денек был, но все же он кончается.

Я смотрю, как тонет солнце в купах высоких деревьев — гуаруми.

— Что будет с сеньором?

— С каким сеньором?

— Которого увезли. С выбитым глазом. Боюсь, с ним что-то случится.

— Не волнуйся, бабушка. Он знает, что нужно делать.

И я вижу, как у Адольфины глаза наполняются слезами.

— Ну будет, будет. Не думай про это. Выпьем кофейку. Ребятишки наигрались, наверное, есть хотят.

— Я уже выпила, бабушка. И тебе чашечку оставила. Ребят тоже, когда власти ушли, покормила.

Я ей говорю тогда:

— Не плачь, дочка. Что с тобой?

— Ничего. Вспомнила Марию Ромелию, как мы с ней на автобусе из Чалате ехали. Что бы со мной было, если бы ее тогда убили. Видишь, бабушка, где довелось познакомиться. А когда я сюда раньше приезжала, я ее и не видела даже. Как она смело и решительно вела себя! А ведь еще совсем девчонка! Какой через несколько лет будет!

— Но, девочка, а плакать-то зачем? Что прошло, то прошло. Не забудь, что ты сама еще почти ребенок. Да и Марии Ромелии еще подрасти надо. Раз ты уже так говорить начинаешь, значит, тучи над землей сгушаются. Ты говоришь как старуха.

— Бабушка, мне папа очень помог. Когда я совсем еще маленькая была, он рассказывал, почему столько несправедливости на свете. Он хотел, чтобы я сознательной, как говорит дедушка Чепе, была. А кругом, бабушка, что творится. Есть много таких, как Мария Ромелия, но мы их не знаем.

— Ну ладно, милая, хватит, пойдем домой, начинает туман опускаться, еще простудишься. Чего-то малыши в патио притихли. Веди их скорее домой, пока москиты не искусали.

А она вытерлась передником и, когда мы направились к дому, говорит:

— Бабушка, я все думаю, что с моим папой будет. Отдадут нам его или лучше забыть о нем. Он мне так помог в жизни разобраться. Я боюсь увидеть своих без отца. Вы же знаете, что моя мама совсем не такая. Мои младшие братишки и сестренки вконец ее вымотали. Ей тяжело жить. Все стирает да гладит чужое.

— У вас есть я и дедушка Чепе. Вы же знаете, как он все понимает. Он ведь первым человеком в общине стал. Ты даже и не представляешь, как его уважают.

— Послушай, бабушка, бабушка, послушай! — вдруг закричала она мне. — Я только что видела тело капрала Мартинеса.

— Где? — спросила я.

А она отвечает:

— В голове. Перед глазами будто картину нарисовали: глаза и рот у него открыты. Ему стараются смежить веки, а они все открываются. Сестры и мать его вокруг стоят. И поскольку рот закрыть не сумели, сунули туда лимон, чтобы мухи не залетали и чтобы черви внутри не завелись.

Тогда я говорю:

— Ох, доченька, это же кошмар.

А она отвечает мне:

— Это мое сердце подсказало, а оно еще никогда меня не обманывало.

Всю меня дрожь охватывает, пока зажигаю светильник.

■

Литературное наследие

Строки любви и печали

ПОЭТЕССЫ КИТАЯ X—XIX ВВ.

Перевод с китайского и вступление МИХАИЛА БАСМАНОВА

Советскому читателю, возможно, неизвестно, что поэзия Китая в изобилии представлена поэтессами, поскольку до настоящего времени на русский язык переведена лишь Ли Цинчжао, автор знаменитых «Строф из граненой яшмы». Между тем изданные в разное время в Китае сборники стихотворений китайских поэтесс насчитывают многие десятки имен.

Несомненно, что традиции многовековой культуры этой страны, широкое распространение книгопечатания еще в средние века, культ художественного творчества с самых древних времен оказывали плодотворное воздействие на духовное развитие женщины в аристократических и богатых семьях Поднебесной, где домашнее воспитание непременно включало изучение литературы, уроки живописи и каллиграфии, игру на музыкальных инструментах и навыки стихосложения, то есть все то, что было необходимо для общения в придворных кругах.

Тем трагичнее было положение образованной женщины в феодальном обществе, обрекавшем ее на бесправие: она не имела возможности проявить свои способности на государственной службе, ей был закрыт доступ к участию в политической и общественной деятельности. Уделом хранительницы домашнего очага было затворничество на женской половине дома, воспитание детей, ожидание любимого, надолго отлучившегося по делам службы или ушедшего с войском в далекий поход. Бесправное положение женщины было закреплено конфуцианской этикой, предписывавшей ей беспрекословное повиновение родителям, всей мужской части клана, после замужества — супругу и всевластной свекрови, которая, невзлюбив невестку, могла даже настоять на разводе, как это случилось с поэтессой Сунской эпохи Тан Вань, первой женой знаменитого поэта Лу Ю (1125—1210).

Как повествуют исторические хроники, однажды, весной, бывшие супруги случайно встретились в парке близ храма. Тан Вань рассказала о встрече второму мужу, и они послали Лу Ю вино и угощение. В ответ Лу Ю начертал на стене храма стихотворение, выразив в нем чувства любви к своей бывшей супруге. Тан Вань ответила ему стихотворением, написанным на те же рифмы («Все ненадежно на свете...»).

Была и особая категория женщин, как бы стоявших вне общества. Это — *цзинюй*, певицы и танцовщицы, обитательницы «веселых домов», близкие по своему образу жизни гетерам Древней Греции. В большинстве своем выросшие в состоятельных семьях, а затем превратностями судьбы обреченные на нищету и одиночество, они должны были зарабатывать на чашку риса, ублажая посетителей увеселительных заведений. Ценились *цзинюй* тем больше, чем выше было их мастерство музицировать, петь, танцевать, экспромтом слагать стихи на заданные рифмы в компании знатоков поэзии. Именно из этой среды свободных от семейных уз и высокообразованных женщин выдвинулось немало прославленных поэтесс.

Однако образованность и одаренность нисколько не ограждали их от произвола и жестокости лицемерных блюстителей морали. Исторические хроники донесли до нас сведения о трагической судьбе многих служительниц муз. Они повествуют, например, о девице Янь Жуй, которая по навету философа-неоконфуцианца Чжу Си была обвинена в безнравственности, посажена в тюрьму и наказана плетьми. И какая беспре-

дельная тоска и жажда вырваться из удушающей атмосферы ненавистной ей среды звучит в одном из ее стихотворений!

...Уйти в конце концов, уйти мне надо,
Жить невозможно так, как я жила.
О, если бы
Укрыться за горами,
Украсить волосы
Весенними цветами
И чтоб никто не знал,
Где я, куда ушла!

Но не только сетования на ниспосланную небом горькую участь одинокой, не защищенной людьми и законом женщины можно услышать в стихотворениях о женской доле. В них нет-нет и прорвутся голоса протеста против несправедливости и произвола, слова о праве женщины на любовь и взаимность, на уважение в ней человеческого достоинства. Лирическая героиня, какой она предстает перед нами в произведениях китайских поэтесс, наделена способностью тонко чувствовать и понимать красоту природы и земного бытия, беззаветно любить и возвышенно страдать в разлуке с любимым, стойко переносить любые испытания и вместе со всем народом болеть за судьбу своей родины.

В качестве примера можно сослаться на известную поэтессу XVIII века У Цзао, которая, пренебрегая опасностью навлечь на себя гнев маньчжурского двора, рисует образ женщины, преисполненной патриотическим чувством, помышляющей о боевом мече и готовой оседлать скакуна, чтобы ринуться в бой с поработителями.

...На меч любуясь,
Мы поднимаем чаши,
На западном дворе
Коней седлаем наших...
И среди женщин
Храбрых можно встретить!

Китайские поэтессы, за редким исключением, не были профессиональными литераторами. Им было чуждо стремление извлечь из своего творчества какую-либо выгоду, что нередко замечалось за представителями сильного пола: последние, как правило, состояли на государственной службе и не упускали случая в своих творениях польстить императору и высокопоставленным лицам, от которых зависела их служебная карьера. Поэтессы же писали лишь тогда, когда не могли не писать, не выразить наболевшие чувства и сокровенные мысли, посвящая стихи своим любимым и близким. Для них стихи — это исповедь, заклинание и молитва.

Интересно отметить, что многие, в том числе и прославленные поэты Китая, писали стихи от лица женщины. Однако им редко удавалось проникнуть в тайники женского сердца и столь же выразительно и ярко передать все оттенки настроений и глубину переживаний лирической героини.

Излюбленным жанром китайских поэтесс был лирический жанр цы, получивший наибольшее развитие в X—XIII вв., близкий по своему содержанию и назначению европейскому романсу. Стихотворения этого жанра писались на мотив (мелодию) той или иной популярной в народе песни и исполнялись в сопровождении музыкальных инструментов. Различные мелодии определяли размер и ритмический рисунок стиха, чередование коротких и длинных строк, наличие зачинов и повторов и т. д. Отсюда исключительное разнообразие цы, их выразительность и эмоциональность.

Хочется надеяться, что публикуемые ниже стихотворения дадут советскому читателю возможность составить некоторое представление о творчестве поэтесс Китая минувших столетий, поэзия которых и поныне пленяет искренностью чувств и высоким порывом души.

ХУА ЖУЙ[1] (X в.)

Вот миновали Шудао,
Отчего края пределы.
Сердце мое разрывается,
Скорби моей нет предела.

Года длинней день весенний,
И не торопятся кони.
Перелетая дорогу,
Плачет дуцзюнь[2] и стонет.

[1] В стихотворении отразилась трагическая судьба поэтессы: Хуа Жуй (букв.— Венчик Цветка) за привлекательную внешность и одаренность была приближена правителем княжества Шу известным поэтом Ли Хоучжу (Ли Юем). После покорения княжества Шу основателем Сунской династии Тайцзу поэтессу отправили во дворец нового властителя. В дальнейшем она была убита сунскими царедворцами, опасавшимися ее влияния на императора. В стихотворении запечатлен эпизод отъезда Хуа Жуй на чужбину.

[2] Разновидность кукушки.

ТАН ВАНЬ (XI в.)

Все ненадежно на свете,
Чувство — всего ненадежней.
Быстро так цвет опадает
В сумерки и дождик.
Словно в слезах, никнут ветви.
Утром их высушит ветер.

Все то, о чем горюю,
Выразить жажду невольно.
Но, опершись на перила,
Лишь про себя говорю я:
«Больно! Больно! Больно!»

Как далеки друг от друга,
Непостоянны как люди!..
Словно я на качелях —
Перед глазами все кругом.
Ночь на исходе. Звук рога
Кровь леденит и студит.

Страшно мне — вдруг кто увидит!..
Слезы скорее глотаю
И притворяюсь веселой —
Ни на кого не в обиде...
Скрываю! Скрываю! Скрываю!

ЧЖУ ШУЧЖЭН (конец XI — начало XII в.)

Весна теперь прошла уж полпути.
Я с сожаленьем думаю о том
И места не могу себе найти.

Спешу в часы досуга на балкон,
Не отрываю от перил руки.
Но небу что за дело до меня,
Моих переживаний и тоски!

Нежны и ветерок,
И солнца луч —
Стоят погожие такие дни.
Но и они не радуют меня,
Для иволги и ласточки они.

Мой дворик лепестками занесло —
С деревьев облетели все цветы.
Душистые луга вдали видны,
Туда уносятся мои мечты.

■ ■ ■

Там, за башнею, ива стоит,
Свесив тысячи тонких ветвей,
Задержать ими хочет весну,
Что уходит дорогой своей.

Облетают пушинки, кружась,
За весною по ветру плывут,
Словно жаждут узнать, где она
Обретет себе новый приют.

Зелень гор, отраженных в воде,
Вдруг кукушки доносится крик.
Если даже кто сердца лишен —
Все равно загрустит в этот миг.

«В добрый путь!» — поднимаю бокал,
Но весна мне ни слова в ответ.
Скоро дождик заморосит,
Меркнет в сумерках солнечный свет.

■ ■ ■

Лист с утуна [1] упал. Видно, осень
Наступило время встречать.
И кузнечик, звеня, разносит
По полям опустевшим печаль.

Опершись на подушку локтем,
От свечи отвернула лицо.
Как луна, что в окне напротив,
Светлым был затянувшийся сон.

Поднялась, откинула штору
И ловлю из окна каждый звук.
Над холодным речным простором
Раздается вальков перестук.

Выхожу на балкон, чтобы встретить
Наступление нового дня.
И роса, и стужа, и ветер —
Все обрушилось на меня.

ХУН ХУЭЙИН (XII в.)

Мэйхуа [2]—
Словно снег.
Расцвела и белеет под снегом,
С ним соперничая белизной.

Мэйхуа
Вся в снегу.
Но ничто ее духа не сломит,
Нет предела упорству ее.

Мэйхуа
Все молчит
В ожиданье восточного ветра,
Лишь бы он возвратился скорей [3].

---

[1] Дерево из семейства платановых.

[2] Дикорастущая слива, цветет ранней весной, когда еще держится снег; излюбленный образ в китайской поэзии, символизирующий высокие нравственные качества: стойкость духа, чистоту помыслов и благородство.

[3] Восточный ветер символизирует приход весны.

О, повей,
Заклинает,
Будь же ласков со мною и нежен
И моим повелителем будь!

МЭЙ НУ (XII в.)

Гаснет луч. Слышу ржанье коней.
На дворе, вижу, люди снуют.
По прозрачной и чистой волне
Лодки к берегу пристают.

Мне глубокая ночь нипочем —
На высокую башню взойду...
О тебе лишь, о ком же еще
Думать мне, сокрушаясь от дум!

На душе
Непомерная грусть,
Быть в неведенье
Нет моих сил...
Я дождя всего больше боюсь,
Если в сумерки он моросит.

■ ■ ■

Мы расстаемся у ворот восточных,
Путь на Чанъань [1] простерся перед нами.
На берегу реки,
Склоняя ветви,
Маячат тополя
В вечернем свете,
И осень поздняя
Над тополями.

Песнь древнюю поем, песнь расставанья,
И пьем до дна из драгоценной чаши.
Тебе — на Сяосян,
Что в дальней дали,
А я — на Ци
Свои стопы направлю...
Когда только найдут нас
Письма наши!

СУНЬ ШИ (XII в.)

Цветенье в самом разгаре —
Ярких красок разливы.
В тонких чулках по саду
В сени дерев брожу я.
В сени дерев брожу я.
Как-нибудь на досуге
Срежу я прутик с ивы —
Чувства и мысли наши
В узел один свяжу им.

[1] Столица Китая в годы правления династии Тан (618—907).

Там, в стороне закатной,
Ты словно в воду канул.
Я подвела свои брови,
С башни гляжу с тоскою.
С башни гляжу с тоскою.
Жду с того дня, как только
Стали цвести хайтаны,
Все глаза проглядела,
Не нахожу покоя.

ЯНЬ ЖУЙ (XII в.)

Жизнь мерзостную разве я искала!
Она мне от рождения дана.
Цветок цветет,
И вот уже он вянет,
Всему свой срок
Когда-нибудь настанет,
Все будет так,
Как повелит Весна.

Уйти в конце концов, уйти мне надо,
Жить невозможно так, как я жила.
О, если бы
Укрыться за горами,
Украсить волосы
Весенними цветами
И чтоб никто не знал,
Где я, куда ушла!

ГУАНЬ ЧЖУНЦЗИ (конец XIII — начало XIV в.)

Ты — то же, что я,
Я — то же, что ты.
И с нами —
Большая любовь.
А там, где большая любовь, там огонь,
Пылающий в жарких сердцах.
Вот глину беру
И твой образ леплю,
Леплю заодно
И себя.
Слеплю,
И все вдребезги разобью,
И крошки смешаю в воде.
И снова
Лепить буду, милый, тебя,
И снова
Себя слеплю.
Частица тебя
Будет в глине моей,
А я в твою глину войду.

Пока мы живем,
Будем плотью одной,
Умрем —
Будет вместе наш прах.

ЦЗЯ ЮНЬХУА (XIII в.)

Цветок облетевший
Умчало потоком,
А я отлетела
Стрелой с тетивы.
Со мной никогда
Не увидитесь вы.

Скорее Чанцзян [1]
Устремится на запад,
Чем грусть изживу,
Пока буду в живых.
Непрочен был сговор
О брачном союзе,
А клятвы в любви
Ненадежны, увы!

О, если бы
Ласточкой мне обернуться,
Гнездо под стрехой
Дома вашего свить,
Пусть раз бы в году
Я в гнездо возвращалась,
Жила там одна,
Не пугаясь молвы!

ЧЖАН МЯОЦЗИН (конец XIII — начало XIV в.)

Тот день припоминаю от начала,
За жемчуг вы меня в свой дом ввели,
Пред зеркалом причесываться стала,
А вы мне тушью брови подвели.

Где вы сейчас, ушли в какие дали,
Совсем одна я здесь, в чужих местах.
Как больно видеть, если бы вы знали,
Двух неразлучных бабочек в цветах!

У СЯН (XIX в.)

Звуки яшмовой флейты слышу.
Кто же это играет на ней?
Ночь. Беседка. Луна все выше,
На душе все грустней и грустней.

Что увидишь в призрачном свете!
Пробиваются еле лучи.
Как узнать, кто играет на флейте,
Как во мгле его различить?

[1] Чанцзян (Янцзыцзян) — как и большинство рек Китая, течет с запада на восток.

Ночь глухая. Нигде ни звука.
Охватило меня тишиной.
С фонарем мы напротив друг друга,
Еще тень от меня со мной.

Догорает фитиль. Мгновенье —
И не будет больше огня.
Кто же вспомнит, когда и тени
Не останется от меня!

У Ц З А О (XIX в.)

Цзяннань,
Особо сень ее садов
Я вспоминаю.
В восточном кабинете,
На меч любуясь,
Мы поднимаем чаши,
На западном дворе
Коней седлаем наших...
И среди женщин
Храбрых можно встретить!

■

Литературные иллюстрации

ВИЛЬЯМ ХАЙНЕСЕН

Башня на Краю Света

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ-МОЗАИКА О МЛАДЕНЧЕСКОЙ МЛАДОСТИ

Перевод с датского Т. ВЕЛИЧКО

Датский писатель, прозаик и поэт, Вильям Хайнесен — человек долгой и счастливой судьбы. Счастливой потому, что с юношеских лет нашел свое призвание. Счастливой потому, что силой своего труда и таланта он не только дарит людям радость познания величественной красоты родных Фарерских островов, повседневной жизни и самобытной культуры фарерского народа, но и находит путь к сердцу читателя, убеждает в конечном торжестве Добра и Разума, призывает восстать против Зла в любом его обличье.

Счастливой и потому, что Вильям Хайнесен признан у себя дома и далеко за пределами Дании. А признание необходимо писателю, ибо оно дает уверенность в своих силах, продлевает творческую жизнь, делает ее богаче, полнее.

Вильям Хайнесен известен советскому читателю. Его новеллы публиковались в различных литературных антологиях, а также вышли отдельным сборником («Волшебный свет», М., «Издательство иностранной литературы», 1961). Романы «Черный котел» и «Пропащие музыканты» составили однотомник, изданный в серии «Мастера современной прозы» (М., «Прогресс», 1974). Книге предпослана обстоятельная статья И. Куприяновой, подробно рассказывающая о творческом пути писателя.

Повесть «Башня на Краю Света» — произведение на первый взгляд простое, но внутренне сложное. Оно довольно необычно для прозы самого Хайнесена. Это своего рода исповедь ровесника века, стоящего на пороге небытия, «на краю света». Из своей «башни» — деревянного домика, обдуваемого свирепыми атлантическими ветрами, иссеченного ливнями, обогреваемого скупым и ласковым северным солнцем,— над которой в холодном ночном небе сияют далекие миры, миры-звезды и среди них Сириус — «самая прекрасная звезда на свете», из «башни» своего возраста и огромного житейского опыта Вильям Хайнесен ведет разговор с читателем. Он оглядывается назад, уходит в страну детства, туда, «где начиналось начало и где по-прежнему продолжается продолжение», размышляя над философскими проблемами, извечно волнующими человечество.

Своеобразна композиция «Башни на Краю Света». Сам писатель называет повесть «поэтической мозаикой». Действительно, произведение состоит из нескольких десятков новелл и коротеньких зарисовок. Они перемежаются авторскими отступлениями в виде размышлений Амальда-Воспоминателя, Человека в Годах, ведущего беседу с самим собой — то ребенком, то умудренным старцем. «Разноцветные стеклышки» широкого мозаичного панно, созданного писателем, вполне могут существовать отдельно, как миниатюрные произведения. Вместе с тем они составляют одно целое, объединены внутренней логикой повествования, подчиняются его спокойному, неторопливому ритму.

Размышляя о смысле жизни, Вильям Хайнесен отнюдь не случайно обращается к теме детства. Она позволяет ему в поэтической форме прояснить мысли, которые автор стремится донести до читателя. Писатель скользит по поверхности причин,

© William Heinesen, 1976.

намекает на них, говоря лишь о следствиях. В этой нарочитой социальной бесстрастности, в отсутствии острых социальных конфликтов — еще одно отличие повести «Башня на Краю Света» от таких крупных прозаических произведений Вильяма Хайнесена, как романы «Ноатун» (1938), «Черный котел» (1949), многочисленных новелл, в которых он разоблачает стяжателей, миллионеров, сколотивших в годы войны состояние ценой гибели фарерских рыбаков, показывает моральное разложение капиталистического общества. С прежней задушевностью, теплотой и участием писатель говорит о простых людях, зарабатывающих на жизнь честным нелегким трудом, любящих свою родину, свои острова, которые напоминают издали величественные купола, поднявшиеся из глубин океана.

В «Башне на Краю Света» Вильям Хайнесен по-прежнему остается жизнелюбом и гуманистом. Повесть, написанная ярким, необычайно выразительным, сжатым языком, где отточена каждая фраза, тщательно выбрано каждое слово, удивительно поэтична, наполнена светом и музыкой. Писатель славит вселенную, беспредельную в пространстве и времени, познаваемую и неисчерпаемую для познания. Он высмеивает ханжество и суеверие, отвергает бога, выступая как подлинный атеист.

Космические мотивы, вновь возникающие в творчестве Вильяма Хайнесена, служат в повести не для того, чтобы подчеркнуть слабость и одиночество человека, как это было свойственно ранней поэзии писателя («Арктические элегии», 1921 г.). Он воспевает Человека, поет гимн знанию, разуму, вселенной, частицей которой только начинает чувствовать себя Амальд-подросток и чувствует себя Амальд-Воспоминатель. Человек пришел из вселенной и растворится в ней. Рассуждая с грустью о надвигающейся смерти, старец в башне на краю света отвергает мысль о существовании иной жизни. Для него «мост жизни» пройден. Для него настоящее — только настоящее, только реальность. Он по-прежнему верит в закон вечного обновления, вечность Человека, отдает себя Земле.

Л. О.

Други, взгляните: трава зеленеет!
Стужа лютует, ветер ярится,
Снег кружит,
Но трава зеленеет,
И велико, велико
Мое зеленое счастье!

Други, взгляните: трава зеленеет!
Шаг мой тяжел, череп мой лыс,
Рот мой беззуб, мутен мой взгляд,
Конец уже близок,
Но сердце мое все цветет,
И глубоко, глубоко на закате
Мое зеленое счастье!

Из Ли Бо

В те времена, когда Земля не была еще шаром, но имела начало и конец, далеко, на самом краю света, высилась прекрасная башня.

Днем облака нескончаемой чредою плыли неспешно мимо башни в великой бездне под лучистым оком солнца.

Ночью башня светилась, споря со звездами бездны и северным сиянием,— ведь башня была не простая, а светящаяся.

Ясными вечерами можно было увидеть, как сверкает средь океанской тьмы чудесный огонь, и тогда душа влеклась неудержимо к светозарной башне, что вздымалась одиноко, в те неведомые бескрайние дали, где кончается и начинается мир и где дух божий носится над водою.

То было давным-давно, на заре времен, когда ты еще не знал, что далекий волшебный свет — это свет самого обыкновенного маяка, творения мысли и рук человеческих, полезного и разумного светильника, чье назначение — указывать путь мореходам.

То было прежде, чем ты узнал, что Земля — звезда средь прочих звезд в непостижимой безмерности времени и пространства, а сам ты — звездный житель.

Вечерняя труба

Да, Земля с ее маяками и кораблями, островами и континентами, городами и людьми — это звезда, одна из прекрасных блесток в звездном сонме на тверди небесной.

Но ты этого еще не знаешь — ведь ты совсем новичок в мире слов и вынужден покамест обходиться по преимуществу звуками и картинами.

Твой Пролог в самом разгаре — беспокойная, но упоительная пора. Преддверье

весны, ты лежишь в своей кроватке, новичок во времени, несмышленыш, но полный ошеломляющих предчувствий и ожиданий.

Ты не спишь, лежишь и слушаешь.

Ты лежишь и слушаешь Вечернюю трубу.

Вечерняя труба — это пение желтой полоски неба там, где солнце окунулось в море.

Это большая птица, которая радостно клохчет и кудахчет.

Это Вечерняя птица.

— Нет, это Перевозчик, он сидит на скале у своего дома и трубит в свою трубу.

Вечерняя птица кудахчет и клохчет в трубе у Перевозчика. Желтый край неба поет у него в трубе. Тихонько плещутся у него в трубе счастливо играющие волны.

Потом опускаются сумерки. Потом опускается тьма. И тогда труба умолкает.

Водопроводный кран

А потом наступает ночь.

Ночь висит над всеми крышами.

Ночь мерцает во всех окнах и в лужицах дождевой воды на крышках синих керосиновых бочек.

Теперь все люди дремлют у себя в спальнях, и на крыльях тьмы слетают к ним сонные цветы.

В тишине слышится далекий звук звездной капели, падающей с небес. Звук этот эхом перекатывается по всему огромному небосводу.

Он сейчас — единственный звук в Небесах и на Земле.

— Это вода капает из крана, его плохо закрыли.

Одинок, одинок на белом свете подтекающий водопроводный кран.

Дым

У неба потолок без балок и без настила.

Во дворе перед домом Старика стоит пустая кровать. Она деревянная, только что вымытая. Она выставлена на солнце сушиться, но солнца-то настоящего нет, потому что Старик сидит на кровати и курит трубку, и от его густого дыма солнце краснеет и тускнеет.

Старик сидит и смотрит вверх, на небесный потолок, где дым собирается в большие тучи.

Напоследок уже и туч не видно, только дым да туман.

■ ■ ■

Вечером во дворе нет ни кровати, ни Старика, и теперь солнце ярко светит на крышу его дома.

Слова

Слова налетают вихрем. Или слетают тихо и плавно. Оседают на окнах каплями дождя или морозными узорами.

Слова лежат, как цветочные луковицы в стеклянных банках под серыми бумажными фунтиками. А потом серые фунтики исчезают — и распускаются душистые гиацинты и тюльпаны.

Гиацинт и Тюльпан — два чудеснейших слова. Ты не устаешь их повторять и играть с ними: «Тюльпан — Гиацинт — Тюльцинт — Гиапан — Тюльгиа — Цинтпан».

Богова площадка

Мир невероятно огромен.

Состоит он частью из суши, частью из воды, но воды в нем все же больше. Куда бы ты ни обратил взгляд, непременно увидишь блеск воды и услышишь ее шум, а порою можно увидеть, как бог лучезарным облаком носится над водою.

Однако и суши тоже много, с горами и долинами.

Далеко на север протянулись холмистые вересковые пустоши с хлопотливо журчащими ручьями, некоторые из них журчат во тьме глубоко под землею. Еще дальше к северу, там, где летом садится солнце, высятся Неизвестные скалы. Самая высокая из Неизвестных скал имеет плоскую вершину. Это — Богова площадка. Здесь бог отдыхает, когда он устает носиться над водою в бездне.

Богова площадка выложена серыми каменными плитами, которые дочиста выметены и отмыты ветром и дождем. В одном месте между камнями вырос зеленый островок мха, усыпанный мелкими алыми цветочками. Это подушка богу под голову.

На боговых плитах-скрижалях начертаны письмена.

Светлыми ночами бог стоит на своей каменной площадке и озирает мир. И «ничто не сокроется от очей его».

Потом он опускается на колени и принимается чертить на плитах-скрижалях свои письмена.

Летние девы

Летом ночей не бывает. Летом все время светло и мир полон девочек, девушек — Летних дев.

Повсюду слышатся их пение и смех: в комнате и в кухне, в дверях и на лестнице, в шуме ветра на морском берегу и средь волнующихся полей.

Всегда они близко, рядом с тобою, их волосы, платье, их руки, от которых пахнет карандашами, или колбасным рулетом, или пижмой и кресс-салатом.

Летние девы раскачиваются на ветвях деревьев, болтая длинными ногами. Они ходят на ходулях. Играют в прятки между сараями и заборами. Сидят у придорожных канав и нанизывают на нитку цветки маргариток. Разглядывают рисунки в книжках. Веером привешивают цветные картиночки к стене над своею кроватью.

Вечерами они сидят и поют у твоей постели.

Одна из них приходит к тебе лишь тогда, когда ты уже спишь. Уснешь — а она тут как тут, стоит и смотрит на тебя во все глаза. Ничего не говорит, не прикасается к тебе, лишь смотрит, не спуская глаз.

И, покоряясь, ты следуешь за нею — летишь, низко паря над землей, по пустынным ночным улицам, над вересковыми пустошами и тихо шепчущимися волнами, туда, в бледную небесную даль на самом Краю Света, где высится Башня.

Время мчится

М ч а т ь с я — что за чудесное слово! Ветер мчится, и тучи мчатся, и волны мчатся одна за другой.

Время мчится.

— А почему время мчится?

— Потому что оно торопится.

— А зачем оно торопится?

— Затем, что ему так много надо успеть сделать.

— А куда оно мчится, время?

Молчание.

— Что такое время?

Долгое молчание.

— Это все то, что торопится и мчится?

— Да, вот правильно. Это все то, что торопится и мчится.

Эссемёдль, Одинокая дева

Земля еще не сделалась шаром, и бог не проложил пока четкой грани меж сном и явью, меж летучими тенями и живыми существами.

Во тьме вечной ночи подвала под домом обитает Эссемёдль — Одинокая дева. Увидеть ее можно лишь в самый первый миг, когда мы входим туда с фонарем, чтобы набрать торфа или угля. Тогда она сидит в углу, а за спиной у нее — скопище серых лиц и рук. Это другие Подземные девы, которые тоже здесь прячутся.

А потом это все разом пропадает, и там, где сидела Эссемёдль, остается лишь тень старой изрубленной коряги, некогда выброшенной волнами на берег.

Но за этот миг ты успел увидеть, как она там сидит и смотрит на тебя во все глаза: она ведь прекрасно тебя знает.

■ ■ ■

Одинокая дева Эссемёдль и все другие Подземные девы обитают в вечной тьме под домом и никогда не видят света дня, потому что они м е р т в ы е.

У Эссемёдль большие ночные глаза. Она тоскует о дневном свете, но должна оставаться во тьме.

Кто же она, Эссемёдль?

Быть может, это девушка, которая когда-то, давным-давно, жила в этом доме... И вот как-то вечером она пропала. Отец с матерью ходили и искали ее повсюду, светили фонарями и лампами, но увидели лишь старый вывороченный древесный корень да тень от него. Сама же Эссемёдль, конечно, видела своих родителей. Но не могла уже им показаться, потому что она умерла.

■ ■ ■

Однако в день Страшного суда, когда раздастся Трубный Глас, весь дом рухнет с шумом и грохотом и явятся херувимы со своими огненными мечами и разрубят старую корягу.

И тогда все мертвые воскреснут. И Эссемёдль, а следом за нею толпы других бледных Подземных дев выйдут из-под земли навстречу свету и дню.

Однако мертвая-то она мертвая, Одинокая дева Эссемёдль, а все же по ночам выходит украдкой из подвала, поднимается в сени и оттуда по чердачной лестнице — к тебе в спальню, где ты лежишь и видишь сны. И тогда ты знаешь, что она пришла за тобой и теперь вы с нею отправитесь летать. Парить вдвоем, распластав большие крылья, над сушею и морем, уносясь вдаль, на Край Света, туда, где высится Башня.

Смотритель Дебес

Башня на Краю Света — не единственная в мире башня; оказывается, мир полон башен: Вавилонская башня, падающая Пизанская башня, Круглая башня в Копенгагене, Эйфелева башня.

Но Башня на Краю Света — самая высокая и самая замечательная из всех. Она стоит у Великой Бездны и светит во тьме, и она такая огромная, что нужно потратить целый день, чтобы добраться до огня на ее верхушке.

Там, на самом верху, сидит смотритель Дебес.

— А смотритель Дебес — он дух? Или херувим?

— Что за вздор, смотритель Дебес — самый обыкновенный человек.

— А почему же он сидит в башне?

— Он смотрит за тем, чтоб огонь не потух.

■ ■ ■

Смотритель Дебес сидит, неотрывно глядя в темноту и вслушиваясь в мощный гул бездны. Иногда башенный свет выхватывает из мрака большое облако, плавно парящее над бездной, и когда оно подходит ближе, Смотритель видит громадный лик со страшными очами. Это бог, который носится над водою, свершая свой вечный путь. И смотритель Дебес прикрывает глаза руками и ждет, когда облако проплывет мимо. Раздвинув пальцы, он подглядывает: здесь ли оно или уже ушло — ой-ой-ой, никуда оно не ушло, остановилось и грозно взирает на него!

Счастье еще, что он не спал. Ведь иной раз Смотритель так устает от своего всегдашнего бдения, что у него просто глаза слипаются. Вот тут-то и будит его громозвучный голос:

— Смотритель Дебес, ты спишь?

— Нет, нет, не сплю!

— Неправда, ты спал. Для чего ты обманываешь меня, господа бога твоего?

И приходится Смотрителю сознаться, что он спал, потому что бесполезно обманывать бога, который видит все.

Тогда бог укоризненно качает своей громадной облачной головою, и голос его, исполненный скорби, гулко перекатывается в бездне.

— А я-то думал, что могу на тебя положиться, смотритель Дебес!

И смотритель Дебес льет горькие слезы раскаяния, а одинокое облако продолжает свой путь и скрывается в пустоте.

Катанье на санках

Ух, вот и зима наступила. Снег идет, снег идет!

После белого слепящего дня с играми в снегу — вечер, зеленый и пронзительный над меркнущими вершинами скал.

Еще разок, самый последний, скатиться на санках с пригорка прямо в пустынный вечерний сумрак!

Один на свете. Один — с чистым благоуханием снега, пахнущего Ничем! Все дети этого дня исчезли, их нет вокруг, но легкие белые Дети Ночи пляшут в густеющих сумерках, пляшут в метельном вихре, неистово пляшут и скачут вверх и вниз по зеленой ледяной лесенке вечера!..

Но что это? Высокий снежный сугроб, у которого санки обычно сами останавливались, — этот сугроб куда-то пропал, а вместо него здесь новая горка, новый длинный-предлинный спуск. Внизу простирается широкая равнина, над которой сверкают россыпи звезд, санки скользят по ней сами собою, хотя никакого наклона нет, все дальше, дальше — и вот вокруг уже только воздух да звезды, и санки твои летят сквозь Ничто! А вдалеке — ты только погляди! — там, вдалеке, высокая башня возносится в небо — Башня на Краю Света! Верхушка ее светится и брызжет искрами, точно бенгальский огонь, и от этого становится так весело, что ты заливаешься звонким смехом, но тотчас умолкаешь, вдруг спохватившись, что совсем один забрался в ужасную даль, откуда тебе никогда не найти дороги назад.

И, вскрикнув, ты просыпаешься у себя в постели.

— Что с тобой, Амальд? Тебе что-нибудь страшное приснилось?

— Да, мне снилось, что я умчался на Край Света, туда, где стоит Башня!..

Новый год

Завтра Новый год. И все будет новое.

Ручьи и озерки покрылись льдом — где ж тебе поплавать, мой новый кораблик, мой рождественский подарок?

Придется, видно, подождать.

Придется вам, видно, подождать, Капитан и Штурман, Боцман и Юнга, Кок и Стюард (ах, какие всё чудесные слова!), пока на дворе мороз примораживает, пока метет метель.

■ ■ ■

Но в самый же первый день Нового года случилась вдруг оттепель, снег начал таять, а лед — трескаться, и в тихой полынье закачалась зеленая шхуна «Кристина» с голубовато-белыми парусами под огненно-желтым послеполуденным небом с крупными облаками — в дивном благоухании земли и талой воды.

Был Новый год, и все было новое, как твой новый кораблик. И низко в небе висел новенький серп луны.

Год на исходе, и день на исходе, и на исходе жизнь. Вечерние сумерки сменяются тьмою, и первые звезды зажглись на небе. Ночь обещает быть ясной и звездной.

Передо мной на столе, за которым я (Амальд-Воспоминатель, Человек в Годах) сижу и пишу, лежит старая раздвижная подзорная труба моего Отца в отполированной до блеска латунной оправе. Она еще в полной сохранности, и я собираюсь немного погодя выйти из дому и навести ее на Туманность Андромеды, далекий мир, отстоящий от нас, как утверждают, на два миллиона световых лет,— не такая уж безделица: ведь световой год — это расстояние, которое свет проходит за год, двигаясь со скоростью 300 000 километров в секунду. Воистину привольно чувствуешь себя на просторах вселенной, когда смотришь в эту чудовищную глубь минувшего времени, хотя взору предстает всего лишь бледный, едва теплящийся фитилек в ночи.

«Точно свет рогового фонаря» — так изображали древние халдеи свет этого мира за пределами мира, и образ запечатлевается в сознании: ведь как раз таким мутным, туманным фонарем светили мы когда-то в далекую пору детства, бродя по сумрачным переулкам между домами, которых теперь уж нет. Правда, то был не роговой фонарь, а просто порожняя жестяная банка, обвязанная пергаментной бумагой, со свечным огарком внутри и дыркой в «крыше», чтоб огонь мог дышать.

Вот с этой нашей Туманностью Андромеды бродили мы, стало быть, и светили где-то в глубине летучего времени, которое тогда еще измерялось вечностью.

Кто это идет и светит старым тусклым вселенским фонарем — там, на самом донышке времени?

Маленький мальчик с молодою женщиной, а молодая женщина — его мать. В тихий вечерний час бредут они по кривым улочкам, пропахшим водорослями и торфяным дымом, и дальше, по благоухающим сеном тропинкам, к Старому форту. Здесь они усаживаются и смотрят, как всесильная тьма, густея, поглощает все вокруг. Когда мальчик подносит фонарь к лицу матери, он как луна светит на ее щеки, рот, подбородок. И тогда видно лишь это лицо — ничего другого в целом мире, одно только это лицо, мягко выступающее из черной тьмы.

И на миг исчезают привычные границы — это может быть какое угодно место и какое угодно время, и нет у вас обоих ни имени, ни истории, вы лишь Мать и Дитя, начало и конец всего сущего.

Музыка моря

Удивительная машинка с большим зеленым раструбом и с серым валиком, который все крутится и крутится, носит название Фонограф. Машинка принадлежит дяде Кристофферу, он моряк и плавает по морям-океанам на иностранных кораблях. А сейчас ненадолго приехал домой.

Из раструба Фонографа льется сиплая и ломкая, но завораживающая музыка, чем-то напоминающая шум в ракушках или мягкое кипенье прибрежных волн в тихую погоду.

Твоей матери и теткам музыка эта хорошо знакома, и они знают все названия: «Анни Лори», «Зампа», «Мильоны Арлекина» (чудесные слова, звучание которых никогда не изгладится из памяти!).

■ ■ ■

Когда дядя Кристоффер снова ушел в плавание, он оставил свою чудо-машинку дома. Хлипкие восковые валики постепенно стирались, музыка звучала все отдаленней, глохла день ото дня и в конце концов затерялась в шипении, лишенном почти всякого подобия мелодии, в последнем вздохе ветра и волн, — словно вновь поглотила ее та дальняя даль, из которой она однажды явилась.

Глухая Яна

Эссемёдль, Одинокая дева — не настоящий живой человек, как ты сам и твои родители или тетя Нанна. Эссемёдль не умеет говорить, не умеет улыбаться, она только смотрит во все глаза. И она появляется лишь во сне.

Глухая Яна, конечно, не совсем такая, однако разница между ними не столь уж велика. Она тоже не умеет говорить. Но улыбаться она умеет.

Глухая Яна приходит всегда по вечерам. Лицо у нее очень бледное. Она чинно сидит за столом, едва притрагиваясь к еде. От нее пахнет керосином и овчиной.

Глухая Яна живет одна. Она портниха. От ее швейной машины пахнет прогорклым смазочным маслом. Весь ее домишко на Каменном Уступе пропах смазочным маслом, овчиной и керосином.

В углу у нее кровать, застланная пестрым лоскутным одеялом, а перед кроватью белая овчина. На подоконнике стоит горшок, в котором густо разрослись цветы с бархатистыми лепестками, желтыми и темно-синими, — это анютины глазки.

У Глухой Яны есть керосиновая печка и примус. Пальцы у нее тонкие и влажные. Глаза у нее выпученные.

— Вовсе они не выпученные. У Яны чудесные глаза!

«Чудесные глаза». Вот, стало быть, какие глаза называют чудесными. Они бархатистые, как цветы у нее на подоконнике. Теплые, затуманенные, влажные.

Курчавая, в мелких завитках овчина перед кроватью Яны — это шкурка несчастного мертвого ягненка.

По вечерам, ложась спать, Яна складывает ладони у груди и, глядя выпученными и влажными, но чудесными глазами в потолок, молится богу:

Отче, ниспошли покой
На убогий одр мой.

■ ■ ■

Однажды вечером, когда Яна в прихожей надевала пальто, ты подошел и дотронулся до нее. Просто тихонько потрогал ее руку, чтобы удостовериться, что она в самом деле настоящий живой человек.

И тогда она улыбнулась тебе чудесными глазами и, нагнувшись, торопливо приложила губы к твоим волосам.

Глазелка

В церкви пахнет старыми комодами и шкафами, сапожной мазью и кожаными переплетами псалтырей. Люди сидят на отгороженных от прохода скамьях. Когда они поют, видно, как д у х клубами вырывается у них изо рта.

В мерцающем свете двух толстых алтарных свечей — запрестольный образ, на нем звонарь с дьячком опускают в могилу мертвое тело пастора с ужасающе тонкими руками и ногами.

Но точь-в-точь такой же пастор стоит и на церковной кафедре. Он бледный и тощий, с жидкой рыжей бородкой и удивительно несчастными глазами — как у голодной пичуги, выпрашивающей хлебные крошки.

Большой корабль, висящий под потолком, медленно крутится на веревке, так что видны то большое кормовое окно, то борт с чернеющими пушечными портами. Корабль плывет сквозь время. Все плывет и плывет, оставаясь на том же месте.

А снаружи, за стенами церкви — хмурый воскресный день, ветер треплет жухлую траву на дерновых крышах домов, и корабли, стоящие на якоре в бухте, качаются и качаются с носа на корму, словно в безмерной печали, и все плывут и плывут, не двигаясь с места.

Вся церковь — тоже плывущий корабль. На задней скамье, понуро опустив плечи, сидят моряки с угрюмыми бородатыми лицами и большими беспомощными руками, сплошь в рубцах и шрамах. Это команда церковного корабля. Тягучими голосами они поют:

Боже всевечный, веди нас
Сквозь бури житейского моря.

■ ■ ■

На одной из скамей сидит Глазелка. Так ты ее про себя называешь, потому что она на тебя глазеет. Глазелка всегда сидит со своими родителями и сестрами на одном и том же месте. И смотрит на тебя, не спуская глаз, и поэтому ты тоже на нее смотришь.

Девчонка-Глазелка поет так чисто и звонко, что голос ее отчетливо слышен среди других. Волосы у Глазелки очень длинные и заплетены в две толстые косы, каштановые, с синими бантами. Носик у нее маленький, а глазищи огромные. Она на тебя смотрит совсем как Эссемёдль, Одинокая дева, которая приходит к тебе во сне, чтоб увлечь за собою в ночной полет.

■ ■ ■

Тебя раздражали глазищи Девчонки-Глазелки, ты отводил взгляд в сторону, но потом все же не мог удержаться и косился на ее скамью, чтоб увидеть, глазеет она еще на тебя или уже нет.

Ну конечно, глазеет, — мало того, теперь она, кажется, еще и смеется, будто что-то такое про тебя знает или догадалась, о чем ты сейчас думаешь.

Но в одно из воскресений Глазелка не пришла в церковь, и тогда ты почувствовал, что тебе недостает ее глаз.

А что, если...

В мире так много всего п р о и с х о д и т. Могут произойти ужасные вещи. От этого в голову лезут грустные мысли.

Твоя мама может у м е р е т ь. Это самое ужасное на свете.

Сперва человек болеет. А потом умирает.

Мама больна. Она лежит в постели, страшно бледная, с невидящим взглядом. Две женщины сидят у ее кровати. Сидят и ж д у т. Одна вяжет. Другая копошится с горячей водой и салфетками.

Мама протягивает тебе влажную руку. Она улыбается, но взгляд у нее странно невидящий. На комоде стоит ваза с пурпурно-красными цветами. Это розы. У них приторно-сладкий запах, такой резкий, что свербит в носу и щиплет глаза. На стеблях шипы, похожие на кошачьи когти.

— Амальд, собирайся, мы с тобой пойдем покупать сюрпризные пакетики!

Тетя Нанна одета по-зимнему, в высоких сапожках на пуговицах, в отороченной мехом жакетке и варежках. Она пылает. Пылает румянцем — это ты однажды слышал, как кто-то про нее сказал. Смешное выражение. Пылает ведь вообще только огонь. Нет, красные розы — они тоже пылают...

Сюрпризные пакетики — голубого цвета. И на каждом глянцевая картинка. А внутри — белые мятные лепешки и какая-нибудь вещица: либо колечко на палец, либо цветная шапочка из жатой папиросной бумаги, а то черный лакричный петушок или же свистулька.

Кольцо врезается в палец, свистулька пищит так пронзительно, что больно ушам, мятные лепешки только жгут язык. Ну их, не нужны тебе эти голубые пакетики с кольцами да свистульками. Ты готов расплакаться при воспоминании о красных розах со свирепыми кошачьими когтями, о двух молчаливых женщинах и своей больной маме.

Когда человек умирает, его закапывают в землю и он остается один лежать на кладбище.

— Но душа улетает в царствие небесное, к господу богу.

Да, но это высоко-высоко, за самой высокой из Неизвестных скал, или где-то ужасно далеко, за Краем Света.

С моря, серого и хмурого, дует ветер. Ветер задувает в рот и в нос, просто некуда деваться от сплошного назойливого ветра.

В конце концов остается лишь этот безжалостный ветер, от которого некуда деваться, неумолимый ветер, наполненный хриплым птичьим криком и хлопаньем недосохшего белья на веревках.

И еще звучит в ушах песня, самая печальная на свете, хотя тетя Нанна пылает, напевая ее:

Прощай же, розан красный мой,
Милее нет тебя.
Навек душа моя с тобой,
Живу, умру — любя.

И ты не можешь не думать о красных розах с их удушливым запахом и загнутыми кошачьими когтями.

И в голову лезет это ужасное: «А что, если...»

■ ■ ■

В ту ночь ты спал не у себя, а у Бабушки, в доме, носившем название «Память об Андреасе». На широченной кровати в глубоком алькове спали с тобою вместе тетя Нанна и еще две ее сестры, Кайя и Мона. Теснота была страшная, тебя толкали и пихали, но не из-за этого ты плакал и не мог уснуть. Виноваты были ужасные розы, ты никак не мог выбросить их из головы, их и еще сентиментальную песенку тети Нанны.

На следующее утро ты проснулся в кровати один, но немного погодя прибежала пылающая тетя Нанна.

— Амальд, миленький, теперь ты у мамы с папой не единственное дитя, у тебя появился Младший братишка!

Ну а потом ты пришел домой и увидел этого Младшего братишку, вернее, только лишь его затылок, потому что он лежал, уткнувшись пушистой головенкой в грудь Мамы.

Красные розы стояли на прежнем месте, но вид у них был пришибленный, потому что теперь они были не одни, а в обществе голубых гиацинтов, которые совершенно забили их своим ароматом.

Рассветное плавание

Что же еще происходило в дивную пору, пока Земля не стала шаром?

Много, много всего. Ибо в той чудовищной беспредельности, которая простирается между Боговой площадкой на самом севере и Краем Земли далеко на юге, дни еще длятся, как месяцы, а месяцы — как годы. Между тем мир, который вначале был всего-навсего убежищем, где беспомощный, заливающийся слезами беглец из Небытия нашел себе приют, давно уже превратился в великолепное место

игр и забав, полное всяких заманчивых предметов, полное света и благоухания, музыки и новых волшебных слов...

Солнце и Месяц, сменяя друг друга, смотрят с небес, мчится куда-то ветер, и льет дождь, море то хмурится, то светлеет, корабли снимаются с якоря, поднимают паруса и исчезают в бескрайней пустыне, обращаясь в еле приметные тени и в ничто, но потом тени вновь возникают и опять обращаются в корабли.

Один из этих кораблей — «Кристина», где твой отец — капитан. «Кристина» — большая шхуна, она почти постоянно в плавании, потому что совершает регулярные рейсы до Эдинбурга и до Копенгагена, откуда она доставляет товары для Торгового дома Рёмера.

На борту «Кристины» ты бывал уже не раз, но только когда она стояла на якоре. Но однажды «Кристина» должна была отправиться в городок, расположенный на одном из соседних островов, и тогда тебя впервые взяли в плавание. Дело было ранним весенним утром, горели маяки, а в небе мерцали бесчисленные звезды.

И вот ты стоишь на качающейся палубе, дрожа от холода, и слышишь, как большой парус в бешенстве бьется и грохочет, прежде чем покориться ветру и успокоиться, развернуться во всю ширь, вольготно и привольно.

Итак, он тронулся в путь, утренний ковчег — эта потрескивающая и поскрипывающая шхуна со всеми своими Мачтами, Гиками и Бакштагами, со своим Бушпритом, Штурвалом и Брашпилем, с Рубкой и с Камбузом. Сколько новых слов, новых счастливых названий! И всё здесь насквозь пропитано запахом смолы и откачиваемой воды, рыбы, соли и дыма.

А вот это — М о р е, иссиня-черное, и зеленое, и белесоватое, с тысячеустым шепотом и ропотом волн.

А темная кромка вдали — это Горизонт. Г о р и з о н т! Самое удивительное из всех слов — столько в нем таится ужаса и восторга, ведь это т а м Край Света, это т а м Великая Бездна, гигантская постель, в которой ночью спит Солнце, а днем — Месяц и Звезды. И это там стоит Башня...

Да ты погляди — и в самом деле, вон она стоит, у самого горизонта, со сверкающей звездой наверху!

Но вот серые паруса «Кристины» разом окрашиваются в кроваво-красный цвет — это Солнце начинает подниматься из пропасти! И вдруг оно показывается на востоке, чудовищно огромное и багряно-красное, в дымке утреннего тумана. Но оно не стоит на месте, оно раскачивается вверх-вниз, точно исполинский бакен, исчезает за гребнями мощных валов и тотчас вновь появляется, с каждым разом все более раздувшееся, грозящее лопнуть, зловещее! А ты продрог, зуб на зуб не попадает, не только от холода, но и от страха — ты видишь?! Пурпурный пузырь вокруг Солнца прорвался, ослепительно яркое пламя вылилось наружу, и вот уже море полыхает пожаром!

Но Отец, стоящий у штурвала, громко и сладко зевает, обнажая крупные зубы в гущине бороды и усов, — стало быть, пока все идет как надо и час Светопреставления и Страшного суда еще не пробил.

Да, вот Солнце уже сереет и скрывается за сумрачной завесой града. Градины оглушительно барабанят по туго натянутым парусам и весело скачут по палубе. И когда Солнце наконец снова показывается, то это уже самое обыкновенное, желтое, будничное солнышко. Опять обыкновенный день, мир опять стал самим собою, и шхуна входит во фьорд и подплывает к причалу порта.

Зеленый пакгауз

Из всех замечательных строений в городе самое замечательное — Зеленый пакгауз.

Зеленый пакгауз — это высокий дом на пристани, в котором много просторных помещений с низкими потолками и очень много лестниц. Здесь повсюду пахнет смолой, корабельными снастями и олифой, трубочным и жевательным табаком.

В одном месте есть отгороженная клетушка, сплошь усыпанная осколками стекла. Это Стекольня. Здесь работает Стекольный мастер, он режет стекло алмазом, который висит на шнурке у него на шее, чтоб никто не мог его уворовать, потому что алмаз — самая драгоценная вещь на свете.

Стекольный мастер — серьезный человек с бледным лицом, красным носом и красными глазами.

Стекольному мастеру «выпала тяжкая судьба»: он «потерпел крах в жизни».

— Что такое крах?

— Это когда человек теряет все, что ему было дорого.

— Он потерял свой алмаз?

— Нет, но он потерял пятерых из своих шести детей, все они умерли от чахотки. И жена его тоже умерла от чахотки. Теперь у него осталась одна только маленькая Ангелика.

«Тяжкая судьба»! «Крах в жизни»!

Когда Стекольный мастер надрезает стекло алмазом, а потом осторожно отламывает от него кусок для окна, то стекло говорит: «Крах!»

■ ■ ■

А еще в Зеленом пакгаузе есть Оле-Угрюмец. Его место — в громадном помещении на самом верху, под большим слуховым окном. Это Парусный чердак. Здесь он сидит, разложив на коленях край паруса, точно накрывшись одеялом. Он Мастер-Парусник. Когда его о чем-нибудь спрашивают, он не отвечает, поэтому с ним никто не разговаривает. Зато он разговаривает сам с собой и произносит странные фразы: «Она меня погладила, чтобы порчу на меня наслать». «Таким манером они многих укокошили».

Оле-Угрюмец мастерит маленькие кораблики. Они стоят у него на полке — чудесные шхуны и шлюпы — с полной оснасткой, сверкающие лаком и яркими красками. Работник Антон берет тебя однажды с собой на Парусный чердак и показывает тебе эти замечательные корабли. Оле-Угрюмец сидит там и шьет парус, тебе видна лишь его спина в шерстяной фуфайке да старая помятая суконная шапка, с которой он никогда не расстается.

В углу просторного чердака стоит Рюбергова труба. Рюбергова труба — это ревун, которым пользуются во время тумана, у него есть зеленый раструб и рукоятка, и когда эту рукоятку крутят, раздается такой жуткий вой, что от него с ума сойти можно.

— А Оле-Угрюмец от Рюберговой трубы с ума сошел?

— Оле-Угрюмец не сумасшедший, он просто со странностями. А сделался он таким потому, что от него жена сбежала. Когда это случилось, он на время и правда лишился рассудка.

— А что такое рассудок?

— Ну, это то, чем мы думаем.

— А Оле-Угрюмец все время думал про свою жену?

Тетя Нанна складывает губы трубочкой и дует тебе в лицо:

— Да!..

Однажды Антон принес тебе два кораблика — это был подарок от Оле-Угрюмца! Ты пришел в неописуемый восторг и отправился на Парусный чердак поблагодарить Оле. Он ничего не сказал в ответ и даже не взглянул на тебя, но все его заросшее щетиной лицо расплылось в широкой улыбке.

■ ■ ■

Стекольный мастер часто бывает на кладбище, заботливо ухаживает за своими шестью могилками. Маленькую Ангелику он берет с собой, и она собирает перламутровые ракушки в песке на дорожках.

Но как-то рано поутру — что это? — все нижние стекла в церковных окнах разбиты, а на каменном приступке у входа в церковь сидит Стекольный мастер с окровавленными руками и раскачивает свой алмаз взад и вперед, как маятник.

— Вот несчастный, маленькая Ангелика тоже умерла, теперь и у него рассудок помрачился.

«Тяжкая судьба», «крах в жизни».

(Рассудок у Стекольного мастера потом прояснился, но он уже был не Стекольный мастер, а просто обыкновенный плотник, потому что не выносил вида стекла.)

■ ■ ■

Ну вот, это, стало быть, Стекольня и Парусный чердак. А еще есть Компасная — внизу, в глубоком подвале под Зеленым пакгаузом. Здесь за круглым столом сидят Корабельщики и пьют пиво из синих кружек. Они шумно переговариваются, грохают кулаками по столу, а иногда ссорятся и затевают драку. Но иногда они мирно поют и веселятся.

Корабельщики — это все люди Отца, ты хорошо их знаешь, они оттачивают тебе карандаш, красный с одного конца и синий с другого, а один из них умеет рисовать бородатые физиономии с трубкой во рту.

Но бывает, что за круглым столом в Компасной сидят и незнакомые люди. Однажды здесь появились французы, у них черные бороды, а белки глаз белые-белые. У некоторых на голове плоские красные шапочки, а на шее у некоторых цепочка с серебряным крестом.

Французам попался в сети мертвец, человеческий труп. Никто не знает, кто этот мертвый человек.

Труп положили в церкви, его должны похоронить, и это так печально, но французы ничуть не печалятся, они весело болтают, шумят и горланят песни, будто чему-то радуются. Рады, что это не они умерли и превратились в трупы.

На следующий день труп закопали в землю — к тому времени французы успели уплыть. Но все же собралось немало людей, чтобы проводить неизвестного мертвеца в могилу, среди них была и твоя Мама.

— Ведь это мог быть любой из нас. Это мог быть твой Отец!

■ ■ ■

Ну вот, это Компасная. И наконец Спаленка.

Спаленка — это оклеенная обоями каморка наверху, в южной части чердака.

Все, что здесь есть,— это пыльный стол, а над ним на стене — старое, почерневшее зеркало.

— А кто здесь спит?

— Никто.

Когда ты смотришь в черное зеркало, ты видишь в нем не себя, а только лишь серую тень. Это Никто.

Никто сидит на пустом столе. Никто стоит у чердачного окна и смотрит на бухту с лодками и кораблями и на море, простирающееся до самого горизонта.

За горизонтом находится Большой мир, и Никто его видит. Там есть Эйфелева башня и падающая Пизанская башня, дальше высятся Египетские пирамиды и Вавилонская башня, а совсем далеко, дальше всех — Башня на Краю Света.

Ночью полумесяц медленно плывет по небосводу, точно перевернутая лодка без гребцов.

И тогда Никто отворяет окно и потягивается. Он вытягивает вперед длинные руки и, раскинув их как крылья, вылетает в ночь. Он парит, заглядывая во все спальни, и если ты еще не спишь и видишь за окном лицо с большими скорбными глазами, то это— Никто.

Это Никто на лету улыбается тебе сиротливо и жалко, а потом устремляется дальше и парит над миром с его башнями и шпилями и еще дальше — в просторных и холодных небесных залах, под звездами, у самого Края Земли.

А потом он возвращается в свою Спаленку с выцветшими, отсыревшими обоями на стенах. И сидит на пыльном столе под черным зеркалом, скорчившись и обхватив длинными руками прижатые к подбородку колени.

Счастье

А еще есть Кофейный дом!

Кофейный дом — это прелестный просмоленный домишко с дерновой кровлей, маленькими оконцами и закопченной трубой, из которой валит густой сладковатый дым.

Внутри стоит большая печь, в которой жарятся кофейные бобы, и мельница, в которой поджаренные бобы размалываются. Кофейный дом принадлежит торговому заведению Рёмера, здесь работают однорукая Поулина-Кофейница и ее слепая сестра Анна, и здесь же почти всегда можно застать их третью сестру — Юлиану Звонариху. Она сидит на скамье у низкого окошка, удобно устроившись между своими двумя костылями, потому что обе ноги у нее парализованы и не двигаются. Но блестящие щелочки-глазки на ее грубоватом и будто поджаренном вместе с кофейными бобами лице постоянно искрятся смехом, словно она от души потешается над всякими забавными вещами, которых так много в этом мире.

Юлиане-Звонарихе тоже «выпала тяжкая судьба», она тоже «потерпела в жизни крах»: муж ее, Юлий-Звонарь, однажды вечером в штормовую погоду утонул в Белопесчаной бухте, куда он отправился ловить вынесенные морем бревна, а сама Юлиана в том же году соскользнула с рыбного навала на Круглине и сломала себе оба бедра.

— Однако ж веселый нрав свой Юлиана сумела сохранить, и это великое счастье и дар божий!

Поулина-Кофейница и Слепая Анна тоже не обделены веселым нравом, и пока кофейные бобы румянятся в печке, а колесо кофейной мельницы крутится, сестры болтают и болтают без умолку. Глаза у Анны ничуть не похожи на слепые, и она, почти не переставая, смеется или же улыбается, будто в ожидании чего-то радостного.

Иногда в гости к трем сестрам заходит Рикке-Испанка, у которой всегда есть что порассказать о последних происшествиях в городе. Тогда ставится на огонь кофейник и Поулина достает из стенного шкафа четыре широкие цветастые чашки или пять, если Рикке появляется в одно время с Якобом-Пекарем из Рёмеровской булочной, который в перерыв приходит сюда перекусить. Якоб-Пекарь обычно приносит большой промасленный бумажный пакет с теплыми обломками сдобных булочек и сахарных кренделей.

Тетя Нанна тоже частенько наведывается в Кофейный дом. Иной раз она приходит, чтобы ей погадали. Поулина-Кофейница — она ворожея и умеет гадать на кофейной гуще. В Кофейном доме воцаряется жутковатая тишина, когда Поулина начинает разглядывать осадок на дне чашки, а тетя Нанна сидит пылающая, дрожа от страха, с закрытыми глазами.

— Если там какое-нибудь несчастье, то лучше ничего мне не говори, слышишь, Поулина!

— Счастье ли, несчастье ли — поди знай, одно я могу тебе сказать, Нанна: зима еще не кончится, как появится у тебя ухажер, притом франт хоть куда — шляпа у него, часы на цепочке, все чин чином, и цветок в петлице, и... гм, а это что ж такое? Пистолет? Да нет, что я болтаю, это просто большая сигара в шикарном мундштуке!— И, отставив кофейную чашку, Поулина отвешивает тете Нанне добрый шлепок.— Ну а дальше уж как ты сама повернешь.

Юлиана-Звонариха:

— Большая сигара в мундштуке! Нет, ты слышала, Анна?

Слепая Анна (сияя от восторга):

— Да, да, и цветок в петлице!

■ ■ ■

Над входом в Кофейный дом висит старая, вытертая до блеска подкова, Поулина-Кофейница сама ее нашла и попросила Антона из пакгауза прибить ее к притолоке.

— А зачем ее сюда привесили?

Тетя Нанна (которая все еще слегка пылает):

— Затем, что подкова — знак счастья.

Премудрые девицы

Вдоль берега бухты тянется ряд черных домишек, все они смотрят на море, и по вечерам сонные огоньки маленьких окошечек многократно отражаются в темной воде, змеясь и извиваясь точно угри.

За одним из этих окошечек сидят Премудрые девицы.

Они сидят под висящей на стене лампой в своей блистающей чистотою кухне, чайник стоит на огне и шумит, а в соломенной корзине лежит кошка с котятами.

Они сидят и читают Священное писание. Читают про Светопреставление и про день Страшного суда, который скоро должен прийти. Никто не знает когда, ибо он придет, «как тать ночью».

Премудрые девицы живут в бедности и кормятся лишь милостями добрых людей, потому что не добывают себе пропитания трудом, а только сидят и читают Священное писание. «Ибо всякий день может стать последним». Время от времени они отдергивают в сторону кухонные занавески в красную клетку и смотрят, не показалось ли знамение небесное.

Нет, покамест не видно. Лишь тьма чернеет, да шепчутся волны, и фонарь светится у Старого форта.

Бывает, что небо озаряется удивительным сиянием, словно нечто величественное во всем своем блеске подступает ближе и ближе. Но потом оказывается, это просто месяц встает из-за горизонта.

Фина-Башмачиха

Премудрые девицы — сестры. Они не только премудрые, но и добрые, ведь они хотят помочь всем людям спастись от погибели в день Страшного суда. И поэтому ходят и проповедуют слово божие.

Больше всего хотелось бы им спасти Фину-Башмачиху, потому что Фина — их родная сестра. Но эта несчастная погрязла во грехе.

Фина живет отдельно от сестер, в собственном доме, известном под названием «Башмак». При упоминании о «Башмаке» люди морщат нос. Это черная, просмоленная избушка с выбеленным известкой основанием и дерновой крышей, ее окружает чудесный сад, полный цветущих кустов и всевозможной зелени.

Фина живет здесь со своей дочерью Розой, которую прозвали Куколкой, потому что она похожа на куклу,— бывают такие красивые бело-розовые куклы с закрывающимися глазами. Щеки у Розы-Куколки как красная смородина, а глаза по цвету — совсем как крыжовник. Одета она всегда нарядно, как будто у нее каждый день воскресенье. Она любит стоять у садовой калитки, неподвижно глядя куда-то в воздух большими кукольными глазами.

Фина-Башмачиха кормится своим садом, она продает цветы и огородную зелень. Еще ей заказывают венки и приглашают помогать на свадьбах и похоронах. А еще она умеет гадать и ворожить, а также «проделывать всякие фокусы» над теми, кого она невзлюбит. Поэтому все люди держатся с Финой и с ее Розой-Куколкой приветливо и ласково: боятся, как бы она их не заколдовала.

Цветущий кервель в саду у Фины растопыренными пальцами белых зонтиков ловит, хватает ветер.

В углу сада пламенеет грядка пунцовых маков. Если долго, не отрываясь смотреть в пунцовый цветочный костер, то словно куда-то проваливаешься и обо всем забываешь.

Цапка Фины стоит, вонзившись в темно-зеленую грядку петрушки длинными страшными когтями.

Сама Фина-Башмачиха — маленькая и приятная на вид, с обветренно-пунцовыми щечками и сложенным в умильную улыбку ротиком, а на носу у нее часто висит слезинка. Она протягивает тебе пучок кудрявой петрушки и берет принесенные тобою деньги, а на прощанье, бывает, погладит по голове и благословит — и ты потом до конца дня чувствуешь у себя в волосах ее страшную когтистую руку-цапку.

Вечером, когда маковый костер гаснет и сумерки зеленой волной разливаются меж рослыми кустиками кервеля, за занавеской в окошке у Фины зажигается лампа... И вот в саду появляется большая птица, она хлопает крыльями, отряхивая с перьев грязь и пыль, и тогда Фина растворяет окно и, ласково улыбаясь черной птице, впускает ее к себе на кухню.

— Кто тебе рассказывает такие небылицы про Фину, Амальд?

— Никто.

— Но это же все вздор, Фина вовсе никакая не колдунья, она милейший и добрейший человечек!

Молчание.

— А почему у Фины слезинки на носу?

— Это потому, что злые языки без конца о ней судачат...

Но Фина-Башмачиха все-таки колдунья! А Роза-Куколка — может быть, заколдованная принцесса. И может быть, в один прекрасный день явится принц и вызволит ее из железных когтей Фины!

Старый поэт

В высоком доме на береговом откосе живет Старый поэт.

Тощее лицо Старого поэта бледно, как пожелтевшая от времени бумага. Рот его прячется в серебристой седине бороды и усов. Брови у него — как два черных кустика. Когда он думает, они уползают высоко на лоб.

Разговаривает он очень редко, зато часто кашляет, потому что у него слабая грудь. И все время он чуточку улыбается. «Он не может надивиться на мир».

Старый поэт похлопывает тебя по щеке жилистой рукою и доверительно подмигивает, но ничего не говорит.

На том месте, где сейчас дом Старого поэта, в минувшие времена было кладбище. В сенях у него стоит бочка с костями мертвецов, которые он насобирал, перекапывая землю у себя в саду. Есть в ней и черепа с зияющими дырами глазниц, со зловещим оскалом крупных зубов. На бочке Старый поэт намалевал черный крест. Это теперь священная бочка.

Полусгнившие человеческие кости лежат в своей священной бочке и дожидаются дня Страшного суда, когда они воскреснут из мертвых и вновь превратятся в живых людей.

Тогда они придут к Старому поэту, пожмут ему руку и скажут «спасибо» за его доброту, а он улыбнется им и ответит: «Не стоит благодарности».

Ханс-Тарарам

Есть в городе один дом, непохожий на все другие: он не смоленый и не крашеный, и крыша у него не дерновая, а железная. Здесь живет бесноватый Ханс-Тарарам.

Ханс-Тарарам — приземистый, ширококостый и лысый. Ноздри у него широкие, раздутые. Глаза налиты кровью.

Ханс-Тарарам — не настоящее его имя, а прозвище.

Ханс-Тарарам живет в своем доме один. Жена, Анна Диана, ушла от него вместе с двумя детьми, потому что, когда он беснуется, страшно быть с ним рядом.

Ханс-Тарарам стоит у себя на пороге и громко говорит либо поет. Говорит он про Страшный суд, про зверя, который выйдет из бездны, и про нечистого духа, который вошел в свиней. Иногда он просто хохочет или же рычит.

А иногда Ханс-Тарарам беснуется в своем пустом доме, ломает и крушит все подряд и швыряет в окно кастрюли и ножки от стульев.

Но Ханс-Тарарам не всегда такой, и покуда в него не вселится нечистый дух, который начинает в нем бесноваться, он тихо и смирно работает на карьере, где рвут из скалы камень для постройки новой сберегательной кассы.

И вот как-то раз из каменоломни исчез сверток взрывчатки, там забили тревогу, и у Ханса-Тарарама сделали обыск, обшарили весь дом от подвала до чердака, потому что накануне вечером кто-то видел, как этот полоумный вышел из каменоломни с большим мешком на спине. В мешке был пакет пороха.

Порох так и не нашли, хотя Ханс-Тарарам сам потом сознался, что он его унес и припрятал у себя в подвале. После этого люди долгое время жили в страхе, опасаясь, как бы не стряслась какая-нибудь непоправимая беда.

Но однажды рано поутру, когда Ханс-Тарарам еще спал, за ним пришли шестеро строгих хмурых мужчин. Они прикрутили его веревками к переносной лесенке и так доставили в сумасшедший дом. И теперь можно было услышать, как он распевает и кричит там, внутри, за железными решетками маленьких окошечек.

Ханс из Китая, здоровенный детина, который присматривал за сумасшедшими, говорил, что Ханс-Тарарам срывает с себя одежду и мечется голый по всему заведению, дерется и лается с нечистым духом, которым он одержим, и при этом пот льет с него градом, так что его никак не поймаешь — вывертывается из рук, точно скользкая рыбина.

■ ■ ■

Пастор как-то пришел к Хансу-Тарараму и читал над ним молитвы, однако не сумел выгнать из него нечистого духа. Только Фина-Башмачиха могла бы это сделать, да ей нельзя, ибо «чародейство — грех».

И все же однажды вечером Ханс из Китая послал за Башмачихой. Фина принесла мешочек с зелеными листьями, которые она прилепила бесноватому на его взмокший лоб.

Он утихомирился и неделю был спокоен, но на седьмой день вечером умер.

Безутешное горе Младшего братишки

Фарфоровая собака Белая Фрейя — белая с позолотой и такая большая, что у нее на спине можно сидеть верхом. Но обычно ее держат взаперти, на дне платяного шкафа, и свет она видит только тогда, когда в гости приходят Премудрые девицы. Дело в том, что эта собака — их свадебный подарок и они не должны знать, что ее убирают в шкаф.

— А почему ее надо прятать в шкаф?

На этот вопрос ответа добиться невозможно. Мама лишь слегка морщит нос. Младшему братишке разрешают вытаскивать из шкафа фарфоровую собаку и играть с нею.

Младший братишка уже подрос и может сидеть верхом на замечательной собаке, которую мы решаем назвать Фрейей — так же, как зовут пуделя у часовщика Ламбертсена. Но часовщикова Фрейя — черная, поэтому наша получает кличку Белая Фрейя.

Верхом на Белой Фрейе можно отправиться в путешествие по Белому Свету, который в нашем представлении весь белый с позолотой. Все на этом Белом Свете белое-пребелое, блестящее и сверкающее, но хрупкое, как стекло. Дома все белые, с позолоченными крышами и дверьми, деревья и кусты тоже все белые, а листья у них из золота.

Это любимая игра в дождливую погоду, она затевается только в хмурые, ненастные дни, когда нельзя играть на дворе.

На полке, висящей над комодом, стоят три голые белые барышни, это «Три Грации». Они очень красивые и гордые, хотя и не все у них так, как должно быть: крантиков между ног почему-то нет. И потом, три барышни не только голые, но еще и слепые: у них в глазу нет точечки и, значит, им нечем смотреть.

Озадаченный этим, Младший братишка на миг впадает в задумчивость. Но затем продолжает свое путешествие верхом на Белой Фрейе по удивительному Белому Свету, где все такое белое, крахмальное, начищенное до блеска и полное забавных несовершенств.

Младший братишка обожает Белую Фрейю и целует ее в золоченую морду. Но в один прекрасный день происходит ужасное несчастье: Белая Фрейя падает и разбивается вдребезги. И вот ее жалкие остатки — белые и позолоченные черепки, с наружной стороны блестящие и золотые, а изнутри серые — рассыпаются по полу, а Младший братишка плачет и плачет навзрыд: ведь теперь Белая Фрейя умерла, и это он сам ее убил. Даже Мама не может его утешить, хотя она берет его на руки и говорит, что он же нечаянно, и ничего страшного нет, вместо Белой Фрейи ему купят Лошадку-Качалку, а может быть, даже настоящую собаку. Младший братишка продолжает заливаться горькими слезами, в неподдельном ужасе и горе косясь на острые осколки, которые заметает тетя Нанна,— вон позолоченное ухо Белой Фрейи, а вон кусочки ее лап и хвоста...

Когда Премудрые девицы в следующий раз наведались в гости и не увидели своего свадебного подарка, Маме пришлось их обмануть, сказав, что прекрасная фарфоровая собака упала с комода и что она ужасно этим расстроена.

Девицы в ответ великодушно улыбнулись и успокоили ее:

— Ах, милочка, случаются беды похуже. И то сказать, мы и сами не вечны, не за горами уже тот час, когда всем нам придется навек распроститься с этой юдолью скорби.

Глазелка в снегу

И все же стеклянный Белый Свет не рассыпался в прах. Его возвращает зима.

Зима на дворе, сосульки свисают со всех крыш, снег кружит по улицам и переулкам, а на окнах появляются дивные картины, вырастают чудесные светлые сады где все ветки и листья стеклянные.

Это ледяные узоры. Их рисует Мороз.

Мороз этот удивительный комар-долгоножка с длинными руками и оттопыренными красными крыльями-ушами, вьется по городу, окутанному тьмой или освещенному месяцем и северным сиянием, и, проворно перебирая пальцами, выводит на всех окнах замысловатые узоры.

В нарисованных Морозом садах тихо, как на кладбище. И однако же, если хорошенько прислушаться, то услышишь немолчный нежный перезвон, словно где-то вдалеке звенят бессчетные маленькие колокольчики. Это звон тишины. Это звук, что таится за всеми звуками...

А на Богородицыной горке кутерьма — кто с санками, кто с лыжами, кто просто с фанеркой, шум стоит и гам: «Эй, с дороги! Эй, посторонись!»

— Ты, Амальд, на Богородицыну горку не ходи, маленьким детям опасно там кататься! Лучше катайся с Ягнячьей горки!

Но на Ягнячьей — скука, здесь собрались одни карапузы, у которых не хватает смелости съехать с Богородицыной, поэтому ты потихоньку топаешь со своими салазками на высокую и опасную горку.

И — у-ух! — летишь во весь опор вниз по крутому склону и дальше по льду замерзшего озера.

Один раз, второй раз все сходит благополучно, но на третий раз — авария: на тебя наскакивают сзади другие санки, гораздо больше твоих, и ты, перевернувшись на полном ходу, врезаешься в высоченный сугроб, снег набивается тебе в рот, залепляет глаза. Но другие санки тоже перевернулись, и не одному тебе приходится выкарабкиваться из белых завалов, со всех сторон в снегу чьи-то головы, руки, визг, взрывы хохота. И вдруг: «Эй, Амальд!» — раздается рядом, и это не кто иной, как Глазелка! Только она вся в снегу, и ее почти невозможно узнать. Но тут кто-то зовет ее: «Ну пошли, Меррит!» И Глазелка исчезает, а ты стоишь ошарашённый: ты и не знал, что ее зовут Меррит и что она откуда-то знает твое имя...

■ ■ ■

Вот так ваши имена на миг скрестились в снежной замети однажды белым зимним днем, давно, в незапамятные времена. И она растворилась в снегу и в сумерках. Но подожди, она еще вернется, теперь Меррит вошла в твою жизнь..

Черное рождество

Разражается шторм с ливнем, за одну ночь снега как не бывало, все ручейки превращаются в клокочущие речки, а городская речка — в полноводный бурливый поток. Рождество вместо белого — размокшее, черное.

А в самую ночь под рождество город внезапно пробудился от оглушительного удара грома, сотрясшего все дома!

Всего лишь один громовой раскат, если только это действительно был громовой раскат, — в грохоте слышался словно бы призвук жалобно звонящих колоколов...

Оказалось, что молния угодила в церковную колокольню.

Дурное предзнаменованье! Колокольня с одной стороны почернела, ее будто лизнул гигантский язык огня и копоти, а крест на верхушке шпиля покосился. Церковные часы остановились, когда стрелки показывали пять минут четвертого.

Темные силы приложили здесь руку. Однако ж они не смогли поджечь колокольню, не смогли повредить колокол. И хотя святой крест под их напором согнулся, сломать его им все же не удалось.

Об этом ведет речь пастор в своей рождественской проповеди, и прихожане с воодушевлением подхватывают радостные слова псалма:

Храмы несчетны рассыпались в прах,
Звон колокольный не молкнет.

А под Новый год колокольня, сверкая свежею побелкой, красуется в лучах вспыхнувшего северного сияния, и крест на шпиле опять выпрямился.

Но о смятении и переполохе, которые вызвал этот необычный удар молнии, долго еще рассказывали всякие чудные истории. Многие от страха едва не лишились рассудка. Премудрые девицы совсем ополоумели — стояли у себя на крыльце и пели, держа в руках зажженные свечи.

А тетя Нанна слышала в Кофейном доме, как Рикке-Испанка рассказывала о скандале, который в сочельник разразился в «Башмаке» между Премудрыми девицами и Финой и который кончился тем, что Фина, угрожая своим сестрицам садовыми ножницами, прогнала их с криком: «Лучше убирайтесь подобру-поздорову, а не то я вам сама такое покажу знамение небесное!..»

Отец (с широкой ухмылкой):

— Ну, если это и правда Фина-Башмачиха накликала те громы небесные, остается снять перед нею шляпу!

Календарь

На обложке Календаря — рамка из маленьких картиночек: львы и быки, рыбы и крабы, люди и кони, а есть наполовину человек — наполовину конь, пускающий стрелу из лука.

В Календаре записаны все дни, в том числе и те, которых еще не было. Каждый день — это день рождения какого-нибудь человека. Каждый день имеет какое-нибудь удивительное имя.

— У сегодняшнего дня какое имя?

Мама отрывается от письма, которое она пишет своей сестре Хелене в Копенгаген, и листает Календарь:

— Поликарп!

— А у завтрашнего?

— Хри-зо-стом.

— А дни — они всегда были?

— Нет, один день был самым первым днем творения. Это когда бог создал свет.

— А теперь всегда будут приходить новые дни?

— Нет, один день станет самым последним. Это будет день Страшного суда.

— Что же, после Страшного суда больше дней не будет?

— Нет, потому что настанет один долгий, вечный день.

— Но как же, раз ночей больше не будет, значит, и спать никто не будет?

Мама качает головой и с улыбкой заводит глаза.

— О боже, сынок, каких ты только вопросов не задаешь! Будут ли спать после Страшного суда!

И Мама склоняется над своим письмом:

— Нет, это я должна рассказать тете Хелене!

— Что рассказать?

— Как ты спрашиваешь, будут ли спать после Страшного суда.

■ ■ ■

И он наступил, этот долгий, вечный день после Страшного суда.

Нет больше Солнца, только какой-то пустынный свет, будто льющийся отовсюду сразу. И во всем мире — ни единого человека, ни животной твари, даже травы нигде нет, ни засохшей былинки. А на прибрежном песке у застывшего в мертвом штиле моря нет ни единого птичьего следа. Только валяются осколки разбитого глиняного кувшина, сломанная труба, треснувшее зеркало. Да зеленый стеклянный шарик — поплавок от рыбачьих сетей.

Сам же ты — стеклянная птица, зеленая и прозрачная, парящая низко над прибрежным песком на тонких хрупких стеклянных крыльях.

Все быстрей и быстрей летит птица — куда, куда?

На Край Бездны.

Здесь зеленая птица замедляет полет и останавливается — здесь, у самого Края Земли, высится Башня, огромная и мрачная, седая и морщинистая, точно горный утес, и гигантские проемы на верхушке Башни зияют черной пустотой — как глазницы мертвых голов в бочке Старого поэта. Картина такая ошеломляющая, что из груди зеленой птицы исторгается крик — протяжный, зеленый, горестный, стеклянный крик!

Но вот вдалеке, в Вечности, возникает какое-то движение — это плывет, медленно приближаясь, огромное, похожее на пуховик облако. Но нет, это не облако, теперь ты уже отчетливо видишь, что у него есть лицо и руки.

Это бог носится над водою. Он подплывает все ближе и ближе, и это так страшно...

Но тут ты просыпаешься у себя в постели, весь в испарине.

И опять просто раннее утро на Земле, самое обыкновенное и будничное, за окном разливается синь дня, а на кухне горит лампа и твоя обыкновенная, будничная Мама процеживает кофе.

— У тебя такой удрученный вид, Амальд. Опять тебе что-нибудь дурное приснилось?

— Да. Про то, как будет после Светопреставления.

— А-а. Ну и как же тогда будет?

И ты рассказываешь свой сон, все подряд, про зеленую стеклянную птицу, и про Край Бездны, и про огромную Башню с мертвой головой наверху, и про бога, который плыл по небу, как летучий пуховик.

Мама занята и слушает вполуха твой умопомрачительный рассказ.

— Да, какой только чепухи не увидишь во сне. Но это скоро забывается, сны — это ведь просто фокус-покус и больше ничего...

Обычная история: расскажешь, что тебе приснилось, а взрослые в ответ — вот такие слова. После этого чувствуешь себя как дурак. Нет, в другой раз лучше уж промолчать.

Дядя Харри

Тетя Нанна пылает больше обычного, потому что она теперь невеста. Жениха ее зовут Харри, он моряк и плавает на шлюпе «Куин Мэри».

Не успеет «Куин Мэри» бросить якорь на рейде, как дядя Харри спешит на берег и со всех ног мчится к нам, чтобы поцеловать тетю Нанну. Он не может ждать ни минуты.

А тетя Нанна прячется в подвале или в уголке сада, стоит там и пылает, потому что ей не нравится, когда дядя Харри при всех ее целует, и вдобавок она его немножко боится — он в высоких резиновых сапогах, в долгополой шинели и в шапке с ушами, лицо заросло щетиной, а глаза «как у голодного волка». Он даже не здоровается, он не может говорить, только шумно пыхтит:

— Нанна! Нанна!

А некоторое время спустя дядя Харри появляется снова, на сей раз гладко выбритый и прифранченный, все у него чин чином: шляпа, шейный платок, цепочка от часов, сигарный мундштук, в петлице — роза, на запястье — синие татуировки, теперь он может и говорить, и смеяться, как другие люди.

Но тете Нанне все равно не нравится, что он все время обнимает ее за талию или за шею, и она дует ему в лицо с таким видом, будто он ей надоел.

Она считает, что он уже не в том возрасте, чтобы так дурашливо себя вести,— ему, слава богу, двадцать три года. И они ведь пока не женаты, а только обручились.

Вечером они сидят впотьмах на диване в гостиной, видно лишь, как дядя Харри попыхивает сигарой, и слышно, как они тихонько перешептываются. Но иногда дядя Харри заводит песню и поет задушевным рокочущим голосом что-нибудь очень

трогательное, а тетя Нанна принимается вздыхать и всхлипывать, особенно когда он поет:

И как же позабыть мне
Сердечного дружка.

Но вот однажды «Куин Мэри» возвращается из плавания без дяди Харри.

А где же дядя Харри? Нет, он не умер. Он в Англии. Он теперь плавает не на «Куин Мэри», а на английском судне...

Потом тетя Нанна получила из Англии письмо и после этого несколько дней не показывалась, сидела одна у себя в комнате. Не лежала на постели, а просто сидела на стуле. И даже не плакала. Она «окаменела».

Когда тетя Нанна вышла наконец из своего заточенья, вид у нее был бледный и несчастный, она больше не пылала и ни слова не говорила.

Так прошла вся та зима.

И вдруг в один прекрасный день — кто это мчится стремглав через сад в долгополой шинели, весь заросший щетиной? Дядя Харри! На глазах у него слезы, говорить он не может, только шумно пыхтит:

— Нанна! Нанна!

Но тетя Нанна убегает наверх, к себе в комнату, и запирает дверь на ключ...

Дядя Харри долго стоял перед запертой дверью, стучал и плакал, пока не пришла Мама. Она заговорила с ним серьезно и строго:

— Тебе здесь нечего делать, Харри, ты просто негодяй!

Тогда дядя Харри кинулся Маме на шею, так что она едва устояла на ногах, а потом упал перед ней на колени и плакал, уткнувшись лицом ей в подол. Но все было напрасно, тут как раз подоспел Отец, который стал метать громы и молнии и выставил горемычного негодяя за дверь.

Понурив голову и громко рыдая, дядя Харри поплелся прочь через сад, а наверху, у себя в комнате, сидела тетя Нанна и тоже рыдала.

Маки

В углу Башмачного сада, там, где летом пылают пунцовые маки, зимою остается лишь черная земля. Но новые маки ждут своего часа, и, проходя мимо, ты всякий раз поглядываешь на маковую грядку — не произошло ли каких изменений...

И однажды ты замечаешь маленький глазок. Твердый белый глазок в черной земле.

После этого один за другим вылезают из земли бледные узловатые пальцы; напористо пробивая себе дорогу, они тянутся вверх и превращаются в крепкие зеленые ростки.

Вот и пришла весна.

Потом настает день, когда мохнатые бутоны поднимают над зеленой чащобой свои ощетиненные головки. Напружившись, они крепко сжимают в своих тисках что-то, чего они не хотят выпускать на волю.

Но проходит совсем немного времени, и курчавые красные вихры начинают выбиваться из трещинок в самовластных бутонах. Теперь кажется, будто они изранены и кровоточат.

И вдруг в один прекрасный день видишь: маки распустили огненные венчики и стоят, покачиваются под лучами солнца, ярко пламенея, костром пылая средь матовой зелени.

Вот и пришло лето.

Шарманщик

В то лето случилось нечто совершенно замечательное: в городе появился Шарманщик.

Только-то? Да, для нас, детей, никогда прежде не видевших шарманщика и не слышавших шарманки, это было воистину замечательное событие.

Откуда он взялся, никто толком не знал, по слухам, какое-то норвежское судно, державшее курс на Исландию, ссадило его на берег, потому что ему нечем было платить. Но как бы там ни было, а однажды солнечным летним днем этот самый Шарманщик очутился посреди Докторского двора, где он стоял и крутил свою шарманку, а на ней сидела мартышка, наряженная барышней, в платьице и чепчике и с голубыми очками на носу. Она умела танцевать и посылать воздушные поцелуи.

Шарманщик не был ни норвежцем, ни исландцем, не был и датчанином; высказывали предположение, что он родом из Испании или из Турции или, может, он цыган. Наружность у него была довольно жалкая: восковое лицо с черной бородой, один глаз закрыт черной повязкой, а на спине горб, и многие подходили и опускали монетки в его старую шляпу, лежавшую на земле рядом с шарманкой. Музыка же его никому настоящего удовольствия не доставляла, даже ребятишкам, слишком уж несчастный был у него вид. И никто не хотел пустить его к себе в дом: чего доброго, занесет какую-нибудь грязь или заразу, да и на руку может оказаться нечист.

Вот тут-то и вступилась Мама: она устроила Шарманщика на жительство, выделив ему у нас в подвале каморку, куда поставили кровать и приносили вдосталь еды и питья для него самого и для мартышки. Вдобавок вместо латаной-перелатаной куртки ему выдали поношенный, но совсем еще целый отцовский сюртук, и Шарманщик был преисполнен благодарности и отвешивал поклоны с учтивостью человека, знавшего лучшие времена. Но потом он внезапно захворал и слег. И тогда послали за доктором Фредерисиа, однако доктор не обнаружил у чужестранца никакой особой болезни.

— Бродяга обессилел от нищенской жизни, ну да на ваших хлебах он живо на ноги поднимется!

Шарманщик и вправду скоро выздоровел, щеки его согрел румянец, а в зрячем глазу появился блеск, и теперь благодарность его просто не знала границ. Что он там лопочет на своем нездешнем наречии, никто разобрать не мог, но по его глазам и по вкрадчивым жестам было понятно, что он расточает восторженные похвалы. В конце концов он стал приходить из своей каморки наверх и кормиться за кухонным столом вместе с барышней-мартышкой. Чем дальше, тем больше он делался похож на нормального человека: обнаружилось, что, несмотря на горб, это довольно приятная на вид и благовоспитанная личность с симпатичными морщинками, веером расходящимися от глаз, и с красиво серебрящейся проседью в черной как смоль бороде. К тому же выяснилось, что Шарманщик умеет не только крутить свою шарманку, но и кое-что другое. Он искусно склеивал фарфор: «Три Грации», которые упали с полки и разбились, благодаря его стараниям опять стали как новенькие. Старую посудину, которая с незапамятных времен валялась в курятнике, перевернутая кверху дном и затопленная навозной жижей, он откопал, отчистил и надраил так, что она словно по волшебству превратилась в сверкающий медный таз. Еще он умел вырезать узоры по дереву, а также мастерить всякие фигурки и забавных кукол из стволиков водорослей, которые мы, дети, ему приносили.

Так все и шло мирно и гладко недели две или три, покуда Отец не вернулся из плавания на своей «Кристине», после чего идиллия резко оборвалась. Оказалось, что Отец неплохо понимает язык, на котором говорит Шарманщик. Они долго беседовали с глазу на глаз в каморке чужестранца, и разговор, судя по всему, вышел не из приятных. Отец громыхал кулаком по столу, а Шарманщик, похоже, пустил слезу и униженно о чем-то молил.

Когда Отец поднялся из подвала наверх, руки у него дрожали, а лицо было багровое, но он ничего не сказал. Мама обняла его за плечи, она тоже была взволнована до слез.

— Ради бога, Йохан, что произошло?

Отец отвел ее в сторону и зашептал ей что-то на ухо.

Мама замерла с закрытыми глазами и словно окаменела.

Потом страсти улеглись, в доме как будто бы ничего и не изменилось, не считая того лишь, что Шарманщик перестал выходить из своей каморки. Отец распорядился, чтобы еду ему приносил посыльный из Рёмеровской лавки.

Вскоре Шарманщик отбыл из города на «Кристине», которая направлялась с грузом рыбы в Испанию. Выглядел он совсем иначе, чем когда он только появился в наших краях, теперь на нем был добротный бушлат и фуражка с блестящим козырьком, но самое удивительное — это что у него не только исчезла с лица черная повязка, но и горб тоже пропал без следа. Мартышка, закутанная в платок, сидела у него на руке. В сенях он торопливо поцеловал в рукав Маму и тетю Нанну. Когда он ушел, Мама долго сидела, закрыв лицо ладонями.

Все это казалось ужасно забавным и походило на удивительные превращения, какие совершаются в сказках или во сне, а из объяснений, услышанных тобою от тети Нанны, ты мало что понял.

— Твой отец его невзлюбил. Просто не переваривал его.

— Но почему?

— Потому что он несчастный п р о х о д и м е ц.

— А что такое проходимец?

Этот вопрос тетя Нанна оставляет без ответа, она только дует тебе в лицо.

— А еще потому, что твой отец — т и р а н.

— Тиран? А что такое тиран?

Этот вопрос она тоже оставляет без ответа, но пылает сильнее обычного, глаза остро поблескивают, а губы как-то неприязненно кривятся.

Хмурый и ветреный зимний день без солнца и без тени. Один из дней Обыденности. Один из дней на склоне лет.

Отсюда, из башни, где я, Амальд-Воспоминатель в Почтенных Летах, сейчас сижу (впрочем, называя это башней, я, пожалуй, впадаю в немалое преувеличение, ибо речь идет о весьма и весьма скромном обиталище, где помимо пишущей эти строки персоны умещаются лишь стол, стул да небольшой камин и еще — под столом — свернутый парашют),— так вот, отсюда, из окна моего довольно высоко расположенного приюта, открывается вид на окутанный дымом городок средь моря-океана, где я три четверти века назад впервые увидел свет дня и тьму ночи и где меня посетили первые робкие мысли о жизни и смерти,— мысли, которые позднее, возможно, обрели более четкую форму, но от этого отнюдь не стали менее беспомощными...

Я сижу и вглядываюсь в дальнюю даль, в минувшее и вовек невозвратное, в Страну Младости, давно меня изринувшую и вызывающую во мне тайную зависть,— зависть к вам, кто еще привольно в ней живет, в особенности же к вашей чудесной молодой жизнестойкости!

В той стране, где начиналось начало и где по-прежнему продолжается продолжение,— там день и ночь, как и раньше, привычной чередой бегут друг за другом, там властвует действительность, бурлит жизнь, там и сейчас познается то главное, что достойно познания, то первое и основополагающее, что сообщает бытию непреходящую новизну.

Из сего пространного воздыхания, думается, с достаточной ясностью вытекает, что башня, о которой здесь упомянуто,— отнюдь не место добровольного уединения, о нет, это узилище, убогая тюремная башня старости и бренности на Краю Света. Да, сидишь вот так сиротливо в своей высокой темнице у края великой бездны,— сидишь, вслушиваясь в грозный рев, долетающий из глубин, и стараешься сохранить бодрость духа в теперешнем своем положении, хотя, видит бог (который, как и прежде, облаком носится над водою), это не всегда легко дается, и было бы просто невыносимо влачить жалкий век, не прибегая к кое-какому плутовству.

Да вот, взгляните: я достаю свой верный парашют, отворяю окно и, исполненный сладостных упований, плавно приземляюсь в тех исчезнувших, но нетленных местах, где осталось жить мое сердце!

Ханнибал

А дальше было вот что: в один прекрасный день ты угодил в лапы разбойников и свел знакомство с Ханнибалом...

На песчаном пятачке за пакгаузами, возле устья городской речки, куда ты пришел пускать свои игрушечные кораблики «Кристину» и «Морского дракона», сложено множество больших ящиков, башней громоздящихся друг на друга. В одном из ящиков есть окошечко, там показалась чья-то настороженная физиономия, потом другие подозрительно вглядывающиеся лица, и вдруг из этой нелепой башни выскакивает молчком ватага дикарей, и не успеваешь ты опомниться, как тебя хватают и заталкивают в тесную темную камеру. Ты лежишь и брыкаешься, давишь и колотишь в стенки ящика, пытаясь его разломать, и при этом плаксиво вопишь: «Отдайте мне мои корабли!» Но все твои жалобные вопли остаются без ответа. Потом молчание нарушает грубый голос:

— Ты взят в плен. Если не перестанешь кричать — расстрел!

— Отдайте мои корабли!

— Корабли будут сожжены!

И тут ты поступаешь как последний дурачок — ты распускаешь нюни. Ты громко ревешь, продолжая ожесточенно дубасить в стенки и пол ящика.

Вдруг в потолке открывается люк, мелькают руки и смеющиеся лица и тебе протягивают один из твоих кораблей — это «Кристина» с белыми парусами. Но только ты хочешь схватить корабль, как его дергают вверх, и так раз за разом — под дружное фырканье и хохот.

Потом хохот умолкает, и в отверстие наверху просовывается пистолет.

— Проси пощады!

— Выпустите меня!

— Проси пощады, а иначе — расстрел!

— Я хочу выйти!

— Проси пощады! Считаю до трех. Раз!

— Выпустите меня!

— Проси пощады! Два!

— Пусти, не тронь!

— Три!

Курок спущен — и прямо тебе в лицо ударяет сильная струя воды, она попадает в нос и в рот, и ты, захлебнувшись, отфыркиваешься и отплевываешься.

— Тебе говорят: проси пощады!

Что ж, приходится просить пощады, увы, на геройство ты не способен.

После этого тебя выпускают из тесного застенка и переводят в другую камеру, побольше и посветлей, где ты усаживаешься на пол, весь мокрый, недовольный собою и злющий, но уничтоженный.

— Попросил бы сразу пощады, Амальд, тебя бы не расстреляли!

Голос принадлежит рыжему мальчишке, ты знаешь, что его зовут Ханнибал, он сын вдовицы Анны Дианы, той самой, мужем которой был Ханс-Тарарам. Ханнибал старше тебя года на два, на три и для своего возраста очень крупный. На нем темно-зеленый жилет, надетый поверх фуфайки; между двумя жилетными карманами болтается часовая цепочка с компасом, а на поясе висит кинжал в гладких, блестящих деревянных ножнах.

— На, забирай свои дрянные корабли! И можешь бежать домой ябедничать, слюнтяй несчастный!

Так состоялось твое знакомство с Ханнибалом.

Ты остался сидеть на месте, оскорбленный и негодующий, между тем как пять или шесть пар разбойничьих глаз сверлили твою слюнтяйскую особу. Ты остался сидеть, вместо того чтобы взять корабли и уйти.

Да, ты попросил пощады, тебя втоптали в грязь, но ты продолжаешь сидеть, потому что слюнтяем быть не желаешь.

Растерянное молчание. Ханнибал по-прежнему держит на коленях один из твоих кораблей — «Морского дракона». Он ласково поглаживает красивый корабль с позолоченным украшением на носу.

— Чудной ты все-таки, Амальд. Кто тебе сделал эти корабли? Отец?

— Оле-Угрюмец.

Молчание. Потом приглушенные голоса вокруг: «Оле-Угрюмец».

Ханнибал взглядывает на тебя исподлобья.

— Сигарету хочешь, Амальд?

— Нет.

Он сам закуривает сигарету и кольцами пускает дым.

— Они у тебя уже плавали по-настоящему, в морской воде, эти корабли?

— Нет, только в речке.

— А теперь будешь их в море испытывать?

Внезапно Ханнибал поднимается.

— Пошли, Амальд!

И, обращаясь к остальным, которые собрались было к нему присоединиться:

— Нет, нет, мы с Амальдом одни пойдем. Верно, Амальд? Мне надо с тобой кой о чем поговорить!

Он оборачивается и делает знак одному из мальчишек:

— Ты, Карл-Эрик, можешь пойти с нами!

По берегу мы доходим до маленькой бухты Пунтен; у Ханнибала и у меня в руках по кораблю. Здесь, в затишье, мы пускаем их поплавать. При полном безветрии они чуть покачиваются, отражаясь в спокойной воде, предзакатное солнце золотит белые паруса «Кристины» и ржаво-красные паруса «Морского дракона».

Мы с Ханнибалом какое-то время сидим и молча смотрим друг на друга, оставив корабли на попечение Карла-Эрика. Лицо у Ханнибала сплошь в веснушках, за исключением того места на щеке, где белеет шрам. Одного переднего зуба не хватает. Глазки маленькие и белесые.

— Ты все еще злишься, да, Амальд?

— Я? Нет.

— Ты небось думал, мы хотим украсть твои корабли?

— Угу.

— Правильно, они бы и утащили. Но я им запретил. Потому что я у них атаман.

Ханнибал важно вскидывает голову, во взгляде его появляется суровость — он атаман, которому все обязаны повиноваться.

— А ты здорово испугался, когда я в тебя прицелился? Ты думал, это настоящий пистолет?

— Угу.

Ханнибал достает пистолет.

— Пистолетик шикарный, верно? Все его боятся, хотя он просто водой стреляет. А можно добавлять соль или уксус, тогда ух ты как жжет!

Он засовывает в рот пальцы и свистит.

— Эй, Карл-Эрик! На-ка, заряди пистолет!

Ханнибал протягивает мне наполненный водою пистолет.

— Попробуй, нажми вот тут!

Большой чугунно-серый пистолет выглядит весьма внушительно, но когда держишь его в руках и ощущаешь под пальцами резину, невольно разочаровываешься — все-таки это не то, обман. Ханнибал берет его у тебя и пускает высоко в воздух красивую длинную струю.

— Слушай, Амальд! Давай меняться: ты мне — корабль, а я тебе — эту штуковину! А? Согласен? Да или нет?

— Нет.

Ханнибал понимающе кивает, будто он так и знал, что ты откажешься. А потом вытаскивает из роскошных ножен кинжал и вертит его в руках, любуясь сверкающим на солнце клинком.

— Ну а на этот вот будешь меняться? Кинжальчик отличный. Острый — жуть. Петуху можно голову отсечь. Да даже человека можно насмерть заколоть. Ну так что́, Амальд? Да или нет?

— Нет.

Ханнибал и на этот раз как будто ничуть не огорчен.

— Правильно. Амальд, дурак бы ты был, если б согласился, я ведь нарочно спросил, чтоб тебя испытать — дурак ты или умный. Ну а вот, посмотри-ка!

Ханнибал достает из жилетного кармана часы. Они в желтоватом роговом футляре. Он открывает потертую крышку — большие блестящие часы картинно болтаются у него на цепочке.

— Вещь дорогая. Фамильные часы! Ну, Амальд, теперь что скажешь? Да или нет?

— Хочешь, возьми себе «Морского дракона». Просто так, задаром.

— Задаром?

— Ну да, задаром.

— Нет, Амальд, ты все-таки сначала подумай. Давай я буду считать до пятидесяти, а ты думай.

Ханнибал поворачивается ко мне спиной, чтобы не мешать мне думать.

— Ну как? Не отказываешься от своих слов?

— Нет.

Ханнибал свистит, засунув пальцы в рот.

— Эй, Карл-Эрик, иди сюда, ты будешь свидетель!

Обещание приходится повторить еще раз, чтобы Карл-Эрик тоже слышал.

— А теперь ступай, принеси корабли! — приказывает ему Ханнибал.

Он толкает меня локтем в бок.

— Карл-Эрик у меня ординарец, г а й д у к. Хороший малый, только жалко его, он скоро умрет.

— Как умрет, почему?

— А от чахотки. У него все братья и сестры умерли от чахотки, то есть все, кроме самой младшей сестренки, но она уже лежит больная и тоже скоро умрет.

Карл-Эрик приносит корабли, Ханнибал кладет «Морского дракона» на колени и гладит его в совершенном восторге.

— Это ты умно сделал, Амальд! Часы я тебе все равно бы не отдал, они дорогие, сам понимаешь. Но все-таки ты тоже должен взамен что-нибудь получить. Я так решил. И я уже знаю что. Уж это-то тебе понравится. Увидишь, останешься доволен! Только это такая вещь — ее нельзя просто взять и показать. Чтоб она понравилась, надо ее по-особенному показывать. Ты приходи сюда завтра утром, если погода будет хорошая, я тебе ее покажу!

— Что покажешь-то?

— Нет, сейчас я ничего говорить не стану. Но я точно знаю, Амальд, ты будешь ужасно доволен! Не думай, я тебя не обману. вот тебе моя рука! Слышишь, Карл-Эрик, ты у нас свидетель!

И Ханнибал что есть силы хлопает меня по руке в знак того, что он меня не обманет.

— Теперь мы с тобой друзья! Верно, Амальд? Да или нет?

— Угу.

Ханнибал бросает на меня выразительный взгляд. Потом минуту сидит, ласково поглаживая «Морского дракона», с таким видом, будто хочет что-то сказать, но никак не может решиться.

— Слушай, Амальд, ты ведь уже ни чуточки на меня не злишься, правда же?

— Правда.

— Слушай, Амальд, сказать тебе одну вещь, которой ты не знаешь?

— Скажи.

— Ну так вот: ты ведь мне почти что брат! То есть брат, но не родной, а двоюродный! Ты небось этого не знал?

— Не знал.

— Видишь, а я тебе сейчас объясню. Хочешь, объясню?

— Хочу.

— Понимаешь, моя мать — она дочь твоего деда, того, которого звали, как тебя! Так что вот, Амальд, теперь ты знаешь! И получается, что наши с тобой матери — сестры, верно ведь? А значит, что одна, что другая — никакой разницы, верно? А, Амальд? Да или нет?

— Угу.

Ханнибал сидит, раскачивая на коленях «Морского дракона». Потом поднимает корабль и держит его против солнца, так что красные паруса просвечивают насквозь.

— Амальд, ты злишься? Конечно, злишься, я же вижу.

— Я? Да нет.

— Ну, все равно ты какой-то недовольный. Ладно, ничего, вот получишь мой подарок — будешь доволен, ручаюсь, что будешь доволен!

■ ■ ■

На следующий день мы снова встретились в бухте Пунтен, погода стояла ясная, осенняя, с солнцем и холодным ветром.

— Пошли, я тебе покажу!

— Что покажешь?

— Идем, живей!

— Куда?

— На Богородицыну горку!

Мы срываемся с места. На горке уже собралась ватага мальчишек, все они стоят, задрав голову кверху, и смотрят на небо.

— Ну как, Амальд, видишь его?

— Ага, змей! Это твой?

— Да, но теперь он будет твой! Я сам его сделал. Ты погляди, это не обычный змей, он же позолоченный. Ты хоть видишь, что у него вся голова позолоченная? А глаза какие, видишь, Амальд?

Да, ты отлично видишь: голова змея сияет позолотой. И глаза у него есть, большие, белые, с черной точкой посредине, а вместо ушей — красные кисточки...

Тот солнечный, но пронизывающе холодный октябрьский день с ледяным северным ветром стал одним из дней, забыть которые невозможно. Бумажный змей сверкал в вышине, ярко вырисовываясь на фоне белесого неба, а длинный хвост его волнообразно извивался, плавно, как у рыбы, которая весело плещется в воде.

(Право же, немногие зрелища на земле могут по своей красоте сравниться с игриволикующими, но благородно-неторопливыми движениями хвоста такого вот змея!)

Ханнибал протянул тебе деревянную катушку, к которой была прикреплена бечевка.

— Попробуй, как он т я н е т!

Да уж, тянул он крепко — ты будто держал в руках лесу с гигантской рыбой, попавшейся на крючок.

Так мы пробегали весь тот долгий день, н а с л а ж д а я с ь змеем, который плавал наверху, в низком и зябком солнечном сиянии, без устали резвясь и выделывая свои поднебесные коленца. У нас на земле мало-помалу сгущались сумерки, а в небе у змея долго еще было светло.

Лишь после того, как совсем стемнело и замерцали первые звезды, Ханнибал стал наматывать бечевку на катушку, медленно, торопиться было некуда, да и змею это было не по нраву, он дергался и вырывался и делался все строптивей по мере приближения к земле, а когда он наконец упал в траву, обратившись в шелестящий на ветру ворох мишуры и газетной бумаги, все вдруг стало так печально и уныло. Никто не проронил ни слова. Ханнибал обмотал длинный бумажный хвост вокруг головы змея, засунул катушку за поперечину крестовины — и остался лишь вечер, бездонный, одинокий, со звездами и северным сиянием, да стужа такая, что зуб на зуб не попадал.

Ханнибал протянул мне увязанного змея.

— Ты что же, Амальд, ни чуточки не рад такому прекрасному подарку?

— Рад.

— Так мог бы мне хоть спасибо сказать!

Мертвая голова

С Ханнибалом шутки плохи: либо ты ему друг, и тогда все в порядке, либо ты враг его, и тогда — да хранит тебя бог! А хочешь быть другом — дай порезать себе палец, чтобы смешать свою кровь с его кровью.

— Ты как, согласен? Ну будет, конечно, чуточку больно. Говори, согласен? А? Да или нет?

— Согласен, но только не сегодня.

На лице Ханнибала — мина атамана.

— Или сегодня, или никогда!

— Тогда я не буду.

— Ага, значит, забоялся! Ну-ну. Я в твои годы тоже был такой. А потом выкинул дурь из головы: что́ я, трусливей всех, что ли.

И приходится тебе волей-неволей согласиться.

Совершается это в подвале «Монастырского покоя», одного из старых полуразвалившихся пакгаузов вблизи бухты Пунтен. Здесь находится «разбойничья пещера» Ханнибала. Здесь он хранит свою надежно спрятанную в деревянном ящике, завернутую в мешковину петарду. Но это не обычный фейерверк, какие продаются в лавке, а большой, туго перетянутый веревками и обмазанный смолой пакет, из которого торчит конец фитиля. Своей петардой Ханнибал может без труда взорвать пакгауз, даже весь город может спалить. Просто не хочет, а так мог бы. Покамест ни к чему успеется.

Процедура смешивания крови оказывается не столь болезненной, как можно было ожидать. Кинжал у Ханнибала большой и острый, но он делает лишь крохотную царапину на кончике твоего мизинца — выступает капелька крови, и этого достаточно. Ханнибал осторожно подцепляет ее лезвием, стряхивает в щербатое блюдце и там размешивает в морской воде вместе с гораздо более крупной каплей собственной крови.

— А теперь прочитай «Отче наш» задом наперед!

— Вот еще, не буду!

— Тебе говорят читай!

— Не буду не хочу.

Ханнибал улыбается, обнажая свои чудны́е зубы — одного переднего зуба у него нет, а еще один зуб — черный.

— И правильно, Амальд, что не хочешь! Нельзя искушать господа бога своего. Это ведь я просто так сказал, испытывал тебя. А вот мертвую голову поцеловать тебе придется! Пошли!

У подножия откоса, к которому прилепился дом Старого поэта, на узкой береговой полоске навалена куча мусора: водоросли и щепки, засохшие медузы и осколки стекла, ржавые сковородки и прочая негодная кухонная утварь. Есть здесь и кости, вымытые прибоем из старого кладбища на склоне. И — укрытый в груде щепы и гальки, насквозь пропыленный череп, который Ханнибал извлекает и пытается отчистить, дует на него и трет рукой.

— На́ вот, поцелуй сюда, в лоб.

— Не хочу я, не буду.

— Значит, не хочешь? Смотри, Амальд, если не поцелуешь, мертвец ночью встанет из могилы и придет к тебе, так и знай.

— Ну и пусть, все равно не буду

Он продолжает тереть позеленевший череп рукавом фуфайки. Смотреть на это

жутко, волосы дыбом поднимаются. Ханнибал буравит тебя исподлобья властным взглядом.

— Без этого никак нельзя, Амальд!

— Не буду! Сам целуй, если охота!

Тут вдруг сверху, с откоса, слышится мягкий, но укоризненный голос. Это Старый поэт, он стоит, опершись на заступ, шея и подбородок обмотаны большим шерстяным шарфом. Оттуда, сверху, он все видел.

— Что это вы делаете, мальчики? Поди-ка сюда, Ханнибал, покажи мне, что у тебя в руках!

Ханнибал раздумывает, как быть; он крепко прижимает к себе мертвую голову, вид у него мрачный и упрямый.

— Слышите, мальчики, идите-ка оба сюда! — снова раздается с откоса, на сей раз весьма повелительно.

Глаза у Ханнибала темнеют.

— Только чтоб молчок, понял, Амальд? Обещаешь?

Поэт берет у него череп и внимательно разглядывает.

— Для чего вам это, а, ребятишки?

Молчание.

— Это, должно быть, голова молодой девушки. Поглядите, какая красивая у нее форма! И зубки почти все целы. Экая досада, что городские власти так ничего и не делают, чтобы несчастные человеческие останки не валялись где попало, точно какой-нибудь хлам!

Он смотрит на нас расширенными глазами, подняв высоко на лоб черные кустики бровей.

— А вы, стало быть, просто так играете с этим бедным черепом? Это не игрушка, детки дорогие, это голова человека, который, быть может, был вашим ровесником, и тоже бегал, и играл здесь, как вы!

(«А может, это голова Одинокой девы Эссемёдль»,— подумал ты.)

Поэт еще минуту внимательно смотрит на нас. Потом, вздохнув, бережно прижимает к себе череп и, покашливая, направляется к своему дому. Мы видим, как он отворяет дверь и скрывается в темноте сеней, где стоит его удивительная бочка с костями мертвецов.

Ханнибал пожимает плечами.

— Пускай, раз ему так хочется. Да, а насчет того, чтоб целовать мертвую голову, так это ведь я тоже сказал, просто чтоб тебя испытать!

■ ■ ■

Задул свежий ветер, погода для змея вполне подходящая. Может, чуточку слишком ветрено. Но мы все же решаем за ним сходить.

Путь наш лежит мимо «Башмака», и там у садовой калитки стоит Роза-Куколка и с улыбкой смотрит в пространство, будто видит вдали кого-то знакомого. Она, как всегда, нарядно одета, в клетчатом чепце и красивом передничке.

Ханнибал:

— Эй, Роза, здравствуй!

— Здравствуй!

Голос у Розы до странности тусклый, какой-то словно ненастоящий, а карие кукольные глаза неподвижны и по-прежнему устремлены вдаль. Ханнибал подходит к ней почти вплотную и шепотом спрашивает:

— Что у вас сегодня было на обед, а, Кукленок? Небось своего черного кота зажарили?

Роза не отвечает, только смеется, выставив меж пухлыми губами ровный ряд влажных зубов.

Но тут откуда-то доносится голос Фины-Башмачихи:

— Я ведь все прекрасно слышу, Ханнибал!

И она появляется из-за кустов с граблями в руках, стоит и выковыривает застрявший в зубьях сор. Не глядя в нашу сторону и умильно улыбаясь, она говорит:

— А ты, дружочек, идешь собирать дохлых ворон себе на ужин?

Ханнибал не отвечает, только судорожно глотает слюну.

— Пошли, Амальд!

■ ■ ■

В тот злополучный день случилось несчастье: золоченый красавец змей оторвался и улетел!

И причина была не в слишком ветреной погоде — тяга была не сильнее обычного, змей спокойно и грациозно плавал в воздухе, неспешно помахивая хвостом. Но вдруг ни с того ни с сего он делает несколько бешеных рывков и начинает опускаться, медленно вниз головою, а Ханнибал стоит и сжимает в руках пустую катушку.

Оба мы, окаменев, смотрим вслед улетающему змею, который закрутился вихрем, скомкался и исчез вдали над чернеющим морем.

— Вот дьявольщина! Черт знает что! Никогда еще у меня такого не случа-

лось.— Голос у Ханнибала осипший от обиды и мрачного недоумения.— Бечевка же вроде крепко была привязана к катушке! Или, может, ты там что-нибудь ковырял?

— Нет, я ничего не трогал.

Ханнибал швыряет прочь пустую катушку. Потом валится ничком в засохшую траву и минуту лежит, корчась и извиваясь от горя и досады, а поднявшись, долго трет себе глаза рукавом фуфайки.

— У-у, сука проклятая! Вот тебе, пожалуйста. Это она мне за черного кота отплатила! Дернула меня нелегкая за язык! Да еще и тебе ни за что ни про что досталось — змей-то был твой! Вот такая она подлая тварь. Ее бы... Псалтырем бы ее по башке трахнуть!

Насчет Псалтыря Ханнибал мне объяснил, пока мы с ним тащились как побитые домой.

Оказывается, это Марк, бондарь из Торгового дома Рёмера, однажды запустил Псалтырем Фине в голову, она тогда упала без сознания и много дней не вставала с постели.

— А за что ж он ее?

— За то, что она заколдовала его дочку.

— Как это, заколдовала?

— А вот так, она на баб порчу насылает. Это она тоже умеет.— Ханнибал мрачно кивает, но больше не хочет про это говорить.— Ладно, Амальд, я тебе отдам обратно твой корабль.

— Зачем, мне не нужно.

— Ну, тогда я сделаю тебе нового змея! Еще больше, чем тот, и еще красивей. Вот увидишь!

■ ■ ■

Когда ты в тот вечер улегся в постель, тебе не терпелось узнать, придет ли к тебе во сне девушка, чью мертвую голову ты отказался поцеловать, но страха ты особого не испытывал — это бы наверняка оказалась Эссемёдль, а ее ты не боялся.

Она не пришла. Но вместо нее пришла Фина-Башмачиха со своей диковинной грязной дьявольской птицей. Фина ласково улыбалась тебе, на щеке у нее блестела слезинка, а птица с кудахтаньем прыгала на одной ноге, растопырив крылья, от которых пахло старым заплесневелым тряпьем... и тебе пришлось пойти с ними в «Башмак», а там было ужасно неуютно, потому что кроме Фины и Розы-Куколки там были козы, крабы и еще какое-то странное существо: наполовину конь — наполовину человек.

Но потом откуда ни возьмись явился Ханнибал со своей петардой — и все исчезло в клубах пыли и дыма.

«Улитка»

«Улитка» лежит в траве и гниет.

«Улитка» — это плоскодонный ялик. Он так прогнил, что сквозь его днище проросли трава и цветы.

Он лежит здесь с тех самых пор, как утонул Оле Рильке. А это случилось десять лет назад.

Оле Рильке утонул на пути к стоявшему на рейде судну под названием «Спэрн». Дело было вечером, уже затемно, а Оле был один в ялике. Неустойчивая «Улитка» не могла плавать по бурному морю, вот она и опрокинулась.

Когда Оле Рильке утонул, ему было только двадцать два года. Он учился на шкипера. И был обручен с Анной Дианой, матерью Ханнибала.

Никто толком не знает, зачем Оле Рильке отправился на «Спэрн». Некоторые говорят, что на судне в тот вечер была попойка.

Анна Диана (которая, стало быть, приходится тебе теткой по матери, если только это правда, потому что верить всему, что рассказывает Ханнибал, все-таки нельзя),— так вот, Анна Диана вышла потом замуж за Ханса-Тарарама, этого сумасшедшего, который и стал отцом Ханнибала, а если бы Оле Рильке не опрокинулся на своей «Улитке», то Ханнибал был бы его сыном, а не Ханса-Тарарама. Тогда бы Ханнибал был совсем другой, не такой, как сейчас.

Ну а если бы Ханс-Тарарам не женился на Анне Диане и у него была бы совсем другая жена?

Тогда бы Анна Диана вышла замуж за другого человека, и где же бы тогда был Ханнибал?

А если бы в тот вечер не было гулянки на борту судна? Или если бы Оле Рильке отправился туда в настоящей шлюпке, а не на «Улитке»? Или если бы «Спэрн» не стоял на рейде именно в тот вечер? Или если бы «Улитка» вообще не существовала? Или если бы твой дед не был знаком с бабкой Ханнибала?

Если бы, и если бы, и если бы, и если бы!..

Однако «Улитка» существует.

«Улитка» существует до сих пор, лежит себе в траве и ведать не ведает, каких она натворила бед.

Лежит, и гниет, и скоро совсем истлеет от сырости и плесени, и обратится в прах и в ничто.

Шторм

Вот и опять осень, осень — шторм, и бешеный прибой, и осень — меркнет небо, улетают птицы, кружатся листья. Осень, осень!

С моря дует ветер, холодно и сыро в пустых залах Крепости.

Когда лежишь на полу в верхнем ярусе Крепости и смотришь наружу через узкую бойницу, видно, как пенятся волны под низко нависшими темными тучами. Ветер задувает в нос, во рту от него солоно. Вся Крепость сотрясается и ходит ходуном.

Крепость называется Морская. Это разбойничья цитадель Ханнибала. Она возведена из больших ящиков и стоит на песке у самого устья реки.

Старый рыбак идет мимо, складывает ладони рупором и кричит:

— Эй, ребятишки, здесь играть нельзя, не ровен час, волною смоет!

Мы и сами это знаем, но не можем же мы оставить, предать нашу славную Морскую крепость.

Громадная волна, накатив, затопляет крепостные казематы. Если там есть узники, они теперь захлебнутся.

Новая волна — и Крепость зашаталась.

Еще один высоченный вал, мутно-зеленый и пенистый,— и Крепость, оторвавшись от песка, поплыла! Теперь уж не остается ничего другого, как выпрыгнуть на сушу, стоять и смотреть на нашу славную Морскую крепость, которую разрушает злой враг.

И тут нас тоже охватывает злость. Озорная злость — как у этих враждебных морских валов, что рушат нашу Крепость.

И вот наступает сухой бурый час перед дождем. Это Трубный час! Это час, когда Рюберг стоит меж чернеющих деревьев в своем старом, запущенном саду за пакгаузами, стоит со своею чудовищной зеленой трубой, стоит под трескучими сучьями, стоит в вихре сухих бурых листьев, стоит в могильном свете желто-бурого Трубного часа и дует в свою ужасную трубу.

И вот уже слышно сквозь шум прибоя, как ревет и визжит его труба, визжит и рычит, рычит и беснуется — между тем как мы лихо отплясываем здесь, высоко наверху! Между тем как мы пляшем и скачем, не помня себя, в диком восторге, по всему Парусному чердаку Оле-Угрюмца, где развешенные паруса полощутся на сквозняке под перестук люковых крышек.

— А кто такой Рюберг?

— Рюберг? Этого никто не знает. Он же умер давным-давно...

Когда-то он жил в этом пакгаузе и спал в Спаленке под самой крышей. Рюберг — это привидение, призрак, трубач непогоды, трубач шторма. Рюберг трубит дождь, трубит ночь и тьму — между тем как мы, ликуя, прыгаем и бешено кувыркаемся в ворохах парусного полотна здесь, на просторном пустом чердаке, в зеленовато-желтом штормовом свете Трубного часа. Ведь Оле-Угрюмец пока не пришел, но может прийти с минуты на минуту, и поэтому времени терять нельзя!..

А шторм надвигается жуткий, страшнейший — вот и хорошо, что будет шторм!

Мужчины, громко перекликаясь, торопятся вытащить на берег свои лодки и убрать их в сараи. Женщины в развевающихся платках носятся в поисках уток и кур, которых разметал ураганный ветер.

К тому времени, когда зажигают фонари, соленая клокочущая морская пена залепляет весь город, фонари коптят на шквальном ветру, и их задувает — вот и хорошо, что задувает!

Злые голоса слышатся во тьме с какой-то старой дерновой крыши, которую шторм грозит сорвать и унести, а разъяренные люди пытаются закрепить, опутав канатами, привязанными к каменным глыбам.

Крыша, наверное, все равно улетит — вот и хорошо, так им и надо!

Издалека, из тьмы, доносится глухой и жалобный звук, как будто кто-то зовет на помощь. Весь город слышит этот зловещий, душераздирающий звук. Кое-кто думает, что это сирена терпящего бедствие корабля. Но мы-то знаем, что это просто шторм колобродит в старых железных якорных бочках у Круглины.

— А кое-кто думает, что это трубный глас, возвещающий Страшный суд,— вот и хорошо, так им и надо!

И мы злорадно ликуем во тьме, внимая скорбному пению волн, и задумываем ужасные, злые желания: вот бы ветер повалил церковную колокольню! Вот бы вода затопила весь город и все дома уплыли в море!

(Окончание следует)

Критика

С. ШЕРЛАИМОВА

ЧЕШСКАЯ ПОЭЗИЯ НА ПОРОГЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Семидесятые годы в литературах социалистических стран прошли под знаком интенсивного развития прозы, подъема реалистического романа. В поэзии же, как правило, критики констатировали относительное затишье. На первый взгляд так оно и есть: давно уже не было, например, ярких поэтических дебютов, какими была отмечена вторая половина пятидесятых годов. Однако в последнее время поэзия все чаще вновь оказывается в самом центре литературной жизни. Это в полной мере относится и к литературе Чехословакии.

Чехия исключительно богата прекрасными поэтическими творениями. В стране Махи и Незвала, Гавличка и Волькера, Неруды и Неймана поистине «никогда не переводятся» хорошие поэты. Чешская поэзия наших дней — творчество Вилема Завады, Ивана Скалы, Иржи Гауфера, Мирослава Флориана и других поэтов — своими особыми средствами отражает и формирует образ мыслей и чувств современника, его нравственный мир, его жизненную ориентацию.

В материалах XVI съезда КПЧ записано: «Мы поддерживаем и будем поддерживать художественное творчество, проникнутое коммунистической партийностью, творчество, которое реагирует на главные вопросы современности, борется за социалистическую мораль, изображает человека наших дней в его реальной деятельности и трудовых усилиях и воспитывает его в духе патриотизма и интернационализма». И далее: «Наша партия и впредь будет способствовать укреплению единства широких рядов художественного фронта и всесторонне поддерживать творческое развитие социалистического реализма во всем его изобразительном богатстве»[1] Современная поэзия вносит свой весомый вклад в выполнение ответственных задач, поставленных партией перед работниками искусства. Ощущение незаменимости поэзии возрастает вместе с ростом ее духовного потенциала, укреплением ее контактов с читателем.

В сегодняшней чешской поэзии выступают представители разных поколений: и те, кто начинал еще в далекие двадцатые годы, и совсем молодые, родившиеся уже после победы социализма в Чехословакии. Современную чешскую поэзию характеризует единство мировоззренческих позиций, приверженность идеалам социализма и борьбы за мир. Вместе с тем поэзия — жанр очень «личностный», она всегда несет на себе отчетливую печать индивидуальности ее создателя, печать поколения, к которому он принадлежит. В поэзии идет плодотворное соревнование, идет плодотворный спор индивидуальных творческих манер,— в ходе его и осуществляется «творческое развитие социалистического реализма во всем его изобразительном богатстве».

Отличительная черта поэзии современной Чехословакии — укрепление связей чешской и словацкой поэзии. Представленная такими яркими фигурами, как Мирослав Валек, Владимир Рейсел, Войтех Мигалик, Милан Руфус и другие, словацкая поэзия заслуживает подробного специального разговора. В настоящей же статье речь пойдет о некоторых интересных явлениях в современной чешской поэзии, которая, как и словацкая, со всей очевидностью переживает подъем.

С кем бы вы ни заговорили о современной чешской поэзии, одним из первых в ряду представляющих ее имен назовут Вилема Заваду (1905—1982)[1]. Недавно ушедший поэт остался с нами навсегда: его стихи удивительно созвучны гуманистической проблематике нашей эпохи. Меньше всего стремился он к фиксации ее внешних примет, актуальность его произведений зиждется на новом, современном решении издавна питающих поэзию «вечных вопросов», которые по-новому звучат на каждом новом этапе развития общества.

Глубоким философским смыслом проникнута книга стихов «Спасибо, жизнь!» (1977) Исходный момент развития мысли и всей образной системы здесь — противоречие бесконечности жизни и ограниченности индивидуального человеческого бытия. Поэт не пытается приглушить драматизм этого конфликта: человек смертен — таков неумолимый закон природы. Но что же из этого следует?

С истинной страстью исследователя Завада стремится разобраться в глобальной человеческой проблематике сквозь призму

[1] "Rudé právo", 7.IV 1981, s. 5.

[1] См. наши публикации в «ИЛ», 1977, № 5; 1980, № 5.

своего жизненного опыта, взятого в его отвлеченной сути. Он пишет не о людской массе, а об отдельном человеке, о самом себе, но одновременно и о каждом своем читателе, кто бы он ни был.

Человеческому взору жизнь предстает лишенной логики и порядка:

Весна не спешит продлевая
господство зимы
В дни жатвы бьют землю осенние ливни
Весной не весна и летом не лето
Природа капризна и немудра
Человеку весна не в усладу —
ждет лета
чтобы в зной мечтать об осенней
прохладе
Как мотор в часовом механизме мира
в движенье всегда и торопится к смерти

(«Не в ногу»)[1]

Но за хаосом явлений поэт различает неизменность законов природы, их конечную справедливость:

Никто не остановит того
что созрело для паденья
Никто не задержит того
что пробивается вверх к свету

(«Трава на обломках». Перевод Е. Винокурова)

«Вечные вопросы» для Завады — не только философские, но и этические. В центре его раздумий — человек, проблема его счастья, этика его поведения в мире. Жизнь «течет без конца и начала», людей на земле — что «песка у моря», но поэт подчеркивает единственность, неповторимость каждого и к каждому обращает тот же призыв, что и к самому себе:

Еще у тебя есть гордость и совесть
не размахивай своей инвалидной
книжкой
не стучи перед собой посохом слепца
Сожми как кулак свое сердце
и подними его ввысь

(«Лазарь, пробудись и встань». Перевод Е. Винокурова)

Поэт признает полноценной только ту жизнь, которая согрета любовью («Я люблю, значит, существую»), исполнена духовности. Всегда воевавший с равнодушием, Завада особенно гневно выступает против пресыщенности души, воспевая «горькую мудрость постоянного голода». В сборнике есть прекрасное стихотворение, написанное во славу непрестанной, изнурительной работы человеческого мозга, — «Тяжелый труд». «Серый, будто вол», мозг способен, «включив все контакты», в благословенные минуты вдохновения породить «животворящую мысль или стихотворение», которое «зальет нас светом или украсит мир».

Автор монографии о творчестве Завады, чешский исследователь В. Рзоунек пишет о книге «Спасибо, жизнь!»: «...эта книга — одна из немногих в нашей современной поэзии — поднимает вопрос, который революционная поэзия всегда ставила и должна ставить... Это вопрос «что делать?», чтобы будущность не обманула наших ожиданий И Завада... дает на него ответ».

Заваде всегда был чужд легковесный оптимизм. Через все его творчество проходит мотив смерти, раздумья о ее неизбежности. Тем не менее поэзия Завады утверждает не смирение перед смертью, а ощущение полноты жизни, чувство ответственности за ее содержание.

Этика Завады покоится на сознании истинных ценностей, мудром понимании того, что делает человека счастливым, ей присущ пафос красоты и бесконечности жизни, отданной служению людям и добрым делам:

Не откроет Колумб Америки
не напишет Гомер новой Одиссеи
Все уже было открыто и написано
Все надо открывать и говорить снова
чтобы однажды кончить двоеточием
которое внесет ясность и осветит
дорогу вперед

(«Лавры»)

Если поэзия Вилема Завады с наибольшей силой воплотила в себе этико-философскую направленность современной чешской поэзии, то творчество Иржи Тауфера и Ивана Скалы ярко отражает ее гражданственность, пафос жизненной активности человека социалистического общества.

В кризисные для Чехословакии шестидесятые годы имели место попытки «очищения» поэзии от «тенденциозности», долженствующего, по утверждению тогдашних адептов идеалистической эстетики, поднять ее на новые высоты. Очевидно, что подобные теории нанесли поэзии только вред; упражнения в духе «чистого искусства», «чистого эксперимента» не выдержали проверки временем. В наши дни гражданская линия в чешской поэзии обрела новую силу, лучшие ее образцы вновь подтверждают ту истину, что успех произведения определяет не актуальная тематика сама по себе, а новаторство ее художественного раскрытия.

В одном из стихотворений сборника «Продолжение следует» (1979) Иржи Тауфер (род. в 1911 г.)[1] говорит, что никогда не стремился просто запечатлеть свое время, «поймать его в строфы», но «из любви к нему всегда затевал с ним спор» («История моего сердца»). Темперамент неутомимого полемиста, умение заострить проблему, наступательность мысли соединяются в его новых произведениях с виртуозностью стиха, разнообразием ритмов, изобретательностью аллитераций и рифм.

Рецензируя сборник «Продолжение следует», литературовед Г. Грзалова напомнила слова чешского критика-марксиста Б. Вацлавека, сказанные о книге Тауфера «Шахмат, Европа!» (1933): «Политические мысли выражены здесь чисто поэтическими образами». Высказывание справедливо и поныне. Более того: произведения Тауфера последних лет представляют собой не просто продолжение, но развитие на новом качественном уровне основных черт его творческой индивидуальности.

Гневные обличительные строки обращает поэт к чилийской фашистской хунте, страстно негодует он против унижения человека в стихах о современной Италии. Он ведет горячий спор со всем, что мешает полноте человеческого счастья.

Поборник «материалистической» поэзии, Тауфер пишет стихи во славу «всех шести чувств» человека, воспевает жизнь как драгоценное право и вместе с тем — обязан-

[1] Стихотворные цитаты, кроме оговоренных в тексте, даются в переводе автора статьи. *(Прим. ред.)*

[1] См. наши публикации: «ИЛ», 1980, № 9; 1981, № 9.

ность человека. Он восстает против смерти: смерти как убийства, смерти как неподвижности и бездействия, смерти как отказа от борьбы:

Велико ли искусство
вен каналы вскрыть?
Мол, не рвись, кровь, к сердцу,
а в пространство брызни!
Преклоняюсь я перед искусством жить,
ненавижу антижизнь.

(«Простое как признание». Перевод А. Шестакова)

Восторженный прием в критике встретила поэма «Индиания» (1979). Так назвал Тауфер Америку, «исконным и истинным героическим» обитателям которой — индейцам — посвящено это произведение. Опираясь на давние «проиндейские» традиции чешской поэзии и чешского изобразительного искусства, на традиции американской поэзии и мировой литературы, Тауфер создает романтическое видение континента — благословенного, пока на него не ступила нога европейского завоевателя. Он восхищен поэтичностью мышления и языка древних индейцев:

Временам года вы дали названья,
и каждое было поэмой:
Месяц дикого риса,
Месяц, когда олени сбрасывают рога,
Месяц земляники,
Месяц, когда улетают дикие гуси...
Мирных, добрых детей природы
стерли с лица земли
наглые пришельцы, одурманенные
блеском золота:
Их истребили испанцы, англичане,
французы, португальцы, голландцы.
А тех, кого не убили, продали
в рабство...

Обличая колониализм давний и сегодняшний, который рыщет по планете в поисках еще неразграбленных земель, поэт призывает к объединению угнетенных индейцев с трудящимися всего мира.

Разумеется, не следует искать у Тауфера исторически точного описания судеб американского континента и его исконных жителей. Поэма отражает нынешнее восприятие драматических событий прошлого, ненависть к захватничеству, расизму, к диктату и бесчинству сильного. Столь же современна — пусть и выраженная в романтическом ключе — мечта о равновесии человека и природы, об их единстве. Как подметил критик М. Благинка: «Иржи Тауфер с большой поэтической настойчивостью, используя полные смысла и чувственной конкретности детали, сформулировал исторический (или предысторический) конкретный жизненный идеал, который не мог устоять в сражении с ненасытной хищностью целых орд жестоких авантюристов и грабителей, но сохраняет для нашего мира ценность источника вдохновения».

Оценивая достижения гражданской поэзии, Иван Скала (род. в 1922 г.)[1] в одном из интервью предупреждал о двух опасностях, ее подстерегающих: «С одной стороны, это опасность фразерства и низкого качества. Я — и, к сожалению, весьма часто — бываю разочарован стихами, а правильнее сказать — рифмовками, которые появляются подчас и на страницах партийной печати, посвящены они очень важным темам, но расправляются с ними прямотаки ученической скороговоркой. Такое стихоплетство не только бессмысленно, но, я бы сказал, просто вредно... Другую опасность я вижу в том, что поэты часто занимаются вещами, которые субъективно для них важны, но они изымают их из широких социальных связей. Общественная активность, общественная ангажированность и политическая значимость поэзии определяются прежде всего углом зрения».

Своим недавним сборником стихотворений «Спешащий огонь» (1979) Иван Скала продолжает интернационалистскую линию, характерную для всей его поэзии, продолжает борьбу за гуманистические ценности против эгоизма, равнодушия и потребительской морали. Поэту ненавистна английская леди, не понимающая языка античных развалин («Дельфы»), современный мещанин, превыше всего ставящий свой личный комфорт:

Мчатся асфальтовыми лугами
субботних шоссе,
молятся об успехе в храмах интеротелей
и в часовнях попутных пивных...

(«Потребители»)

Неустанно полемизируя с самодовольным и корыстным невежеством, Скала подчеркивает величие рядового труженика, оставляющего на земле след в своих детях, в вещах, сделанных его руками («Реквием простому человеку»). В стихах сборника «Спешащий огонь» часто появляется мотив старости: уже не лирический герой книги, а другой, молодой поэт пройдет по рельсам БАМа («Моя Сибирь»). Поэт теперь хорошо знает, что «никакая любовь не способна сдвинуть горы, это — сладкий обман» («Тяжесть»), но в нем продолжает жить вечно молодая жажда учиться: познавать мир и делать добро («Учиться»).

Ощущение своей судьбы в слитности с судьбой родины, с судьбой человечества пронизывает сборник Скалы «Бермудский треугольник» (1982). «Память, интеллект и чувство» — так определяет поэт «бермудский треугольник души», готовый поглотить и поглощающий все. Но в минуту вдохновения из этих глубин на свет рождается истинное знание о жизни. В стихах книги — картины природы, воспоминания юности, размышления об искусстве (о Незвале, Гогене), путевые зарисовки Кубы и Кампучии — и каждая строка отмечена печатью личности автора и опыта его поколения, на долю которого выпали тяжелейшие испытания, но которое верно идеалам Октября и полно решимости защитить и отстоять мир для своих детей и внуков:

Нет, наш победный шаг никто не
остановит,
мы — жизнь, ее нельзя остановить!

(«Наш марш»)

Особое место в чешской литературе последних лет занимает творчество Мирослава Флориана (род. в 1931 г.) — крупного поэта среднего поколения. В последние годы он порадовал читателей новыми сборниками стихотворений (например: «Зеленая флейта», 1979; «Отлив ночи», 1980; «Завтрашние снега», 1981), издал несколь-

[1] См. нашу публикацию в «ИЛ», 1982, № 9.

ко книг избранного, в которых, по выражению одного критика, «перетасовываются» его стихотворения разных лет, как стеклышки в калейдоскопе, складываясь каждый раз в новую картинку.

Лирика Флориана всецело погружена в повседневную жизнь, из нее берет он слова и обороты речи для своих стихов. Но какую удивительную поэтичность приобретают у него самые простые предметы и явления! Флориан назвал однажды поэта «специальным корреспондентом», сообщающим читателю «голую правду» о жизни. Таким «специальным корреспондентом», аккредитованным в мире лирических чувств и природы и передающим оттуда краткие и правдивые поэтические «информации», выступает он сам. Недаром Флориан охотно печатает свои новые стихи в газете.

В творчестве Флориана господствует жанр небольшого по объему лирического стихотворения, иногда написанного свободным стихом, но теперь чаще всего — это просто рифмованные четверостишия. Их секрет — в теплом и дружеском отношении к миру, в шутливом и доверительном тоне, помогающем сразу же установить контакт с читателем.

Поэзия Флориана оказывается всем понятной и всем нужной. Вот свидетельство критика Я. Неедлой: «Его стихи... стали неотъемлемой составной частью нашей жизни. Мы читаем их в газетах, на станции метро, они сопровождают школьников на страницах хрестоматий, мы слышим их по радио, на собраниях и торжественных вечерах, мы знаем их по более чем двум десяткам книг этого автора. И что самое важное: сугубо оригинальные, личные стихи поэта передают то, чем живут теперь люди, что они думают, как чувствуют».

Природа и любовь — две постоянные темы Флориана, темы древние, как сама поэзия, но он сумел передать новые оттенки в их восприятии сегодняшним человеком. Возвышенному, романтическому пониманию поэзии он противопоставляет свое «стихотворение из газеты», которое «скользнет тебе на колени в утреннем трамвае и замурлычет, если его погладишь глазами» («Стихотворение из газеты»).

С доброй улыбкой доказывает Флориан пользу поэзии: в это газетное стихотворение можно при надобности «завернуть чеснок, помогающий от склероза», на него можно «накрутить локон». Поэт шутит, но он и вполне серьезен. Если это «стихотворение из газеты» — настоящее,

его не убудет, встанет оно
в полный рост
и улыбнется, не сделавшись прозой.

Критика пишет о творчестве Флориана последних лет как о продолжающемся из сборника в сборник лирическом дневнике, внутренняя структура которого, замечает И. Гаек по поводу «Зеленой флейты», «определяется не чем иным, как простой временной последовательностью отдельных впечатлений».

А вот мнение о Флориане поэта старшего поколения, чья творческая манера очень отлична от флориановской. В послесловии к сборнику Флориана «Кардиограмма» (1978) Завада написал: «Флориан — поэт конкретной жизни современной эпохи, но он чутко улавливает и запечатлевает и такие нюансы человеческой психики, которые далеко не все люди в состоянии зарегистрировать своими внутренними радарами».

В стихах Флориана всегда присутствует любовь. Сами по себе любовные переживания большей частью остаются «за кадром», лишь изредка прорываясь в «текст» в виде строчки, беглого упоминания, но в стихах они ощущаются как особое, приподнятое состояние души. Поэт смотрит на мир глазами влюбленного, который все воспринимает острее, ярче, для которого каждая мелочь вдруг наполняется особым смыслом. И этим праздничным состоянием души, которое делает человека человечнее, поэт делится с читателем, прогоняя мизантропию, помогая веселее, а значит и правильнее, понимать жизнь.

Миниатюры Флориана легки, изящны, законченны. Его метафоры не ошеломляют, но они точны и нешаблонны, бережно доносят до нас оттенки эмоций. В его стихах всегда есть драматический элемент, они не просто зарисовка, даже если речь идет всего-навсего о погоде, а какой-то конфликт и его преодоление, разумеется, в лирическом смысле.

Флориан нередко пишет о разного рода «погодных неприятностях»: дожде, мокром снеге, изнурительной летней жаре. Это не жалобы, а чаще всего лирические шутки. Вот, к примеру, стихотворение, напечатанное в одном из июльских номеров газеты «Руде право» (1980), — «Дождливый июль»:

У нынешнего лета — вкус осени.
С неба свесились подмокшие акварели.

Такая погода способна испортить настроение, навеять грусть. «Но я не завожу зонта»,— решительно заявляет поэт. Он готов «клясть непогоду, как матрос», но не переселяется под укрытие «часовни с полотняным куполом», из-под которого увидишь «только тротуар». Забавная метафора: человек под зонтом — в движущейся «часовне с полотняным куполом» — вызывает улыбку. И уже веселее шагать под дождем и смотреть на целый мир.

Чешская поэзия знает много стихотворений, посвященных Праге. Есть Прага революционной поэзии двадцатых годов, Прага рабочих предместий, фабрик и демонстраций. Есть Прага Незвала, в которой реальный облик современного города соединяется с фантастическим видением города романтических теней (поэма «Эдисон»), Прага «с пальцами дождя» и сотнями башен старинных храмов. Сегодня можно говорить о Праге Флориана. Это не столько образ города, сколько образ человека в городе. «Пражский пешеход» — назвал в тридцатые годы Незвал книгу своих очерков. Флориан — пражский пешеход наших дней, для которого стобашенная Прага не объект для любования, а просто город, где он живет, по улицам которого ходит на работу, где он мокнет под дождем, ожидая на трамвайной остановке любимую. Это живой, добрый город, даже если он и не всегда уютен:

Светофоры ночью так скучают
На перекрестке, где нет езды.

Они напрасно предлагают
три своих падающих звезды.
. . . . . .
Светофоры ночью так прекрасны,
когда они тоскуют без людей.
(«Песня о светофорах»)

А вот как видит поэт уличные фонари:

Столбы подняли бокалы света,
и с ними чокается дождь.
(«Свидание»)

Такие же добрые, улыбчивые стихи пишет поэт о Карловых Варах, о нашем Кавказе. Но все же Флориан семидесятых — это прежде всего «пражский пешеход»:

Я — воробьишко твой теплый,
Прага, твое продолженье живое,
Пусть же субботние толпы
Тащатся за город, как под конвоем.
. . . . . .
Я не боюсь бездыханных
улиц в потоках асфальтовой лавы,
парков, где сотне фонтанов
не воскресить побуревшие травы.
(«Уик-энд». Перевод М. Борисовой)

Поэзия Флориана добра, но не сентиментальна. Он становится жестким, когда вспоминает о поэтах, обеспокоенных только «намыванием золота», и мечтает о возвращении Незвала, который «освободил бы от них поэзию». Он становится грустным, когда вспоминает об ушедших друзьях. Он становится непримиримым, когда обличает врагов мира, провозглашая победу «безграничной жизни» над «ограниченной войной» («Вероучение», 1982).

Невозможно представить современную поэзию без мудрости и известной созерцательности старших, без зрелости суждений и высокой жизненной активности среднего поколения, но также невозможна она и без постоянного обновления, без притока молодых сил.

Поколение, пополнившее чешскую поэзию в семидесятые годы, формировалось в весьма сложных условиях. Оно начинало печататься и приобщаться к творчеству в обстановке кризисных шестидесятых. Стихи-шифры, смысл которых никто и не пытался разгадывать, нередко превозносились тогда критикой как истинно современные, а произведения, например, Незвала объявлялись устаревшими; прививалась ориентация на западный модернизм. Нужна была большая стойкость и решимость, чтобы противостоять этим тенденциям.

Общей чертой талантливых молодых поэтов, ставших на путь разрыва с эстетическими заблуждениями кризисных лет, было стремление, опираясь на вершинные завоевания чешской поэзии XX века, искать новые способы выражения идеалов реального гуманизма.

Поиски нового содержания, связанного прежде всего с жизнью большого города, и новых форм, способных передать сложный мир современного человека, отличают группу поэтов, которых в критике зачастую именуют «тридцатипятилетними». Это Карел Сыс (род. в 1946 г.), Петр Скарлант (род. в 1939 г.), Михал Черник (род. в 1943 г.), Иржи Жачек (род. в 1945 г.), Йозеф Петерка (род. в 1944 г.), а также Йозеф Шимон (род. в 1948 г.), Ярослав Чейка (род. в 1943 г.) и другие. Критик и поэт Яромир Пельц (род. в 1952 г.) в книге «Новое содержание» (1977) расценил их творчество как «сигналы и предвестия» движения поэзии к новым горизонтам.

Название «тридцатипятилетние» привилось, хотя кому из них точно тридцать пять? Приблизительное обозначение пошло в ход, наверное, потому, что оно как бы фиксирует «признание взрослыми» поэтов, которых на протяжении многих лет именовали «молодыми». Творчески они очень активны, каждый издал по нескольку поэтических книг. Кроме того, это размышляющее и анализирующее поколение. Петерка систематически публикует проблемные статьи о современной поэзии, ему принадлежат исследования типологических схождений в развитии чешской, словацкой и русской советской поэзии [1]. Недавно вышла книга эссе о поэзии, автором которой является Сыс («Поэт и К°», 1981). Эссе «О нравственности литературы» Чейки напечатано в литературном приложении к еженедельнику «Творба» — «Кмен» (1982, № 9). Со статьями, репликами, критическими заметками выступают и другие поэты.

Поэзия «тридцатипятилетних», неизменно привлекающая читателей, особенно молодых, в последнее время оказалась в центре внимания чешской критики, стала предметом острого спора. Именно к ним были обращены упреки Тауфера в его выступлении «Что есть и что не есть поэзия?» [2]. Отстаивая концепцию «материалистической поэзии», Тауфер резко критиковал некоторых молодых поэтов за «прозаичность», небрежную работу над формой, «хладнокровно-рационалистическую» трактовку эротических сюжетов.

Не только поэт старшего поколения, но и младший сверстник «тридцатипятилетних» Яромир Пельц предъявляет им повышенный счет: «Чувственная полнота, наглядно-предметная метафора, интерес к внешнему многообразию реальности — это, конечно же, отличная основа для поэзии, но само по себе еще не все: материализм немыслим без диалектики, без научной концепции исторического развития, которая должна составлять опорный стержень поэзии и без которой поэзия бесхребетна». По мнению критика, «поколение тридцатипятилетних» еще не высказалось с достаточной ясностью о насущных проблемах современности... в их стихи «через окно возвращается индивидуализм, изгнанный в семидесятые годы через дверь».

Спор о «тридцатипятилетних» продолжался и на III съезде Союза чешских писателей (март 1982 года), где с докладом о поэзии выступал М. Благинка.

Нет сомнений, что творчество этой группы поэтов в оригинальной художественной форме затрагивает какие-то важные моменты современной жизни — отсюда такой интерес к нему. Но столь же очевидно, что в их произведениях много «поискового», противоречивого, порой вызывающего несогласие.

Мы уже отмечали, что их поэзия в ос-

[1] См. Й. Петерка. Диалектика и поэзия (Завада, Руфус, Заболоцкий). Сб. «Современная литература Чехословакии». М., «Наука», 1981.

[2] Сокращенный перевод этого выступления см. в «ИЛ», 1980, № 9.

новном связана с городом. Но в отличие, скажем, от городской лирики Флориана стихи «тридцатипятилетних» воссоздают город в его урбанистической сущности, со всеми атрибутами современной цивилизации — от транзисторов и цветного телевидения до бесконечных потоков машин и панельных домов. Свой урбанизм эти поэты иной раз подчеркнуто акцентируют. Так, Шимон с вызовом противопоставляет новостройки Праги ее древним кварталам:

...вся стобашенность Праги и каждая
башня отдельно
пропитаны кровью
. . . . . .
Прага подружка в ненастье
против красоты — во мне антитела
сонеты о тебе пускай катятся к черту
а мне милей панельные дома
эти ужасно
строгие
чужеземные
птицы
которые поют по-чешски

(«Панельные дома»)

Впрочем, о технизированном мире они могут говорить и критически:

И в чаще леса тебя вдруг оглушит
мотор
смог наполнит долину до верха гор

(П. Скарлант. «Пересечения на разных уровнях»).

Но это именно та реальность, с которой поэты связаны всей своей жизнью, образом мыслей, это — источник их образности.

В стихах Шимона, Скарланта, Черника, Жачека, Сыса запечатлены сценки, разыгрывающиеся на пражских улицах и перекрестках, воспроизводятся разговоры, типичные для каждодневной жизни: между мужем и женой, между соседками по дому, перемывающими косточки молодой матери-одиночке, которая нимало не смущается своим положением и продолжает пользоваться успехом у окрестных мужчин (И. Жачек. «Мадонна жилого квартала»). С большой откровенностью трактуют многие из них любовные сюжеты, подчас нарочито «снижая» их:

С тобой банальность мы обманем?
К чужой квартире ключ в кармане
В чужом уюте неуютном
навек моя
будешь минуту

(И. Жачек. «Влюбленные в канун весны»)

Вместе с тем у этих поэтов найдешь и раздумья над сложностью жизни. Скарлант в поэме «Бессонница», построенной в ключе незваловских «Эдисона» и «Сигнала времени», вспоминая об умершей девушке, повторяет:

жизнь и в счастье и в горе
не ведает меры
всяк однажды поблекнет исчезнет
химерой
в пропасть времени канет летняя ночь
в пропасть времени канет каждая мощь

Сыс в «Долгом прощании» восклицает:

Смысл жизни
ты для меня покрыт тайной
как собрание стенограмм

Когда Пельц упрекал «тридцатипятилетних» в недостатке гражданского чувства, он, конечно же, полемически заострял проблему. Поэтический мир «тридцатипятилетних» вовсе не оторван от социальной действительности. Вспомним сильные антивоенные стихи Сыса «Три фотографии из Вьетнама», где с проникновенной человечностью рассказывается о вьетнамском мальчишке, который не может избавиться от чувства страха, где воспевается счастье неразрушенного дома. Выразительные стихи о Вьетнаме есть и у Петерки. Для мировосприятия поэтов, о которых идет речь, характерно — и это первостепенно важно — уважение к «трудовым корням» своего рода, семьи, вообще глубокое уважение к человеку труда («Навстречу судьбе» Сыса — об утреннем рабочем поезде), вера в труд, помогающий преодолеть сомнения, излечивающий боль.

Особо следует подчеркнуть их преданность традициям чешской поэзии, которая настойчиво утверждается во многих произведениях,— к примеру, немало недавних стихов Петерки непосредственно посвящены чешским поэтам, предшественникам нынешнего поколения.

И все-таки это не значит, что опасность субъективизма уже полностью преодолена и новое открытие современности состоялось. Напряженный поиск продолжается — об этом свидетельствуют такие книги, как «Американский счет» Сыса (1980), «Автобиография волка» (1980) Петерки, «Гильотина» (1979) Пельца, «Птица-пустынник» (1981) Шимона.

Заглавие для своей книги Сыс взял из бухгалтерского обихода: речь идет о способе записывать на одном листе доходы и расходы. «Это похоже на поэзию»,— поясняет автор. В «стихах семейных и других», составивших сборник, Сыс стремится с предельной искренностью «записать» нравственные, эмоциональные «доходы и расходы» повседневной жизни. Он пишет о своей матери и бабушке, о жене и детях, называет точно время и место действия, настойчиво подчеркивая:

У меня нет причин
прятать карты своих привязанностей
под стол притворства

(«Кое-что о себе»)

Поэт хочет показать обычного человека в обычной жизни, ничего не приукрашивая, не «поэтизируя», ибо убежден, что правда в приукрашивании не нуждается:

Зерно — личинка хлеба
а правда — личинка поэзии
Хороший стих вечен
повторится опять и опять

(«Шесть человек в квартире»)

И в ряде стихотворений ему действительно удается без всяких «поэтических украшений» передать поэтичность обычного, например, любовь к жене, матери своих детей:

Мы ехали на автобусе из Кобылис
в город
У тебя на коленях сидели дети
твои две пиявки
На каждой остановке входили
красавицы
Еще и на Флóренце ты была всех
красивей

(«В итоге»)

Или в стихотворении «Я жду Прагу»:

У меня было на это двенадцать лет
я их истратил зря
а теперь хочу всего за три минуты
сказать тебе как я тебя люблю

Но подчас отказ от поэтизации, стремление к откровенности любой ценой выливается в натуралистичность описаний, деталей, образов. В поэзии, должно быть, и можно говорить обо всем, но ведь вопрос в том — как.

Если Сыс стремится сделать свою поэтическую речь близкой к обыденной («личинка поэзии — правда»), то Шимон в «Птице-пустыннике» (его символ поэзии) оперирует сложными многоступенчатыми метафорами. Поэзию он называет «отчаянной одержимостью из слов складывать реальность» («Что ни слово, то птица-пустынник»), а в другом стихотворении («Двадцатилетним ангелам . безнадежности») — «сексуальностью души» и ставит ее превыше всего:

я объявляю вам тотальную поэзию
до последнего остатка здравого смысла
на этой планете
который нас толкает на безрассудства
ибо нет поэзии
кроме поэзии которая во всем

(«Буйный букет Поэзия»)

В «Птице-пустыннике», как и в прежних книгах Шимона, звучат гуманистические ноты. Немало говорит об авторе такое, например, замечание о современных мещанках: «Свою работу они делают с отвращением» («Что ни слово, то птица-пустынник»). Отношение к труду, естественно, воспринимается здесь как мерило личности. Поэт осознает себя звеном в историческом движении к лучшему: он продолжает путь отцов, прокладывая дорогу молодым, которые порой этого не ценят («Двадцатилетним ангелам безнадежности»). С нежностью пишет Шимон о детях.

Вместе с тем, как нам кажется, в стихах сборника ощущается некая поза. Слов нет, критика мещан — святое дело, но подчас они, как и «карьерные поэты», словно бы даже нужны лирическому герою, чтобы оттенить его незаурядность, его возводимое почти что в героизм бескорыстное служение Поэзии.

Петерка в «Автобиографии волка» размышляет о человеке и природе, о соотношении в человеке естественного и наносного, искусственного, по-своему продолжая философскую линию в поэзии. Поэма строится как музыкальное произведение. Она состоит из прелюдии («Поэт»), трех песен, разделенных интермеццо («Дитя» и «Бедржиху Сметане»), и «Заключительной песни» («Плотина»). Реальный план (новые пражские микрорайоны, зоопарк, рабочий день героя и его вечерний разговор с женой) сплавлен с планом фантастическим — судом над волком, который провинился тем, что завыл при виде Красной Шапочки. Волк как бы олицетворяет здесь природное естество человека — оно сродни поэзии, тянется к другим людям, способно на самоотверженное чувство, но задавлено суетой большого города. Свидетель, выступавший на суде против волка и решительно его осуждавший, ночью приходит к мысли:

возможно, это был
я сам, та часть моей натуры,
которую я прячу глубоко...

Поэт полагает, что современному человеку необходимо воссоединение с природным началом —

возврат в субтропики
природы, она — начало сказок и
романов,
мать атомов и благородных душ...

В поэме Петерки много литературных реминисценций. Ее автора, пожалуй, можно упрекнуть в «книжности» и в переусложненности конструкции поэмы. Но «Автобиография волка» интересна как попытка осмыслить в поэтической форме собственное место в мире, задуматься над тем, что надо сделать, чтобы с чистым сердцем сказать людям: «Доброе утро!»

Центральная тема «Гильотины» Пельца — смертельная угроза атомной войны, нависшая над миром. Его цикл построен на столкновении мирной бытовой картинки (молодой человек ужинает в саду) и зловещего дыхания империалистического мира, которым повеяло от телевизионных новостей. Для Пельца, как и для других поэтов, дети — своего рода священные существа, о них — первая и последняя его мысль в раздумьях о войне, мире и о счастье. И обращение поэта к «моему мальчику», которому «достаточно часа, чтобы забыть о разбитом колене», оттеняет мысль о великой ответственности за сохранение мира, лежащей на взрослых.

Чешская поэзия наших дней имеет своих читателей и почитателей. Постоянно выходят новые книги поэтов и книги о поэтах. На страницах периодической печати все больше появляется хорошей поэзии и статей о поэзии, развертываются творческие дискуссии. В выступлении на III съезде чешских писателей Яромир Пельц высказал предположение, что «восьмидесятые годы будут в поэзии эпохой кристаллизации диалектически разных поэтик и авторских концепций на основе социалистического реализма, эпохой плодотворного творческого соперничества между этими концепциями и поэтиками».

Споры в поэзии, споры о поэзии неотделимы от споров о смысле жизни. И если такие споры ведутся — это показатель растущей силы поэзии. Она вновь подтверждает свою необходимость, свою незаменимость в нашей жизни.

◆

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ

ШПИОНОМАНИЯ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ

Что нам за дело до душ и тел...

Р. Киплинг. «Марш шпионов»

Дарвин Фолл приезжает в Самарканд. Приезжает в научную командировку, а вовсе не для того, чтобы любоваться прекрасными мечетями. Его, авторитетного, несмотря на молодость, ученого, пригласили для консультаций в «советский парапсихологический центр», расположенный в глубоком подземелье, как раз под одной из тех мечетей, на которые Фолл — ноль внимания. Руководители центра обратились к нему за помощью: они не могут понять, почему последние полеты в космос сопровождаются неудачами, и предполагают существование мощного биополя, создаваемого сверхъестественной волей какого-то злобного субъекта. На самом же деле русским нужен сам Фолл, его знания и талант. Космические катастрофы — предлог. Однако ученый, как оказалось, сам отряжен своим разведывательным центром, чтобы выяснить возможности потенциального противника в области телекинеза и телепатии...

Так начинается роман американского беллетриста Майкла Мэрфи, вышедший в начале 1982 года. Название его на первый взгляд никак не вяжется с содержанием — «Конец обычной истории». И все же это действительно обычная история, похожая на десятки и даже сотни других таких же клеветнических и злобных по отношению к нашей стране историй, относящихся к жанру «шпионского» романа. Надо ли говорить о том, что приключенческая литература разных стран, книги о разведчиках в частности, всегда и всюду пользовалась широкой популярностью и подчас представляла весьма достойные в художественном плане образцы, имевшие к тому же и воспитательное значение: главными действующими лицами лучших приключенческих книг были люди бесстрашные и мужественные, ловкие и сообразительные, благородные, преданные идее и верные товарищам,— словом, такие, каким хотелось бы подражать читателю.

В то же время, как правильно отметил известный болгарский писатель Богомил Райнов, «художественная литература, посвященная разведке, всегда в своей основе является политической литературой, а концепции автора — всегда политические концепции, независимо от того, выражаются ли они непосредственно или завуалированы какой-нибудь этической или психологической проблематикой»[1].

На пересечении этих двух исконных свойств жанра и возникло явление, представляющее частный случай, о котором пойдет речь в этой статье: западный «шпионский» роман, безоговорочно служащий идеям антикоммунизма и антисоветизма. Он, разумеется, не исчерпывает всего содержания издающейся сегодня на Западе приключенческой литературы, однако удельный вес его в общей массе такой литературы в последнее время возрос, несмотря на то что по художественным достоинствам такого рода романы явно не поднимаются над уровнем бульварной книжной продукции. В США, например, каждую неделю выходит в среднем по два романа о подвигах отечественных секретных агентов или похождениях русских шпионов. Это обстоятельство заинтересовало западных литературных критиков, обычно относящихся к подобного рода книгам с джентльменским презрением. В одном из недавних номеров еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» были напечатаны два обзора американской и английской «шпионской» беллетристики начала восьмидесятых годов. В обоих отмечена «повышенная активность жанра». Ивэн Хантер: «Временами кажется, будто в мире больше шпионов, чем обыкновенных людей». Губерт Зааль: «Британские писатели видят русских шпионов всюду, где только можно, и, кажется, одержимы страхом проникновения предателей на высокие посты»[2].

[1] Б. Райнов. Черный роман. М., 1975, с. 186.

[2] "The New York Times Book Review", 24 Jan., 1982, p.12.

Чем же вызван нынешний пароксизм шпиономании в умах обывателей на Западе и в бульварной литературе? Вопрос не такой уж простой, требующий учета разных факторов: внешних — политической обстановки в мире, остроты психологических атак, предпринимаемых западными пропагандистскими службами; и внутренних — специфики «шпионского» романа, сложившейся хотя и за сравнительно короткую, но все же насыщенную событиями историю этой разновидности популярного жанра, а также его коммерческого успеха. И еще надо учитывать, что внутренние факторы находятся в прямой зависимости от внешних: когда империалистические круги выводят гонку вооружений на новый виток, соответствующим образом обрабатывается и сознание обывателя: нагнетается страх перед якобы угрожающим Западу Советским Союзом. Так было в пятидесятые годы — в период «холодной войны». Так происходит и сегодня, когда расходы на военные приготовления в США и странах НАТО достигли сумм небывалых, что, разумеется, не вызывает симпатий у большинства граждан и чревато открытым недовольством. Поэтому правящие круги западных государств и заботятся о том, чтобы повлиять на общественное мнение в нужном им направлении. При этом в их распоряжении все пропагандистские службы с достаточным набором изощренных приемов и средств. В число их входит и та разновидность «шпионского» романа, которую мы выделили. Политическая тенденциозность — главная отличительная черта этого беллетризованного пропагандистского средства. Вот уже едва ли не сто лет оно служит надежным разносчиком буржуазной идеологии.

В девятнадцатом веке даже бульварные сочинители — не говоря уже о настоящих писателях,— если и выводили шпионов в своих произведениях, то, как правило, личностями хитрыми и мерзкими. Само понятие «шпионаж» ассоциировалось с безнравственными поступками: предательством, вероломством, доносительством, поэтому в те времена секретные агенты в книгах были исключительно иностранцами.

В романах одного из родоначальников жанра, английского сочинителя Уильяма Ле Ке, шпионы обычно люди жестокие, не брезгующие никакими средствами.

Книжки Ле Ке примитивны и рассчитаны на невзыскательный вкус. Но они тем не менее представляют определенный интерес для исследователя буржуазной массовой культуры, так как в них заложены элементы, отличающие антисоветскую и антикоммунистическую разновидность современной западной «шпионской» беллетристики. Это прежде всего реакционная политическая направленность, крикливый лжепатриотизм, расовая нетерпимость. Враги «сделаны» в этих книгах по раз и навсегда заданному трафарету: злобные, коварные, стоящие на несколько порядков ниже благородных и мужественных англосаксонских контрразведчиков.

Но вот разразилась первая империалистическая война. В военной обстановке резко возросла стратегическая значимость разведки. Никогда прежде сотрудник ее не приносил столько пользы генеральному штабу каждой из воюющих сторон.

Английский офицер Лоуренс Аравийский, например, был не просто выдающимся разведчиком, но шпионом-полководцем. В знойной аравийской пустыне он собрал целую диверсионную армию из воинственных бедуинов. Дерзкие акции «верблюжьего корпуса» доставили немало хлопот немцам и их тогдашним союзникам — туркам. Француженка Марта Рише — кстати, одна из первых в мире женщин-летчиц, что немало способствовало ее популярности,— выкрала ценнейшие документы из сейфа германской контрразведки. В ловкости, мужестве и искусстве конспирации не уступала ей и немецкая танцовщица Мата Хари.

Подвиги этих и еще многих других героев-шпионов стали достоянием широчайшей гласности, и теперь секретный агент предстал перед публикой в ореоле восторженной таинственности и героизма. Книги о шпионах (теперь это уже не были, конечно, только иностранцы) стали необыкновенно популярны и многочисленны. Но наряду с честными мемуарами бывших разведчиков сразу же стали появляться и наспех скроенные поделки, выполнявшие вполне определенный пропагандистский заказ. Издатели охотно печатали и такие фальсифицированные «воспоминания», не заботясь об их достоверности. Для чего? Главное, чтобы публика раскупала.

Учитывая читательский спрос на книги о разведчиках, издатели стали подряжать литературных ремесленников, набивших руку на изготовлении «полицейских» романов. Пусть, дескать, профессионалы дадут волю самой головокружительной своей фантазии. Пусть покажут, на что способны. И эта «многочисленная, разношерстная и тем не менее хорошо организованная банда» [1] (так откровенно высказался о бульварных писаках еще знаменитый Сент-Бёв) показала. Кстати, теперь, сознательно или несознательно стремясь завоевать для подобной беллетристики «серьезный» авторитет, ввести ее в круг *литературы*, многие западные исследователи посвящают ей теоретические работы. И в частности, споря о природе жанра «шпионского» романа, утверждают, что он есть отпочкование от романа «полицейского».

Так, французские сочинители детективных сюжетов Пьер Буало и Тома Нарсежак, выступающие одновременно и в роли теоретиков жанра, утверждают, что единственное отличие «шпионской» беллетристики от «полицейской» связано с характером главного героя. Шпион, пишут они, «не принадлежит тому миру, что мы с вами, он принадлежит некоему засекреченному сообществу» [2]. Да, шпион иногда убивает, крадет, обманывает, но ставить его в один ряд с каким-нибудь Джеком-потрошителем нельзя. Потому что он — человек военный, выполняет приказ, и тем самым оправдывается даже жестокость. Во всем же остальном, утверждают Буало и Нарсежак, особых различий между этими разновидностя-

[1] Ш. Сент-Бёв. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970, с. 217.

[2] Boileau — Narcejak. Le roman policier. P., 1964, p. 196.

ми развлекательной литературы нет, границы между ними весьма условны.

Внешняя структура тех и других романов во многом действительно сходна: как и детектив, «шпионский» роман может быть «романом-загадкой», «романом-разоблачением», «романом-преследованием». Но не наша задача вдаваться в теорию жанра. Для наших рассуждений важно другое — то, что оба жанра могут служить и в случае, о котором идет речь, служат лишь формой, беллетризованной (порой увлекательно и изобретательно) оболочкой, внутри которой — сильнодействующее идеологическое снадобье.

То же можно сказать и о герое «шпионского» романа. Соотечественник Буало и Нарсежака филолог Даниэль Пажо убежден, например, в том, что не долг, звание или задание определяют характер героя-шпиона, а его романтичность. Об этом свидетельствуют, говорит он, одни и те же, повторяющиеся из романа в роман генетические признаки: бескорыстный авантюризм и рыцарское презрение к опасности. Да, это так. Но во имя чего побеждает опасности герой «шпионского» романа? Этот вопрос не менее важен.

Английский критик Джулиан Саймонс всю западную «шпионскую» беллетристику двадцатых—сороковых годов назвал «недвусмысленно националистической по тону и правой по политическим симпатиям»[1].

Точно так же можно охарактеризовать «антикоммунистическую ветвь» западной «шпионской» беллетристики периода «холодной войны» и нашего времени. И суть не столько в том, что ее «благородные» герои пользуются зачастую весьма сомнительными с точки зрения нравственности методами, а в том, какие «идеалы» они защищают. Побудительные причины тех, кто обслуживает НАТО, ЦРУ, «Интеллидженс сервис» и другие зловещие институты, деятельность которых направлена на разжигание войны, против интересов мира и социализма, высокоморальными не назовешь, а ведь именно они определяют место такого рода «шпионского» романа в системе агрессивной буржуазной идеологии и обусловливают его специфику.

«Шпионский» роман до известной степени верно отразил нравственный облик агента западной секретной службы. Уж как выставлял себя «неоромантиком» один из «классиков» французской «шпионской» беллетристики пятидесятых годов Жан Брюс, уж как выказывал себя учеником и последователем Дюма-отца — все напрасно. Герой многочисленных книжонок Брюса — виконт Юбер Бонисье де ля Бат. В этом образе можно без особого труда обнаружить кое-какие черточки, взятые напрокат от каждого из четырех знаменитых мушкетеров. Но помимо них Брюс не мог не наделить своего героя качествами, которые у романтических персонажей Дюма-отца начисто отсутствовали,— жестокостью и редкостным цинизмом. Ибо именно такими были главные характерные признаки «героев», державших невидимый фронт «холодной войны»: прообразов и Юбера Бонисье де ля Бата, и проспиртованного Лемми Коушена — «сквозного» персонажа романов Питера Чини, и Джерри Коттона — любимца Центрального разведывательного управления, и многих других.

Этот Джерри был главным действующим лицом «шпионского эпоса», состоящего из нескольких десятков серий, выпуск которых наладило в пятидесятые годы западногерманское издательство «Бастей». Приключения бесшабашного Джерри — плод коллективного творчества. Работала целая бригада анонимных соавторов. Среди скоростных писак были люди самых разных профессий: несколько газетных репортеров, университетский преподаватель, врач, судья, даже повар. Обязанности каждого строго разграничены — один пишет диалоги, другой завязывает интригу, третий живописует всевозможные членовредительства: простреленные головы, выдавливаемые глаза, вырезаемые из кожи спины ремни, четвертый — «специалист по Востоку» — изображает «кровожадных комиссаров» в боярских шапках с красным околышем. Словом, все были при деле.

Литературные родители бравого Джерри предпочитали оставаться в тени. Может быть, они все же стыдились низкопробных похождений своего отпрыска. Их чувства можно понять: разнузданной удалью и садизмом Джерри оставил далеко позади не то что лощеного де ля Бата, но и самого Джеймса Бонда, признанного фаворита беллетристической антисоветской «шпионианы» пятидесятых годов.

Создатель Бонда, небезызвестный Ян Флеминг[1], в отличие от членов комплексной бригады поденщиков при издательской фирме «Бастей», никогда своего героя не стыдился, о собственном творчестве был чрезвычайно высокого мнения («Я благодарен судьбе за мой неожиданный дар»[2]) и романы писал не только из-за страсти к гонорарам. Не в пример большинству своих коллег Флеминг никогда не знал бедности. Нет, не унизительная материальная нужда заставила его клеветать на нашу страну, а нечто более значительное — идеологические мотивы.

Литературную карьеру молодой Флеминг начал еще в довоенное время, когда работал корреспондентом влиятельной английской газеты в ненавистной ему большевистской Москве. Уже тогда его репортажи о жизни в СССР были пропитаны желчью и злорадством по поводу малейших неудач. Но ненависть требовала большего выхода. Она скапливалась в душе Флеминга и ждала своего часа. И час этот настал — «холодная война». Накопленный Флемингом багаж антикоммунизма нашел повышенный спрос.

Вот тогда-то и проявился во всей своей красе этот беллетрист, отдавший литературные способности в бессрочную аренду политической реакции. Определенные литера-

[1] Symons J. Bloody Murder. Harmondsworth, 1975, p.239.

[1] В № 4 за 1967 год «ИЛ» опубликовала статью В. Скороденко «Радужная отрава беллетристики (Шпионский роман Яна Флеминга)».

[2] Цит. по: Zeiger H. Jan Fleming: The Spy Who Came in with the Gold. N.Y., 1965, p.118.

турные способности у Флеминга действительно были. Его шпионские истории построены динамично. Читатель ловко и умело вовлекается в головокружительные перипетии. Однако дело не в талантах автора. Дело в том, что Флемингу удалось создать эффективную с точки зрения теории буржуазной пропаганды модель героя. Главный признак подобной эффективности — относительная долговременность модели.

Секрет изготовления Бонда, в общем, прост: Флеминг сложил его из двух половинок — «сверхчеловека» и обыкновенного человека. Удачливый сочинитель потратил, по его признанию, много труда, дабы придать своему персонажу естественность и одновременно романтичность. Всеми силами Флеминг убеждает читателя: Бонд — великолепная, редкостная мужская особь, но при этом он такой же обыкновенный парень, как мы с тобой; только он научился собирать в один железный кулак силу, ловкость, сметливость, волю, не рассуждать о правоте дела своей родной секретной службы и наносить по вражеским планам сокрушительный удар. Поэтому, когда Бонд работает, с ним лучше не связываться, в борьбе со всем, что «пахнет» коммунизмом, он любого супермена за пояс заткнет, ради выполнения задания родной матери не пожалеет. Зато вне службы это обаятельный, компанейский парень.

Не преувеличивая значения Флеминга, признаем, что рассчитал он верно: модель «Бонд» до сих пор не сходит с конвейера массовой культуры. И хотя прошло почти двадцать лет со дня смерти самого «конструктора», хотя созданы «модели» более изощренные и, следовательно, более опасные с точки зрения идеологических диверсий, Флеминг продолжает контролировать свое в высшей степени доходное предприятие. На суперобложках некоего английского беллетриста Джона Гарднера («Мандат возобновляется», 1981 и «По специальному заданию», 1982) внизу фамилия настоящего автора, вверху — фантасмагорического: Ян Флеминг. Пришлось поделиться славой. Права на Джеймса Бонда — именно этот персонаж позаимствовал Гарднер для своих повествований — неприкосновенны.

Сегодня, как видим, вновь на рынке массовой культуры бондовский бум: кроме упомянутых романов Гарднера-Флеминга, в начале восьмидесятых годов вышли два новых фильма о похождениях агента 007, множество переизданий самого Флеминга, а сколько телевизионных и радиопередач, видеокассет!..

Комплексный характер этого бума помогает в какой-то мере понять, чем вызвана новая волна повальной шпиономании на Западе: она сопровождает глобальную психологическую атаку на потребителя массовой культуры, умело управляемую пропагандистскими службами и предприимчивыми дельцами. Жанр «шпионского» романа тоже взят ими на вооружение.

Эплтон Портер, центральный персонаж романа «Шпион второпях», поставленного на американский книжный рынок Марком Ловеллом в 1982 году, поначалу мало походит на человека военного, а уж на Джеймса Бонда тем более — не та выправка, да и характер не тот. И вообще он — ученый, лингвист, в разведку попал, можно сказать, по чистой случайности. Эплтон — чрезвычайно церемонный и стеснительный малый. Он мгновенно краснеет, стоит ему услышать крепкое словцо, да еще от какой-нибудь разбитной девицы из тех, что были «раскрепощены» сексуальной революцией. Но, попав в условия шпионской службы, лингвист постепенно превращается в стоящего парня. Он вполне профессионально бьется с теми, кого его начальство именует «террористами», он становится хитрым, изворотливым стратегом, он без труда обольщает тех самых развязных девок, которых раньше так боялся, а главное, он полностью освоил арсенал антикоммунистических идей и представлений — то есть превратился в стопроцентного Джеймса Бонда. И дальше уже сюжет романа развивается по флеминговскому образцу.

«Шпионская» литература такого рода вообще удивительно шаблонна при всем кажущемся разнообразии ее сюжетов и образов. Сам Флеминг в определенной степени следовал ранее изготовленному клише в изображении главного героя: многие знатоки «шпионского» романа находят несомненное сходство между Бондом и Бульдогом Драммондом, центральным персонажем целой серии бульварных книжонок, написанных в двадцатые годы одним из родоначальников жанра, англичанином Германом Макнейлом, который деликатно прикрывался псевдонимом Сапёр.

Шаблонность «шпионских» историй, сотнями выходящих сейчас на Западе, лучше всего видна в пародиях. В 1981 году, например, вышел такой роман-пародия. Называется он коротко — «Шпионы». Автор его, Скотт Стаун, выказал себя человеком насмешливым и наблюдательным. Есть в его романе-пародии и разведывательная служба, и враг в образе женщины, что весьма характерно, и господин, которого уважительно именуют «доктор Джеймс Бонд», есть там и извечные шпионские принадлежности: портфель-дипломат, который можно мгновенно переоборудовать в снайперскую винтовку, ручка-пульверизатор, разбрызгивающая на сто метров смертоносное ОВ, лазер в виде электробритвы и многое другое. Но самое показательное то, что пародируется и главный шаблон «шпионского» романа — оголтелый антикоммунизм и неразборчивость в средствах борьбы со всеми, кто не приемлет ортодоксии так называемого «свободного мира», звериная ненависть к ним. Именно такого рода ненавистью, ненавистью, доведенной до абсурда, пропитано большинство «шпионских» романов, изготовленных идейными наследниками Флеминга.

Вот один из них — американский сочинитель Альфред Коппел. Про него говорят, что он «терпеть не может никакой политической позиции левее позиции Барри Голдуотера» [1]. Выпускающий примерно по одной книжке в год, Коппел специализируется на теме «русская опасность». Время действия в его романах чаще всего — не особенно

[1] "The New York Times Book Review", 16 Nov., 1980, p.32.

далекое будущее. В «Гастингском заговоре» (1980) это девяностые годы. Именно тогда автор предрекает приход к власти в Великобритании «марксистского премьер-министра». Событие это приводит к столкновению между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которого Коппел, очевидно, ждет не дождется.

Футурологическая маскировочная сетка нисколько не скрывает главного пропагандистского замысла Коппела и ему подобных — запугать обывателя военной угрозой, якобы исходящей от Советского Союза, создать у него представление о советских людях, как о злобных демонах, открыто и злорадно готовящих «судный день».

В последние два-три года такой «шпионский» роман вместе со многими средствами массовой информации участвует в пропагандистской кампании, подрывающей идею сотрудничества между странами с различным общественным устройством, пытается очернить тех трезвых политиков и деловых людей, которые выступают за более тесные контакты с нашей страной. Не случайно в романе известного в США литературного поденщика Мартина Круза Смита «Парк Горького» (1981) бизнесмен Джон Осборн, энергичный сторонник разрядки и контактов, «на деле» оказывается убийцей-маньяком и матерым шпионом, работающим, конечно же, на Россию.

Что ж, «шпионский» роман еще с двадцатых годов отводил немало страниц теме «русской опасности». Отводит и сегодня в соответствии с одним из самых распространенных законов буржуазной пропаганды — законом «искажения и преувеличения» [1]. Уже само это название, придуманное французским политологом Жаном Доменаком, достаточно красноречиво и в дополнительной расшифровке не нуждается.

В одном из романов Сапёра, изданных в двадцатые годы, Бульдог Драммонд «открывает» заговор русских, направленный на подрыв могущества британской короны с помощью хитроумно организуемых (из Москвы!) забастовок. А спустя полвека соотечественник Бульдога, изысканный, чем-то напоминающий Шерлока Холмса, Джим Дональдсон разоблачает на страницах нового «шпионского» романа некоего советского резидента Кена Норриса, якобы занимавшего кресло директора крупной авиационной компании. На заводах этой самой компании готовится к выпуску опытная модель сверхзвукового пассажирского самолета «207». По замыслу автора книги англичанина Ричарда Кокса, коварные русские запланировали с помощью Норриса сорвать испытания «207-го», чтобы, во-первых, нанести тем самым удар по своему конкуренту — британской промышленности, а во-вторых, организовать массовую стачку недовольных рабочих, выброшенных на улицу в результате свертывания производства.

В какие только места не посылает «русских резидентов» творческая фантазия, а вернее сказать, пропагандистское рвение писателей-«шпионистов»: в штаб НАТО, профсоюзную организацию, на космический корабль, теннисный корт... Самые разные люди, на первый взгляд абсолютно не соответствующие представлению о шпионе, оказываются «красными агентами». Среди них можно встретить миллионера, священника, наркомана, артистку, исполняющую танец живота на экзотическом восточном базаре... И это не только развлекательный прием. Русские вездесущи, они воистину опасны, хотят убедить читателя авторы подобных историй. Убеждается в этом и очаровательная Сьюзен Торнтон, героиня романа Ли Николса «Дом грома» (1982).

Она приходит в себя в больничной палате и с изумлением узнает — какой провал в памяти! — что угодила в автомобильную катастрофу и несколько дней была в забытьи. Но теперь все страшное позади, вокруг заботливый медицинский персонал, постоянно дежурит у постели Сьюзен ее лечащий врач — обаятельный мистер Макги. Он часами беседует с ней на самые разнообразные темы. И мисс Торнтон доверчиво тянется к нему, пока случайно не приходит к жуткому открытию: Макги — никакой не доктор, а... советский следователь, у которого задание — во что бы то ни стало разговорить ее, крупного ученого, работающего над сверхсекретным оружием. Но самое главное и самое страшное — находится она не дома, в Штатах, а в России.

Как и парапсихолога Фолла, красавицу ученую заманили в ловушку. Никто не застрахован от такого, внушают читателю Майкл Мэрфи, Ли Николс и иже с ними.

Вот так и бомбардируют западную публику мифами о «советской угрозе». Бомбардируют шестьдесят с лишним лет. Правда, с различной интенсивностью. Сегодня пропагандистский обстрел явно усилился. Это связано с попытками буржуазных политиков подстегнуть гонку вооружений, уничтожить те положительные результаты, которые успела принести разрядка. Надо обработать общественное мнение в соответствующем духе — духе «холодной войны», надо воспитать у людей стойкую неприязнь ко всему, что связано с социалистическим преобразованием мира. Вот почему в срочном порядке вербуется и призывается к большей активности опытный идеологический персонал, на вооружении которого разнообразные пропагандистские препараты. «Шпионский» роман — из наиболее сильнодействующих. Недооценивать его нельзя. Он эффективно опустошает и затем хладнокровно убивает душу. Миллионы душ.

[1] Domenack J. La propagande politique. P., 1959, p. 51.

◆

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ХОЖДЕНИЯ В СТРАНЫ И ВЕКА

Обсуждаем проблемы издания «Литературных памятников»

Начатую в нашей стране в послевоенные годы публикацию «Литературных памятников» по общественно-культурному значению, научному уровню, наконец, географическому и историческому размаху можно сравнить разве что с горьковской «Всемирной литературой». Тридцать веков человеческой культуры, все континенты и страны, поистине живое воплощение мирового литературного процесса...

Утверждая благородную идею единства культурного развития человечества, уважения к духовным ценностям всех народов, серия «Литературные памятники» выполняет высокую интернационалистскую миссию — способствует мирному общению и взаимному обогащению литератур нашей планеты, противостоит идее национальной исключительности в любой ее форме.

Понятие «литературный памятник» в нашем сознании, как правило, ассоциируется с прошлым. Вместе с тем это не музейная ценность, а нечто, так или иначе обращенное к современности, находящее в ней отклик. Отсюда задача, которую поставила перед собой редакционная коллегия серии,— осветить каждый публикуемый литературный памятник с современной точки зрения, представить его так, чтобы он стал для нынешнего читателя подлинным открытием. Иными словами — помочь нам обогатить «свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»...

Первым среди «Литературных памятников» вышло в свет «Хожение за три моря Афанасия Никитина». Многие выпуски серии (а общее их число сегодня достигает 280, причем 194 — издания зарубежных памятников) стали событиями в научной и культурной жизни нашей страны. И все они (воспользуемся здесь словами академика Д. С. Лихачева) явились «своего рода «хождениями» в новые и новые страны, в новые и новые области литературы, национальных ценностей».

В последние годы редакционная коллегия серии провела несколько расширенных заседаний, посвященных проблемам отбора, перевода, комментирования литературных памятников. Выступления тех участников заседаний, которые касались вопросов издания зарубежных памятников, легли в основу материала, предлагаемого вниманию читателей.

Д. ЛИХАЧЕВ

О ХАРАКТЕРЕ И ЗАДАЧАХ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Вступительное слово

Серия «Литературные памятники» — единственная в своем роде.

Если обычно серии предназначены для определенного круга читателей, ставят себе популяризаторские цели, то «Литературные памятники» адресованы одновременно и исследователям, и широкому читателю, которого мы стремимся ввести в сферу научных вопросов, возникающих в связи с тем или иным произведением.

Если обычно серии ограничены строгим планом, то в серии «Литературные памятники» план изменяется в зависимости от задач времени и наличия специалистов, которые могли бы выполнить то или иное издание.

Если обычно серии издают только первоклассные произведения, то «Литературные памятники» включают и наиболее характерные, необходимые для понимания историко-литературного процесса.

Редакционная коллегия стремится исторически подходить к понятию «литературный памятник», учитывая изменяющиеся по векам и странам представления о том, что такое художественная литература.

Меняется от памятника к памятнику и самый тип издания — характер сопровождающих статей, комментариев, указателей. Мы исходим из потребностей понимания памятника, а они могут быть различными.

Так же точно различны в переводных памятниках и переводческие установки. Каждый памятник требует отдельного решения вопроса о том, какой тип перевода избрать. В некоторых случаях (особенно при издании поэтических произведений) мы считаем целесообразной публикацию нескольких разных переводов (если, например, они принадлежат известным поэтам). Бывают случаи, когда произведение издается и на языке подлинника (древнерусском, польском, болгарском), и в переводе.

Все эти внешние «непоследовательности» обусловлены постепенно сформировавшимися задачами, которые ставят перед собой те, кто готовит издание «Литературных памятников», а задачи эти в основном следующие:

1) приобщить широкого читателя ко всем «тайнам» и особенностям научного понимания памятника; отнестись к широкому читателю с полным уважением;

2) дать читателю весь материал, нужный для углубленного исторического и литературного понимания памятника, прибегая для этого не только к подробному комментированию, но и к изданию черновиков, отдельных редакций, сопровождая памятник всеми необходимыми исследованиями;

3) воспитать в читателе уважение к культурам других народов и других эпох, помочь ему понять многообразие и ценность человеческой культуры земного шара, воспитать чувство интернациональной солидарности человеческих культур, интернационализм;

4) ввести всю мировую литературную культуру в сферу современной культуры, сделать мировую литературу действенным орудием писателей, историков культуры, широкого читателя.

И хотя за 35 лет существования серии в ней вышло множество памятников, предстоит сделать еще больше. Процесс открытия новых памятников — постоянный, он не может быть остановлен: ценности человечества бесконечны, нужны всем и особенно тем, кто признает себя интернационалистом и является им.

Декларированные редколлегией задачи «Литературных памятников» не означают «всеядности»: напротив, выбор в наших изданиях занимает самое важное место. Мы издаем по преимуществу те памятники, которые прогрессивны по своему существу и проникнуты духом гуманизма. У великой русской культуры есть важная особенность — она всечеловечна и никогда не была замкнутой, саморазвивающейся, националистической. Пример тому — Пушкин.

Характер и задачи серии «Литературные памятники» определились далеко не сразу.

Наша работа началась в 1948 году по случайному, казалось бы, поводу. В Советский Союз должен был приехать Джавахарлал Неру. Он был поклонником «Хожения за три моря» русского купца Афанасия Никитина и пожелал иметь последнее издание этого произведения. Тогдашний президент Академии наук СССР академик Сергей Иванович Вавилов решил издать «Хожение» не в виде «роскошного» тома со многими иллюстрациями, а строго научно, по всем правилам текстологии, в сопровождении комментариев историков, востоковедов и литературоведов. «Хожение за три моря» было решено включить в состав новой серии. Как нельзя лучше оно соответствовало интернационалистским ее задачам: Афанасий Никитин являл собой редкий пример уважения к чужой стране и ее обычаям.

Постепенно характер серии стал определяться яснее. Можно смело сказать, что серии, подобной «Литературным памятникам», нет во всем мире. Это отмечалось в иностранных рецензиях на наши издания и в обзорах, помещенных в советской печати. Серия внесла большой научный вклад в изучение всемирной литературы, в исследование отдельных памятников, в культурную жизнь нашей страны. С другой стороны, можно утверждать, что она сама есть порождение советской культуры. Опыт серии достоин изучения и, хочется верить, найдет свое место в будущей истории советской культуры.

ЛИХАЧЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1906 г.)

Академик, лауреат двух Государственных премий СССР, двух международных. С 1938 г. ведет научную работу в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Автор многих трудов по истории русской культуры, начиная с древнейших времен. Член Болгарской, Австрийской, Сербской, Венгерской, Британской Академий наук, почетный доктор Оксфордского, Эдинбургского, Чикагского, Бордоского, Горуньского университетов. Председатель редакционной коллегии серии «Литературные памятники».

М. ГАСПАРОВ. Произведения античной литературы занимают почетное место в «Литературных памятниках». Античники гордятся тем, что второй книгой «Памятников» были «Записки» Юлия Цезаря. Курировали античный раздел серии такие известные ученые, как С. Утченко и Ф. Петровский, а участвовали в изданиях почти все наши лучшие филологи-классики. Опыт накоплен большой (как при удачах, так и при неудачах); некоторые проблемы, поставленные этим опытом, могут представлять интерес и не только для занимающихся античной литературой.

Первая проблема — что переводить? Здесь серия старалась решать сразу две несхожие задачи: «заполнять пробелы» и «издавать шедевры», сосредоточиться на тех памятниках, которых русский читатель вообще не имел, или на той великой классике, которую он знает, но без которой нельзя себе представить мировой литературы. Поначалу главное внимание уделялось первой задаче, теперь — второй: в планах серии и «Илиада» Гнедича, и Эсхил В. Иванова (до сих пор полностью не издававшийся), и Софокл Ф. Зелинского (заново отредактированный), все — с новым филологическим аппаратом, стоящим на уровне современной науки. Но дальше? Ведь образ античности у каждой эпохи русской культуры — свой. В русских переводах XVIII века царят Гораций и Анакреон, много места занимают Платон, Марк Аврелий, Авл Геллий и Аполлодор и начисто отсутствуют трагики и Аристофан. В пушкинское время в центре внимания оказываются Гомер и Плутарх; в начале нашего века — трагедия и комедия (а ораторы, например, как бы не существуют). А что для нас? Может быть, современному читателю ближе в античности философы и моралисты? А может быть, лирики самой древней и самой поздней эпохи? Мы не знаем; здесь нужно еще много раздумий и проб.

Вторая проблема — как переводить? Традиционный ответ: так, чтобы читатель воспринимал перевод, как современники воспринимали оригинал. Но античность — это эпоха протяжением в тысячу лет, и начало ее непохоже на середину и конец; а если в наших переводах и Гомер, и Эсхил, и Платон, и Вергилий будут ощущаться нами как наши современники, то ведь они будут казаться современниками и друг другу, а это сольет их в такой нивелированно-безликий образ «античности вообще», который заведомо не отвечает никакой реальности. Стало быть, перевод должен дать читателю стилистическую перспективу: одни памятники будут рисоваться в ней ближе, другие дальше, перекликаясь с такими-то и такими-то аналогами в русской литературе. Невозможно переводить просто «с языка на язык»: всякий перевод — это также и перевод «со стиля на стиль». Тридцать три года назад в «Памятниках» вышли «Письма Плиния Младшего», переведенные очень точно и очень бесстильно, то есть скудным стилем писем наших дней. Теперь они переизданы, и переводчики по собственной инициативе переработали свой текст, слегка стилизовав его под письма пушкинской эпохи, когда письмо у нас было живым литературным фактом. Это прекрасное начало; но как много еще остается впереди!

И третья проблема — как комментировать, как доносить перевод до понимания читателя? Сто лет назад издатель мог рассчитывать, что всю античную культуру в целом читатель себе приблизительно представляет по гимназии, и цель комментария — лишь напомнить ему отдельные имена и реалии, которые он мог забыть. Такой комментарий, естественно, получался дробный, построчный, от имени к имени. Теперь античность отодвинулась от нас, потеряла свое привилегированное место в европейском духовном мире, стала такой же экзотикой, как (не столь уж давно) арабская или китайская культура. Нынешний комментатор скорее может предполагать, что читатель случайно знает, что такое Геракл, Венера или Дельфы, но вряд ли умеет связать эти имена друг с другом или с любым иным античным именем — не умеет собрать из них систему античной культуры. Дать комментарий не к частностям, а к целому, представить памятник не очередной иллюстрацией к какому-то (будто бы) заранее известному образу античности, а первым вступлением к чему-то еще неизвестному, далекому и сложному, что называется античной культурой,— это требует совсем новых навыков от комментатора. Построчные примечания становятся второстепенными, общие преамбулы к ним — первостепенными, особое значение приобретает рубрикация, подробные оглавления и другие средства ориентировать читателя в тексте — иначе ода Пиндара или элегия Овидия рискует превратиться в праздно текущий поток слов. Этой новой технике мы тоже только начинаем учиться.

Вот три проблемы, с которыми, как мне кажется, сталкивается в наши дни издание не только античных, но и восточных, и европейских (а наверное, и русских) классических литературных памятников.

А. ГУРЕВИЧ. Самое название серии «Литературные памятники» не может не предполагать вопроса: что является литературным памятником, каковы критерии отбора текстов, заслуживающих быть изданными, и как именно должны быть они изданы? Я хотел бы остановиться только на одном аспекте этой проблемы.

Культурное творение проживает несколько и даже много жизней. Первой жизнью

ГАСПАРОВ МИХАИЛ ЛЕОНОВИЧ (род. в 1935 г.)

Доктор филологических наук. Занимается классической филологией (преимущественно античной и средневековой латинской поэзией), русским стиховедением (монография «Современный русский стих», 1974, и ряд статей). Переводил с греческого и латинского языков оды Пиндара, «Науку любви» Овидия, басни Эзопа, Федра и Бабрия, биографии Светония и Диогена Лаэртского, поэзию вагантов. Член редколлегии серии «Литературные памятники».

ГУРЕВИЧ АРОН ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1924 г.)

Доктор исторических наук, профессор. Автор ряда книг, в том числе «Категории средневековой культуры» (1972), «Эдда и сага» (1979), «Проблемы средневековой народной культуры» (1981) и многих статей.

оно живет в эпоху своего создания. Будучи порождено определенными потребностями своего времени, оно выражает идеи и представления не только автора, но и среды, к которой он принадлежал или к которой обращался. В индивидуальном культурном творении так или иначе воплощаются вкусы, устремления, надежды современников, ибо создавший его мастер пользовался художественным языком эпохи. Всякое значительное произведение культуры есть своего рода микрокосм, в котором выражается ее смысл, и потому в эпоху своего создания оно бесчисленными нитями связано с жизнью, участвует в реальном функционировании культуры, в которой возникло и которую обогащает, продолжая и изменяя ее.

Однако это лишь первая жизнь художественного творения. Если оно сохраняется для будущего и становится объектом эстетического восприятия в изменившейся или совершенно иной социальной и культурной среде, то смысл его неизбежно меняется. Даже если дошедший из другой эпохи текст остался в первозданной целостности, это уже иной текст, не тот, который воспринимали современники его создателя. Ведь он был изъят из первоначального культурного контекста, живые нити, связывавшие его с прочими компонентами культуры, оборваны, и это произведение оказывается теперь включенным в принципиально новую систему культуры. Оно может не восприниматься ею как нечто чуждое, может быть признано как «свое», но за это признание родства оно расплачивается утратою былых, первичных значений и насыщением его новым пониманием [1].

И так происходит всякий раз, когда культурное творение наследуется иной культурой. Переосмысляется не только отдельное произведение литературы или искусства,— переосмысляется вся культура прошлого. Ныне античность или средневековье — в нашем, современном понимании — далеко не те, как они сами осознавали себя или как они мыслились в XVIII или XIX веках и даже в первой половине нашего столетия.

Приступая к изданию памятника литературы прошлого, мы не можем не ставить перед собой цель восстановить его изначальный смысл. Возможно ли это? Возвратить живому творению культуры прошлого то значение, какое оно имело в эпоху его создания, в полноте и целостности, разумеется, невозможно — ходом истории оно превращено в «памятник», непосредственное его восприятие затруднено. И тем не менее попытка подобной реконструкции смысла неизбежна и необходима. Ибо творения далеких культур во многом уже непонятны для нас и нуждаются в расшифровке.

[1] В парадоксальной форме мысль о насыщении новым смыслом произведения старой литературы выражена Х. Л. Борхесом в рассказе «Пьер Менар, автор «Дон Кихота». Пьер Менар, писатель начала XX века, берется за написание «Дон Кихота». Текст глав романа, которые он написал, буквально, слово за словом, воспроизводит текст произведения Сервантеса, но, замечает Борхес, текст Менара «бесконечно богаче», ибо создан тремя столетиями позднее и несет в себе все накопленное мыслью за это время. *(Прим. Гуревича.)*

Отсюда — совершенно обязательная задача комментирования, научного разъяснения текста, его особенностей, как стилистических, так и смысловых, раскрытия тех реалий, которые, возможно, кроются за словами и выражениями, кажущимися на первый взгляд несущественными или тривиальными. Комментатор не может не выступать тут в роли культуролога, который стремится восстановить смысл данного произведения, вскрывает внутренне присущую ему логику — логику породившей его культуры. Задача нелегкая, но благодарная, ибо при таком комментировании только и может быть, хотя бы отчасти, воссоздан тот культурный универсум, представителем коего это произведение служит и в котором оно обретает свой изначальный смысл.

Как историк западноевропейской средневековой культуры я вынужден отметить, что, к сожалению, не все издания серии «Литературные памятники» отвечают требованиям, которые желательно было бы к ним предъявить. Вот пример. Интереснейшие средневековые новеллы на латинском языке «Римские деяния» («Gesta Romanorum») переведены в урезанном виде: дан занимательный рассказ, но странным образом опущена «морализация», символическое и дидактическое толкование анекдота. Между тем лишь вместе, в сочетании и противоречии повествования, заимствованного у древних или из фольклора, с нравоучительным его разъяснением, придающим рассказу иной, более глубокий смысл, и могут быть поняты «Римские деяния» как памятник средневековой мысли. Ведь они возникли «на стыке» народной (фольклорной) культуры и культуры ученой (церковной). Литература данной эпохи знает массу подобных «пограничных» жанров, и, может быть, нигде, как именно в такого рода произведениях, которые относятся не к великим шедеврам средневековой словесности, а скорее ко «второму эшелону» ее, к сочинениям, адресованным самой широкой аудитории, в том числе и неграмотным «простецам», составлявшим основную массу населения, мы имеем возможность познакомиться со спецификой сознания человека той эпохи — в этом огромная их познавательная ценность! Специфика сознания людей средневековья заключалась, разумеется, вовсе не в «лености мысли» и «отсутствии логики», о которых пишет автор комментария к этому памятнику, забывая и о логике схоластов, и о стройных и строго логических «суммах» и энциклопедиях средних веков [1]. Средневековая культура во многом парадоксальна, но природу этой парадоксальности нужно осторожно и вдумчиво раскрывать. Знакомясь с культурой, которая кажется нам чуждой, странной, мы лучше осознаем и свою собственную культуру, и ее место в ряду мировых культур. Не в этом ли, в частности, состоит благородная функция, выполняемая изданиями серии «Литературные памятники»?

[1] Средневековые латинские новеллы XIII века. Ленинград. «Наука», 1980, с. 356.

А. МИХАЙЛОВ. Я вполне согласен с Ароном Яковлевичем: издание памятников средневековой словесности, в том числе и в нашей серии, ставит перед переводчиком и комментатором достаточно сложные задачи. Но они не столь неодолимы, как это, пожалуй, кажется Арону Яковлевичу. Дело в том, что средневековая культура вряд ли так уж чужда нам и странна. В ней немало и вполне понятного, и даже близкого нашему современнику. Вектор культурного развития направлен от этой «срединной» эпохи не назад и не куда-то в сторону, а все-таки к нам. И разве идеи личной доблести, служения не только даме-возлюбленной, но вообще благородному, правому делу или, скажем, увлекательная фантастика — это собственность одного средневековья?

Мне кажется, нужно различать универсальное и конвенциональное, отраженное в средневековых литературных памятниках. В основном лишь второе, то есть неизбежно условный «язык» культуры, бесспорно требует пояснений, так как может быть нам непонятен. Что касается так называемых «реалий», ушедших в прошлое, то их, ей-богу, вряд ли больше в средние века, чем в XVIII столетии. Этим, думается, и определяются методы комментирования средневековых текстов в наших изданиях. Поясню это на примере из опыта самого Арона Яковлевича. В «Примечаниях» к «Песни о Нибелунгах» (не в серии «Литературные памятники») он так комментирует строфу 1058: «Поминальная трапеза была обязательным обрядом». Мне такой комментарий представляется недостаточным. Во-первых, напрашивается вопрос, была ли подобная трапеза обязательным обрядом в отличие от предшествующего или от последующего периода? Точнее: когда она стала обязательным обрядом? Как и почему возникла? И во-вторых, стоило бы рассказать, каковы были компоненты этого обряда. Вот тогда далекая от нас жизнь средневековья раскроется читателю более полно, станут понятнее ее условные, ритуализованные элементы.

Итак, переводу — путем комментирующего перекодирования — подлежит конвенциональный «язык» средневековой культуры. Но не только он. Ведь произведения литературы средних веков написаны на старом языке, который почти непонятен современным носителям соответствующих национальных языков. Вот почему уже давно начали переводить средневековые памятники на свои же, но только новые языки. Как же быть нам? Думаю, было бы ошибкой переводить западноевропейские памятники на язык древнерусской литературы, пусть даже позднего ее этапа, например, протопопа Аввакума или Симеона Полоцкого. Такой перевод выглядел бы пародией и на сам переводимый памятник, и на русский язык XVII столетия. Ведь переводимые произведения были вполне понятны средневековому человеку, не воспринимались им как архаичные. Это не значит, что мы должны переводить произведения средневековой литературы на какой-то абсолютно современный язык. Ощущение древности памятника следует сохранить. Достигаться это должно не только сохранением тех слов, которые стали терминами, обозначающими целый ряд явлений и понятий средневековой культуры, но и тактичным подбором лексики, чуть архаизированным синтаксисом, не противоречащим, однако, нормам современного русского языка. Но при этом переводчик должен продемонстрировать, что перед читателем — произведение больших художественных достоинств, каким оно было для своей эпохи. Особенно это относится к лирике, в области которой уже в средние века появляется понятие индивидуального авторского стиля.

Споры о методах перевода средневековой литературы возникают то и дело. И это закономерно: к литературе этой в последние годы заметно растет интерес. И оказывается, что у нас нет еще традиции перевода соответствующих памятников (какая в деле перевода памятников античных была заложена в пушкинскую и предпушкинскую эпоху опытами Жуковского, Батюшкова, Гнедича, самого Пушкина). Причина в том, что у нас долго существовал предвзятый подход к средним векам. Не говорилось открыто, но как бы подразумевалось, что это был какой-то неполноценный, ущербный период в истории европейской культуры. Правильной оценке средневековья мешало, в частности, наше увлечение Возрождением, увлечение оправданное и закономерное. Но Ренессанс заслонил от нас средние века. Мы словно глядели на них его глазами. Впрочем, некоторое исключение делалось для тех произведений средневековья, которые имели ярко выраженную народную основу. Но и они переводились редко. Достаточно сказать, что из памятников французского народно-героического эпоса (а их около ста) нашему читателю до самого последнего времени была доступна лишь «Песнь о Роланде».

Поэтому одной из задач серии «Литературные памятники» мне представляется широкое издание произведений средневековой литературы. Широкое — не просто по числу выпущенных книг. Мы не должны ограничиваться традиционным набором национальных литератур, а стараться его увеличивать. Так, пора возродить изучение (и издание) произведений средневековых ирландской и валлийской литератур, столь важных для общеевропейского культурного процесса эпохи. Полезно было бы также усилить занятия некоторыми «малыми» романскими литературами, например, провансальской или каталонской (впрочем, первая из них в средние века вряд ли была «малой»).

И при таком более широком знакомстве со средневековыми литературными памятниками культура этой эпохи раскроется не только более полно, но и как бы приблизит-

---

МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1929 г.)

Доктор филологических наук, автор книги «Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе» (1976) и многих статей по истории зарубежной литературы. В серии «Литературные памятники» издал произведения Бернарта де Вентадорна, Кретьена де Труа, Боккаччо, Мэлори, Гийерага, Мариво, Кребийона, а также сборник «Легенда о Тристане и Изольде». Член редколлегии серии «Литературные памятники».

ся к нам, перестанет казаться чуждой и странной и займет подобающее ей место в литературной истории человечества.

Н. БАЛАШОВ. Наши «Литературные памятники», как уже говорилось,— неординарное явление в мировой издательской практике: редколлегия серии стремится уделять равное внимание литературам всех народов (имеется в виду и широкий выбор произведений, и глубина разъяснения их специфики в национальной и всемирной культуре). Несмотря на то, что памятники печатаются в переводе, уровень их текстологической подготовки таков, что они успешно соперничают с лучшими изданиями на родине.

Приведу примеры подготовки издания книг французских поэтов. Немало пришлось поломать голову над тем, как печатать в «Памятниках» «Цветы Зла» Бодлера. Поэт умер больным, в нищете, не успев осуществить третье издание, хотя все те стихи, которыми он хотел дополнить свою главную книгу, были им написаны. Посмертное же, так называемое «третье» издание оказалось полным произвольных вставок, нарушивших стройный и строгий замысел — гордость Бодлера. И когда, через 50 лет после его кончины, прекратились, наконец, монопольные права дома Кальман-Леви на «Цветы Зла», издатели во Франции просто вернулись к достоверному прижизненному второму изданию. Но таким образом самые глубокие поздние стихотворения, а с ними мечты и надежды Бодлера оказались отброшенными в дополнения. Мы использовали опыт единственного французского издания, которое ставило своей целью воссоздать авторский замысел, довели эту работу до конца, и в результате советский читатель получил более точный, чем издающиеся во Франции, текст «Цветов Зла», тот текст, о котором мечтал умирающий поэт. Наш читатель, наслаждаясь художественной законченностью книги, может быть, и не обратит особого внимания на слова на титульном листе, полные смысла для составителей: «По авторскому проекту третьего издания»!

В случае с «Цветами Зла» возник и еще один трудный вопрос. Есть много выдающихся советских переводов Бодлера — В. Левика, М. Цветаевой, Бенедикта Лившица, А. Эфрон, но существует и дореволюционная традиция перевода «Цветов Зла», представленная Брюсовым, Вяч. Ивановым, Бальмонтом, Эллисом — поэтами, которые живо ощущали Бодлера как человека своей эпохи. В издании «Литературных памятников» присутствуют обе эти традиции, а порою переводы одного стихотворения дублированы.

Иногда «Литературные памятники» как бы возвращают стране забываемых ею поэтов. Забвение угрожало «Трофеям» Эредиа — книге образных и отточенных до совершенства сонетов, которые не были по достоинству оценены французскими современниками, уже привыкшими к свободной метафоричности авангардной поэзии. В России поэт имел удивительную судьбу — его совершенство пленило в 900-е годы В. Брюсова, С. Соловьева, М. Волошина, а в начале 20-х годов перевод всех девяноста восьми сонетов с необыкновенным подъемом был осуществлен в студии М. Лозинского. Эти точные и «крылатые» переводы впервые напечатаны в «Литературных памятниках». Когда же переводы Лозинского, Гумилева, М. Рыжкиной, Е. Малкиной, А. Оношкович-Яцыны, Р. Блох встречаются с переводами метров начала века или таких мастеров, как Олерон и Г. Шенгели, возникает неповторимый «взрывной» эффект. Будет день, когда во Франции задумаются, что за сила скрыта в таких сонетах Эредиа, как «Бегство кентавров», если стихотворение могло вызвать две совершенно различных, но одинаково поразительных интерпретации — Волошина и Гумилева.

Проблема русского восприятия иностранной поэзии, ее жизни в русских переводах — важный для «Литературных памятников» вопрос. В издание поэтических произведений Рембо в полном переводе, впервые осуществленном М. Кудиновым, наряду с его версией включены все исторически и художественно значимые предшествующие переводы, впервые раскрыт весь путь Рембо в русской поэзии; во вступительной статье внимание сосредоточено не на «разрыве», а на преемственных связях поэзии XIX и XX веков.

Живая связь народов и культурных эпох одинаково волнует и читателей, и издателей «Литературных памятников». Им понятен трепет Эредиа, кубинца, писавшего по-французски и дорожившего совокупностью культурных связей Средиземноморья. Замечательными словами напутствовал он паруса корабля, на котором некогда плыл в Грецию римский поэт:

> Я вверил полдуши охране хрупких крылий,
> Которыми средь волн, где спасся Арион,
> На родину богов уносится Вергилий.
>
> *(Перевод Р. Блох)*

С. ТУРАЕВ. Здесь было уже сказано об огромном общекультурном значении этого издания. Многие книги открывают для советского читателя и новые имена, и, можно сказать, новые пласты в литературном наследии прошлого. И все же об отборе имен и книг можно вести споры.

У меня создается впечатление, например, что немецкая литература все же недостаточно представлена в планах издания. Нет необходимости, конечно, просто переиздавать то, что есть в собраниях сочинений классиков, как это сделано с «Валленштей-

---

БАЛАШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1919 г.)

Доктор филологических наук, профессор. Автор книги «Испанская классическая драма» (1975), книг и статей по романским литературам эпохи Возрождения и XVII века, а также по семиотике и теории литературы. В серии «Литературные памятники» издал Бодлера, А. Бертрана, Вилье де Лиль-Адана, Эредиа, Рембо, Аполлинера, Сандрара, Элюара, а также Рильке. Член редколлегии серии «Литературные памятники».

ТУРАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1911 г.)

Доктор филологических наук. Автор книги «Гёте» (1957), «Г. Веерт и немецкая литература революции 1848 г.» (1963) и ряда работ, главным образом по проблемам Просвещения и романтизма.

ном» Шиллера. Но хорошо, что появился Виланд или «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» Гёте, до сих пор известные русскому читателю только в отрывках.

Хорошо, что издаются «Эликсиры сатаны» Э. Т. А. Гофмана, роман трагического звучания, важный для понимания не только творчества самого Гофмана, но и целой литературной эпохи европейского романтизма. Ждут своей очереди и некоторые другие книги немецких романтиков, например, роман Л. Тика «Странствования Франца Штернбальда». А знаменитая сказка Ламот-Фуке «Ундина» известна русскому читателю только в стихотворном переложении Жуковского (у Ламот-Фуке она — в прозе).

В ГДР уже многие годы переиздают произведения Адольфа Гласбреннера, смелого и остроумного сатирика «предмартовского» десятилетия (1840—1848), заново открытого в середине нашего века. А у нас он пока представлен всего двумя-тремя стихотворениями в хрестоматиях. Гослитиздат в свое время поостерегся иметь дело с незнакомым писателем. Но редакция «Литературных памятников» уже не раз «поднимала целину».

Большой интерес представляют издания, где наряду с основным текстом памятника публикуются вспомогательные материалы. Так, например, в ФРГ в издание «Войцека» Бюхнера были включены не только все варианты драмы, но и материалы судебного процесса, послужившего толчком для ее создания.

Серьезная тема для размышления — издание памятников XX века. Первая половина века — уже история, а не современность, возникла дистанция, необходимая для осмысления художественного наследия этой эпохи. Между тем складывается впечатление, что у редколлегии «Памятников» нет четкой программы: что издавать и чего не издавать? А ведь не секрет, что многие сложные явления — предмет постоянных споров, критических атак — русскому читателю неизвестны. Уже написано немало серьезных статей о Джойсе, но из «Улисса» опубликованы лишь отрывки (еще в 30-е годы), а это значит, что даже они давно стали библиографической редкостью! Русскому читателю знаком всего один роман Кафки. Больше других повезло французским поэтам (Аполлинеру, Сандрару, Элюару), но поэтический мир XX века необычайно богат — здесь еще предстоит поднимать, можно сказать, целые континенты и субконтиненты (в качестве примера можно привести поэзию Латинской Америки или Индии).

Стоит вспомнить и о литературной периодике XX века, журналах и альманахах — ведь некоторые имели программное значение. Из номеров многолетнего издания можно выбрать один, наиболее репрезентативный, будь это немецкий «Aktion», американский «New Masses», французский «Clarté» или советский «ЛЕФ». Я бы установил при этом строгую хронологическую границу, например, до окончания второй мировой войны.

Не надо избегать сложности (ее можно разъяснить), но следует отсеивать явления незначительные, периферийные (их включение в такую серию невозможно оправдать)...

В. АДМОНИ. Нельзя не сказать и о переводческой стороне издания серии. Думается, нет резкой границы в принципах перевода «Литературных памятников» и других переводных изданий. Особой теории перевода для серии создавать отнюдь не надо. Специфику его, пожалуй, можно сформулировать так: «Литературные памятники» стремятся прежде всего к максимальной полноте художественной интерпретации текста. Эта задача, как все мы знаем, при переводе исключительно трудна. Ведь так много линий, смысловых и структурных, образуют в своем взаимодействии партитуру художественного произведения, что невозможно в точности передать эту партитуру, это множество измерений средствами другого языка, притом передать именно в том соотношении, в котором эти измерения находились в оригинале.

Но я хотел бы напомнить здесь обмен репликами из трагедии Ибсена «Кесарь и Галилеянин». Юлиан говорит: «Как же я могу желать того, что невозможно?». Максим отвечает ему: «А разве стоит желать возможного?»

Так вот, переводчики, руководствуясь собственным художественным вкусом и учитывая, что мировая культура не может существовать без перевода, желают невозможного — создать перевод, максимально адекватный оригиналу. Конечно, идеальной интерпретации никто предложить не может. Но есть многие способы приближения к ней. И что чрезвычайно важно: разные переводы могут дополнять друг друга, как бы накладываться друг на друга.

Серия «Литературные памятники» была задумана весьма широко и по охвату эпох, и по охвату культурно-исторических ареалов. Ведению ее подлежит не только художественная литература в прямом смысле слова, но и многие иные виды литературного творчества. Естественно, что при такой широте замысла редакция широко наметила и типы переводов, используемые в серии. Я бы особенно подчеркнул мысль, прозвучавшую во вступительном слове академика Д. Лихачева: в ряде случаев полезно дать несколько переводов одного произведения. Именно наложение нескольких интерпретаций друг на друга позволяет часто по-настоящему увидеть всю многомерность оригинала. А новые переводы в серии полностью оправданны, даже необходимы, когда они открывают новый угол зрения на оригинал или дают его в его целостности. К тому же при новом переводе в аппарате книги можно дать примеры прежних интерпретаций. Такая практика, используемая в серии, вполне целесообразна.

АДМОНИ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (род в 1909 г.)
Доктор филологических наук, профессор, почетный доктор философии Упсальского университета, лауреат Большой золотой гётевской медали Института Гёте (Мюнхен). Основные литературоведческие работы: «Генрик Ибсен» (1956), «Томас Манн» (1960, совместно с Т. Сильман), «Поэтика и действительность. Из наблюдений над зарубежной литературой XX века» (1975); основные лингвистические работы: «Основы теории грамматики» (1964), («Der deutsche Sprachbau» (4-е изд., Мюнхен, 1982). Переводы из Г. Ибсена, Н. Грига, Л. Хольберга, К. Ф. Майера и других, преимущественно совместно с Т. Сильман.

Весь материал «Литературных памятников» можно разделить на два основных круга:

произведения того культурно-исторического ареала, с которым мы издавна связаны и языки которого, при всех различиях, семантически и структурно не так уж далеки от русского. Как правило, существует и давняя традиция перевода произведений с этих языков на русский;

произведения литератур несравненно более отдаленных культурно-исторических ареалов и эпох, причем языки этих литератур нередко чрезвычайно отличны от русского.

Мне кажется, что требования к переводу в этих двух случаях не совпадают.

Говоря о произведениях первого, ближнего круга, я бы не согласился с тем, что стихи можно переводить прозой, хотя за последние десятилетия на Западе эта тенденция явственно побеждает. Ресурсов русского языка вполне достаточно, чтобы не прибегать к переводам прозаическим, тем более что на помощь приходит возможность дать одно и то же стихотворение в нескольких переводах.

Что касается дальних ареалов, то для них, возможно, предпочтительнее передавать некоторые стихотворные структуры прозой. Но все же иногда находятся очень удачные решения передачи на русском языке совсем чуждых русскому стиху форм рифмовки и построения строки и строфы. Напомню хотя бы редиф, который так хорошо передается сейчас нашими переводчиками.

К структурной адекватности следует стремиться, на мой взгляд, и при передаче (в пределах произведений первого круга) тех стиховых форм оригинала, которые есть в русском языке, но несут в нем совсем другую функциональную нагрузку и разительно отличаются степенью охвата поэтического материала. Так, русский стих обладает аллитерацией, но существуют гигантские различия в реальном употреблении аллитерации в русском стихе, и, скажем, в стихе древнегерманском — в частности, в древнескандинавском. И тем не менее мне кажется очень ценным, что в изданиях серии возрастает тенденция к передаче древнескандинавской аллитерации аллитерацией русской. Перевод «Старшей Эдды» выполнен без аллитерации, а в недавно вышедшем сборнике «Поэзия скальдов» принцип аллитерации соблюдается. Обращение к фронтальной аллитерации осложнило, конечно, и лексический, и грамматический строй переводного стиха, но ведь языковой строй скальдической поэзии вообще очень усложнен.

А. ФЕДОРОВ. Понятие «литературный памятник» глубоко актуально. Еще несколько десятилетий назад ему иной раз придавался пренебрежительный оттенок: «Ах, это только памятники прошлого, это только музейная ценность»; ныне памятники, в том числе литературные, вызывают огромный интерес, работают на современность...

Переводы в серии «Литературные памятники» появляются разные, и их различия, разнохарактерность обусловливаются различиями самих оригиналов. Отсюда же и потребность в новых интерпретациях произведений, уже переводившихся. Так, недавно выпущен новый перевод поэмы Гейне «Атта Тролль». Начиная с середины XIX века ее переводили на русский множество раз. И перевод П. Карпа ценен тем, что в нем по-новому остро зазвучали бесчисленные у Гейне намеки на политические и литературные факты эпохи, тонко воссоздано поэтическое своеобразие речи — сплав иронии и романтической печали.

В огромном большинстве переводы, выпущенные в серии, могут быть признаны — и в самом лучшем смысле — переводами для широкого читателя. Это вовсе не означает, что они как-то нарочито «популяризуют» оригинал, упрощают его, облегчают — нет, они лишь делают его понятным, сближают нас с ним. Таковы, к примеру, стихотворные переводы Ю. Корнеева («Песнь о Нибелунгах»), О. Смирницкой («Младшая Эдда»), переводы ряда прозаических памятников скандинавского средневековья под редакцией и с участием М. Стеблин-Каменского (среди них — норвежские полулегендарные хроники — «Круг земной» Снорри Стурлусона), «Поэзия вагантов» в передаче М. Гаспарова. Их оригиналы — творения седой старины, чрезвычайно далекой от нас и требующей убедительного истолкования.

Доступности для читателя многих опубликованных серией переводов западноевропейской классики XVII — XIX веков не мешает и то, что в них соблюдается, а нередко и подчеркивается «дистанция времени», которая отделяет от нас данные произведения. Таковы работы Е. Гунста («История одной гречанки» Антуана Прево, «Совращенный поселянин» Ретифа де ла Бретона), А. Морозова («Симплициссимус» Гриммельсхаузена), А. Шадрина («Гептамерон» Маргариты Наваррской, «Мельмот скиталец» Метьюрина), А. Энгельке («Неволя и величие солдата» А. де Виньи) и ряд других. Возникающая в этих переводах историческая перспектива правдива по отношению к подлинникам, а средства языка, которыми она достигается, используются тактично. Уровень нынешнего читателя столь высок, что, скажем, отдельные старинные слова и обороты не оказываются для него непонятными, не отпугивают его; ведь он читает отечественных классиков, наслаждается ими. К тому же архаические ресурсы языка многофункциональны: они создают не только колорит старинности, но нередко выступают и носителями просторечия, и мощным средством контраста по отношению ко всему нейтральному, обычному.

Наряду с интерпретациями, адресованными широкой аудитории, закономерны и отдельные переводы специального назначения, рассчитанные на более узкий круг. К числу таких принадлежит перевод «Поэзии скальдов», интересно выполненный С. Петровым. Как уже отмечал Владимир Гри-

---

ФЕДОРОВ АНДРЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ (род. в 1906 г.)
Доктор филологических наук, профессор, переводчик. Автор книг: «О художественном переводе» (1941), «Введение в теорию перевода» (1953, 1958), «Лермонтов и литература его времени» (1967), «Основы общей теории перевода» (1968), «Очерки общей и сопоставительной стилистики» (1971), «А. Блок — драматург» (1980) и др.

горьевич, это отнюдь не легкое чтение, но работа мастерская. Переводчик пошел на очень большой риск, я бы даже сказал, что он показал пример «безумства храбрых», воссоздав пусть, может быть, не с арифметической точностью, но с огромной полнотой аллитерации подлинника и сложные переклички между звуками и корнями слов — сугубо формальная особенность, которой должно было отвечать искусство скальда. Перевод здесь дает представление о важной определяющей черте жанра.

Я бы горячо приветствовал предлагаемое академиком Лихачевым издание в «Литературных памятниках» «Пленницы» Пруста в переводе покойного А. Франковского, со статьей о переводческих принципах Франковского. Это бы означало, что в серии появятся не только памятники литературы в собственном смысле, но и памятники искусства перевода, переводы как литературные памятники.

Перевод «Пленницы», последняя работа Франковского, из которой он мне перед войной читал отрывки, действительно представляется мне литературным памятником. Счастье, что его машинопись чудом сохранилась в блокадном Ленинграде. Франковский был замечательный мастер перевода, а если его иной раз упрекали в тяжеловесности, трудности стиля, то упрек в такой же мере относится к авторам переведенных им оригиналов — будь то Пруст, или Стерн, или Филдинг,— чей стиль он передавал в его подлинности. Не стоит бояться трудностей, если они заложены в самом оригинале. К тому же издание «Пленницы» дало бы возможность сопоставить манеру Франковского с иной переводческой трактовкой Пруста в наши дни у Н. Любимова.

Вообще на лучшие переводы пора уже смотреть и как на памятники литературы. Когда в 60-х годах была переиздана «Божественная комедия» в переводе М. Лозинского, книга эта явилась литературным памятником вдвойне — и как поэма Данте, и как высокое достижение переводческого мастерства.

Немало есть у нас переводов, заслуживающих статуса литературного памятника. Скажем, «Назидательные новеллы» Сервантеса в переводе Б. Кржевского, пьесы испанских драматургов «Золотого века» и Шекспир в переводах М. Лозинского, «Дон Жуан» Байрона в переводе Т. Гнедич. Перечень можно было бы продолжить.

А. АНДРЕС. Хочу поделиться некоторыми соображениями о том, что такое адекватность в прозаическом переводе, ибо нет в этом вопросе полного единомыслия. Высказывалось, например, суждение, будто для «Литературных памятников» требуется особый тип перевода, в котором главное — это «смысловая точность», а во имя этой точности стоит даже идти на «художественные потери» и мириться со стилистически несовершенными, «сухими», «громоздкими» переводами. В самой постановке вопроса мне слышится отзвук довольно распространенного, к сожалению, представления о том, что есть-де перевод «точный» и есть перевод «художественный», то бишь неточный. С этим мне не раз приходилось сталкиваться.

Много лет назад попросили меня в редакции «Советский художник» помочь отредактировать перевод писем Матисса; перевод был сделан музейным работником, добросовестно, на уровне учебного перевода, и я просто постаралась придать ему разговорную интонацию (ведь письмо — это всегда прямая речь). И вот научный редактор книги, крупный ученый, был этим очень недоволен. «Это же вам не художественный перевод»,— с раздражением сказал он. Помню случай, когда в ленинградской секции переводчиков состоялся прямо-таки третейский суд по поводу перевода письма некоего англичанина, присутствовавшего при казни Пугачева. Перевод, выполненный для сборника Института истории, с большим тактом воспроизводивший стилевую фактуру подлинника, был по-настоящему адекватен оригиналу, но как долго пришлось нам убеждать научных редакторов сборника, что он во сто крат ближе к оригиналу, чем привычный безынтонационный грамотный подстрочник, которого они ожидали от переводчика...

Подобное противопоставление точности перевода его «художественности» — неважно, идет ли речь о документальной прозе или художественном произведении — в наши дни является попросту анахронизмом.

Простите мне сию немудреную шутку, но, право, мы давно перестали быть просто почтовыми лошадьми просвещения. За полтора столетия, прошедшие с того времени, как дана была нам эта и поныне справедливая и лестная пушкинская характеристика, русский перевод проделал огромный путь развития, накопил большой опыт, осмыслил себя теоретически и стал не только средством информации, но и искусством, которое в лучших своих образцах достигло достаточно высокого уровня.

Художественный перевод отнюдь не исключает смысловой точности. Напротив, он передает оригинал более объемно и достоверно, ибо перевод лишь в том случае будет ему адекватен, если, информируя читателя о том, что́ сказано, одновременно даст представление и о том, как это сказано, если переводчику удалось средствами русского языка создать у читателя иллюзию эстетической достоверности предлагаемого текста. В том, что такая задача нам уже по плечу, нетрудно убедиться на примере многих превосходных работ наших переводчиков, в том числе и опубликованных в «Литературных памятниках».

Одним из важнейших завоеваний современного переводческого искусства представляется мне обретенная им способность видеть и воспроизводить переводимое произведение в его историко-литературной ре-

---

АНДРЕС АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА

Кандидат филологических наук. Переводила главным образом французских писателей XVIII — XIX вв., среди них Мерсье («Год две тысячи четыреста сороковой», в «Литературных памятниках»), Нодье, Гюго, Жерара де Нерваля, Сент-Бева, Жорж Санд, Гонкуров, из авторов XX в.— Сименона и Эме. Перевела с рукописи дневник А. П. Керн. Автор статей по французской литературе и теории перевода.

роспективе. В какой-то мере переводчик всякого литературного памятника может быть уподоблен оригинальному писателю, работающему в историческом жанре. Ведь у них сходная задача: с наибольшей степенью достоверности воссоздать уже далекую от нас историческую реальность. А это непосредственно связано с выбором языковых средств, помогающих этого достичь. «Исторический» переводчик чаще всего имеет дело с произведениями, написанными на языке уже более или менее устаревшем, и не может, подобно своему коллеге, переводящему современную литературу, черпать языковые средства из окружающей нас действительности. Ему приходится обращаться к русскому языку прошлого, запечатленному в русской литературе. Богатейшие возможности таятся, в частности, в нахождении стилевых «подобий» среди родственных явлений отечественной литературы. Так, весьма точным камертоном при переводе книги Виньи «Неволя и величие солдата» послужил покойному А. Энгельке «Герой нашего времени». «Синхронная» лермонтовская проза позволила ему достичь высокой достоверности.

Конечно, такая «проекция» на русскую литературу — лишь один из способов нахождения подходящего стилевого ключа. В искусстве перевода нет никаких эталонов и рецептов. Каждый переводчик делает это по-своему. По-своему решает он и вопрос о том, в какой мере следует дать почувствовать читателю дистанцию времени, отделяющую нас от переводимого произведения. Переводчик может подчеркнуть историческую отдаленность, придав ему с помощью архаизмов больший или меньший «аромат старины», а может только едва ее обозначить, как это сделано, например, в переводе Э. Линецкой «Максим» Ларошфуко (ведь подчеркни она чуть побольше временную дистанцию — и «Максимы» утратили бы свое «всеисторическое» звучание, превратившись лишь в свидетельство наблюдателя нравов двора Людовика XIV). Все здесь зависит от характера оригинала, от осмысления его переводчиком, от литературного вкуса последнего, его чувства меры и историко-литературного такта.

Разумеется, среди публикуемых художественных переводов бывают более удачные и менее удачные. Но не может быть в наши дни такой альтернативы — либо «художественность», либо «смысловая точность». Задача современного переводчика — стремясь к адекватной передаче оригинала, сочетать и то и другое.

Э. ЛИНЕЦКАЯ. Сочетание слов «Литературные памятники» обычно ассоциируется у нас с издавна знакомыми именами и названиями: «Одиссея» Гомера, «Божественная комедия» Данте, «Война и мир» Толстого. Список велик — человечество не так уж молодо. И если бы редколлегия «Литературных памятников» ограничилась вершинами — что ж, дело солидное и полезное. Но не ограничилась. И создала серию с «лица необщим выраженьем», которая внесла неоценимый вклад в русскую культуру.

Памятники литературы и шире — истории — это, по сути, все творения письменности, так глубоко запечатлевшие время, что и «жерло вечности» их не пожрет. Необходимые звенья, без которых распадается цепь и мы станем беспамятными,— не только художественная проза и стихи, но и воспоминания, письма, хроники, статьи. Такова позиция редколлегии «Памятников», сформулированная академиком Конрадом в 1967 году. Этой же позиции держится и нынешняя редколлегия во главе с академиком Лихачевым, в частности, при отборе литературы переводной. Наряду с именами знаменитыми — имена новые, рядом с произведениями широко известными — неведомые современному читателю или вообще впервые переведенные на русский язык: Плутарх, Сенека — но не трагедии, а «Письма к Луцилию»,— «Опыты» Монтеня и «Цветы в зеркале» Ли Жу-Чженя, Расин и знаменитая в Англии, но почти неизвестная у нас Джейн Остин, и А. Швейцер с его поразительной книгой «Письма из Ламбарене».

Нельзя не сказать еще об одной особенности «Памятников»: каждый том снабжен внушительным аппаратом — статьей, комментариями, приложениями, иной раз не менее интересными, чем основной корпус. Приведу пример, мне близкий: в приложение к роману Г. Джеймса «Женский портрет», который я редактировала, составитель этого тома и один из переводчиков, Н. Шерешевская, включила статьи Джеймса о Тургеневе, представляющие для русского читателя особый интерес.

Мне приходилось не раз работать для серии «Литературные памятники», и никогда эта работа не была проходной. Это естественно: я переводила «стариков» («Роман о Тристане» Беруля — XII век, «Британник» Расина — XVII век, совместно с Ю. Корнеевым «Максимы и мысли» Шамфора — XVIII век), за ними — целая эпоха, и нужно было пытаться воссоздать своеобразие и автора, и его времени средствами современного русского языка. Удалось ли это — другой вопрос, но такова была задача. К счастью, каждый том «Памятников» опекает ответственный редактор, досконально знающий свой предмет, и я с признательностью вспоминаю месяцы совместной работы с Н. Жирмунской, П. Заборовым и А. Михайловым.

Конечно, есть в отборе выпущенных и намеченных к выпуску книг и просчеты. Если французская, английская, немецкая литературы представлены интересно и разнообразно, то, скажем, Испания, Скандинавские страны намечены отдельными штрихами, а Япония или Южная Америка — целый континент — пока почти белые пятна.

Но, вероятно, объять необъятное и впрямь невозможно, сделано же так много и так фундаментально, что я — жадный читатель «Памятников» — только и могу что

ЛИНЕЦКАЯ ЭЛЬГА ЛЬВОВНА.
Переводчик с английского, французского, немецкого, итальянского, испанского языков. Печатается с 1936 г. Переводила Аполлинера, Верхарна, Паскаля, Фолкнера, Джеймса, Тирсо де Молину, Фейхтвангера, Боккаччо и др. Выпустила сборник переводов «Из французской лирики» (1974).

благодарить редколлегию и надеяться на появление в свет ожиданных и неожиданных книг.

Ю. ЛЕВИН. Не подлежит сомнению, что серия «Литературные памятники» — одно из наиболее важных культурных предприятий в нашей стране. В основе его лежит гуманистическая идея духовной взаимосвязанности народов, их культурного единения во имя мира и прогресса. Сама по себе серия — явление несомненно новаторское, но опирается она на давнишнюю отечественную традицию. Вспомним, как переплетались, начиная с XVIII века, оригинальная русская литература с переводной, как много занимались переводами Тредиаковский, Сумароков, Карамзин, Батюшков, Жуковский, Пушкин и другие крупнейшие русские писатели вплоть до Блока, Пастернака и ныне здравствующих литераторов. Вспомним поэта, переводчика и редактора середины прошлого века Н. Гербеля, который параллельно издавал сочинения русских и западноевропейских писателей в переводах, составлял антологию русской поэзии и одновременно антологии поэзии английской, немецкой, славянской. Вспомним, наконец, что основоположник русской советской литературы Горький сразу же после Октябрьской революции организовал издательство «Всемирная литература», и нам станет ясно, что «Литературные памятники» являются преемниками этой культурной традиции.

В то же время это новый тип издания, объединяющий литературу и науку: каждый выпуск серии — это следующий шаг в изучении, оценке и осмыслении соответствующего произведения. Академик Д. Лихачев определял «памятник» как «нечто, свидетельствующее о прошлом, и вместе с тем дорогое для современности». Это справедливо, но, думается, может быть уточнено. Полагаю, что литературным памятником следует считать такое литературное явление (будь то отдельное произведение или комплекс произведений), которое некогда стало событием в культурной жизни своей страны, оставило след в мировой культуре и поэтому представляет интерес сегодня. Редакционная коллегия серии поступает совершенно правильно, когда, например, издает не вообще собрание стихов какого-либо поэта, а воссоздает определенный его сборник, сыгравший важную роль в его литературной судьбе. Сошлюсь хотя бы на издание «Цветов Зла» Бодлера (1970) или «Трофеев» Эредиа (1973). Среди английских памятников вышли в свет «Письма к сыну» Честерфилда (1971) — своеобразный свод аристократической морали XVIII века,— и они имеют полное основание считаться памятником: они были собраны и впервые изданы в 1774 году, сразу же после смерти автора, пользовались сенсационным успехом, вызывали споры, многократно переиздавались. А вот выпущенные в серии отдельно или в сочетании с другими материалами подборки избранных писем Байрона (1963), Шелли (1972), Бернарда Шоу (1971), на мой взгляд, считаться памятниками не могут, поскольку подборки эти составлялись специально для данных изданий и не имеют историко-литературной судьбы. (Я отнюдь не подвергаю сомнению значение самих изданий; сомнительным представляется лишь отнесение их к разряду «памятников»).

Хотелось бы обратить внимание на одну область, которая пока не отражена в серии. Я имею в виду русскую переводную литературу, в которой прежде всего проявлялась связь отечественной и мировой культуры. Все мы читали «Илиаду» Гомера в переводе Гнедича и «Одиссею» в переводе Жуковского. Думаю, что подобные памятники русского художественного перевода заслуживают включения в серию. Назову для примера «Ундину» Ламот-Фуке в переводе Жуковского (которую неплохо было бы издать к 200-летнему юбилею переводчика), «Оды» Горация в переводе Фета, «Песни» Гейне в переводе М. Михайлова и даже, может быть, «Базар житейской суеты» Теккерея в переводе Иринарха Введенского... Все это были бы достойные памятники и иноземным авторам, и тем, кто воссоздал их творения на русском языке.

Г. СТЕПАНОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

Заключение

В необозримом культурном наследии человек каждой новой эпохи не только оставлял свой вклад и след, но и неустанно искал в далеком или недальнем прошлом ценности, созвучные его пониманию мира и себя в нем.

Если цель каждой культуры состоит в сохранении, создании или развитии целостного идеала человека как существа общественного, то можно сказать, что во все времена художественная литература — в прогрессивных своих тенденциях — как раз и была одержима поисками этого трудноуловимого и труднодостижимого образа. Поэтому задача отбора памятников состояла и состоит в том, чтобы дать возможность читателю познакомиться с поисками и находками «лучшего образа» во всех национальных литературах мира.

Это сделать нелегко и непросто хотя бы потому, что параллельно прогрессивному течению литературы, причудливо сталкиваясь или даже иногда сливаясь с ним, обнаруживало себя другое, антигуманистиче-

---

ЛЕВИН ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ (род. в 1920 г.)

Доктор филологических наук. Автор книг «Шекспир и русская культура» (в соавторстве, 1965), «Оссиан в русской литературе» (1980) и многих статей, главным образом по международным связям русской литературы, истории и теории перевода. Переводил прозу и стихи Дж. Свифта, В. Скотта и др. В серии «Литературные памятники» подготовил издание: «Джеймс Макферсон. Поэмы Оссиана» (в печати).

СТЕПАНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1919 г.)

Академик. Основные труды — по общему, романскому языкознанию и литературоведению, в частности, «Типология языковых состояний и ситуаций» (1976), «К проблеме языкового варьирования» (1979) и др. В серии «Литературные памятники» издал Б. Грасиана. Член редколлегии серии «Литературные памятники».

ское течение. Не раз случалось в истории так, что искусство надевало на себя личину религиозного фанатизма, патологической нетерпимости, безумия. Естественное стремление мыслящего художника к упорядочению мира подменялось другим: возникал культ иррационализма, реальность начинала обретать причудливый вид хаотических сновидений, разум сменялся автоматизмом психики... Чтобы разобраться во всем этом и сделать правильный выбор, нужны четкие методологические ориентиры. Их может дать марксистская теория литературы и общая концепция функции культуры, построенная на принципах исторического материализма.

Само название серии — «Литературные памятники»— указывает на то, что она имеет историческую ориентацию. И задача ее состоит в том, чтобы сделать легендарное прошлое литературы злободневным настоящим. Такое превращение музейного прошлого в живое настоящее возможно благодаря свойству художественной культуры преображать череду неотступных вечных вопросов, занимавших или тревоживших человечество, в актуальные ответы, поражающие новизной и нетривиальностью.

Вычерчивание траектории развития художественной литературы, изучение закономерностей творческой эволюции, воссоздание исторической перспективы в движении этой формы общественного сознания осуществляет история литературы.

В связи с этим возникает совершенно естественный вопрос: какое значение имеют теория литературы и история литературы для читателя или, выражаясь научным языком, для потребителя художественных литературных ценностей?

Поскольку потребление художественных литературных ценностей обычно осуществляется вне научного контроля и помощи, то конкретное переживание, возникающее от чтения одного произведения, как правило, не увязывается ни с новым переживанием, ни с уже имеющимися переживаниями. Задача литературоведения состоит в том, чтобы дать возможность перебросить мост от одного переживания к другому и тем самым тесно связать факты, ранее только сосуществовавшие в сознании и в культурной памяти читателя. Подобного рода связь призвана создать определенный порядок в картине духовного развития мира.

Так же как физики, воссоздавая картину мира, стремятся не пренебречь ни одним природным штрихом, филологи-литературоведы стараются представить каждый штрих духовного развития необходимой составной частью общего процесса развития культуры художественного слова.

Совершенно очевидно, что литературоведение, как и любая другая наука, должно рождать идеи, способные связать различные ряды фактов. В данном случае фактов эстетических. Литературоведение в теоретическом и историко-литературном аспектах ставит себе цель извлечь из эмпирического многообразия художественной действительности некоторые общие черты или закономерности с тем, чтобы дать ориентиры для правильного восприятия произведения в контексте мирового культурного развития и помочь читателю найти живой отклик на художественное событие в собственном нравственном сознании, в характере и миросозерцании.

Отличительными чертами современного мировоззрения в отношении культуры являются, на мой взгляд, следующие:

1) впервые входит в сознание человека древность человеческой культуры (как результат этого сознания — поиски истоков культуры, правда, чаще всего только «своей»);

2) в сознании впервые сливаются в единое целое все до сих пор шедшие в малой зависимости друг от друга, а иногда и вполне независимо течения духовного творчества человека. Понятие «всемирная литература» наполняется ныне, как никогда прежде, реальным содержанием.

В обществах досоциалистических формаций наблюдалось и наблюдается резкое противоречие между культурой и цивилизацией. В некоторых концепциях буржуазной философии выдвигается тезис о драматическом соотношении этих двух явлений: чем выше цивилизация, осмысляемая только как совокупность достижений техники и связанного с ними комфорта, тем ниже уровень культуры.

Только в социалистическом обществе цивилизация, понимаемая и как материальная сфера культуры, и как уровень общественных отношений, общественного развития человечества, превращается в необходимую предпосылку развития, распространения и усвоения культурных ценностей.

Создание академической серии «Литературные памятники» осуществляется в русле бурного общего движения нашего народа к культуре, помогает преодолевать и миновать те «перекаты» и заводи, которые возникают иногда в обличье скапливающихся комфортных предметов и завораживающих достижений бытовой техники.

Книги серии «Литературные памятники», каждая из которых имеет свою судьбу — научную, издательскую, читательскую,— тяготеют к образованию библиотеки. В счастливом идеале это была бы уникальная библиотека, которая реально, ощутимо и конкретно подтверждала бы мысль Достоевского о «всемирной отзывчивости» русской культуры, всемирное мнение о величии русской литературы.

Общеизвестно, что для достижения успеха надо ставить цели несколько выше, чем те, которые сейчас могут быть достигнуты. Это положение верно для науки, для издательской практики и для художественного потребления, возросших в нашей стране до невиданных масштабов.

◆

«КАМЕНЩИКИ» ИМПЕРИАЛИЗМА

Итальянское агентство Докса решило провести опрос, чтобы выяснить, какие выражения итальянцы считают наиболее оскорбительными. На первые три места вышли слова «нацист», «фашист» и «реакционер». А вот вслед за ними выплыло нечто не совсем обычное — «масон».

«Это новое оскорбление. До скандала с ложей «П-2» («Пропаганда-2», по-итальянски «пи-дуе», отсюда кличка «пидуист») никто из итальянцев на него бы не откликнулся. А сейчас если вы кого-нибудь так обзовете, то рискуете получить пощечину»,— резюмировал журнал «Эспрессо».

Новым оказалось хорошо забытое старое. Уже сто лет назад Италию сотрясали скандалы, связанные с масонством. Тогда стала популярной поговорка: «Не все масоны — жулики, но все жулики — масоны». А словечко «фрамассоне» от французского «франкмасон» что означает «вольный каменщик», стало синонимом нечистоплотности в делах. Из Италии оно перекочевало и в Россию, превратившись в «фармазона».

Но безусловно, разоблачение масонской ложи «Пропаганда-2» затмило все предыдущие скандалы. И не только потому, что многие участники этой ложи, соблюдая, так сказать, традицию, оказались крупными жуликами. Возглавляемая бывшим фашистским офицером Личо Джелли ложа «П-2» была центром антигосударственного заговора с целью подавления рабочего движения и установления режима «сильной руки». Сама ложа претендовала на роль «невидимого правительства» Италии. Изъятые полицией из архивов Джелли списки примерно тысячи участников из ее состава включали десятки видных политиков, в них фигурировало более сотни генералов и высших офицеров всех родов войск, руководители секретных служб и полиции, адвокатуры и прокуратуры Италии, многие президенты банков и монополий, крупное чиновничество. «Пидуисты» тем самым располагали готовыми структурами власти.

Все было переплетено в ложе заговорщиков: социалисты, социал-демократы, республиканцы, христианские демократы заседали вместе с фашистскими иерархами. «Демократический» реквизит не мешал им уживаться с самой махровой реакцией. «Полицейские» — представители «финансовой гвардии», борющейся с незаконными сделками и контрабандой, и «воры» — нефтяные и валютные спекулянты, а также банкиры, принимающие от мафии и других преступников «грязные деньги», тоже оказались на одной скамье. «Борцы» с терроризмом перешептывались с теми, кто организовал покушения. Именно через темные коридоры этой масонской ложи НАТО и ЦРУ проводили наиболее опасные провокации. Сюда ведут нити убийства председателя Христианско-демократической партии Альдо Моро, сотен террористических актов. Через «каменщиков», вобравших цвет натовского генералитета и тайных служб, США проводили «стратегию напряженности» в Италии, стремясь вызвать антигосударственные настроения, расчистить дорогу «черным полковникам» и генералам.

Ложа была оснащена и всем необходимым для идеологической обработки населения. Эта задача возлагалась на входивших в нее крупнейших издателей, директоров телевизионных и радиопрограмм, известных журналистов, политологов и социологов, представителей искусства и писателей. Скандал с ложей «П-2» тем самым предстал перед итальянской публикой в многослойных одеяниях. Он охватил не только финансовый и политический «базис» итальянского общества, но и культурно-пропагандистские «надстройки». В руках «пидуистов», например, оказались влиятельное издательство «Риццоли» и крупнейшая газета Италии «Коррьере делла сера», миланский журнал «Сеттиманале», состоял в ложе и директор фашистского журнала «Боргезе» Тедески.

Влияние Личо Джелли распространялось на более чем 500 масонских лож страны, объединенных в так называемый

«Великий Восток» Италии, насчитывающий в своих рядах около 20 тысяч адептов. По своему статусу «П-2» являлась ведущей ложей, ее «почетного магистра» поддерживали руководители «Великого Востока» Италии, носящие пышные титулы «великих магистров». Отметим, что двое из них — Бателли и Сальвини, как и Джелли, были фашистскими офицерами.

Весной 1981 года, когда над бандой Джелли сгустились тучи, «Великий Восток» упорно продолжал защищать «магистра». Собравшись в дни мартовского равноденствия, как требуют масонские обряды, его представители большинством голосов выразили Джелли свое полное доверие и удостоверили, что его ложа действует по всем канонам «строителей всемирного иерусалимского храма», хотя к тому времени «П-2» с головы до ног была замарана кровавыми преступлениями, финансовыми и валютными беззакониями, а криминальные архивы бывшего фашиста уже оказались в руках полиции.

Лишь когда Джелли побежал прятаться за океан (а затем попался с фальшивыми документами при попытке снять со своего счета в женевском банке награбленные им миллионы долларов), а ложа «П-2» была уже официально запрещена, «братья-каменщики» объявили «почетного магистра» отступником, а его организацию еретической. Взявшись теперь с преувеличенным пылом топить своего возлюбленного ранее брата с его «штурманской» ложей, масоны торопились отмежеваться от скомпрометированного детища Джелли (и ЦРУ) и обвинили масона-фашиста в «предательстве» исторических освободительных традиций движения.

Таким образом, политический скандал обнаруживает связь всех общественных механизмов, обнажает исторический фундамент современного здания «каменщиков», заставляет обратиться к их традициям, задаться вопросом: что же такое «пидуизм» — ересь или догма?

Разговор о «пидуизме» неизбежно приводит нас к разговору о собственно масонстве. Оно давно уже вышло на авансцену политической жизни крупнейших стран Запада, прежде всего США и Англии, где масонство насчитывает свыше семи миллионов последователей, которые укомплектовывают все верхние этажи общества. Не секрет, что ложа «П-2» и вообще вся структура итальянского масонства явились после войны предметом особого внимания ЦРУ, возглавлявшегося масоном «шотландского обряда» Алленом Даллесом. «Шотландский обряд», наиболее могущественный и воинственный орден масонства, претендует на гегемонию среди «каменщиков». Однако ряд других течений в масонстве, например французские ордена, заявляют о своей независимости от «шотландцев», считая их слишком реакционными. Борьба правых, умеренных и реформистских, в том числе и социал-демократических течений в масонстве, принимает временами весьма острые формы и порождает взаимные обвинения. Однако эта полемика не затрагивает основных принципов масонства. Итальянским масонством занимались масоны высшей, 33-й степени — Гарри Трумэн, президент США например, а госсекретарь Маршалл так организовал помощь по плану, носящему его имя, что значительные денежные средства прежде всего попадали к членам реконструированных американцами «лож» Италии, прямым агентам ЦРУ. Почти все президенты США, государственные секретари принадлежали к «каменщикам». Да и остальные страны Запада и многие развивающиеся страны, правда различаясь по политическим оттенкам, как правило, возглавляют члены масонских лож. Герцог Кентский — лишь номинальный глава международного штаба масонства, на деле им руководят клубы сверхбогачей: «Трехсторонняя комиссия» во главе с Дэвидом Рокфеллером, «Клуб Бильдерберг» и другие. Иными словами, влияние масонов на международную политику, на экономическую и политическую жизнь Запада трудно переоценить.

Разобраться в этом феномене нелегко. Движение «каменщиков» веками привыкло прятаться в одежды мифологии, обрядов, откровений, ведомых лишь узкому кругу «посвященных». Версии о возникновении масонства расходятся. Одни датируют его началом XVIII века, когда вместе с зарождающейся буржуазией оно вышло на поверхность из недр феодализма, особенно в Англии, и включало в себя преимущественно лиц так называемых «свободных профессий», разделенных на «цеха» («ложи», «ателье»). Другие относят рождение общества «вольных каменщиков» к раннему средневековью, отмечая сходство уставов и ритуалов у различных рыцарских орденов времен крестовых походов (например, «храмовников» или «Мальтийского ордена») и современных орденов масонства. Третьи ведут родословную ордена от времен мифа о строителях, соорудивших в Иерусалиме храм бога Яхве.

Легенда о создателе этого храма, «великом мастере-архитекторе», чья власть и влияние покоились на жесткой иерархии, разделявшей строителей по их «цехам», а внутри «цеха» на «учеников», «подмастерьев» и «мастеров», является одним из базовых мифов масонства. Царь Соломон, будто бы вдохновленный идеей своего архитектора (погибшего затем от руки недругов), решил перенять структуру его организации и создать тайный орден, способный построить со временем (через три тысячи лет) «всемирный иерусалимский храм». Иными словами, завоевать мировое господство через невидимые внешнему миру структуры. Отзвуки этих идей можно найти в названиях таких современных масонских орденов, как «Рыцари третьего тысячелетия» в США, «Суверенный и военный орден рыцарей иерусалимского храма» и т. п.

Магические ритуалы масонских сект, их обряды, мессы вдохновляются смесью библейских, иудаистских и каббалистических реквизитов, заимствованных у древнего жречества Египта и стран Среднего Востока. Отсюда постоянные ссылки на Восток в масонской символике: семисвечник, раскрытая Библия в сочетании с могильными принадлежностями — костями и че-

репами, окровавленными рубашками — наряду с «цеховыми» аксессуарами: фартуками «каменщиков», их мастерками, циркулями, молотками, перчатками, отвесами.

Особую функцию выполняла «историческая освободительная традиция», о которой масоны любят напоминать в особо драматические моменты жизни их движения. Ореол свободолюбия и заговорщичества играл свою роль в вовлечении в ряды этого движения выдающихся, деятельных и сильных умов, авторитетных представителей культуры и науки, поверивших в благородные «цели «каменщиков» и предлагаемый ими путь самосовершенствования, их призыв к «братству» и «свободе». А если вспоминать историю, то разве не принадлежали к масонству Пестель и многие декабристы, разве не был им близок Пушкин? Притягательную силу знамени «каменщиков» в то время придавали яркие блики французской революции, которую при желании можно представить высшим моментом торжества масонских идеалов. В самом деле, разве не готовили ее духовно просветители Дидро и Д'Аламбер, Руссо и Вольтер, принадлежавшие к высшим степеням масонства? Разве не являлись Робеспьер, Дантон и почти все вожди революции сторонниками знаменитого масонского тринома «свобода, равенство, братство»? Сколько сердец в мире потрясали и заставляли трепетать эти слова... Да, штурмуя Бастилию, отвоевывая себе в сословной Франции место под солнцем, буржуазия была революционным классом и оперировала лозунгами, без которых немыслимо было привлечь на свою сторону массы. Якобинцы, санкюлоты беззаветно верили в лозунги революции, полагая, что стоит нанести еще пару-другую сокрушительных ударов по устоям имущественного и социального неравенства — и общество всеобщей справедливости, разбившее путы привилегий и крупной собственности, станет реальностью.

Но хотели ли подобного осуществления своих лозунгов сама буржуазия и ее идеологи? Чтобы от речей в кафе граждане перешли к баррикадам? К уравнению доходов? Ответ последовал с обескураживающей быстротой. Гильотина одного за другим пожирала вождей народного движения, сыновей революции. А «Декларация прав», еще недавно принятая с таким энтузиазмом, не могла остановить скатывания Франции к бонапартистской диктатуре, а затем и монархии. Идеи защиты отечества сменились идеями империи. «Марсельеза» зазвучала для других народов уже как музыка не освободителей, а покорителей. Подобная трансформация удивляла самих французов.

«Каким образом и почему эта непокорная нация сама устремилась к рабству?» —

вопрошал один из самых блестящих умов страны, историк Алексис Токвиль. *Откуда*, спрашивал он,

«эта огромная перемена в нравственных настроениях народа: столько эгоизма, следующего за таким самопожертвованием, столько безразличия вслед за такой страстностью, столько презрения к тому, что было предметом столь страстных желаний и так дорого стоило?»

Корни поворота к «термидору», реакционности уходили в двойственную природу победившего класса. Стремление помешать «толпе» воспользоваться лозунгами свободы и равенства было заключено в доктринах «отцов» революции задолго до свержения Бурбонов. Так, идеи Вольтера сыграли большую роль в подготовке революционных процессов не только во Франции, но и во всей Европе. Однако его мышление не было свободно от сословных и классовых предрассудков. Выдающийся мыслитель, противник рабства Вольтер в письмах Екатерине II рекомендовал ей не спешить с отменой крепостничества. «Чернь» «никогда не бывает управляема разумом» и ее «должно школить, как медведей», поучал он царицу. Ту же мысль он развивал перед Д'Аламбером: «Никогда никому не приходило в голову просвещать сапожников и служанок. Разум восторжествует, но у людей благородных, канальи созданы не для него». К Дидро: «Я рекомендую Вам суеверие. Нужно разрушить его у благородных людей и оставить канальям». (Помните, «если бы Бога не было, его надо было бы выдумать», чтобы держать народ в подчинении.) В другой раз «фернейский отшельник» писал с предельной откровенностью: «Народ всегда безвкусен и груб; это — быки, которым нужны ярмо, погонщик и корм».

Сходные идеи высказывал и Дидро, числившийся на службе у Екатерины II (императрица приобрела его библиотеку, но философ, оставаясь при собственных книгах во Франции, считался личным библиотекарем Екатерины).

Для внешнего потребления масонские идеологи предлагали заманчивые лозунги, но не скрывали, что собираются пользоваться ими лишь для узкого круга «благородных». Эти взгляды проистекали из самой сути масонских представлений о человеке и человечестве, которые мы разберем позже. Запомним — масонские доктрины предполагали двойную меру вещей: одну — формальную — для внешнего мира, другую — подлинную — для своих «цехов» и «лож», словом, для «посвященных».

Эта двойственность выходит наружу всякий раз, когда сравниваешь слова и дела «братьев-каменщиков». Вспомним, что душить революцию помогали те же масоны. Водрузивший свой трон на месте былых свобод Наполеон был, например, масоном высшей для европейских орденов — 33-й степени. Такими же крупными масонами были его наместники Мюрат и Бернадотт, насаждавшие масонство в Италии и Швеции. Но самое интересное, что масоном был и Людовик XVI! Был масоном и Фридрих II Прусский, который возглавлял немецкое масонство. Тем самым революционеры, контрреволюционеры, те, кто свергал и кого свергали, совместно состояли в тайных обществах... А наверху между ними пылали непримиримые страсти.

Стоит ли после этого удивляться некоторым историческим паузам и труднообъяснимым поворотам вспять?

Возьмем Италию, где карбонарии боролись с папством при активной поддержке масонов. Гарибальди и Мадзини были пламенными республиканцами. Почему же после торжества их борьбы за объединение Италии Джузеппе Гарибальди, великий народный герой, произнес смиренное «повинуюсь» и согласился на воцарение в Риме Савойской династии? Не потому ли, что, вступив юношей в ложу «Демократическая Франция» в Ницце, на последующих этапах продвижения по иерархической лестнице «каменщиков» Гарибальди, как и Мадзини, с изумлением обнаружил, что ненавистные монархи являются тоже «каменщиками», причем принадлежат к особо уважаемой, «почетной» степени. И хотя к тому времени Гарибальди и Мадзини были руководителями, «великими магистрами Великого Востока» Италии, им не суждено было довести до конца демократизацию страны. Масонство требовало от них беспрекословной дисциплины, соблюдения интересов высшего звена «строителей соломонова храма». Оно сильно умерило их радикализм. Так, в эпоху бурных переворотов и следовавших одна за другой революций масонские связи использовались для установления противоестественного, антиисторического компромисса между правящими фракциями буржуазии и аристократии. Масонская идеология, обещая изменения, предавала тех, кто им верил, помогала душить подлинные перемены.

Несомненно наличие в масонстве исторического социалистического и антиклерикального компонента. Было бы, видимо, неправильным принижать заслуги тех или иных деятелей, которые, принадлежа к «ложам», вели героическую борьбу за освобождение народов, как Гарибальди, полагать, что, говоря о масонах, мы автоматически имеем дело с двуличными людьми. Но столь же непростительно и наивно было бы не замечать, что на протяжении всей истории движения те или иные светлые фигуры этого движения используются для придания ему оттенка благородства, который становится все тоньше, чем глубже мы вникаем в главные движущие импульсы течения «каменщиков», выносящие его повсеместно к вершинам власти, богатства и могущества. Гибкость структур, способность играть одновременно на крайне левом и крайне правом флангах не означают, что масонство не имеет центральной, ведущей линии, которая неизменно ведет его вправо, в сторону реакции за счет «поедания» левого крыла. Эту особенность с горечью отмечает Франческо Синискальки, масон левых убеждений, который был одним из первых, кто указал на исключительную опасность для Италии заговора Личо Джелли. В предисловии к книге «Во имя «Ложи», выпущенной в 1981 году, он пишет, что подобное тяготение масонства к власти приводит к тому, что оно

«повсюду выступает против всего нового, стараясь сперва победить фронтально, но если это не удается, то стремится растворить его с помощью противоестественного сведения к одному, что диаметрально противоположно здоровой демократической диалектике».

Синискальки демонстрирует, что видимость плюрализма, «свободной игры сил» до поры до времени нужна масонству для манипуляций массами и прихода к власти. Но как только это угрожает коренным интересам правящих классов, высшие центры масонства не колеблясь делают свой выбор, безжалостно отрубая свой левый фланг и жертвуя теми, кто искренне верит в демократию и народные формы правления. Так случилось, например, в Чили, где против президента Альенде, когда была затронута крупная капиталистическая собственность, была применена сила и к власти был приведен «черный масон» Пиночет.

В чем же состоит известная нам лишь отрывочно, по отдельным признаниям «раскаявшихся» масонов система их взглядов? Если мы обратимся к официальным масонским текстам, то столкнемся с явным нежеланием распространяться на эту тему. Один из писателей, которыми располагала ложа «П-2», Пьер Карпи выпустил книгу «Дело Джелли», где выступает в защиту, по его мнению, незаслуженно оскорбленного «почетного магистра». Однако, утверждая, что деятельность Джелли полностью соответствовала масонским правилам, Карпи дает крайне уклончивое описание их сути. Процитирую некоторые пассажи из «Дела Джелли»:

«Масонство не является религией, а лишь религиозной организацией. Масонские ложи имеют свои традиции, практикуют эзотеризм, это общество посвящения в религиозные секреты, у них свой собственный символизм. Оно исключает присутствие в своих рядах атеистов и свободных мыслителей. Его правила требуют подчинения и проявления уважения к любой вере и культу, уважения к богу... Посвящения и службы проводятся в масонских храмах на основании эзотерических знаний, которыми владеет лишь само масонство».

Крайне туманно. Термин «эзотеризм» мало что проясняет. Иными словами, при любой попытке узнать что-либо конкретное, кроме заученных фраз о «всемирном братстве», мы наталкиваемся на весьма настороженное, непроницаемое молчание. Все, от церемонии посвящения до обрядов и базовых положений учения, окутано глубокой тайной. Ее разглашение у масонов считается смертельным грехом и карается самым строгим образом. Итак, на все вопросы мы получаем ответ: то, что нам известно, известно нам одним.

Круг, таким образом, замыкается, и мы запутываемся в двух-трех соснах. Организация, провозглашающая главным благом свободы, оказывается, не терпит «свободных мыслителей», «вольнодумцев», а также атеистов. Обязательна вера в бога или другой культ. Однако масонство, как выясняется, и не религия, а только религиозная организация. Христианская? Библия здесь присутствует, но в каком качестве? Как еще отмечал Л. Толстой, масонство

изобилует черепами и костями, любит черный цвет.

Новый «великий магистр» итальянских масонов Армандо Корона, врач по профессии, но одновременно крупный домовладелец, на вопрос, верит ли он в бога, отвечает осторожно:

«Я верю в Великого архитектора вселенной».

Своим новым сторонникам пожилые масоны лишь слегка приоткрывают завесу над существом «архитектора», внося одну за другой коррективы в библейские тексты и читая их как бы с обратной стороны. Недаром постоянной заботой «великих магистров» Италии было издание «обновленной», исправленной Библии. Не отделяя сперва «архитектора» от божества, масоны по мере прохождения их учениками новых ступеней акцентируют внимание на понятиях «храм» и «свет». Относительно «храма» мы уже говорили, а вот «свет» становится все более часто употребляемым понятием в масонской лексике. С ним связываются магические способности совершенствования человека. Такие названия, как «Год истинного света», «Дети распространения света», типичны для многих лож. Уж не солнцепоклонники ли масоны? Почему тогда они предпочитают собираться в подобии подземелий, а украшающие их тайные храмы звезды напоминают ночной небосвод? Это скорее мир алхимиков. Впрочем, алхимия действительно была одним из увлечений масонства в течение многих столетий. Больше всего их привлекали способы обогащения: извлечения серебра из лунного света, способ получения бриллиантов, золота. Погоня за философским камнем, обращающим в золото любое вещество, погоня за панацеей, средством, продляющим жизнь до тысячелетий, как во времена Адама. По концепциям масонства, первоначально человек обладал этими качествами и был всемогущ, близок к божеству, а затем погряз в пороках и утерял свои «светоносные» качества. Целью «каменщиков» и является возвращение ему, как говорили Пьеру Безухову при приеме в «ложу», «древнего, утраченного... величества».

Обрести древнее величие, однако, могли не все, а только особо избранные, которым и должны быть вверены судьбы испорченного человечества. Конечной целью должно стать всемирное господство масонов. Вспомним выступление Пьера Безухова перед петербургскими масонами после возвращения с Запада, где он получил «доверие» и «высшие степени».

Пьер Безухов призывал объединить «преданных нам людей, связанных между собой единством цели и имеющих власть и силу», с целью установления

«всеобщего владычествующего образа правления, который распространился бы над целым светом».

Сам Пьер был облюбован масонством, как богатый наследник, за счет которого можно было проводить благотворительные мероприятия. Ощущение предательской зыбкости масонских доктрин, чего-то подспудного, враждебного и лишкого порой охватывает Безухова.

«Пьер... начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из-под его ног, чем тверже он старался стать на ней. Вместе с тем он чувствовал, что чем глубже уходила под его ногами почва, на которой он стоял, тем невольнее он был связан с ней. Когда он приступал к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он провалился. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил по колено в болоте».

Инстинктивно герой Толстого ощущал фальшь масонства, но не имел уже сил с ней расстаться. В России распространялся к тому же несколько облегченный, облагороженный тип масонства. Пьеру «открыли» имена создателя мира Адонаи и властителя Элоима, но не назвали третье имя, «неизрекаемое, имеющее значение *Всего*». Легенды, которые питают масонские поверия, однако, намекают на то, что творческую силу человека, былое могущество ему может вернуть только тот, кто стоял у истоков человеческого рода, тот, кто вручил Еве «яблоко познания». По другим легендам, он и был отцом первого сына Евы — Каина. Этот «кто-то» имеет немало имен — «огненный ангел», «озаренный ангел», «несущий свет», а по-латыни — Люцифер, он же Сатана.

Строитель храма Яхве, в частности, является потомком Каина и, как все, кто происходит от «лучезарного», носит печать «озаренности» и «избранности». Эта ветвь способна рождать великих строителей, техников, мыслителей, финансистов и промышленников, если продолжать цепь далее.

Интересно с этой точки зрения проследить влияние масонских воззрений у тех, кто в той или иной форме, нередко с большим талантом, отразил их в своем творчестве. Гёте, вступивший в 1780 году в Веймаре в масонскую ложу «Амалия», отдает им немалую дань в своем «Фаусте». Там говорится о возможности человека сравняться если не с богом, то с дьяволом. Знакомство с Мефистофелем и начинается с попыток Фауста общаться с «духами».

А его ученик Вагнер создает искусственный разум — Гомункулуса, действующее лицо произведения, которое носится в колбе по поднебесью и изрекает истины, приводящие в дрожь даже сверхискушенного Мефистофеля. Вспомним, что именно Мефистофель является «сценаристом» злоключений и испытаний Фауста. «Дух отрицания» пользуется симпатиями господа бога, который вручает в его руки доктора Фауста:

...Ты можешь гнать,
Пока он жив, его по всем уступам.
Кто ищет — вынужден блуждать.
. . . . . .
Он отдан под твою опеку.
И если можешь, низведи

в такую бездну человека,
чтоб он тащился позади.

Сам Мефистофель отнюдь не считает себя каким-то злодеем. Он «часть силы, той, что без числа, творит добро, желая зла».

И далее: «Я части часть, которая была когда-то всем и свет произвела. Свет этот — порожденье тьмы ночной и отнял место у нее самой».

Отметим философско-этические моменты — свет, порожденный из тьмы, с которым идентифицирует себя Мефистофель, и тот факт, что он лишь часть, которая была всем. Здесь мы и отыщем имя, которое не было изречено Пьеру.

В «Мастере и Маргарите» М. Булгакова Воланд и его свита вполне соответствуют персонажам масонской мистики. Сцена совращения Воландом публики благами потребительства сродни мефистофелевским тезисам о золоте как кумире человечества. Маргарита носит то же имя, что гётевская Гретхен. А в центре повествования — Мастер (магистр, маэстро), которому открыты глубины истории и таинства творчества.

Обратимся к рефрену золота и денег, который ощутим не столько в литературе, сколько значим в практике масонства. Здесь мы подошли к одной из кардинальных основ масонства. По своим этическим понятиям оно не считает богатство и его символы злом. Наоборот, в руках «избранных», «просвещенных» золото, серебро и бриллианты, вобравшие в себя «свет», могут быть использованы, учитывая их необычайное влияние на «темное» и «развращенное» человечество, в интересах его «совершенствования», разумеется под неусыпным руководством «каменщиков». А раз так, то накопление богатства является для масона своего рода высшей целью, помогающей всем его братьям. Богатство приближает «каменщиков» к всемирной власти, позволяет влиять на «совершенствование» человечества.

Более того, «брат», свершивший прегрешения, нагревший руки на добыче богатств, не столь виновен, если старался во имя «храма соломонова». А раз так, то надо отстоять его от покушений грубой толпы. Погоня за богатством и властью у масонов возведена в добродетель, определена как цель, освященная со времен египетских жрецов и царя Соломона.

Стоит ли удивляться, что подобная система взглядов, строящаяся на постулатах накопления и умножения богатств, но в то же время прикрытая лозунгами свободы и уравнения в правах с сильными мира сего, оказалась притягательной для весьма влиятельной и динамичной части общества, которую олицетворяла революционная буржуазия? Она берет на вооружение масонскую идеологию, как оправдывающую саму цель ее существования, наряду с иными воззрениями, освящающими предпринимательство и прибыль, как угодное и полезное высшим целям дело, вроде, например, протестантства. Фетишизации товара, приобретающего в глазах общества мистический, чувственно-сверхчувственный характер, а также денег, в особенности золота, К. Маркс уделяет в «Капитале» значительное место. «Современное общество...— пишет он,— приветствует золото, как блестящее воплощение своего сокровеннейшего жизненного принципа».

Социальные движения нередко рядятся в религиозные, мистические формы. Так, в период средневековья народные антифеодальные движения принимали характер ересей и сект. Не исчезает эта особенность и в период утверждения у власти буржуазии. Она, как отмечалось в «Манифесте Коммунистической партии», «не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». Но именно обнаженность принципов выгоды, барыша требует тщательного идеологического и нравственно-этического прикрытия. Французские философы, подготовлявшие революцию, стремились представить будущее царство буржуазии как государство «вечного разума». «Этот вечный разум,— писал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге»,— был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то время развивавшегося в буржуа». Аналогичную роль играли и лозунги равенства, свободы, братства. Революционный девиз «братства», констатировал Ф. Энгельс, осуществился в плутнях и зависти, порождаемых конкуренцией.

Те же принципы, но уже в религиозно-мистическом ключе преломляются в доктринах масонства того времени, явившимся одной из форм «подчистки» со стороны буржуазии христианских догм и старых мифов. «Для общества товаропроизводителей...— отмечал К. Маркс,— наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.».

Завуалированная, мистико-освободительная струя масонства завлекает в его ряды многих выдающихся деятелей народного движения, о которых мы уже говорили, а также культуры, искусства, науки — таких как Гёте, Бомарше, Гольдони, Моцарт, Бетховен, Глюк, Ньютон.

Но по мере того как буржуазия правеет, становится империалистической, по мере того как богатства ее принимают формы промышленных концентраций, монополий, финансового капитала, происходит крен вправо и в масонских одеяниях. Спадает обветшавшая фата гуманитарной риторики, беднеет состав деятелей искусства. Идеи свободы культивируются лишь для спекулятивных целей, прежде всего для борьбы с социализмом, который обвиняется в «тоталитаризме». На этот случай действуют международные и национальные Лиги прав человека, организованные (что мало известно широкой публике) как специальные масонские ложи. Напрасно ожидать от них осуждения жертв «черного масона» Пиночета или деяний Шарона и Бегина, зверств масонствующих военных хунт в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе. Весь свой пыл они направляют против тех режимов, где положен конец всевластию крупной капиталистической собственности. Свое негодование они изливают на тех, кто осмеливается противодейст-

вовать тайным козням масонства. Достаточно сказать, что на спасение погоревшего Джелли были брошены самые крупные силы масонов и его судебное дело одно время было прекращено. «Международная федерация прав человека», масонская организация, базирующаяся в США и аккредитованная при ООН, в конце 1981 года прислала в Италию специальную комиссию, которая хлопотала за Джелли, изображая его «жертвой коммунистов». Она даже встречалась с премьер-министром Спадолини и его юридическим советником Унгари. Санкции против ложи «П-2» и ее «магистра» были названы ни больше ни меньше, как

«опасным и безрассудным актом, который ставит под вопрос всю демократическую практику в Италии»!

Болото, которое почувствовал под ногами Безухов, стало благодатным местом для темных дел международной буржуазии. И по мере того, как все лицемернее звучат ее «освободительные» мелодии, сужается левореформистский социалистический компонент масонства, который сохранился с лучших дней этого движения, все более обнаженной становится проповедь финансового капитала и его всевластия как главной цели «всемирного иерусалимского храма».

Само масонство организовалось по образу и подобию капиталистического предприятия, дело которого — деньги, власть, насилие. Законспирированные формы общения в ложах как нельзя лучше подошли для тайного сговора.

«Гениальная идея Джелли (только ли его?),— писал член руководства ИКП Макалузо,— состояла в создании секретной секты, действовавшей как трест, в котором переплетаются акционерные интересы».

Именно такую, подчиненную и обслуживающую роль, далекую от дней французской революции, отвели здесь и звездам искусства, средствам информации. Среди членов «П-2» неожиданно оказался, например, Клаудио Пика, известный актер эстрады, или певец Клаудио Вилла. Он сам с юмором отмечал, что его роль сводилась к тому, чтобы своим пением разгонять скуку на помпезных вечерах «братьев» на вилле Джелли.

В списке «П-2» значится имя артиста Алигьеро Носкезе, около которого стоит слово «скончался». Мне довелось неоднократно видеть и слышать этого бесподобного имитатора. Любимый трюк Носкезе состоял в том, чтобы освоить тембр голоса кого-либо из зрителей, вызвать по телефону одного из домашних своей жертвы и создать полную иллюзию, что они разговаривают с членом семьи, заботливо позвонившим из фойе театра. Говорят, однажды президент Сарагат попросил Носкезе отдать приказания своим камердинерам. У слуг итальянского президента не возникло малейшего сомнения, что с ними говорит «сам». Носкезе нередко создавал беспощадные шаржи на Никсона, Мао Цзэдуна, Голду Меир. «Человек с тысячью лиц», как его окрестила печать, был исключительно популярен. Зачем он понадобился «почетному магистру»? Журналист Индро Монтанелли высказал предположение, что Джелли использовал феноменальные способности артиста для имитации голосов, чтобы устраивать махинации, фальсифицировать банковские распоряжения. Исключать криминального применения данных Носкезе нельзя. Особенно если вспомнить, что Носкезе кончил «самоубийством». Хотя Джелли в одном из интервью уверял, что «масонская вендетта — это средневековая басня», серия загадочных смертей, поражающих «братьев», столь длинна, что не верится в случайность. Отмечая связи «братьев» с подобными террористическими действиями, журналист Пекорелли писал:

«Вот уже много лет, как в Италии не было ни одного крупного преступления, над которым не витала бы тень масонства».

Остается добавить, что Пекорелли, близкий друг Джелли, ставший затем его смертельным врагом и начавший разоблачать «братьев», был убит выстрелом в рот.

Что касается средств информации, то они использовались для шантажа власть имущих, пропаганды своих взглядов. Так, 5 октября 1980 года журналист Констанцо, член ложи «П-2», взял у своего «мастера» интервью, в котором тот делал намеки относительно услуг, за которыми к нему могли бы обратиться высшие руководители Италии. Заканчивалось интервью показательно. На вопрос, кем он мечтал стать с детства, Джелли отвечал: «Кукольником». Италия уже представлялась ему театром марионеток, где он мог выпускать очередную креатуру на авансцену, дергая ее за ниточки, связанные с «П-2».

За всем этим стояли конкретные интересы наиболее привилегированных групп, сил, намного превышающих самого Джелли, который в свою очередь оказался их марионеткой и, когда оплошал, был выброшен, хотя и не без сокрушенных вздохов. Ведь он возглавлял одну из самых «деловых» лож, самых закрытых, близких к полному успеху. Любопытно, это отметил и Джелли, что, несмотря на бури вокруг масонства, ряды его ложи до последних дней пополнялись ускоренными темпами. Ведь на стороне «мастера» был успех. А успех, продвижение по службе, карьера уже давно являются одним из движущих мотивов масонства. Тем самым снизу доверху все члены масонского общества как бы связаны круговой порукой.

Банковская, финансовая сердцевина масонства появилась сразу за «героическим периодом». Так, вслед за Гарибальди и Мадзини «Великим Мастером» итальянских масонов стал банкир Лемми, имя которого связано со скандалами конца прошлого века. Остается добавить, что он же и создал по образцу древней, престижной ложи «Пропаганда», действовавшей в Александрии (Египет), ложу «Пропаганда-2», состав которой и деятельность были известны только самому «магистру». В этом смысле Джелли прав, говоря о законности (и закономерности) своей ложи, как прав и

католический писатель Италии Фердинандо Камон, говоря о том, что ложа «П-2» представляет собой

«шедевр нашего буржуазного гения, поскольку эта организация — конгломерат групп влияния, единственная цель которых — блюсти экономические интересы собственных членов. Ложа — портрет нашей буржуазии, которая, преследуя любыми средствами личное обогащение, отождествляет его с добродетелью».

«Верно, что Джелли называет себя кукольником,— говорил депутат от Итальянской компартии Д'Алема.— Но он и сам в свою очередь был куклой. А настоящие кукольники находятся не в Италии, а за границей».

Кто они, уже говорилось. Поразительно, как прочно объединены капиталисты узами масонской солидарности. Современный капитализм и каббалистика, не странно ли? Компьютер на службе буквы «Г». А почему бы и нет, если масонские верования один к одному совпадают с требованиями капитала? Послушаем уже знакомого нам, может быть не очень красноречивого, но осведомленного масонского писателя Пьера Карпи, друга и яростного защитника Личо Джелли. По-своему, в масонском ключе, но с отличным знанием дела он пересказывает далеко идущие планы «каменщиков» империализма:

«Действия США направлены на поддержку НАТО и остракизм в отношении СССР и других стран реального социализма. Определяющим в этих действиях являются позиции многонациональных компаний, руководители которых по большей части принадлежат к масонским обществам. Под влиянием англосаксонской части масонства выработан «проект» будущего устройства мира, который гораздо менее утопичен, чем кажется. Он означает исчезновение национальных границ... Фундаментальным законом этого проекта является простонапросто закон прибыли и установление всемирного «экономического» правительства. Американские многонациональные компании при этом стремятся поставить экономику социалистических стран в зависимость от себя. Что касается капиталистических стран, то здесь в юридическом и идеологическом планах масонство поощряет тенденцию считать собственность законным средством социального воздействия только в том случае, если крупные финансовые средства производства и коммерции контролируются монополиями и особыми узкими группами, которые идентифицируются с экономической властью, а тем самым, косвенно, и с политической».

Ведущую роль в определении и осуществлении «проекта» всемирного господства под властью монополии играет «Трехсторонняя комиссия», состоящая из крупнейших бизнесменов США и стран Западной Европы. Карпи называет ее «эманацией американского масонства».

В период президентского мандата Картера она направляла усилия, чтобы использовать разрядку для того, чтобы «отравить коммунизм идеологически», затем поддержала тезисы о вредности разрядки.

«Этот тезис победил с приходом к власти в США президента Рональда Рейгана»,

которого Карпи ставит на первое место среди «выдающихся» масонов современности.

Итак, от лозунгов свободы, равенства и братства к прямой апологии прибыли и диктата монополий, от идей мира и взаимопонимания к борьбе против разрядки, за идеи ядерной войны — такова эволюция масонства за два последних века. Недаром перед тем, как его убили «братья», Пекорелли предупреждал:

«Промышленники и финансисты, политические деятели, генералы и судебные чиновники, принося клятву в верности масонству, тем самым становились на службу ЦРУ США».

Таков неприглядный фундамент здания, которое силятся возвести сегодня «каменщики» империализма.

Л. ЗАМОЙСКИЙ

◆

Публицистика

ПЕТЕР ШЮТТ:

ПО СТРАНИЦАМ ДВУХ КНИГ

«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО...»

Существует ли расизм в ФРГ?

Конституция, конституция...

«Никто не может подвергаться дискриминации или пользоваться преимуществами по признаку пола, социального и национального происхождения, языка, места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов»

Так гласит знаменитая статья 3,3, одна из первых в нашей конституции. Но далее, там, где конкретизируются основные положения, мы прочтем еще и следующее: «Все немцы имеют право устраивать мирные, без оружия, собрания, не заявляя о них предварительно и не испрашивая на то разрешения».

Все немцы? Хорошо, а как быть с живущими у нас иностранцами? В ФРГ сейчас четыре с половиной миллиона граждан иностранного происхождения. Они прибыли сюда со всего мира: из Южной Европы, из Турции, со Среднего и Дальнего Востока, из Африки, из Северной и Южной Америки.

Они давно уже не меньшинство, не периферийная группа, многие живут у нас во втором и даже третьем поколении. Они — часть нашего народа, они — среди нас, с нами, они работают на нас. Нравится нам это или нет, Федеративная Республика уже стала многонациональным государством. Старая Германия чистокровных тевтонов приказала долго жить, и лично я ничуть о том не тужу. Наоборот. Мне кажется, пришла, наконец, пора сделать необходимые выводы из факта превращения былого Германского рейха в сообщество, где живут люди разного национального и этнического происхождения; мы должны привести в соответствие с этим фактом свое поведение, свою культуру, свою конституцию.

Однако начало восьмидесятых годов отмечено у нас такой враждебностью к иностранцам, ненавистью к «чужакам», таким расизмом, каких не было с нацистских времен. Против этих опасных тенденций и направлена моя полемическая книга.

Мы у себя дома

Уже несколько лет как я женат на негритянке из США. У нас темнокожая дочурка. Так что в нашей семье «третий мир» обладает солидным большинством в две трети. И я, единственный немец в этом тройственном союзе, отнюдь не чувствую себя в накладе. Напротив. Моя жизнь стала богаче во всех отношениях: богаче переживаниями, чувствами — ну и, конечно, конфликтами. Но что ж это за любовь без

© Weltkreis-Verlag, Dortmund, 1981.

Петер Шютт и Элизабет Томпсон на демонстрации в Гамбурге.

конфликтов! Стало бы просто скучно и неинтересно.

Жизнь наша, естественно, не ограничена четырьмя стенами квартиры. Повседневность врывается к нам ежеминутно, окружающий мир не оставляет в покое. Каждый день приходится сталкиваться со своего рода загрязнением духовной среды, особенно с расистскими и шовинистическими предрассудками, волна которых, похоже, грозит затопить всю страну. Меня это коснулось лично, я на себе узнал, что это такое, и пишу свою книгу по свежим впечатлениям, отнюдь не претендуя на бесстрастность.

Степень дискриминации иностранцев в нашей стране впервые открылась для меня со всей очевидностью, когда мы решили пожениться. Пришлось изрядно побегать, как говорится у нас, от Понтия к Пилату, из участкового суда в бюро регистрации, из консульства в отдел прописки, из отдела прописки опять в консульство, из бюро регистрации в участковый суд, от Пилата к Понтию, пока моя жена не получила наконец самый важный документ: «Разрешение на освобождение от предоставления свидетельства о брачной правоспособности».

Этот набор слов, напоминающий о самых худших временах нашей истории, красноречивее иных томов. Он ясно свидетельствует, что даже богиня правосудия у нас отнюдь не свободна от предубеждений, она будет благосклонна к вам, лишь если вы сумеете предъявить ей что-то вроде удостоверения об арийском происхождении. Особенно подозрительной кажется ей любовь между немцами и иностранцами: недаром, хотя среди нас живут уже миллионы иностранных сограждан, лишь один из ста браков заключается между представителями разных национальностей.

Не только предостерегающе воздетая длань правосудия мешает у нас разным народам узнавать, понимать и любить друг друга. Будничные проявления расизма бывают самыми что ни на есть примитивными, банальными, а то и комичными. То вдруг наша дочь расскажет, как учитель географии устанавливает тишину в классе: «А ну, кончайте-ка этот негритянский бунт!», то мальчишке захочется получить от нее «негритянский поцелуй», то на уроке музыки они разучивают песенку «Черная повариха». В метро по пути домой она нередко сталкивается, так сказать, с «добродушным расизмом». Кто-нибудь вдруг начинает гладить ее по курчавым волосам, по щечкам, точно она состоит не из плоти, крови и нервов, а сделана из целлулоида, как умильные негритята в магазинной витрине.

Когда моя жена заполняет в городской библиоте́ке требования на книги, любезный господин на выдаче всегда дает ей лишний бланк. «Вдруг вы один испортите»,— отечески поясняет он, полагая, видимо, в душе, что чернокожие вряд ли умеют толком обращаться с книгами. Иногда бывают совсем забавные случаи. Однажды жена перебежала улицу на красный свет, и полицейский, остановив ее, терпеливо и подробно принялся объяснять, что означают в Гамбурге красный, желтый и зеленый цвета светофора.

Но чаще бывает не до смеха: когда в автобусе она вдруг слышит: «Обезьяна!», когда в магазине к ней никто не подходит или когда в парикмахерской с нее требуют двойную плату, потому что, дескать, ее волосы трудно стричь. Даже мне случается отведать этой повседневной дискриминации. Когда я рассказываю, что женат на негритянке, то и дело кто-нибудь из собеседников понимающе мне подмигивает: «О, это, должно быть, приятно!» С темной кожей у нас связывается представление о каком-то особом сладострастии, пылкой сексуальности. И не раз, появляясь вместе на улице, мы слышали за спиной слова об «осквернении расы». Даже в либеральном Гамбурге шофер может не посадить нас в такси только потому, что у одного из нас не белая кожа.

Иностранный и немецкий рабочие на верфи в Гамбурге.

Иные из моих сограждан могут возразить мне, что все это отдельные мелочи, которым не стоит придавать особого значения. Многие просто не представляют себе, что значит у нас принадлежать к меньшинству, которое сразу же выдает себя цветом кожи. Из кожи ведь не выскочишь — ты беззащитен. Везде и всюду, на улице, на работе, на отдыхе, среди соседей и среди посторонних людей, ты ловишь на себе чьи-то взгляды, на тебя без конца глазеют, таращатся, все время чувствуешь себя чужаком.

Для многих моих знакомых с темным цветом кожи это неотвязное разглядывание — самое тяжкое в западногерманском расизме. Наверно, во всем мире глазеют на чужестранцев, всюду не прочь оглянуться на женщину, но, боюсь, нигде при этом не улавливаешь такого холода, хамства и неприязни, как у нас. В чужестранце видят не гостя, а возмутителя спокойствия. В отличие от США, где негры, при всей непрекращающейся дискриминации, чувствуют себя особым народом с собственной культурой и собственным самосознанием, у нас каждый испытывает на себе расизм в одиночку — он как индивидуальный террор, порождающий чувство одиночества, безнадежности. Что, скажем, делать моей жене, когда она слышит в автобусе: «Паршивая негритянка»? Ответить, сцепиться, показать свои когти? Этого она даже не пробовала.

Моя жена и дочурка — не единственные иностранцы в нашем доме. Из девятнадцати жильцов пятеро здесь не имеют гражданства ФРГ. Рядом с нами живет Моника, историк искусств, тридцати лет, по национальности итальянка. В Италии она была разве что в отпуске, ее отец давным-давно переселился из Рима в Берлин, и потому она не может получить западногерманское гражданство, не может участвовать в здешних выборах. Она слыхала от чиновников уже немало грубостей, придуманных нашими бюрократами специально для обращения с согражданами-иностранцами, вопреки всем разглагольствованиям о европейском единстве.

Этажом ниже живет Дорле, дипломированный психолог из Зальцбурга, что всего в шести километрах от баварской границы. Ей тоже пришлось хлебнуть от чиновников достаточно огорчений. Так, она вынуждена была отказаться от одного договора, потому что полиция не дала ей разрешения на работу. Уже три года она живет в Гамбурге, но поскольку Австрия, ее родина, не входит в Европейское экономическое сообщество, ее касаются правила об «ограничениях при найме», почти лишающие ее шансов обосноваться здесь. Приходится довольствоваться скудно оплачиваемыми преподавательскими часами, покуда университет готов сквозь пальцы смотреть на отсутствие у нее официального разрешения. Если же она это место потеряет, ей грозит выдворение как человеку, чей доход ниже официально допустимого уровня.

Под ней снимает квартиру господин Кагемуца, японец, работающий в гамбургском филиале японского машиностроительного завода. Он живет очень замкнуто, и все наши контакты ограничиваются тем, что мы здороваемся с ним на лестнице. Не берусь читать по его лицу, но все-таки по нему видно, как он у нас изолирован, как высоки стены, отделяющие его от немецкого окружения, как все напоминает ему, что он здесь, в сущности, чужой.

Во многих домах нашего района Эппендорф живут иностранные граждане, «гастарбайтеры», студенты и беженцы со всех континентов, турки и югославы, арабы и африканцы, иранцы и индонезийцы. Из-за этого людского разнообразия я особенно люблю свой район, где живу уже свыше пятнадцати лет, люблю больше, чем какой-либо другой гамбургский квартал.

На доме против нас с недавних пор загорелись желтые рекламные огни фирмы «Макдональд». Здесь торгуют гамбургскими шницелями, и заведение можно считать образцом расистской системы: его глава — немецкий штудиенрат, видимо не справившийся в школе со своими учениками, за стойкой — девушки из Италии и Турции, а уж в глубине, в кухне, у жарких печей, — темнокожие из Африки, Индии и Пакистана. У большинства нет легальных документов, поэтому им нередко приходится работать по двенадцать — четырнадцать часов в сутки. Я вижу, как они уходят из закусочной ночью, в два-три часа: это те, кто делает самую черную работу, кто наводит чистоту, кто размораживает, рубит, готовит мясо — и все они без исключения черные. Фирма «Макдональд» — островок Южной Африки у нашего порога.

Сравнение с режимом апартеида, возможно, полемически заострено: в конце концов, в этой закусочной нет ведь отдельных входов для черных и белых. Нет еще у нас и отдельных кварталов для черных. И все-таки по части жилищных условий мы не так уж далеки от США или ЮАР. По крайней мере так обстоит в Эппендорфе. В домах казарменного типа, стоящих на улицах Кегельхоф и Шолль еще с кайзеровских времен и давно требующих ремонта, на обветшалых террасах улицы Фалькенрид, на задних дворах Лёвенштрассе живут главным образом турки. В самых убогих развалюхах ютятся сорок беженцев, в основном из Уганды и Сомали. Наш богатый традициями квартал, где до самого ареста жил и боролся Эрнст Тельман, за последние двадцать лет стал неузнаваем. Выставленное в доме-музее Тельмана на Тарпенбекштрассе замечательное фото: Тедди протягивает левую руку советскому моряку, а правую — китайскому — приобрело новый, конкретный смысл.

Изменилось и лицо нашего рабочего класса. В его среде появилось больше цветных лиц. На складе ковров фирмы «Мартин», что в нашем дворе, трудятся пять немцев, три турка и один американский негр, уволившийся из армии. На кондитерской фаб-

рике «Пеа» в сотне-другой метров отсюда работают триста пятьдесят женщин из Италии, Португалии и Турции. В производстве «гамбургского сала» не занят теперь ни один немец, лишь выручку время от времени кладет себе в карман урожденный гражданин ФРГ.

Когда я иногда распространяю листовки в Эппендорфской больнице, крупнейшем предприятии нашего района, где трудятся шесть с половиной тысяч человек, мне кажется, будто я теперь живу в другой части света. Среди тех, кто спозаранку направляется к вестибюлю, больше тысячи гречанок и турчанок, работающих в больнице уборщицами, пятьсот медсестер-кореянок, заключивших соглашение на три года; добавим к ним еще семьдесят врачей из Ганы и Нигерии, которые работают во всех отделениях, даже у аппарата «сердце — легкие». Без участия иностранцев в больнице не проводится уже ни одной операции, хотя при всем этом находятся пациенты, которые предпочтут отправиться на тот свет, чем допустить, чтобы им сделала укол медсестра-кореянка или чтобы их оперировал врач из Африки.

Расизм справа

Весной 1980 года, умышленно затеяв дебаты по вопросу об ограничении предоставления права на убежище, федеральное правительство дало всем правым силам сигнал для широкой кампании против иностранцев. Уже обложка номера журнала «Шпигель», посвященного проблемам иностранцев, просящих убежища, выглядела как плакат НДП: лозунг «Иностранцы, убирайтесь!» на черно-красно-золотом фоне. Председатель фракции ХСС в баварском ландтаге Густль Ланг потребовал для «иммигрантских морд бараков, обнесенных оградой, со сторожевыми постами», где-нибудь в Дахау. Стали известны результаты опроса, проведенного правительственными учреждениями: восемнадцать процентов западногерманских граждан заявили, что видят в иностранцах и «гастарбайтерах» «смертельную опасность для нашего народа». Итак, пришло время точить ножи.

«Темнокожие, курчавые чужеземцы», по выражению либерального еженедельника «Ди цайт» от 30 мая 1980 года, больше уже не являются желанными гостями; в тон ему «Франкфуртер альгемайне цайтунг» настойчиво предостерегает против «ориентализации Европы». Обнаружив, что «камбоджийские дети уже в Шварцвальде», газета спрашивает: «Не подходят ли снова турки к воротам Вены?» И отвечает: «Нет, они уже добрались до Берлина». Известная своими правыми настроениями западноберлинская Палата адвокатов привлекает к суду чести двенадцать адвокатов, которые защищали перед административным судом права турок, искавших убежища. Гамбургский союз домовладельцев «из принципиальных соображений» не допускает иммигрантов в пустующие квартиры.

В городе Люнебурге, где правит ХДС, 27 октября 1980 года проходил короткий процесс: турецкая семья из одиннадцати человек была с помощью полиции в принудительном порядке выселена из своего временного прибежища и отправлена в соседний Гамбург. Три дня семейство провело на улице, затем нашло приют в доме молодежной организации, но только на ночь, поскольку днем помещение использовалось для развлекательных мероприятий.

Правые экстремисты все более активизируются. В июне 1980 года в западногерманской столице была основана организация «Боннская гражданская инициатива по защите от наплыва азиатов и прочего чужеземного засилья»; в Штутгарте — «Гражданская инициатива по прекращению иммиграции»; в Вангене (Альгёй), оплоте ХДС, формируется «Лига против иностранных бесчинств». НДП проводит свою избирательную кампанию на всей территории ФРГ под лозунгом: «Остановить иностранцев — Германия для немцев» и получает право демонстрировать свой предвыборный фильм, направленный против иностранцев и чуждых элементов, по всем телевизионным каналам в самое выигрышное время.

Неонацисты рассылают множество угрожающих писем иностранцам, а также домовладельцам, сдающим жилье «гастарбайтерам» и африканцам. «Скоро начнется», «Близок час расплаты» или «Освободите квартиру для гастарбайтера» — письма такого содержания распространялись осенью 1980 года в гамбургских районах Альстердорф и Поппенбюттель. В качестве отправителя на этих фальшивках был указан «Турецкий клуб». Особенным нападкам подверглись демократические объединения турецких рабочих. В Бремене одна такая организация получила несколько угрожающих писем с изображением свастики и знаков СС: «Если не уберетесь до 1 января, начнем вас выкуривать сами».

Почти во всех городах и городских кварталах, где живут большие группы «гастарбайтеров», на стенах домов то и дело появляются надписи: «Иностранцы, вон!» В октябре 1980 года неонацисты намалевали на стенах Кёльнского университета восемьдесят надписей, направленных против студентов-«чужаков», в том числе, например, такие: «Евреев — в газовые камеры, ниггеры, go home, иностранцы, убирайтесь!» Кёльнский антифашист Сэмми Медге, возмущенный фашистской мазней, потребовал в письме к университетскому руководству удалить эти надписи. Прошло две недели, ректорат даже не откликнулся. Медге заявил, что, если руководство университета не предпримет никаких шагов, он начнет действовать самостоятельно. Никто опять не шевельнулся, и тогда Медге сам взялся за дело. Среди бела дня он стал замазывать провокационные надписи серой, под цвет бетона, краской — и вот тут-то руководство сразу же вмешалось. Три

университетских служителя, применив физическую силу, отвели антифашиста в контору студенческой столовой и заперли там на час. «Мы следим за пачкунами вроде тебя,— заявили ему,— только другие слишком ленивы». Медге объяснил, что удалял со стен нацистские надписи, и услышал в ответ: «А пусть еще малость побудут, неужели не ясно? Пусть нагонят немного страху». Наконец Сэмми Медге отпустили, а на другой день он получил от канцлера Кёльнского университета повестку: его обвиняли в нанесении ущерба университетскому имуществу. Для допроса он был доставлен в ближайший полицейский участок. Потребовалось активное вмешательство всех прогрессивных студенческих организаций, чтобы прекратить дело.

Такая позиция университетского руководства ободрила неонацистов, и они пошли дальше. В начале 1981 года подожгли помещение студенческого театра, где при участии студентов-иностранцев как раз готовился спектакль с сатирой на полицию, ущерб от пожара превысил два миллиона марок.

Еще до взрыва на октябрьском празднике в Мюнхене, который стоил жизни тринадцати гражданам ФРГ, фашисты начали прибегать к бомбам — прежде всего против иностранцев. 30 июля 1980 года взорвалась бомба в сборном иммигрантском лагере баварского городка Цирндорф. 17 августа при взрыве в общежитии иностранцев в Лёррахе была тяжело ранена женщина из Эфиопии. 22 августа взорвалась бомба еще в одном сборном лагере для беженцев на Хальскештрассе в Гамбурге — двое убитых.

В том же году во многих кафе и пивных залах появились таблички: «Турок не обслуживаем». В вагнеровском городе Байрейте во время летнего фестиваля 1980 года можно было увидеть табличку, какой не встретишь сейчас и в американском штате Миссисипи: на ней было написано «No blacks» [1], неграм — военнослужащим армии дружественных Соединенных Штатов был закрыт доступ в приличные рестораны и гостиницы. В соседнем Бамберге члены неонацистской молодежной организации «Викинги» намалевали в молодежном центре: «Осторожно, газ. Вход только для евреев» — и выпустили листовки с требованием стерилизовать всех черных, имеющих более троих детей. В том же городе при поддержке ХСС был создан «Комитет помощи Южно-Африканской Республике», призывающий к солидарности с режимом апартеида и одновременно к «защите от чужеродного расового засилья у нас в стране».

Как и во времена нацизма, у расистов и теперь находятся «добропорядочные» пособники и помощники из буржуазного лагеря. Весной 1980 года Дитер Э. Циммер, тогдашний руководитель отдела культуры в еженедельнике «Ди цайт», опубликовал там серию статей, а затем и отдельную книгу под общим заголовком «Мы неравны», где попытался вновь ввести в моду неорасистские представления. Во всеоружии своей «учености», с привлечением множества цифр и цитат, он старается доказать, что «между расами и классами существует неравенство». Оперирует он в основном индексом айкью [1], который, дескать, показывает, что все эти «проклятьем заклейменные, чернокожие, чернорабочие и другие отбросы общества», во всех отношениях ниже белых господ. Свои тезисы он подкрепляет красноречивыми картинками вполне в духе «Штюрмера» [2]. Вот белый ребенок и черный: у белой девочки губки благовоспитанно сжаты, черный оскалился, словно животное, и засунул чуть ли не в самую глотку леденец. По Циммеру, защитная реакция против чужаков «естественна». Всякий человек, говорит он, «стадное животное» и потому способен жить в мире с особями того же стада, с людьми такого же, как он, образа мыслей, внешнего вида и поведения.

Чего добиваются Циммер и его коллеги из «Ди цайт», оживляя старые расовые теории? Об этом с достаточной ясностью говорит руководитель лаборатории по этнологии человека при Институте исследования поведения имени Макса Планка профессор Иренеус Айбл-Айбесфельд, высказавшийся в ходе дискуссии так: «Речь идет о вопросе, немаловажном с точки зрения демографической политики... У нас много спорят о том, должны ли мы открыть свою страну для всех желающих и принимать беженцев со всего света, включая Африку. Необходимо задуматься над тем бременем, каким это ляжет на грядущие поколения, если учесть некоторые особенности новых групп населения, иначе мы проявим безответственность перед нашими детьми...»

В роскошном журнале для избранной публики «Гео» той же весной 1980 года выступил психолог Артур Йенсен. Он счел возможным разделить людей в зависимости от характера умственных способностей на два вида. Для первого типична простая зубрежка, заучивание наизусть; это удел прежде всего негров, индийцев, белых низшего сорта, рабочих и женщин. Второй тип способностей характеризуется умением выявлять связи и самостоятельно мыслить; это, согласно ученому-психологу, привилегия образованных народов Европы и Северной Америки.

Существует известная преемственность между фашистскими «классиками» расизма и их учениками; это демонстрирует не в последнюю очередь знаменитый исследователь поведения животных Конрад Лоренц. Расистские теории, открыто пропагандировавшиеся до 1945 года, он так умело закамуфлировал под рассуждения о серых гусях и обезьянах, что даже иные из «зеленых» и представители так называемых «альтернативных течений», глядишь, клюют на его удочку, когда он

[1] «Черным вход воспрещен» *(англ.)*.

[1] Распространенная во многих западных странах система тестов для определения интеллектуального уровня человека. *(Здесь и далее—прим. перев.)*.

[2] Фашистская газета, выходившая в Нюрнберге.

сравнивает людей и животных или развивает свою теорию агрессивности.

Необходимо иметь в виду, что за последнее время идеологи расизма, проповедники ненависти к иностранцам сумели пустить корни и в «экологическом» движении. В 1979 году «Западногерманский союз гражданских инициатив по защите окружающей среды» опубликовал «Каталог экологических требований в ФРГ», где есть раздел, касающийся иностранных рабочих. Некий врач из Карлсруэ спрашивает: «Вы полагаете, что в самом деле способны понять негра, китайца, готтентота, папуаса? Имейте в виду, смешиваясь друг с другом, все расы, увы, становятся крайне плодовиты. Интеграция в ближайшие десятилетия и столетия неизбежно приведет поэтому к полной мешанине». Отсюда сей апостол здравоохранения делает вывод, что необходимо остановить наплыв иностранцев хотя бы из соображений защиты среды, «ибо с каждым новым человеком станет меньше чистого воздуха, увеличится дальнейший прирост населения и возрастет число автомобилей».

«Экологическую тему», начатую врачом из Карлсруэ, подхватывает некий Герберт Груль. Макс Химмельхебер, издатель журнала «Шайдевеге», сравнивает совместную жизнь разных народов со свинарником: «Похоже, что немецкие свиньи у себя в стойлах не замечают, как вокруг все сильней и сильней хрюкают по-турецки. Разбудит ли это вавилонское хрюканье хоть кого-нибудь в капиталистическом свинарнике западногерманского общества?»

Газета «Менш унд мас» приток иностранцев называет попросту убийством немецкого народа. «Неужели политики не знают, что проникновение чужеземцев в среду немецкого народа противоречит законам природы и по сути своей недопустимо? Неужели немецкое население должно дожидаться, пока плодовитые иностранцы припрут их к стенке в собственной стране?» По словам одной женщины из Бремена, ответственные лица прекрасно знают, что «иностранцы прибывают сюда лишь для того, чтобы превратить нас в меньшинство, а затем коварно всех истребить». Турки уже начали «разлагать наш народ с помощью наркотиков».

В информационном бюллетене «Всемирного союза защиты жизни» говорится: «Несколько лет назад гражданские инициативы выступали под лозунгом: «Ами [1], вон из Вьетнама!» Провозглашалось и требование «Африка — африканцам». Самые же строгие иммиграционные законы существуют в Израиле. Там в брак может вступить лишь тот из приезжих, у кого найдется хоть один еврейский предок. Нам это представляется нормальным».

На мой взгляд, такой замаскированный под прогрессивность расизм особенно опасен, поскольку он прикрывается «заботой об охране среды» и претендует на влияние среди антикапиталистически настроенных молодых людей.

[1] Сокращ. от «американцы».

Турки, просим не плевать!

Они подметают наши улицы, вывозят мусор, производимый нашим «обществом благоденствия», они добывают для нас в шахтах уголь и стоят у доменных печей, они смешивают для нас самые вредные химикалии. Мы уже не смогли бы обойтись без них. И при всем при том из всех «гастарбайтеров», прибывших к нам за последние двадцать лет, турки подвергаются наибольшей дискриминации. Любой предрассудок, какой только существует в отношении иностранцев, распространяется и на них. Они, дескать, и «живут как цыгане», и к женщинам пристают, как большинство южан, они «головорезы вроде евреев», они «глядят, как монголы», они «воняют, как негры». Турки — иностранцы второго сорта.

В гамбургских банях посетителям-туркам вручают памятку, где их «дурные наклонности» как бы официально удостоверяются. «Не следует приставать к чужим женщинам, девушкам и детям,— читают они там.— Просим не плевать и не сморкаться в воду».

Во многих магазинах висят специальные таблички с надписью по-турецки: «Не воровать!» — как будто турки сплошь воры. В кафе можно увидеть таблички «Турок не обслуживаем!». В кварталах больших городов, где живут в основном турецкие «гастарбайтеры» и их семьи, на стенах нередко прочтешь предупреждение: «Внимание! Турецкая оккупационная зона!»

Турки не европейцы, а представители «третьего мира», они принадлежат к другой культуре и другой религии. Приспособиться к здешним условиям им не так легко, как итальянцам или испанцам; они иначе одеваются, и даже после пяти лет пребывания в ФРГ в них все еще можно распознать «чужаков». Их обычаи и нравы отличаются от наших. Впрочем, различия эти не так уж абсолютны. Угнетение женщин, религиозный фанатизм, жестокость в обращении с детьми — разве всего этого не было когда-то и у нас, да и сейчас совсем ли мы от этого освободились? Тем, кто от имени прогресса указывает туркам на их «отсталую» мораль, стоило бы сперва оборотиться на себя.

Приглядимся поближе к нашей собственной повседневной жизни, и мы увидим, что у нас не так уж много оснований смотреть свысока на привычки других народов. Среди живущих у нас турок много недавних анатолийских крестьян; переселение в большие города — индустриальные центры Европы — для этих людей означает нередко скачок из средневековья в двадцатое столетье. Это неизбежно влечет за собой огромные психологические нагрузки, и можно ли их упрекать, если перед лицом таких новых требований они стараются как можно дольше держаться своей традиционной семейной сплоченности и житейских обычаев, которые помогали им выжить у себя на родине?

Даже внешне полтора миллиона живущих среди нас турок (из них 550 000 — рабочие, остальные — члены их семейств) представляют собой особую группу пролетариата. Расовая неприязнь идет здесь рука об руку с классовой ненавистью. Прежние пролетарские кварталы в большинстве крупных городов оказались с течением времени заселены турками; это наиболее низко оплачиваемая часть трудящихся, они стоят на самой нижней ступени социальной пирамиды. Все другие по сравнению с ними могут считать себя в лучшем положении и свысока посматривать на этих «канаков» [1].

Подобно американским неграм и «чиканос», мексиканским рабочим, попавшим в США, семьи турецких «гастарбайтеров» все больше и больше оказываются загнаны в самое настоящее гетто. Социологи в таких случаях говорят, что данная часть города «теряет равновесие». В переводе на простой немецкий язык это значит: людей выбрасывают на свалку, они живут в домах, назначенных на слом, в развалюхах, бараках, ветхих, грозящих вот-вот обрушиться помещениях. В западноберлинском районе Крёйцберг в таких обветшалых перенаселенных домах живет более тридцати тысяч турок.

Пустующие дома, поджоги, полицейские облавы — симптомы положения, которое все больше напоминает Чикаго. В Крёйцберге в 1980 году более 600 турецких детей не имели возможности учиться из-за нехватки классных помещений и учителей. Лишь двое из десяти детей заканчивают старшую ступень народной школы [2]. Лишь у одного из десяти турецких мальчиков и у одной из тридцати девочек есть шанс получить место ученика на производстве. В таких условиях появляется богатая питательная почва для религиозных фанатиков и ловцов душ правоэкстремистского толка: в таких условиях фашисты из общества «Серые волки» легко вербуют себе приверженцев наподобие убийц, учинивших злодейскую расправу над активистом-демократом учителем Селаттином Кесимом. Все это не проявления «национального характера турок, плохо подчиняющихся дисциплине», это результат нашего собственного многолетнего невнимания к их правам, образованию, следствие нашей жилищной и трудовой политики.

Некоторые цифры могут дать представление о том, в каких невыносимых и даже опасных условиях живут у нас турки. Из 600 человек, которые по данным пожарной охраны ежегодно гибнут от огня в Федеративной Республике Германии, больше половины — «гастарбайтеры»; в одном лишь 1979 году сгорело 250 турок. Союз домовладельцев и владельцев участков объясняет эти цифры небрежным обращением турок с горючими материалами (то и дело можно услышать, например, будто «гастарбайтеры» разводят костры даже на пластиковых полах); но это доказывает лишь, как глубоко расистские предрассудки пустили корни даже в среде тех, кто не должен, казалось бы, опускаться до таких низостей.

При найме квартир именно турок домовладельцы надувают особенно беззастенчиво, по всем правилам искусства. В городах с большим процентом иностранцев (в Штутгарте их 17,4%, в Оффенбахе 19,1%, во Франкфурте 20,7% и в Рюссельсгейме 21,5%) турки в среднем обходятся половиной той жилплощади, которую имеют на человека их западногерманские соседи, но платят они за квадратный метр в среднем на 22 процента больше. В Западном Берлине с его большим турецким населением (106 000) более тридцати процентов квартир не имеют туалетов, 56 процентов не имеют ни душа, ни ванны и 75 процентов — центрального отопления. В гамбургском районе Оттензен положение того хуже: в 88 процентах турецких квартир нет ванны и душа, 82 процента лишены центрального отопления. Но «гастарбайтеры» платят здесь за квадратный метр вдвое больше, чем западногерманские граждане.

В этом районе, в так называемом «скандальном доме» на Клаусштрассе, 36, типичной гамбургской «казарме для бедняков», построенной еще в 1897 году и во время второй мировой войны поврежденной бомбой, ютились до своего принудительного выселения в сентябре 1980 года шесть турецких семей — восемнадцать человек. Назвать состояние этих квартир «недостойным человека» — значит смягчать выражения. Полы так прогнили, что кое-где ходить по ним было опасно для жизни. Тот, кто выходил в туалет на лестничной клетке и становился там на тонкую доску, рисковал рухнуть вместе с умывальником на нижний этаж. Все водопроводные и канализационные трубы протекали, все электрические провода растрепались и, обвисшие, пересекали комнаты, словно плохо натянутые бельевые веревки. Оконные рамы перекосились, во многих не осталось стекол, и ветер гулял по всему дому. В коридоре стояли вонючие лужи, а по лестницам шныряли крысы.

Этот «скандальный дом» не исключение, в Гамбурге в подобных условиях живет около восьми тысяч турок. Большинство домов, где вынуждены ютиться «гастарбайтеры», были сданы им спекулянтами, преследовавшими свои цели. Им было надо, чтобы дома как можно скорее пришли в негодное состояние; это давало владельцам возможность быстрей получить разрешение на снос и начать на том же месте строительство роскошных квартир.

Существует широко распространенный предрассудок, будто иностранцы сами во всем виноваты. Они, видите ли, совсем не ценят «добротной немецкой культуры жилья» и предпочитают обитать в

[1] Канаки — индейцы, обитатели Сандвичевых островов; это слово в немецком языке с середины XIX века стало употребляться в значении «дикари», «невежи».

[2] То есть 8 классов.

жалких дырах. На самом деле тут все поставлено с ног на голову; упускается из виду, что большинство турок вообще не имеют никакого другого выбора и просто вынуждены жить в развалюхах. В ходе опроса, проведенного гамбургским сенатом весной 1980 года, более восьмидесяти процентов проживающих здесь турок заявили, что рады были бы сейчас же переселиться в лучшие квартиры. Но когда Зекия Эмир, десять лет ютившаяся в Оттензене на Клаусштрассе, 36, и наконец выброшенная чиновниками на улицу, попросила в жилищном управлении квартиру с ванной, она услышала от сотрудницы: «Вы что о себе стали воображать! Виллу вам теперь подавай с ванной и бассейном! Не у всех немцев есть такие квартиры!» Просьба госпожи Эмир была отклонена, ей пришлось опять поселиться в простой, «подобающей туркам» комнатушке в Альтоне. Правда, для особых случаев в жилищных управлениях имеются «специальные ордера», но права на них безоговорочно лишены все те, кто «сами ухудшили» свои жалкие жилищные условия. То есть, по существу, все турки: ведь они добровольно сюда приехали, да еще с детьми, на которых места не напасешься. Не заводили бы детей — было бы лучше, а так пусть сами ищут себе крышу над головой.

В ФРГ не хватает миллиона квартир. Двадцать процентов тех, кто официально зарегистрирован как нуждающийся в жилье, составляют иностранцы, в большинстве своем турки. Отсюда ясно, против кого прежде всего направлено сокращение программы коммунального строительства, о котором федеральное правительство распорядилось в 1979 году,— против турецких иммигрантов. Они обречены и впредь ютиться в трущобах и гетто. Добровольно в этих бедняцких кварталах не стал бы селиться никто. Гетто — отнюдь не этнографические островки и не фольклорные фестивали, это, в сущности, тюрьмы под открытым небом, созданные окружением, враждебным к иностранцам. Это — воплощение расового и классового разделения нашего общества.

Кому случалось приезжать в Западный Берлин транзитным автобусом с аэродрома Шёнефельд в ГДР, мог заметить уже по обращению таможенных и пограничных чиновников, что на свободном Западе, видимо, существуют два сорта людей. У граждан ФРГ и Западного Берлина паспорта проверяются подчеркнуто небрежно и вежливо; зато уж турок «просвечивают» и оформляют со всеми возможными придирками. Их сумки и чемоданы обыскивают сверху донизу, их бумаги изучают листок за листком. Особенно же тщательно проверяют детей, как будто ищут похитителей малолетних. «Почему?» — спросил я в декабре 1980 года одного пограничного чиновника. «А вы думаете, зачем они сюда едут? — ответил он.— За нашими детскими пособиями!»

Когда летом 1980 года в Бонне пятнадцатилетний бюргерский сынок до смерти избил двух турецких мальчиков шести и девяти лет, пресса объяснила мотив преступления так: «Андреас не выносил турецких детей». О происхождении и подоплеке подобной ненависти бульварные листки не проронили ни слова, суд тоже уклонился от более пристального расследования и ограничился водворением несовершеннолетнего убийцы в дом для трудновоспитуемых.

Еще в XVIII и XIX веках османов считали у нас носителями высокой культуры; сейчас господствует пренебрежительное отношение к искусству и литературе восточных народов. Ни в одном западногерманском университете нет кафедры, изучающей современную Турцию или же культуру турецкого меньшинства в нашей собственной стране. Когда в ноябре 1980 года гамбургский сенат предложил ввести в некоторых экспериментальных школах с большим процентом турецких детей турецкий язык в качестве первого иностранного языка, ХДС и шпрингеровская пресса обрушилась на этот ганзейский город с обвинением, будто СДПГ хочет «насильно превратить немецких детей в турок», и сумели провалить проект.

Владельцы газетных киосков отказываются брать для продажи турецкие газеты. Почему? «Они же и читать не умеют»,— объясняют некоторые. Иногда ответ варьируется: «Они и до трех считать не могут, как с них деньги-то получить?» Или даже: «Они отпугнут от меня порядочных покупателей!» Ни в одном западногерманском книжном магазине я еще не видел турецких книг, я не знаю ни одной публичной библиотеки, где можно было бы найти турецкую литературу, если не считать нескольких детских книг, и я не знаю ни одной западногерманской антологии, где можно было бы прочесть хоть одно стихотворение Назыма Хикмета, турецкого поэта, известного во всем мире, или Араса Ёрена, поэта-рабочего, живущего в Западном Берлине и пишущего по-турецки и понемецки. Только библиотека Франкфуртского университета располагает литературой о Турции, но как туда попасть турецкому иммигранту?

Когда в ноябре 1980 года Западногерманский литературный коллоквиум организовал «Встречу немецких и турецких писателей», западногерманские литераторы не проявили к ней никакого интереса и попросту не явились. Со стороны же руководителей сената прием был оказан такой высокомерный, что представитель турецких гостей Азиз Несин обобщил свои впечатления: «Пожалуйста, господа, не переводите нас. Мне бы этого не хотелось!» При въезде, как потом с сожалением сообщил представитель полиции, писателей нечаянно спутали с «гастарбайтерами» и потому обыскали до нижнего белья, а книги забрали, поскольку пограничным чиновникам стало подозрительно, откуда это у турецких рабочих столько книг.

Беседа с Одри Моутанг

Одри Моутанг. Когда я говорю кому-нибудь, что мне тяжело здесь жить, люди обычно отвечают: наверно, дело в климате. Это ерунда. Конечно, к гамбургской слякоти надо было вначале привыкнуть, но у себя в Южной Африке я мерзла куда сильней.

Мы там жили без отопления и, когда становилось совсем холодно, просто грели камни на плите, а потом клали их под одежду. Нет, я здесь переношу с трудом вовсе не климат.

Петер Шютт. А давно ты живешь в Гамбурге?

Одри Моутанг. Уже больше пяти лет. Дочь родилась уже тут. Я бежала от режима апартеида и вначале действительно верила, что попала в свободную страну. Пожалуй, пять-шесть лет назад все обстояло чуть иначе. Но потом я стала замечать перемены.

В ЮАР царит расизм жестокий и откровенный, здесь он всячески прикрыт и замаскирован, в ЮАР его видно невооруженным глазом, а здесь его ощущаешь постепенно, на каждом шагу, и по правде сказать, эта враждебная атмосфера действует мне на нервы еще сильней. Если в автобусе тебя обзовут «обезьяной», это, конечно, задевает, но больнее ранит скрытая дискриминация.

Немцы в Федеративной Республике живут так, словно их со всех сторон окружают враги: злые коммунисты, турки и чернокожие. Они все время озабочены, как бы плотней запереть за собой дверь. Включаешь телевизор — там сплошь враги: «коварные» русские, иностранцы, так и ждущие, как бы отнять у них работу, демонстранты. Я бывала во многих странах, но нигде не видела столько ненависти, ожесточения, озлобленности. Особенно, конечно, у чиновников. Ну, с ними я уже связываться зареклась.

Петер Шютт. А что случилось?

Одри Моутанг. Вот послушай. Я уже говорила, что живу здесь пять с лишним лет. И вдруг узнаю, что родная страна, которую мне пришлось покинуть по политическим причинам, не продлевает больше мой паспорт. Мне ничего другого не остается, как просить политического убежища. Но едва я подаю об этом заявление, как биржа труда отбирает у меня разрешение на работу. Я теряю место, причем все это происходит, пока я лежу в больнице, где рожаю второго ребенка. Меня лишают также денег по статье об охране материнства. Теперь я должна каждый день бегать в отдел социального обеспечения и выпрашивать пособие, но к просящим убежища здесь плохо относятся. Мой муж сейчас как раз заканчивает учебу, да тут еще я с двумя детьми — положение хуже не придумаешь. Может, нам придется уехать в Сенегал, на родину мужа, но ему, а особенно мне, устроиться там будет почти невозможно.

Петер Шютт. Какие у тебя впечатления о больнице?

Одри Моутанг. Я лежала в одной палате с югославкой, и сестры вначале разговаривали с нами на каком-то «тарзаньем» языке. Я сперва просто не могла даже понять, чего это сестра так усиленно шмыгает носом, а это она, оказывается, таким образом спрашивала меня, нужно ли мне лекарство от насморка. Первый вопрос, который задал мне врач: «Что вам надо в Германии?» Как будто я приехала в Федеративную Республику специально, чтобы произвести на свет своего ребенка в чистой немецкой больнице. Потом я узнала, что этот человек долго жил в Южной Африке.

Петер Шютт. А есть ли, по-твоему, сходство между ФРГ и ЮАР?

Одри Моутанг. Да, по-моему, есть. Незадолго до того как родить, я отправилась на обследование. Я хотела взять такси, но ни один шофер не пожелал меня посадить. Пришлось кое-как добираться автобусом. Я почувствовала себя словно где-нибудь в Иоганнесбурге. Там есть даже раздельные санитарные машины — для черных и белых.

ФРГ ведь стала крупнейшим торговым партнером ЮАР. Фрукты, уголь, золото, бриллианты, уран для здешних атомных электростанций, да и для ядерных ракет, что собираются здесь размещать,— все это в возрастающих количествах поступает из Южной Африки и Намибии. Это не может остаться бесследным. Отходы этой торговли — то, что оседает в умах людей.

Петер Шютт. А можно, по-твоему, с этим бороться?

Одри Моутанг. Можно ли? Я знаю только, что бороться нужно. Прежде всего делать что-то нужно немцам, иначе вы сами перегрызетесь друг с другом или перебьете друг друга. Нужны какие-то политические шаги, нужны книги, вроде той, что пишешь ты, можно и нужно говорить с людьми.

Альтернативы?

Все так, но где же позитивное? — спросит меня вслед за Тухольским[1] читатель этой книги. Все же у нас не так плохо, как в ЮАР или на американском Юге. Я вот, например, каждый день здороваюсь с турком, которого встречаю на углу. И на предприятии у нас вполне прилично обращаются с рабочими из Ганы. И турчанка, на которой женился мой дядюшка в Байрете, по-моему, невероятно симпатичная.

Тоже верно: почти у каждого найдется свой «иностранец для алиби». Но, увы, это ничего не меняет в общей ситуации. Напротив, такие приятные исключения лишь облегчают нам, западногерманским гражданам, возможность закрывать глаза на проблему в целом.

Проявления расизма можно встретить в нашей стране на каждом шагу, даже там, где ты этого никак не предполагал,

[1] Курт Тухольский (1890—1935) — знаменитый немецкий публицист и сатирик.

например, в святых местах. На днях, по пути в Баварию, где было намечено мое выступление, я задержался на полтора часа в Нюрнберге и, как обычно, прошелся по городу. У самого вокзала мне бросилась в глаза картинка: характерная негритянская рожица, курчавые волосы, толстые губы, кольцо в носу — реклама аптеки «У мавра».

В коммуникационном центре «КОММ», где мне уже не раз приходилось выступать с чтениями, я зашел в туалет — и чуть не упал, увидев на кафеле надпись, нанесенную из разбрызгивателя: «Все иностранцы — жиды». И то сказать, побледнеешь от такого лозунга. Потом я попал в церковь святого Лоренца, чтобы еще раз насладиться несравненным «Благовещением» Фейта Штоса[1]. Взволнованный этой вдохновенной скульптурной группой, я вдруг обнаружил прямо рядом с ней недавно, видимо, установленную «стену для молитвы, благодарения, жалобы и хвалы господу». На этой стене висели рукописные листочки такого, например, содержания: «Боже милостивый, освободи наконец Рудольфа Гесса!», «Господи, сделай так, чтоб все иностранцы убрались отсюда и я опять получил работу!», или «Господи, сделай так, чтобы закрылись наконец все магазины секс-товаров, и пусть черные женщины ведут себя пристойно».

Поверьте, я не собирался писать сатиры. Нет, я вовсе не намерен смеяться над своей страной, над нашим народом. Если говорить серьезно, в этой полемической работе было до сих пор так мало позитивного не потому, что мои сограждане и моя страна для меня чужие и что я предпочел бы жить где-нибудь в другом месте, в другом немецком государстве, скажем, или в Советском Союзе, или в Америке. При всей своей любви к другим странам, родину своих отцов я люблю не меньше и написал эту книгу не в последнюю очередь из любви, к которой примешивается столько горечи и разочарований. Меня угнетает холод в отношениях между людьми, живущими здесь, меня мучит возрастающая враждебность людей друг к другу, я страдаю от спертого, затхлого воздуха, в котором умирает всякое человеческое чувство. Меня выводят из себя тысячи проявлений повседневного хамства: когда шофер автобуса, чтобы не отстать от расписания, захлопывает дверь перед носом запыхавшегося пассажира, когда воспитательница детского сада гонит своих питомцев по улице, как стадо, когда человек, которому перешел дорогу слепой, чертыхается вместо того, чтобы ему помочь. На каждом шагу сталкиваешься с проявлениями обыденной жестокости, которая заставляет вспомнить жестокости гораздо худшие.

Я убежден, что растущее недружелюбие в отношениях между людьми, в семьях, в быту, в общественной жизни связано в широком смысле с ростом расистских проявлений. Я считаю расизм не в последнюю очередь выражением кризиса у нас человеческих отношений вообще, попутным проявлением усиливающегося отчуждения людей друг от друга и от самих себя.

Предрассудки разделяют людей, причем граница не обязательно проводится между евреями и арийцами или между черными и белыми, она может разделять людей на католиков и протестантов, бюргеров и мнимых террористов, старых и молодых, студентов и рабочих, калек и калечащих, социал-демократов и коммунистов. Это мешает взаимопониманию. Даже левые у нас в отношениях друг с другом более напряжены, чем в соседних странах, они склонны замыкаться, как в гетто, в маленькие группировки и без нужды затрудняют совместную работу всяческими резолюциями.

При всей своей любви к отечеству, я сам порой чувствую себя чужим в собственной стране, и не только потому, что из-за моих политических взглядов меня объявляют «цепным псом Кремля», из-за моих стихов — «навозной мухой», а из-за моей чернокожей жены и того проще — «свиньей». Против этого я еще могу защищаться и сам. Нет, куда сильней угнетает меня невысказанная агрессивность, общая неспособность говорить друг с другом, равнодушие к ближнему.

Но кто не выносит людей другой нации и расы, тот начинает пугаться и подобных себе, для него становится затруднено общение, он все больше боится контактов и оказывается в конце концов неспособным к настоящей дружбе. Тот, кто относится к другим как расист, в конечном счете переносит свои предрассудки на всех встречных, он видит себя окруженным врагами; эта черно-белая схема затрудняет для него путь к себе самому и к таким же, как он.

Я выступаю против расизма, враждебности к иностранцам, к «чуждым элементам», потому что не могу пассивно наблюдать, как свойственное капитализму конкурентное мышление подавляет у нас последние остатки дружелюбия. Главное, чего я хочу,— это чтоб было больше дружелюбия в отношениях между людьми, больше заботы, больше внимания, чтобы мы преодолели все преграды и предрассудки, мешающие нам действовать совместно, и пришли к единству хотя бы в основных вопросах, каким, на мой взгляд, является прежде всего вопрос о мире. Лишь так, сблизившись в человеческом смысле, мы сможем создать предпосылки для борьбы за более гуманный и свободный общественный строй.

К сожалению, пока дело обстоит иначе. Ни в какой другой стране капиталистического или социалистического мира люди не живут так обособленно, как у нас. Они сидят рядом в автобусах или поездах — и не перемолвятся ни словом; они живут в одном и том же доме — и даже не здороваются, не ходят друг к другу в гости, не разговаривают между собой; они работают на одном предприятии по двадцать — тридцать лет и не знают личных отношений. В

[1] Фейт Штос (в польской транскрипции Витош Ствош, ок. 1450—1533) — скульптор, живописец и гравер.

нескольких километрах от границы видишь лица уже более открытые: в другой половине Берлина, в Варшаве и Праге, в Вене, Риме, Париже или Амстердаме. Только у нас люди сидят друг возле друга так окаменело, отчужденно, не смотрят один другому в глаза, не способны начать друг с другом разговор. Молчат озлобленно, замкнуто, все чего-то боятся, ни один не доверяет другому ни на грош.

Иностранцы в такой напряженной и отравленной атмосфере оказываются лишь громоотводами для всевозможных агрессивных побуждений и комплексов, им приходится расхлебывать последствия общей недружелюбности, расплачиваться за недостатки и неурядицы, в которых они меньше всего повинны. Именно потому, что иностранцы у нас не хотят так просто смириться с общей враждебностью и холодом человеческих отношений, а предпринимают то и дело робкие и не встречающие отклика попытки сближения, они наталкиваются на особую презрительность и неприязнь. Люди чувствуют, что их как бы уличили, увидели затхлость их жизни, и потому реагируют раздраженно — явно от нечистой совести...

Расизм всегда приходит справа. И он всегда имеет тенденцию перерасти в фашизм. Там, где империализм переходит в открытый фашизм, всегда дает о себе знать расизм. Так было у нас между 1933 и 1945 годами, но и для фашистских режимов в Испании, Португалии и Греции были характерны ярко выраженные расистские компоненты. Сейчас фашиствующие круги в Турции разжигают националистическую и расистскую ненависть против курдов, против греческого меньшинства в своей стране. А самым наглядным примером взаимодействия расизма и фашизма может служить режим апартеида в Южно-Африканской Республике.

Питательная почва расизма — классовое разделение общества, власть имущие используют его в своих целях против рабочего класса. Расизм явно отвечает классовому мышлению верхов, которые рады бы расколоть людей, разделить человечество на белую аристократию, желтый средний слой и черный пролетариат. С тех пор как существует коренное противоречие между трудом и капиталом, крупные монополии и враждебные рабочему классу политики разжигают расизм, чтобы расколоть рабочее движение и выделить из числа рабочих часть, которая довольствовалась бы минимальной оплатой.

Расизм выгоден современному многонациональному капиталу, и не только в ЮАР или США. Он и у нас приносит все возрастающие доходы. По грубому подсчету, около 1,8 миллиона работающих у нас иностранцев получают в среднем заработок на тридцать процентов меньше, чем их немецкие коллеги, то есть в год на человека примерно на пять тысяч марок меньше; это дает в целом внушительную сумму: девять миллиардов марок сверхприбылей в год, которые наши господа предприниматели кладут себе в карман лишь благодаря дискриминации иностранных рабочих. Добавьте к этому суммы, которые недоплачивают женщинам, и вы поймете, кто у нас непосредственно заинтересован в поддержании и разжигании расистских предрассудков против иностранцев.

Нельзя забывать, что на «гастарбайтерах» наживаются не только монополии, но и государство, получающее от них изрядную сумму в виде налогов и недоплаченных средств по социальному обеспечению. Так что и у нас расизм связан с эксплуатацией, а именно с возрастающей капиталистической эксплуатацией.

Победить расизм как коренной порок капиталистической общественной системы призван и способен прежде всего рабочий класс. Он кровно заинтересован в том, чтобы навсегда покончить с национальными и расовыми конфликтами, чтобы создать единый, интернациональный, включающий все расы фронт против своих эксплуататоров. Только там рабочие сильны и могут действовать эффективно, где они в своей собственной среде преодолели национальные, религиозные или политические разногласия и счеты, сконцентрировались на общем деле. Это относится не только к области международной политики, это важно и для внутренней жизни страны. Никакая забастовка на западногерманском сталелитейном заводе, в угольной шахте или на химическом предприятии не может больше привести к успеху, если прежде и в ходе ее не будет достигнуто взаимопонимание и единство между немецкими и иностранными рабочими.

Социализм несовместим с расизмом. Там, где существует расизм, нельзя ни построить социализма, ни даже ожидать его. Я не собираюсь утверждать, что в социалистических государствах все национальные проблемы уже решены раз навсегда. Но то, что сделал, например, Советский Союз для народов Сибири или Средней Азии, многим из которых при царизме угрожало полное вымирание (я рассказал об этом в своем репортаже «По Сибири»), не имеет примера в мировой истории. Поощрение лужицкого меньшинства в ГДР, интеграция цыган в Венгрии и, конечно, национальное равенство в Югославии — все это тоже может служить примером. Социалистическая Куба показала всему миру, как можно покончить с классовыми и расовыми противоречиями между черными, привезенными сюда когда-то в качестве рабов, и белыми, которые до революции занимали господствующее положение.

В Федеративной Республике социализм сейчас не стоит на повестке дня. Что нам насущно необходимо, так это движение в защиту гражданских прав, которое всей своей мощью и со всем возможным единством противостояло бы росту расизма, враждебности к иностранцам и «чуждым элементам». Правозащитное движение, в котором на рав-

ных участвовали бы и немцы, и их иностранные сограждане, которое выступало бы за солидарность и братство между гражданами страны и между всеми народами. Движение активное, боевое, которое мирными средствами способствовало бы демократизации и улучшению нашей жизни. Такое антирасистское движение было бы насущным дополнением движения в защиту мира. Мы никогда не сможем заставить власть имущих в своей стране отказаться от представлений о войне, об атомной войне как о последнем средстве политики, если сами решительно не постараемся покончить с ненавистью, раздорами и неприязнью в нашей собственной среде.

Войну можно предотвратить прежде, чем она разразится, и надо бороться с ней там, где она всегда подготавливается: в умах людей, в школьных учебниках, в средствах массовой информации. Большинство войн за последние десятилетия были связаны с расистскими мотивировками: истребительная война нацистов, стоившая жизни 55 миллионам человек, корейская война, вьетнамская война, многочисленные нападения Израиля на своих арабских соседей, южноафриканских расистов на освободительные движения в Анголе, Мозамбике, Зимбабве и Намибии, американские интервенции в Латинской Америке. Расизм то и дело порождает войны, гражданские войны между нациями в собственной стране и агрессивные войны против других народов.

Наше антирасистское движение могло бы многому поучиться у других стран. У американского движения в защиту гражданских прав, которое дало Мартина Лютера Кинга, Анджелу Дэвис и Бена Чевиса, у антирасистских движений и объединений во Франции, Англии или Голландии... Само собой разумеется сотрудничество с антифашистами, с противниками войны и гонки вооружений, со всеми демократическими силами, которые выступают у нас в защиту человеческих и гражданских прав. Столь же необходимым представляется установление связей с профсоюзами и организациями рабочего движения, потому что без рабочих никакое антирасистское движение не сможет добиться своих целей.

Уже известно немало попыток организоваться в борьбе против расизма. Назову хотя бы Движение против апартеида, Антиимпериалистический комитет солидарности, Объединение демократических обществ турецких рабочих, греческие, итальянские и португальские общества, Объединение цыган, Общество народов, находящихся под угрозой, христианские группы солидарности, Общество жен иностранцев, Объединение лиц, преследовавшихся при нацизме, Демократический союз культуры и различные региональные организации. Следовало бы привести все эти начинания к общему знаменателю.

Нам нужны совместные действия, нам нужна более высокая ступень совместной работы и взаимной поддержки; необходимо привлекать больше внимания общественности ко всем инициативам, направленным против расизма в нашей стране и во всем мире. Надо создать в больших городах Центры дружбы народов, открытые для каждого мужчины или женщины, будь то черный или белый, желтый или краснокожий.

В моем родном городе Гамбурге живут, согласно официальным данным, граждане из 121 государства мира. Какое культурное разнообразие, какую духовную мощь мог бы сосредоточить международный центр встреч, предоставленный в распоряжение людей всех этих национальностей и их сограждан-немцев! Гамбург поистине стал бы интернациональной метрополией, городом мира, каким он не может быть до тех пор, покуда не осознает свой интернациональный характер...

Антирасистское правозащитное движение совместно с другими демократическими силами должно позаботиться о том, чтобы идеям взаимопонимания между народами, мира и солидарности с людьми других наций уделялось больше места в школьных учебниках, в учебных планах, на уроках, это должно стать важнейшей темой в преподавании социологии.

Искусство, литература, кино, театр, радио и телевидение — все средства массовой информации должны больше, чем до сих пор, служить преодолению расистских и шовинистических предрассудков. В области культуры, несомненно, делается многое для дружбы между народами: выступления против правых, против расизма, фольклорные и городские фестивали с участием турецких, итальянских и других ансамблей, первые антологии с участием пишущих иностранных рабочих, радиопередачи на испанском, португальском, итальянском, греческом, сербском или турецком языках, примечательные инициативы чилийских эмигрантов — от настенной живописи до фольклорных групп,— музыкальные программы против апартеида «Sounds of Soweto» [1], программа бременского хора «Современники».

Совместные усилия демократических, а это значит также интернационалистских деятелей культуры способны вырвать инициативу из рук шовинистов и расистов типа Конзалика [2] и К°, лишить их влияния на массы, с тем чтобы наша передовая культура от «Западно-восточного дивана» Гёте до «Моренги» Уве Тимма, от гейневского «Корабля рабов» до «Тонио Сцево» Франца Йозефа Дегенхардта могла внести свой вклад в дело мира и дружбы между народами.

Федеративная Республика Германии — государство многонациональное. Чем раньше мы это осознаем, тем больше пользы сможем извлечь из культур-

[1] «Голоса Соуэто» *(англ.)*.

[2] Конзалик Х. Г. (род. в 1921 г.) — реакционный писатель.

ного и национального разнообразия нашей страны. Сейчас вошли в моду турецкие шаровары, африканские косички и греческие кушанья — скромное начало попытки поучиться у наших гостей-иностранцев. Нам надо набраться мужества, чтобы поучиться у других народов не только одежде и кухне. Это сделает богаче нашу жизнь, сделает нас дружелюбнее в обиходе, и, может быть, на пути к другим мы обретем и самый лучший путь к себе самим.

Перевод с немецкого М. СЕРГЕЕВА

◆

АМЕРИКА: МАРШРУТАМИ НЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Прибытие в Нью-Йорк

...Тот, кто благополучно приземлился в Нью-йоркском международном аэропорту, тем самым еще далеко не прибыл в Америку. Ворота, ведущие к свободе,— паспортный и таможенный контроль — представляют собой узкий тесный проход, «жесткий допуск», в буквальном значении слова игольное ушко, через которое пройти труднее, чем богатому попасть в царствие небесное. Нужно пересечь мрачный туннель, по меньшей мере в три раза более длинный, чем подземные переходы, ведущие к пограничному пункту на Фридрихштрассе в Берлине, и выстоять очередь, по меньшей мере в шесть раз более длинную, чем на границе ГДР, прежде чем вам удастся предъявить паспортному контролю ваши документы и въездную визу. Молодая дама, восседающая в своей пуленепроницаемой стеклянной кабине, как Белоснежка в хрустальном гробу, увидев в моей визе в графе «профессия» слово «литератор», желает выяснить, что я за литератор такой, занимаюсь ли преимущественно журналистикой или пользуюсь силой воображения.

— Я сочиняю стихи и истории и часто пользуюсь силой воображения.

— O,that's nice,— замечает она.— No politics?

Я подтверждаю:

— No, no, no [1].

— And no pornos? [2] — спрашивает она с несколько наигранной фривольностью.

Я делаю вид, что принимаю ее игру, и говорю, что некоторые люди уже называли меня порнографом, грязным писакой и бог весть кем еще. Я пишу любовные стихи, но я не сочиняю порнографических книг, я приличный, порядочный немец.

Богиня свободы удовлетворенно улыбается. «Please, come in [1],— приглашает она. — Америке нравятся такие люди», и отсылает меня к следующему барьеру, на таможенный контроль, и таможенник оказывается таким же любезным фарисеем с таким же интересом к литературе, как его коллега в паспортном отделении.

Я открываю чемоданы, и мои книги (в основном авторские экземпляры моих собственных книг) немедленно вызывают его подозрения. Книгу о Вьетнаме, книгу о Сибири он перелистывает страницу за страницей, похоже, он пытается обнаружить что-то между строчками. Хотя я предъявляю ему три экземпляра моего последнего сборника стихов, он проверяет каждый экземпляр отдельно. «У нас часто выходят неприятности с авторами, привозящими с собой книги собственного сочинения. Большинство из них провозят гашиш и устраивают из книг настоящие тайники»,— объясняет мне таможенник.

Затем его внимание перемещается на мою одежду и на привезенные мной конфеты. После того как я вытряхнул большую часть содержимого моих чемоданов, он снова переводит разговор на книги. Особенно книга сибирских репортажей с серпом и молотом на обложке вызывает его раздражение.

— Вы сами написали эти книги?

Я киваю.

— Похоже, вы не такой уж друг Америки.

Я протестую:

— Я женат на американке, и я люблю мою жену.

Он с сомнением качает головой.

© Weltkreis-Verlag, Dortmund, 1980.

[1] Очень мило. Политика вас не занимает? — Нет, нет, нет *(англ.)*.

[2] А порнография? *(англ.)*.

[1] Пожалуйте *(англ.)*.

— Вы пишете правду или одну пропаганду?

— Правду, ничего, кроме правды,— отвечаю я и произношу это с глубоким убеждением.

— А не коммунистическую пропаганду? — спрашивает он снова.

— Никакой пропаганды, только факты, клянусь вам.

— А что означает это изображение на обложке?

Я краснею и смущенно подыскиваю подходящий ответ, но таможенник, кажется, убедился наконец в моей безобидности. «Обращаю ваше внимание на то, что серп и молот не вызывают одобрения в некоторых американских штатах»,— заявляет он, нажатием кнопки открывает барьер и выпускает меня на свободу, не удостаивая прощальным приветствием.

Итак, после двух часов унижений, лавирования, нервной дрожи я в Америке! И меня встречают как товарища по партии!

В конце последнего отрезка длинного пути сквозь ночь туннеля в толпе возникают Мэй Фишер и Макс Курц, американские коммунисты, члены братской партии, которых я до сих пор знал только по письмам. В руках они держат картонные щиты с лозунгом: «С приездом, Петер Шютт!»

Дружелюбие и радость Макса и Мэй заставили меня тут же забыть мытарства процедуры прибытия, в их обществе я чувствую себя так спокойно и уверенно, словно приехал не в Нью-Йорк, а в знакомую и родную Москву. Через два часа я вылетаю в Питтсбург, и Америка уже не кажется мне ни страшной, ни ужасной.

Когда я в начале мая во второй раз прилетел в Нью-Йорк, я прямо из аэропорта на собственный страх и риск бросился в гущу жизни. Я спустился в метро и проехал полгорода под землей, и у меня было такое чувство, словно я совершил путешествие в Америку из Европы через Азию и Африку. На каждой очередной станции в вагон входили люди новых национальностей, по мере продвижения поезда из одного района города к другому мои спутники меняли цвет кожи и манеру поведения.

Выйдя из метро в Гарлеме, я очутился в совершенно новом для меня мире. Здесь дул другой ветер, а песок поднимался тучами, как в пустыне. Старые люди с обреченным видом сидели на корточках перед своими облупившимися жалкими домами, по улицам шатались компании парней, развязных и гордых, как тигры. Девушки в узких брюках и трикотажных майках в обтяжку двигались по улице, как по подмосткам сцены. В воздухе висела напряженность, терпеливость стариков плохо примирялась с самоуверенностью молодого поколения. Я, белый среди цветного окружения, казался себе каким-то бледным и бескровным, я пытался скрыть свой недостаток и держаться так же смело, как парни вокруг меня, едва удостаивавшие меня взглядом.

И вот, наконец, цель моего путешествия — Ковент авеню, темное китовое чрево баптистской церкви, где должен был состояться торжественный митинг в честь открытия национального конгресса Союза борьбы против политического и расового угнетения. Уже за час до официального начала церковь была переполнена до отказа, о том, чтобы проникнуть внутрь, нечего было и думать. Однако мне повезло: цепь черных красавиц с тысячью жемчужин в волосах окружила меня кольцом. Почувствовав мою нерешительность, они взяли меня, бледнолицего, под свою защиту, взяли меня за руку, провели под сводами церковных подвалов по лестнице, ведущей на кафедру, и я очутился в самой глубине церкви в непосредственной близости от алтаря. Вокруг тесной толпой стояли красивые женщины, очень красивые женщины, необычайно красивые женщины, и среди них — смеясь, споря, излучая радость жизни — Анджела Дэвис. С тех пор как ее вырвали у смерти, многие черные — я мог видеть это собственными глазами — распрямили плечи. Не желая больше покорно склонять голову, они открыто проявляли свой бурный африканский темперамент. Меня увлекла колышущаяся масса людей, в этой рокочущей волне человеческих душ и тел я чувствовал себя словно родившимся заново, словно воскресшим из мертвых. Многоголосый шум тысячной толпы, казалось, сливался в единый глагол, словно на людей вдруг снизошел дух нового братства. В этом плавильном тигле блаженного опьянения чувством солидарности мне дано было пережить незабываемые минуты: на церковную кафедру один за другим поднимались мужчины и женщины, лучшие люди «другой» Америки. Они отчитывали Дядю Сэма за недостойное поведение и красноречиво выражали свою горячую веру в новое человеческое сообщество.

Захваченные восторгом толпы, вдохновленные ритмом рукоплесканий, ораторы, словно ангелы, возносились над низостью, над низменностью Америки, а когда в едином порыве тысячи людей вдруг поднялись с церковных скамей, показалось, что вся община словно оторвалась от земли и свободно парит в воздухе, как мятежные духи на великой картине Микеланджело.

Открывая митинг, пастор Уилсон приветствует четыре тысячи борцов за гражданские права, собравшихся в его церкви. Вслед за ним на кафедру поднимается Клаудиа Лофтис, возглавляющая Нью-йоркскую секцию Союза. В сосредоточенном молчании, стоя, община слушает включенную Клаудией магнитофонную запись приветствия, присланного участникам митинга из тюрьмы, где отбывают заключение Бен Чейвис и Джордж Меритт. Братья были осуждены за то, что требовали равноправия черных и белых. Обращаясь к собравшимся, они благодарят за всегда ощущаемое ими чувство солидарности: их дух не сломлен, они с надеждой смотрят в будущее, глубоко верят в окончательную

победу справедливости. Затем слово получает Леннокс Хиндс, представитель американской секции черных адвокатов. Он клеймит позором расовую юстицию Америки, которая только в прошлом году приговорила к тюремному заключению девятьсот невинных. Прерываемые песнями движения за гражданские права, один за другим выступают Эйб Файнглас, заместитель председателя Федерального профсоюза рабочих боен, Жильберто Герена-Валентин, единственный представитель почти двухмиллионного пуэрториканского меньшинства в городском совете Нью-Йорка, и Чарлин Митчел, которая, как и Анджела Дэвис, является сопредседателем Союза борьбы против политического и расового угнетения.

Потом под стенами церкви снова нарастает рокот скандируемых лозунгов: «Брюс Райт — олл-райт!» и «Мы хотим Райта!» Они звучат в честь черного судьи Брюса Райта, против которого его же коллегами-юристами было возбуждено дело о дисквалификации: он отказался вынести обвинительный приговор молодому человеку, причастному к ограблению, мотивируя свой отказ так: «Нужно обвинять не этого юношу, но социальные условия, приведшие его к преступлению, и город Нью-Йорк, который ничего не делает для устранения этих невыносимых условий». Судья Райт обвиняет полицию города в том, что с начала января среди бела дня было убито четверо борцов за гражданские права, причем полиция даже не провела расследования этих преступлений. После него выступает седой старик — последний оставшийся в живых из группы «Скоттсборо бойз», в которую входило девять негритянских юношей, приговоренных в начале сороковых годов к смерти по ложному обвинению в изнасиловании; их удалось освободить только после многолетней борьбы и протестов широкой мировой общественности. Затем слово получают белая и черная женщины с Юга Америки, профсоюзная деятельница Энн Брэйден и Салли Дэвис, мать Анджелы, она из Бирмингама, штат Алабама. Ее сменяет Джеймс Болдуин, один из крупнейших ныне живущих писателей Америки, который только что возвратился из Франции после десятилетнего отсутствия и впервые подымает свой голос на митинге Союза. Болдуин высится над толпой, как ангел Барлаха, строгий, вдохновенный, словно вытесанный из куска дерева ангел справедливости. Под сводами церкви раздается голос писателя, чьими устами вещает угнетенный народ.

Община знает, что сейчас будет выступать Анджела Дэвис. Улыбаясь, она поднимается на кафедру и простыми, ясными словами говорит о том, как много еще предстоит сделать. А потом Анджела остается на возвышении, ее голос слышен всем, и вся братская община, как один человек, начинает петь «We shall overcome»[1].

[1] «Мы выстоим» *(англ.)*.

Рай и ад в Нью-Йорке расположены очень близко друг к другу, они такие же соседи, как церковный колокол и полицейская сирена в Гарлеме. Как только митинг, продолжавшийся четыре часа, закончился, толпа народа мгновенно рассеялась. Это произошло так быстро, что в суете я потерял друзей, с которыми собирался возвращаться домой, и вдруг оказался один-одинешенек на Ковент авеню. В несколько минут декорация совершенно переменилась, я почувствовал, что движусь в абсолютно чуждом, враждебном окружении. Не осталось и следа того ощущения безопасности и тепла, которое я испытал в чреве церкви. Я бросился к ближайшей остановке метро, даже нашел ее в полной темноте, но тут же, едва заглянув внутрь, в недра подземки, отпрянул назад: вход в метро блокировала банда подростков, при виде которых меня уже издали охватил такой страх, что я тут же решил добираться до дома другим путем, чего бы это ни стоило.

Я снова стоял один на улице и потел, теперь уже не от восторга, а от страха. И тут-то я увидел, как оно происходит: один человек переходит улицу, другой незаметно подходит к нему сзади и, прежде чем жертва успевает достичь противоположной стороны, преследователь всаживает ему в спину какой-то острый предмет. Человек почти беззвучно опускается на землю. Пока один падает, другой хватает его портфель и исчезает в гарлемской ночи. Ограбленный валится наземь, в грязь, остается там лежать, и никто, никто из прохожих не обращает на него ни малейшего внимания. В полном недоумении я наблюдаю, как мимо на огромной скорости проносится полицейская машина. Я сам больше не думаю о том, как помочь раненому. Я слишком боюсь за свою жизнь. Чтобы не попасться на глаза грабителям и избежать «бек-стаббинга», то есть знакомства с ножом нью-йоркского уголовника, я просто выбрасываю свой портфель, поскольку его содержимое в данный момент представляется мне излишним. Я кидаюсь на мостовую, чтобы поймать такси, поднимаю вверх обе руки, отчаянно жестикулирую, подобно утопающему, но такси стремительно проносятся мимо и только сигналят, когда я становлюсь им поперек дороги. Наконец, после четверти часа беспомощного ожидания, махания и взывания, какой-то молодой человек, прохожий, спрашивает меня, не может ли он мне помочь. Я готов броситься ему на шею, но он решительно отклоняет всякие проявления благодарности и в следующий же момент небрежным мановением руки останавливает такси. Он даже помогает мне сесть и категорически отказывается от вознаграждения.

Таксист тоже держится со мной исключительно вежливо, интересуется, откуда я приехал, кто по профессии, и между делом переговаривается по-итальянски со своим диспетчерским пунктом.

Я уже собираюсь облегченно вздохнуть, как вдруг таксист выключает фа-

ры, въезжает в темный переулок и включает внутреннее освещение. «Give me your money» [1],— произносит он без тени вульгарности. Я вынимаю портмоне и извлекаю из него пятидолларовую купюру. Он благодарит: «You have more, please»[2]. Я даю ему еще пять долларов. Он благодарит и хочет получить еще. Я даю ему новую ассигнацию, на этот раз двадцатидолларовую, но он все еще недоволен. Без спешки, постепенно, в несколько приемов он избавляет меня от груза наличных денег.

В заключение он берет мое портмоне, любезно просит предъявить бумажник и тщательно проверяет, не застряла ли где-нибудь оставшаяся незамеченной купюра. Сей благородный разбойник оставил мне 1 доллар и 10 центов на телефонный звонок. А 173 доллара 35 центов он у меня изъял как пожертвование в пользу нью-йоркского уголовного мира. Еще раз поблагодарив, он благополучно доставляет меня по указанному адресу и прощается с истинно итальянским обаянием. Я тоже благодарю его и делаю это с чувством глубокого облегчения и от всего сердца. Я благодарен этому типу за то, что он хоть и отнял у меня все деньги, но оставил в живых.

Когда я, оказавшись наконец в безопасности, рассказываю Максу Курцу мою детективную историю, он поздравляет меня: «Тебе чертовски повезло. Ты нарушил сразу три заповеди: находился ночью один на улице, имел при себе слишком много денег и сел в первое попавшееся такси, принадлежащее мафии».

На следующее утро в местном издании «Нью-Йорк таймс» под прогнозом погоды и биржевыми новостями я читаю полицейский отчет о прошедшей ночи: «11 убийств, 37 разбойных нападений, 197 краж со взломом, 312 дорожных происшествий, 67 раненых, 6 погибших, 17 пожаров. Особые происшествия: таковых не зафиксировано». Будни Нью-Йорка. Теперь я понимаю, почему ни прохожие, ни даже полиция не нашли времени для человека, зарезанного на Ковент авеню.

Питтсбург, Форбс авеню

Скверрел-Хилл в Питтсбурге, городе рабочих, называют «детской площадкой для интеллигентов». Здесь живут преподаватели и студенты университета и служащие фирм, изготовляющих счетно-решающее оборудование. Здесь очень значителен процент еврейского населения, и Скверрел-Хилл не открещивается от этого факта. Как раз против нашего дома находился центр еврейской общины, а в радиусе примерно пятисот метров располагались по меньшей мере пять производивших в совокупности весьма импозантное впечатление синагог, на каждой из которых висел один и тот же плакат с лозунгом: «Спасите советских евреев!» На углу Мюррей-стрит — скопление еврейских кондитерских и булочных, мясные лавки и другие продуктовые магазины с «исключительно кошерным» товаром. На улице то и дело слышна немецкая речь, а иногда даже идиш. Я встречал почтенных старцев с длинными бородами, в длинных пальто, которым удалось эмигрировать во времена фашизма и которые задавали мне тревожные вопросы о неонацизме в ФРГ. С одним из них, зубным врачом Куртом Розенхаймером, я даже подружился. Но наша стихийная дружба дала крупную трещину, когда он узнал, что я состою в коммунистической партии, и разбилась окончательно, когда он несколько дней спустя встретил меня на улице с моей черной женой и дочерью. На старости лет он явно превратился в американского расиста.

И все же я бы мог остаться на Скверрел-Хилл. В этой части города я чувствовал себя хорошо не только потому, что там жила моя семья. Многое с самого начала напоминало мне родной Гамбург, район Эппендорф, не только потому, что у нас на Эппендорфской дороге, совсем рядом с моим домом, уже давно стоит киоск фирмы «Макдональд», где продаются гамбургские сосиски, работает типично американская дискотека для подростков и имеется универмаг, торгующий по безналичному расчету, с точно таким же выбором товаров, что и на Форбс авеню. Похожа сама атмосфера города: жители здесь, как и там, ведут себя довольно свободно и непринужденно, не сторонятся друг друга на улице, предпочитают сандалии сапогам, а цветные рубашки галстукам и белым воротничкам. Разве что смешение племен и народов на Скверрел-Хилл еще пестрее, чем в Эппендорфе: кроме еврейских есть множество сирийских и японских магазинов, баварская кондитерская, где продают фигурные пряники, методистская школа, центр Хара-Кришны, итальянские и персидские рестораны, одно турецкое кафе и одна немецкая сосисочная. Пролетарии и мелкие буржуа из всех стран света привезли с собой в Америку какую-то часть своей культуры, и американскими в этом квартале являются, собственно, только банки. Они принадлежат трем городским идолам: Карнеги, Меллону и Фрику — и выглядят как греческие храмы, римские термы или готические монастыри. На поклонение к богу Маммоне американцы в самом деле ходят почти так же часто, как в туалет, несколько раз на дню. Они все вместе построили себе карточный домик из кредитных карт и постоянно находятся в движении, стремясь обменять карту одного банка на карту другого банка. Если вы, приехав в Америку, захотите расплатиться наличными, с вами произойдет то же, что и со мной в первые дни пребывания: вас примут за подозрительную личность, которая спит под мостом и зарабатывает на жизнь грабежом банков. Только имея кредитную карту, вы можете считать себя человеком.

[1] Дайте мне ваши деньги (*англ.*).
[2] Извините, у вас есть еще (*англ.*).

Через два дома от нашего находилась публичная библиотека, основанная каким-то банком. Ее фонд составляли книги на пяти различных языках. Среди книг я, к моему величайшему удивлению, обнаружил собственную докторскую диссертацию о немецком поэте эпохи барокко Андреасе Грифиусе, которая, по-моему, не может представлять интереса для американцев. Она попала сюда как наследство какого-то профессора, завещавшего всю свою частную библиотеку жителям района. Приятно было смотреть, как непринужденно население Сквиррел-Хилл осваивает сокровища библиотеки. То и дело входили примерные домашние хозяйки, которые с сосредоточенным видом и прямо-таки научным рвением рылись в кипах специальных порнографических журналов; дети весело листали комиксы с Микки-Маусом, а старики со знанием дела включали аппараты для чтения микропленок.

Наша дочь Инга училась в школе Райтценштайна. Школа представляла собой, по крайней мере с виду, современное, многообещающее здание, выгодно отличавшееся от других школьных строений казарменного типа, которых так много и на моей родине, и здесь, в Америке. Школа смешанная, половина учеников — черные, сразу видишь, что учеников разделяет очень многое. Пасторские дочки и профессорские сынки со Сквиррел-Хилл и прилегающих окрестностей пользуются всеми мыслимыми преимуществами, они учатся играть на фортепьяно, берут уроки тенниса и верховой езды, в то время как дети нижнего черного слоя, начиная с младших классов, вытесняются в группы отстающих, и все чаще бывает так, что через десять лет они выходят из школы, не научившись толком читать и писать. Заместитель директора призналась мне, что обычно треть учеников заведомо «списывается в пассив», до них никому нет дела, и им приходится самим справляться со своими проблемами, сложностями и семейными обстоятельствами. И даже не потому, что учителям не хватает доброй воли,— при более чем тридцати учениках в классе у них просто не хватает сил и педагогических возможностей. Для самых трудных случаев в школе имеется дежурный пост, который в случае опасности защищает учителей от учеников. Однако он не может помешать ни торговле наркотиками, ни пьянству подростков, ни тому, что школьники организуют банды, которые систематически грабят магазины и торговые палатки. Приходя из школы, Ингрид каждый раз приносила целый ворох новостей, вызывавших в доме бурные дискуссии, и хотя домашних заданий ей почти не задавали, она ставила перед нами достаточно трудные проблемы.

Но вернемся на Форбс авеню. Подобно узкому каньону, она вытекает из горной гряды небоскребов питтсбургского квартала Даун-Таун. У ее истоков стоит самое высокое здание города «US STEEL-BUILDING» — огромный чурбан из стали и темно-коричневого стекла, неутомимо поглощающий свет, чтобы в своих недрах обратить его в золото. Большинство других высотных зданий были построены в прошлом веке, и их фасады напоминают потрепанные, но все еще хранящие следы былого блеска костюмы. В архитектурном отношении это явно выраженные метисы: их ренессансные порталы, острые готические башни и романские оконные арки являют собой причудливую мешанину всех стилей, известных в европейской истории искусства. Заметно, что эти здания знавали лучшие времена на переломе прошлого и настоящего веков, когда стальные короли Питтсбурга, все эти Карнеги, Фрики и Меллоны стояли у кормила власти и строили город по собственному вкусу и разумению.

...За вокзалами и железнодорожной насыпью начинается мир, где вдруг понимаешь смысл американской поговорки: «Он родился не с той стороны железной дороги». В районе Хилл-Дистрикт, рассеченном по всей длине Форбс авеню, живут почти исключительно черные и другие непривилегированные. Деревьев здесь почти нет, желтоватые, пахнущие серой тучи дыма, извергаемые сталелитейными заводами, заволакивают небо, на фоне которого торчат только голые холодные столбы телефонных линий и электропередач. Одноэтажные, редко двухэтажные дома производят впечатление глубокой запущенности. Повсюду лежат горы мусора, который, по-видимому, никуда никогда отсюда не вывозится.

Конечно, трущобы Хилл-Дистрикта не идут в сравнение с гетто Нью-Йорка или Чикаго. И все же впечатление удручающее. Нищета буквально бросается в глаза. Проблемы встречают вас на каждом шагу — как кучи неубранных нечистот, как детский плач и детская брань, как мертвецки пьяные люди, валяющиеся на улицах.

Несколько раз я вместе с товарищами из компартии ходил в Хилл-Дистрикт распространять «Дейли уорлд». Это было нелегким делом, у нас в Эппендорфе значительно легче ходить от двери к двери, предлагая мужчинам и женщинам купить газету «Унзере цайт».

Больше всего меня потрясала немота обитателей гетто, с которой сталкиваешься сразу на пороге жилья. Я нажимал на кнопку звонка, кто-то угрюмо и молча открывал дверь, я произносил свою заготовленную фразу, но ответом мне обычно бывало беспомощное молчание, словно я обращался к глухонемым.

В этом молчании сливалось все: изумление по поводу того, что в дом вошел белый без полицейской формы, недоумение при виде живого коммуниста и абсолютная беззащитность перед всем, что проникает извне.

...Квартиры обставлены в кредит, убого и однообразно. Дорожки из маисовой соломы, стулья, сплетенные из ивовых прутьев, все остальное по большей части подобрано на свалке или куплено у

старьевщика. Библиотека в большинстве домов представляет собой внушительное собрание бесплатных фирменных каталогов, дорожных проспектов и брошюр филантропических организаций.

Жилой район черных занимает в длину один километр. К нему примыкает квартал, заселенный в основном иммигрантами итальянского происхождения. Национальный состав жителей черных и белых городских районов с течением времени неоднократно менялся. Так, итальянский квартал был некогда построен немцами, которые затем перекочевали в более престижные районы, а Хилл-Дистрикт еще до 50-х годов был заселен иммигрантами славянского и средиземноморского происхождения, и только позже он был завоеван нахлынувшими с юга афро-американцами.

В каждом газетном ларьке вдоль Форбс авеню сидит черная киоскерша, с улицы она смотрится как «женщина без нижней части туловища», которую показывают на ярмарке. Все газетные киоскерши в Америке — черные, зато все красотки на обложках иллюстрированных журналов белы, как сама невинность.

...Книжные магазины вдоль Форбс авеню информируют о том, как отделаться от прыщей на лице, как в течение одного вечера соблазнить женщину, как разбогатеть в один день, как добиться главенства в семье, как преодолеть свою робость, как найти работу, как экономить при уплате налогов, как разбить цветущий сад, как стать выдающимся политиком и как преодолеть комплекс неполноценности. Книжные магазины предлагают решение любой жизненной проблемы. Нужно только взять из ящика соответствующую брошюру, иметь при себе необходимую мелочь и непоколебимо, как в церкви, верить рекомендациям.

В университетском городке, в отличие от большинства высших школ в ФРГ, редко увидишь радикалистские надписи на стенах, лозунги и плакаты. А между тем расовое равноправие находится здесь еще в зачаточном состоянии. Количество цветных студентов на всех факультетах, кроме спортивного, составляет менее пяти процентов, число черных преподавателей — даже менее одного процента. Зато эмансипация женского пола успешно прогрессирует. Студенток в городке явно больше, чем студентов. Обычно они носят под грудью целый пакет с учебниками или прижимают его обеими руками к животу, словно хотят в буквальном смысле слова вобрать в себя книжную премудрость.

О телесном здравии более чем тридцати тысяч студентов печется не столовая, но широкая сеть закусочных вдоль всей Форбс авеню. За их стеклянными стенами в обеденное время видны фигуры обедающих. Они двигают челюстями, погрузившись в собственные мысли, и смотрят прямо перед собой, не обращая внимания на соседей. Разумеется, множество однотипных закусочных является не столько выражением недоразвитой культуры американского быта, сколько показателем реального жизненного уровня среднего американца. Больше чем на одну ветчинную, сырную, рыбную, куриную, двойную сырную, питтсбургскую или баранью котлетку денег у студентов обычно не хватает, столовые на предприятиях — редкость, а хорошие рестораны, как правило, слишком дороги. «Макдональд» — это целая система, целая метода, начала которой я мог наблюдать еще дома, в Гамбурге. У нас в Эппендорфе тоже была закусочная фирмы «Макдональд» с таким же респектабельным белым хозяином при воротничке и галстуке, как и здесь, в Питтсбурге. Обслуживающий персонал по эту сторону прилавка — сплошь белые женщины; в кухне, куда можно заглянуть из зала, работают только черные мужчины. В порядке исключения концерну удалось в большинстве штатов получить разрешение на использование в своих филиалах 22 000 детей в качестве подсобной рабочей силы — скандал, в связи с которым в Год ребенка выразила свое сожаление даже «Нью-Йорк таймс».

Так что дешевая цена котлеток обходится дорого. Ее делает возможной детский труд, дискриминация женщин и заниженная оплата труда черного меньшинства. Попытки студенческих корпораций и профсоюзов организовать по всей стране бойкот «Макдональда» каждый раз проваливались прежде всего потому, что почти нигде нет приемлемой альтернативы.

Посреди Манхэттена

В тот момент, когда я пишу свою главу о Нью-Йорке, все наши буржуазные газеты изливают восторги в адрес Вуди Аллена и его киношедевра «Манхэттен». Бесспорно, это очень красивый фильм, полный романтики и меланхолии. В нем показан город-мечта, столица без язв и грязи, трогательная и в то же время забавная, равнодушная и в то же время сентиментальная панорама огромного города, в котором живут сплошь рафинированные, утонченные и до невроза чувствительные граждане мира, комики, художники и психиатры. Такой ностальгически притягательный Нью-Йорк существует только в воображении Вуди Аллена. Волшебник экрана изобразил Нью-Йорк как космополитический рай, как фантастический мираж города без кварталов нищеты, без Гарлема, Бронкса и Бауэри, без банд шантажистов и грабителей, город, где человеку не грозят никакие опасности, кроме ночных гроз и ливней. Фильм аранжирует для зрителя гершвиновскую «Голубую рапсодию», ночную прогулку в конном экипаже по Центральному парку, робкую пару влюбленных под Бруклинским мостом, множество силуэтов, абрисов и профилей перед призрачно освещенными окнами небоскребов... Все это так же далеко от реального современного Нью-Йорка, как наш расколотый мир от Вечного

мира. Но в том-то и причина феноменального успеха фильма: он снова пытается воскресить «отгремевшую славу гигантского города».

Товарищ Макс Курц, опекавший меня в Нью-Йорке, кинооператор по профессии и человек, великолепно разбирающийся в ситуации, рассказал мне, что Вуди Аллен мог вести съемки своего «романса в серых тонах» только под присмотром сорока охранников. И несмотря на это, его операторская группа во время съемок ночного Гудзона несколько раз подвергалась обстрелу. Этих выстрелов в фильме не слышно. Куда ближе к реальности другая кинолента о Нью-Йорке, «Воители»,— патетическая история молодежной банды из предместья. Фильм снят в резких, кричащих тонах и изобилует сценами насилия и жестокости. Он показывает ту сторону жизни восьмимиллионного города, которую Вуди Аллен элегантно обходит стороной,— кварталы бесправных и неимущих, где разыгрывается кровавая эпопея стычек между бандами и полицией. Банда «воителей», преследуемая конкурирующими гангами и полицейскими патрулями, пытается бежать из Бронкса через Манхэттен в южный Бруклин. Сюжет выстроен по всем правилам вестерна как романтическая легенда о горстке друзей-единомышленников, затерянных во враждебной стране. Преступники, чья жизнь сводится к единственной цели — выжить, дожить до завтра, окружены в этом фильме ореолом героизма. Но, несмотря на всю идеализацию, в нем есть какие-то проблески реальности — и потому он, в свою очередь, влияет на эту реальность.

Во время моего пребывания в США «Воители» демонстрировались во всех крупных штатах страны. Молодежь толпами валила в кинозалы и была настолько взбаламучена этой поэтизацией войны нью-йоркских банд, что во многих местах дело дошло до настоящих эксцессов. В Питтсбурге группа молодежи после сеанса разграбила магазин, в Филадельфии произошла поножовщина, в результате которой было ранено семеро подростков, прежде чем подоспевшие полицейские ранили выстрелами еще троих, в Калифорнии демонстрация фильма имела следствием три убийства. Впрочем, для продюсеров эти эксцессы отнюдь не основание для прекращения проката. Напротив, убитые и раненые — хорошая реклама. Режиссер Уолтер Хилл немедленно приступил к съемке трех новых фильмов-репортажей о жизни гангстеров Нью-Йорка.

Но я хотел писать о Нью-Йорке, а не о бесчисленных голливудских боевиках, живописующих триумфы и падения города Желтого Дьявола...

Каждый раз, приезжая в Нью-Йорк, я находил кров и приют в квартире Макса Курца на 98-й улице в центре Манхэттена. И всегда, когда ужасы большого города выбивали меня из колеи, я возвращался в это пристанище с четырьмя кошками, бесчисленными книгами и темно-зелеными широколиственными растениями, где все дышало гостеприимством и дружбой, и забывал свои страхи. Максу Курцу и другим нью-йоркским товарищам, с которыми он меня познакомил, я обязан тем, что не проникся слепой ненавистью к Нью-Йорку. Я в любой момент готов вернуться в этот город, потому что знаю, что даже в самых страшных районах нищеты есть еще трижды запертые на задвижки двери, в которые я могу постучаться во всякое время, даже ночью.

В получасе ходьбы от квартиры Макса, если идти через Бродвей, расположен Таймс-сквер. Нет смысла описывать процветающий здесь порно-бизнес. Американский секс-центр не слишком отличается от Рипербан в Гамбурге, Пляс Пигаль в Париже или Пикадилли в Лондоне, разве что масштабы этого бизнеса вполне соответствуют здешней гигантомании. Меня все это скопление выставленных напоказ извращений, чудовищностей и непристойностей скорее смешит и забавляет.

От подробностей и культорологического комментария, пожалуй, стоит воздержаться.

Чуть в сторону от Бродвея, этого официального «центра наслаждений» Соединенных Штатов, быстро исчезают магазины, лавчонки, кинотеатры, ателье, мастерские и кабинеты, где торгуют сексом, и начинается серая зона рынка, где купля-продажа любви происходит прямо на улице. Здесь проституирует себя голая нужда.

Например, в бесчисленных «пип-шоу», кабинках для подглядывания. Этот аттракцион, вроде карусели, которая вертится только тогда, когда в автомат попадает монета, вызывает не столько смех, сколько слезы. В центре заведения установлен вращающийся диск, на котором стоит (или лежит) женщина. Предполагается, что вращение диска должно помочь зрителю составить объективное представление о груди и ягодицах и осмотреть вещь со всех сторон. Дойный механизм запрограммирован на четверть доллара. Выдоенные посетители покидают кабинки и снова тупо бредут по улицам.

Кинотеатры перемещаются из бельэтажей в подвалы, репертуар — с порно на ужасы. Американская фабрика кошмаров представляет свою новейшую продукцию: «Вампир из космоса», «Ален — чудовище из неизвестного мира», «Кинг-Конг проглатывает город», «Нападение гигантских птиц». Абсолютным бестселлером считается фильм «Современный Апокалипсис». Сегодня в момент глубочайшего кризиса настроение царит катастрофическое, страх создает конъюнктуру, ужас обделывает миллионные дела. Чтобы отвлечь зрителя от коллективных страхов, порожденных американскими буднями, фильмы должны пичкать его самой невероятной жутью, должны превосходить действительность варварством. Только так может возникнуть в конце сеанса успокоительное чувство: слава богу, этот кошмар кончился!

Но если киношные ужасы, пусть самые космические, все же кончаются, то в грубой реальности гигантского города Нью-Йорка чудовищные вещи происходят постоянно, и конца им не видно.

Надо сказать, что в садистских эпизодах, демонстрируемых на экране, далеко не всегда течет томатный сок. Между 42-й и 43-й улицами в одном из подвалов в глубине какого-то двора в течение 32 недель показывали фильм, в котором скрытой камерой было во всех подробностях запечатлено убийство женщины, совершенное по всем правилам искусства. Цветная реклама — листовка, которую нам всучили на улице средь бела дня, уверяла, что этот фильм действительно во всех подробностях документирует преступление, совершенное ради удовольствия. Из листовки мы также узнали, что судебное дело, возбужденное против продюсеров, не было принято к расследованию, поскольку убийство произошло не на территории США. Так что нервничать не стоит. А разного рода возражения и требования запретить фильм были отвергнуты судебными инстанциями, поскольку «получение удовольствия» не карается законом. Вот только широкая реклама, к сожалению, запрещена, поэтому приходится приглашать прохожих на закрытые сеансы громким шепотом, с помощью рукописных программок.

На 44-й улице какая-то женщина в пальто с поднятым воротником и робким взглядом исподлобья, несмотря на наши протестующие жесты, всовывает нам листовку. Наверное, сектантка, думаю я, хочет вовлечь нас в свою секту. Случайно развернув листовку, я не верю собственным глазам. На бумажке, врученной «сектанткой», изображены «в разбивку» ее женские прелести, а рядом с иллюстрациями указана цена: 10, 15, 18 долларов.

На следующем углу другая женщина продает себя иным способом. Она обнажает грудь. Рядом с ней стоит пожилой мужчина и время от времени оглашает условия и цену. Девушке лет пятнадцать, но ее глаза выплаканы настолько, что она кажется давным-давно состарившейся старухой.

Но дальше мы увидели вещи, по моим понятиям, еще более страшные. Продолжая свой путь по этому Вавилону, мы попали в квартал, который на местном жаргоне называется «Миннесота-Стрип». Предание гласит, что здесь, в стороне от главной магистрали разврата, раньше подрабатывали на жизнь случайной проституцией девушки, приехавшие в Нью-Йорк из Миннесоты и с Дикого Запада. Сегодня ремесло это полностью перешло в руки малолетних.

В самом деле, вдоль замызганных, грязных улиц стоят маленькие девочки, а иногда и мальчики всех цветов кожи одиннадцати, двенадцати, тринадцати лет; они бесцеремонно пристают к проходящим мимо мужчинам.

Я растерянно и беспомощно стараюсь не глядеть в их сторону, но не могу помешать тому, что какая-то чернокожая девчонка, не старше моей дочери, уверенно цепляет меня за рукав: «Я беру только пять долларов...»

Избавлю читателей от изложения диалогов, которые я вел на 44-й и 45-й улицах. Упомяну только, что детская проституция процветает на соответствующем публицистическом фоне. В бесчисленных киосках, книжных лавках и лавчонках лежат новейшие выпуски специальных порножурналов. Они рекламируют детский секс, представляют девочек и мальчиков только как объекты похоти и тем самым «помогают» малолетним выдерживать конкуренцию со взрослыми проститутками обоих полов. Детская невинность — ходовой товар.

С улиц Миннесота-Стрип, безрадостных, лишенных зелени, можно видеть гладкий, как зеркало, фасад здания ООН на Ист-Ривер. Если у вас хорошее зрение, вы смогли бы даже прочесть лозунг на самом верхнем этаже: «1979 год — Год ребенка». О Годе ребенка детям с Миннесота-Стрип известно, по-видимому, меньше, чем их ровесникам в дебрях Африки.

До стеклянных дворцов Бродвея и Пятой авеню отсюда рукой подать. Улица сужается, превращаясь в каньон, в пропасть, а небо съеживается в далекую узкую голубую полоску. Даже в середине мая полуденное солнце проникает вниз только до пятнадцатого этажа. Пышные зеленые деревья и цветочные клумбы сделаны из пластика, но зато многочисленные скульптуры — из настоящей бронзы или меди, а уборные для собак — из свежего, пахнущего лесом соснового дерева. В витринах магазина фирмы «Gobelin of Switzerland» выставлены часы «Патик-Филипп» по 4900 долларов за штуку. Плитка шоколада в фирменном магазине «Година» стоит 34 доллара, а шварцвальдский торт доставляется на дом за 98 долларов. «Шас» и «Журден» продают дамские перчатки по ценам от 120 до 1350 долларов, модели за 800 долларов и выше украшены бриллиантами. Здесь продаются не товары, а цены и фетиши. Здесь важна не покупка, а самый факт покупки.

На жилищном рынке — те же лихорадочные цены. Как сообщает журнал «W», издаваемый для манхэттенской элиты, цена средней трехкомнатной квартиры в районе Бродвея — 1380 долларов в месяц. В новом олимпийском городке продаются апартаменты по 750 000 долларов, а в «Нью-Йорк таймс» я прочел, что принц Сауд из Саудовской Аравии приобрел себе на Парк авеню «временное пристанище» за 950 000 долларов.

Районы-аутсайдеры Нью-Йорка

Недалеко от знаменитой дискотеки «Регина» элегантная Парк авеню, перевалив через холм, неожиданно уходит вниз метров на десять. Из водостоков поднимаются тучи чада, дыма и пара, и Нью-Йорк вдруг начинает казаться кипящим вулканом. А когда под мостовой громыхает поезд подземки, звук такой,

словно вот-вот произойдет извержение. Пейзаж резко меняется, силуэты небоскребов исчезают из вида, а вместо них появляются длинные ряды разрушенных и разрушающихся доходных домов, похожих на казармы. Их единственным характерным признаком кажется железный скелет наружной пожарной лестницы. Видно, что здесь живут люди, находящиеся в состоянии постоянного бегства. Бегства от пожаров, от нападений, от катастроф. Здесь проходит классовая граница Манхэттена. По ту сторону этой границы лежат Карибские острова, Мехико и Африка, лежит Гарлем. На 100-й улице кончается Европа и Америка. На той стороне сразу же начинаются все тяжелые проблемы, и они не теряют своей остроты вплоть до 155-й улицы.

Весь Гарлем занимает территорию в шесть квадратных километров, здесь живет четверть населения Нью-Йорка, но, по официальным данным, эта четверть имеет в своем распоряжении целых три процента жилого фонда и зарабатывает целых семь процентов дохода всех жителей города.

В этом мире живет безработный Тим Вебер, член компартии. За свою комнату на Парк авеню 1644 (на той самой улице, где нашел временное пристанище принц Сауд) он платит 120 долларов в месяц. Со стен обваливается штукатурка, повсюду шмыгают крысы, ни днем ни ночью не затихает скрежет трамвая. На лестнице есть уборные, но света и отопления давно нет, хозяин просто отключил их, потому что некоторые жильцы ему задолжали. Тим Вебер спасается электробатарейками. Зимой он с утра уходит из дому и согревается в библиотеке.

Его мир — восточный Гарлем, слывший некогда черной столицей Америки и центром «гарлемского Ренессанса» — авангардистского культурного движения двадцатых и тридцатых годов. Сегодня здесь 28% жителей живут на пособие, 75% детей рождаются от внебрачных связей. Детская смертность в 1977 году составляла 42,8 на 1000 новорожденных, эта цифра выше, чем в большинстве стран Африки. В этой части города число квартир уменьшается ежегодно на три-четыре тысячи из-за поджогов, запущенности и разрушения домов. И все же число жителей увеличивается, главным образом за счет нелегальной иммиграции из стран Карибского региона. Высунувшись из автомобиля, Макс Курц спрашивает у прохожего, где находится Шарлотт-стрит. «Очень просто,— отвечает работник связи.— Поедете прямо, пока ничего не увидите, вам туда».

Шарлотт-стрит выглядит как после бомбежки. Так выглядел гамбургский район Хаммербрук через 4 года после войны. И так же выглядела ханойская улица Кам Тьен в феврале 1973 года, через 8 недель после рождественской бомбардировки Никсона.

На Шарлотт-стрит стояло ровно 52 жилых дома, восьми- и десятиэтажных, по 26 с каждой стороны. В них жило три тысячи людей. Сейчас домов осталось девять, причем восемь либо замурованы кирпичами, либо опустошены пожарами. В последнем живут еще 100 человек. Один из товарищей, который все еще продолжает обитать здесь и даже пытается сколотить инициативную группу квартиросъемщиков, рассказал, что за свою развалюху они платят по 160—180 долларов. Некоторые квартиры забаррикадированы, как тюремные камеры, окна зарешечены толстыми железными балками, двери забиты стальными трубами. «Это наш железный занавес»,— шутит мой собеседник, работающий банковским курьером в центре Манхэттена.

Перед всеми домами — кучи отбросов и мусора высотой в метр. Люди выбрасывают отходы прямо на улицу, в объедках роются собаки, кошки и крысы. Вся местность напоминает безбрежную свалку. Вот уж три года, как мусор из Гарлема не вывозится. Официальная причина: «недостаточная сумма платежей по налогам, поступающих от населения».

К Гарлем-Ривер примыкают нежилые улицы, отгороженные высокой бетонной стеной. За ней, в центре самого большого города «свободного мира», высятся только руины, гнездятся одни крысы. «Вход воспрещен. Опасно для жизни. Стреляем без предупреждения»,— написано на щитах вдоль заградительных стен. Через ржавый мост мы переезжаем на другую сторону реки, в южный Бронкс.

Район выглядит так, словно третья мировая война уже разразилась. С 1970 года местность потеряла 45 000 квартир. Каждый день здесь происходит 10 поджогов, каждую неделю обваливаются в среднем четыре жилых дома.

В южном Бронксе доходы полуторамиллионного населения на 62% ниже, чем в среднем по стране. Каждый третий живет только на пособие. Только один из четырех учеников кончает школу, безработные составляют 42% населения. Если в центре Манхэттена между Парк авеню и Пятой авеню имеют практику 2063 врача, то на весь Бронкс нет ни одного.

Мы пересаживаемся в подземку, потому что никак иначе в Бруклин не попадешь. В подземке толчея, дышать буквально нечем, вонь зверская. На полу — горы грязи, некоторые сиденья форменным образом загажены. Город Нью-Йорк вот уже три года как обанкротился, у него нет денег на уборку поездов в предместьях чаще чем раз в неделю. Поэтому подземка похожа на свинарник, но свинарник для людей. Стены сверху донизу размалеваны порнографическими, маоистскими и просто бессмысленными надписями, номерами телефонов торговцев наркотиками, адресами проституток и педерастов, все эти надписи большого города — не что иное, как бессильное проявление ярости, ненависти и отчаяния.

Выйдя из подземки, следует прежде всего перевести дух. Жадно глотая воздух, я гляжу на небо, где, описывая медленные круги, летают странные пти-

цы. У нас так летают чайки перед дождем. Зрелище напоминает фильм Хичкока. Но эти птицы не чайки, некоторые из них величиной с коршуна, другие — с воробья. Напрягая зрение, я различаю, что неизвестные летающие объекты — просто клочки бумаги, пластиковые пакеты, обрывки тряпья, поднятые ветром. Похоже, что листовок среди них нет. Для этого ветер слишком слаб, воздух слишком разрежен, времена слишком мрачны. Надежда, умерщвленная десять лет назад, здесь еще не ожила.

В пасмурные дни небоскребы Манхэттена буквально скребут небо, а зловонная нищета Бруклина действительно вопиет к небесам.

Большое облако дыма тянется от горизонта до зенита, словно где-то на окраине мира произошло извержение вулкана, но горит всего один дом, всего одна улица. Где-то всегда горит.

Тем не менее Бруклин насчитывает около двух миллионов жителей, больше, чем Гамбург. Сейчас он значит не больше чем свалка мусора на окраине. И так он и выглядит.

В районе Бушвик 49% живут на пособие. Два года назад он занимал первое место в стране по числу пожаров — 6000 в год, но теперь он отстал, потому что сжигать почти нечего.

Товарищ Джордж Наполи, чьи предки, как и многих нью-йоркских товарищей, происходили из Италии, жил здесь еще год назад. Его отец купил дом на Харлам-стрит, 152, сразу после войны и прожил в нем с семьей почти тридцать лет, пока не загорелся пустующий дом напротив. Одновременно сгорело еще 6 домов. Пожарная команда не могла вмешаться, так как ей угрожала местная мафия. В тот самый месяц, когда семья Наполи была вынуждена переселиться в Гарлем, гангстеры из банды «Лав», преисполненные отнюдь не любви к ближним, терроризировали более ста жильцов одного многоэтажного дома на той же стороне улицы. Они разбивали окна, крали мебель, рушили печи, избивали стариков и последовательно добивались выезда людей из дома. За неделю они справились со своим грязным делом — выжили всех, так что дом оказался «свободным от людей». Пустой дом поджигать выгоднее, ведь в таком случае владелец дома сразу же получает всю страховку, без вычета суммы, предназначенной для жильцов-погорельцев.

Банды вроде «Лав» субсидируются домо- и землевладельцами, гангстеры работают по точно разработанному плану, они редко руководствуются примитивной жаждой разрушения. Полиция и пожарные команды, как правило, не вмешиваются, а власти явно надеются, что постоянные пожары в их районе естественным образом сократят раз в десять «проблемное» население.

«Нью-Йорк таймс» писала, что число пожаров в прошлом году составляло 249 000. Две трети пожаров были вызваны поджогами, раскрываемость этих преступлений — ниже 8%. Одним из таких поджигателей — «огненных чертей», как их здесь называют, был семнадцатилетний Франсиско Мендес, привлеченный к суду за убийство 25 человек. Он поджег молитвенный дом, где в тот момент находились 25 верующих. На вопрос, зачем он это сделал, Мендес ответил: «Я терпеть не мог этих ханжей!» Когда председатель суда присяжных произнес приговор: «Пожизненное заключение», Мендес, как пишет «Нью-Йорк таймс», повернулся к скамьям для публики, усмехнулся и пожал плечами. Не он один отсидит в тюрьме. 120 000, полтора процента населения города, в настоящее время за решеткой.

Нью-Йорк все быстрее распадается на два строго отделенных друг от друга общества, на класс белых и класс тех, кто не имеет ничего, кроме собственной кожи темного цвета. У каждого из этих классов — свои школы.

Только 29% детей белого населения посещают государственные школы, все остальные учатся в дорогих частных школах, где безнаказанно сохраняется расовая дискриминация. 86% цветных детей учатся, если они учатся, в школах для цветных. И говорят на собственном языке. Жестокость школы, через которую они должны пройти, выработала у людей третьего мира Нью-Йорка новый язык, правила которого определяются прежде всего теми значениями, которые он призван передавать. Этот жаргон низшего социального слоя новых граждан Нью-Йорка, состоящий из сигналов, необходимых для того, чтобы выжить, отличается от официального языка американской буржуазии значительно сильнее, чем гамбургский портовый сленг от литературной речи высокообразованных телекомментаторов.

Школы во многих местах стали школами террора. В «проблемных» зонах — в школах давно установлены вооруженные полицейские посты, чтобы оградить учителей от нападений учеников. Однако в прошлом году семь учителей были убиты при исполнении служебных обязанностей. Однажды мы, разыскивая одного знакомого учителя, зашли в хорошо оборудованную и с внешней стороны вполне современную школу на Кони Айленд. Нам пришлось некоторое время ожидать лифта на третьем этаже. Шли занятия, коридоры были пусты, и только какая-то пожилая дама вместе с нами ждала лифта. Учительница. «Простите,— говорит она,— вам тоже вниз?» — «Да»,— отвечает Макс. «Проводите меня, пожалуйста. Я не могу одна спускаться по лестнице». Естественность, с которой прозвучала эта просьба, показала нам, что она привыкла искать защиты, находясь в школьном здании. Она примирилась с тем, что у нее — опасная, связанная с риском для жизни профессия.

■

Мы едем подземкой, пересекая Ист-Ривер, в Бауэри, самый южный угол Манхэттена. Легко описывать башни и дворцы Уолл-стрит, их эркеры, шпили и фронтоны легко укладываются в краси-

вые периоды, вызывают ассоциации и сравнения. А нищета Бауэри издевается над любым описанием. Совершая свое турне по Нью-Йорку, я скоро обнаруживаю, как жалок мой словарь, бессильный описать разрушения, запустение, грязь, нечистоты,— повторения почти неизбежны. В Европе я не видел ничего, что бы могло сравниться с состоянием Бауэри. Покосившиеся хижины португальской гавани Порто все же защищают своих обитателей если не от бурь и холода, то от огня, грабежа и насилия. В южном Манхэттене во многих домах больше нет дверей, лестницы сожжены на дрова, а взобраться можно только снаружи по ржавой пожарной лестнице.

Большинство людей все равно не живет в домах, они лежат на улице, в грязи, в канавах. Если идти по кварталу пешком, как сделали мы с Максом, приходится просто переступать через них. Я вижу осоловелых, мертвецки пьяных, одурманенных наркотиками людей.

Наркоманы обычно слишком слабы, чтобы подняться. Они встают лишь для того, чтобы утолить наркотический голод. Раздобыв немного героина, они прокрадываются в «галереи выстрелов» — пустующие квартиры Бауэри, где вводят себе очередную дозу — «выстрел» и при этом угрожают уколом каждому, кто попробует к ним приблизиться. Тела их, разбросанные по тротуару, от ежедневных впрыскиваний покрыты, как сыпью, огромными гнойными волдырями. В них не осталось ничего человеческого, кроме висящих лохмотьями остатков одежды. У большинства безумные параноидальные глаза и такие движения, словно они существа не из кожи и костей, а из сплошных протезов.

Где-то в Бауэри есть настоящая детская площадка с качелями, песочницами, горками для катания и стенками для лазания. На первый взгляд она кажется островом детской радости посреди океана страданий взрослых. Но здесь нет детей. Площадку облюбовали себе люди далеко не первой молодости, выброшенные из жизни, истрепанные, изношенные. Они валяются в песке, на скамьях и под качелями, мечутся, как дикие звери в клетке, дерутся и тихо скулят. При ходьбе они движутся как марионетки на шелковых нитях. Иногда они как бы порхают над землей или печально покачиваются из стороны в сторону — иногда кажется, что их вот-вот унесет ветер, или они падают плашмя на землю, как подрубленные деревья. Падают они каждый раз мягко, будто тысячи раз упражнялись в падении.

Я вспоминаю «На дне» Горького, но, пожалуй, вернее было бы сравнение с Дантовым адом. «Оставь надежду всяк сюда входящий...»

Не обращая внимания на уличное движение, на гудки скрежещущих, тормозящих автомобилей, улицу пересекает старик. Вслед ему несутся оскорбления водителей, но он, по-видимому, безразличен к вызываемой им ненависти. Может быть, она даже доставляет ему некоторое удовлетворение. Глаза у него выкатываются из глазниц, как две огромные капли. Все у него какое-то длинное, помятое лицо, пальто ниже колен, болтающиеся брюки. Живая развалина, выброшенный продукт общества потребления, человек, не имеющий рыночной цены.

Биржа на Уолл-стрит находится метрах в трехстах отсюда. Нижний Манхэттен — как качели с двумя сиденьями. Одни сидят наверху, потому что другие сидят внизу. Тех, кто сидит в Бауэри, удерживают внизу, чтобы те, кто сидит наверху, на бирже, оставались наверху.

Не только мужчины, но и женщины бродят по улицам Бауэри. Их называют здесь «бэг-лэг-леди» — «женщины-кошелки»; все, что имеют, они носят с собой в пакетах для покупок. Более удачливые среди них возят свое добро в сумках на колесиках. В отличие от бездомных мужчин, женщины бродят в одиночку, а потому еще более беззащитны перед опасностями большого города. Их единственная защита — полное отсутствие средств к существованию. В прошлом году нью-йоркская полиция обнаружила девяносто с лишним трупов этих нищенок, многие так и остались неопознанными. «Кошелки» питаются главным образом тем, что́ извлекают из мусорных баков. Бывает, что они находят случайную работу или чистят обувь недалеко от Уолл-стрит, но им тяжело выдерживать конкуренцию с лучше организованными уличными детьми.

На Хьюстон-стрит останавливается цистерна Армии Спасения. За бесплатным стаканом кофе выстраивается длинная очередь. На Либерти авеню, прямой, как стрела, улице, в конце которой ждет статуя Свободы, теснятся закладные лавки. Ломбарды открыты круглые сутки и принимают под залог все подряд. Нет ничего, чего бы нельзя было здесь заложить, одолжить, сдать, снять, продать, арендовать или проиграть. В церкви св. Мефодия можно даже заложить господу душу, правда всего на три часа. А потом приходит полиция и очищает храм от нелюбимых сыновей и дочерей отца небесного, которые путают божий дом с ночлежным. Заглянув внутрь, можно увидеть растянувшихся на скамьях бедняков, снимающих чулки прямо перед алтарем.

Но кружка для пожертвований снабжена тяжелым замком, а над ней висит надпись: «Грабить бесполезно. Пожертвования регулярно изымаются! Община св. Мефодия».

Рядом с церковью можно продать свою рабочую силу. Есть сборный пункт, где лишенные крова и средств к существованию обитатели Бауэри за 10 долларов наличными могут наняться на одну смену работать в порту.

Когда мы проходим по этой улице, где свобода постоянно представляется взору в виде статуи, как ангел на надгробии, на часах шесть часов и до ночной смены остается еще четыре часа. Тем не менее на рынке рабов уже ожидают очередной раздачи работы несколько десятков обтрепанных фигур. Триж-

ды в день, когда отправляются автобусы на новую смену, перед местом сбора у церкви св. Мефодия происходят форменные драки. Они предусмотрены самой системой найма, так как простейшим образом гарантируют, что работу получат самые сильные, а слабые останутся на улице.

Турне по районам-аутсайдерам Нью-Йорка из Гарлема через Бронкс и Бруклин в Бауэри — маршрут, который обходит стороной туристские достопримечательности,— можно уверенно назвать путешествием по стране ужасов, по сравнению с которыми все киношные кошмары Голливуда кажутся средневековой древностью.

■

И все же я не хотел бы заканчивать эту главу без того, чтобы не заявить еще раз о моей упрямой любви к Нью-Йорку, к этому городу противоречий и контрастов, ибо они являются только крайней степенью всех конфликтов, раздирающих наш мир и наше сердце.

Каждый раз, когда я смотрю из окон квартиры Макса Курца на двенадцатом этаже вниз, на 98-ю улицу, или из ателье художницы Сюзанны Ортега — на Центральной Парк, или из рабочих кабинетов национального руководства компартии — на 23-ю улицу и вижу столпотворение современного Вавилона, меня вновь охватывает мечта о Нью-Йорке.

Какие гордые горожане, какое прекрасное и смелое смешение рас, народов, манер, мод, какое мужество в самом бедном бедняке, какое достоинство у самого последнего грузчика! Да, идея города миллионы раз искажалась, профанировалась, была задушена в крови, фальсифицирована, предана, продана. И все же она бессмертна и остается частью нашей надежды на новый, отважный мир. Каким прекрасным мог бы быть этот город городов, если бы его судьбу решала не только дюжина миллиардеров с Уолл-стрит, но миллионы ньюйоркцев между Гарлемом и Бруклином, между Бронксом и Бауэри.

Перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ

◆

Антирубрика

СТЭНЛИ ЭЛЛИН (США)

ВЕРА ААРОНА МЕНЕФИ

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

Большая черная машина едва дотянула до бензоколонки. Сразу было видно, что ее гложет изнутри болезнь, как проклятая язва, которая терзает мое брюхо. Машину вел шофер, а позади сидели трое — девушка с кислым выражением лица, какой-то тип, похожий на хорька, и между ними краснощекий человек с копной седых волос. Все они вышли из машины и стали смотреть, как я копаюсь в моторе.

— Карбюратор барахлит. — сказал я. — Тут уж кто-то поковырялся, да только здорово напортил.

Краснощекий стал мрачен, как грозовая туча, нависшая над нашей старой Черепаховой горой, и бросил сердитый взгляд на шофера.

— Сколько времени займет ремонт? — спросил он. — Чтоб сделать все как полагается? Мне нужно к вечеру попасть в Цинциннати, а туда еще сорок миль. Чего доброго, опять застрянем в дороге.

— Сколько прождете, столько и займет, — говорю я. — А какая будет работа, можете спросить здесь каждого. Если машина сделана руками человека и если ее толкает вперед горючее, Аарон Менефи починит ее так, что жаловаться вам не придется.

Краснощекий глянул на пустую дорогу.

— У кого тут спрашивать? — проворчал он угрюмо, но тут же добродушно рассмеялся: — Ладно, брат Менефи, я привык хорошо думать о людях, в большинстве они честные и старательные. Я вам верю.

Пришлось провозиться немного дольше обычного, но в конце концов мотор я наладил, и он ласково заурчал на холостом ходу. Краснощекий, видимо, остался доволен моей работой. А когда я назначил ему плату, он и вовсе расцвел.

— Брат Менефи, — говорит, — вы еще больше повысили мое мнение о роде человеческом!

Вот тут-то это и случилось. Теперь-то я уверен: все это предопределил господь. В тот самый миг, когда краснощекий протянул мне деньги, проклятая язва принялась так свирепо грызть мой живот, что я скрючился от боли и не мог дохнуть, пока не отлегло.

— В чем дело? — испугался он. — Что с вами?

Мне стало стыдно, что я осколол перед людьми такую штуку.

— Ничего, — отвечаю. — Точнее сказать, здесь уж ничего не поделаешь. Доктор Баклс говорит — язва. Вот и сижу на молоке, картошке да молитвах. Да только, видно, никакого проку от этого не жди.

Краснощекий смотрел на меня участливо. Не так, как большинство людей, — просто из вежливости, холодно. Нет, он по-настоящему сочувствовал. Оглядел меня с головы до ног, раза два ударил кулаком по ладони и обошел меня кругом, будто снимал мерку для костюма. Остальные стояли молча и смотрели на нас.

— Брат Менефи, — сказал он наконец.— Вы знаете, кто я?

— Откуда мне знать?

— Так вот, брат, я — Отис Джонс. Исцелитель Джонс, как меня все называют. Вы когда-нибудь слышали обо мне?

— Вроде не доводилось.

— Значит, вы никогда не смотрели по телевидению мои молитвенные собрания, не слушали их по радио? Как же так, брат, их передают по всей стране. Двести радиостанций и восемьдесят телевизионных компаний круглый год передают мои проповеди каждую среду вечером!

— Может, и передают. А я не люблю смотреть телевизор, да и радио не слушаю. Там, говорят, полно всякой греховной дряни — грязные истории про женщин, пьянство, убийства и прочее. Человеку и так трудно побороть в себе наследие Адама. Лучше держаться подальше от этих искушений.

— В моих программах, брат мой, нет греха и искушений. Показывают только молитвенные собрания, и на этих собраниях я занимаюсь тем, на что подвигнул меня Всемогущий. Чем, спросишь ты? Ис-

целяю, брат мой, исцеляю людей! Вот в этой руке скрыта сила, способная поднять больного с постели, взять костыли у калеки и поставить его на ноги, вернуть человеку все блага, которых он может ждать на нашей земле. Есть у тебя вера, брат мой?

— Вера у меня есть, — сказал я. — Уж я и умерщвлял плоть, и молился, и отбивал поклоны, пока не содрал колени, и все-таки веры у меня хоть отбавляй.

— Хорошо. Ибо если у тебя есть вера, тогда скрытая во мне сила может овладеть тобою и исцелить тебя. А если нет, ты только себя обманываешь. Вот возьми мою руку. Чувствуешь, как в тебя вливается сила? Чувствуешь?

Я взял его руку, и — провалиться мне на этом месте — моя язва вмиг присмирела, будто я напустил на нее парочку пилюль доктора Баклса. Вот тогда-то я и понял, что все это предопределено: и то, что исцелитель выбрал это заброшенное шоссе, и что испортилась его машина, и что я подвернулся ему под руку, и что язва принялась терзать меня сильнее обычного. Исцелитель тоже, наверно, знал, что это предопределено, и потому сказал:

— У тебя есть вера, брат мой. Приходи на мое молитвенное собрание в Цинциннати. Я обращу на тебя всю свою силу и исцелю тебя отныне и до конца дней твоих. Моя дочь даст тебе карточку с адресом, и я буду ждать тебя очищенным от греховных помыслов и готовым принять благодать. И зови с собой всех, кого встретишь, брат мой. У нас для всех найдется место — и для верующих, и для сомневающихся.

Я поспел на семичасовой автобус, идущий в Цинциннати, уплатил шестьдесят центов за проезд в один конец и попал на молитвенное собрание к самому началу. Ничего подобного я в жизни не видел. Молитвенное собрание куда больше цирка и уж конечно гораздо приятнее для души. На площади раскинулся огромный белый шатер, к нему со всех сторон стекались люди. В сторонке вытянулись в ряд десять больших грузовиков с прицепами; на них, я думаю, перевозят всякое оборудование, нужное для молитвенных собраний. Были там еще и два грузовика с движками, на одном из них прожектор, устремивший луч прямо в небо, подобно огненному мечу.

Я протолкнулся к шатру, купил у входа за десять центов книжку гимнов и еле-еле нашел себе место: народу в шатер набилась уйма — тысяч десять, не меньше. Потом я заглянул в книжку и нашел карточку, на которой нужно было написать свою фамилию, болезнь, что тебя мучит, и передать карточку служителю, чтобы тебя могли вызвать для исцеления прямо тут, на молитвенном собрании. Я это сделал, а потом пропел вместе со всеми несколько гимнов из книжки. Запевала красивым мягким голосом дочь исцелителя, стоявшая перед нами на помосте. Хорошие были гимны, ничего не скажешь. Такие могут скрутить сатану в бараний рог и заставить его с жалобным воем стать на колени.

Только мы кончили петь гимны, как под шатром сразу вспыхнул яркий свет. Я даже глаза зажмурил. Устроили это — ясное дело — для телевидения. Прикатили две большущие камеры, одну направили на помост, другую на скамьи, где сидели зрители. Загорелись огни, и на помост вышел Исцелитель. Он шел неторопливо и спокойно, протянув руки для приветствия, — прямо король. И все же чувствовалось, что он простой, хороший человек.

Исцелитель не стал напрасно тратить время и сразу приступил к проповеди. Он принялся убеждать нас так рьяно, что сначала ослабил галстук, потом скинул пиджак, и было видно, как честный трудовой пот капает с его лица и расползается большими пятнами по сорочке. Приятно смотреть на человека, который вот так, весь в поту, трудится перед тобой. Тут уж знаешь — он говорит то, что думает, и, не жалея сил, вкалачивает это в твою башку.

Говорил он больше всего о своей вере, давшей ему власть над болезнями. Вера, твердил он, приведет и нас к исцелению. Потом он рассказал нам, что когда-то служил клерком в конторе «Ферст нэшнл бэнк», получал мизерную плату да еще вдобавок болел. Однажды он корпел над бумагами в тесной задней комнатушке банка, и, словно по наитию, опустился на колени, и стал молить бога о помощи. Вдруг он почувствовал, как в него влилась сила.

Рассказ Исцелителя многих довел до исступления, они кричали и стонали, выражая свою радость за него. Когда шум стих, началось исцеление. Маленький человечек, похожий на хорька, которого Исцелитель представил нам как Чарльза Фиша, своего администратора, вышел на помост и стал читать фамилии написанные на карточках, а мы один за другим подходили к помосту. Когда пришел мой черед идти между рядами под ярким светом телевизионных камер и сидящие вокруг люди вытягивали шеи, чтоб получше меня разглядеть, я почувствовал, что у меня подкашиваются ноги. Кое-как я добрался до помоста, где стоял на коленях Исцелитель с микрофоном в руках.

— Брат, — сказал он в микрофон, и я чуть не подскочил, услышав этот громозвучный голос. — Какой недуг терзает тебя?

Он поднес микрофон к моему лицу, и я ответил:

— Язва.

— Вы слышали? — закричал Исцелитель, обращаясь к толпе. — Молодого, крепкого, красивого парня заживо пожирает в цвете лет болезнь, и наша человеческая медицина не может облегчить его страдания. Денно и нощно гложет его застарелая хворь. Но у него есть вера, и он пришел ко мне в надежде избавиться от мучений. Вы верите, что его можно исцелить?

— Верим! — закричали в толпе. — Исцели его! Исцели его!

Исцелитель вытер с лица пот и вперился в меня взглядом.

— А как ты сам, брат, веришь в свое исцеление?

Мне показалось, будто от него идет, слегка потрескивая, электрический ток. В ту минуту я хотел лишь одного: пусть его сила поскорей овладеет мною, раз и навсегда избавит от болезни.

— Верю, верю...

— Тогда склони голову, брат. Склони голову, и да будет твоя вера не меньшей, чем сила, данная мне. Ибо если твоя вера крепка, ты выйдешь отсюда обновленным человеком.

Не дожидаясь, когда я наклоню голову, он придавил ее вниз своей ручищей и воскликнул:

— Боже, исцели этого человека! Яви свое милосердие, исцели его!

Внезапно он стукнул меня кулаком по шее, и тут уж я почувствовал его силу,— пробрала, что называется, до печенок. Но моя язва не шелохнулась, как будто ее и в помине не было.

— Я исцелен! — заорал я, а сам даже боюсь этому поверить. — Исцелен!

Он сунул мне под нос микрофон.

— Повтори это, брат! Повтори громко, пусть все узнают о твоей радости!

Я схватился руками за живот, мну его и все никак не верю — не болит!

— Язва пропала! — кричу. — Это чудо!

Потом уж я и не помню, что со мной сталось. Прыгал, махал рукой толпе, кричал вместе со всеми. Мне было наплевать даже на телевизионную камеру, все время нацеленную в мою сторону. Никогда я еще не был так счастлив!

Я вернулся в свой поселок, чтоб собраться в дорогу и попрощаться с соседями. Большинство из них отнеслись к моему отъезду равнодушно. Пожмут руку, похлопают по плечу — и делу конец. Но доктор Баклс страшно рассердился на меня. Он был маленький толстяк, очень добрый всегда, бывало, поможет, если надо. Я питал к нему такую же слабость, как он сам — к крепким напиткам и богохульству. Доктор Баклс шагал взад и вперед по своему кабинету, размахивал руками и все говорил, говорил. Понимал, что я глух к его словам, но все не мог остановиться. Он такой: как начнет говорить, его не остановишь.

— Что это за жизнь? — говорит. — Автомеханик в бродячем балагане. Работать день и ночь и получать меньше, чем Эб Нолан платит тебе здесь, на бензоколонке. Строить из себя святошу на молитвенных собраниях, жить с этой шайкой обманщиков! Ты скоро поймешь что это значит, дружок!

— Может быть, — говорю, — но я услышал призыв, и я откликаюсь на него.

— Призыв! — всплеснул руками Баклс.— Однажды ночью ты почувствовал призыв освободиться от греховных мыслей, катаясь голышом по снегу и мне пришлось спасать тебя от воспаления легких. Потом ты вдруг почувствовал призыв ломать капканы, которые Глен Лимен ставил на кроликов, и тебя уж дважды сажали за решетку. Каждый раз, когда ты чувствуешь призыв, Аарон, это добром не кончается. Неужели ты сам не в состоянии этого понять? Всегда плохо, когда человек добрее, чем нужно.

— Моя язва исцелена, — сказал я. — Но ведь есть много других людей, кому надо помочь. Вот я и хочу внести свою лепту...

— Я тебя не учу, как чинить машины, — перебил меня Баклс, — а ты не морочь мне голову с исцелением. Вот смотрю я на тебя и думаю: совсем свихнулся парень, вроде своего отца. У тебя еще молоко на губах не обсохло, а уж он принялся пичкать тебя баснями об адском огне. Нес всякую несусветицу, пугал дьяволом и, видно, окончательно заморочил тебе голову. Если человека с детства одурманили адским серным чадом, как тебя, то уж одного этого достаточно, чтобы непременно заболеть язвой.

Мне было тягостно слышать эти слова, но я знал, что спорить с ним бесполезно. К тому же я не отличаюсь красноречием, а доктор Баклс, если еще примет хорошую дозу старого виски, кого хочешь за пояс заткнет по этой части.

— Подчиняюсь призыву, — повторил я, прощаясь с Баклсом. — Если случится здесь проезжать, я обязательно вас навещу.

На этом мы и расстались.

Доктор Баклс говорил, конечно, нечестивые и нелепые вещи, но спустя несколько месяцев я понял, что он был прав в одном: даже в прибежище благочестия может затесаться сколько угодно мошенников. Я работал в бригаде механиков, занятых ремонтом лимузина Исцелителя, спальных фургонов и двенадцати больших грузовиков, перевозивших из одного города в другой оборудование для молитвенных собраний. И от того, что довелось мне увидеть в компании этих людей, у меня волосы встали дыбом. Табак и вино. Карты и сквернословие. И беспутные женщины в придачу.

Ну и натерпелся же я от них, когда они узнали, что я стойкий противник дьявола. А когда они поняли, что я не стакнусь с ними и не буду писать фальшивые счета за ремонт, прикарманивать деньги, тут уж мне пришлось совсем туго. Много раз меня подмывало рассказать обо всем Исцелителю или Чарльзу Фишу, а то даже мисс Эмили Джонс, дочери Исцелителя, с которой я тем временем близко познакомился. Но я удержался от этого соблазна: зачем подводить своих собратьев под увольнение, если они еще могут встать на правильный путь. Потом я порадовался, что не стал кляузничать, так как все устроилось само собой.

А случилось вот что: в конце концов у меня произошла стычка с самим Эверетом Каном, нашим главным механиком и главным поваром греховной кухни, постоянно клокотавшей возле меня. Этот придира всячески меня изводил. Задавал столько работы, что двоим не одолеть, а потом еще ругался, что я работу запорол. А уж он-то прекрасно понимал, что я его лучший мастер и знаю дело лучше его самого, коль на то пошло. Но я Кана не трогал: ведь это он испортил карбюратор в машине Исцелителя, потому Исцелитель и попал прямо ко мне в тот день. Я думал, что если все это предопределил господь, то, наверное, он и послал мне

Эверетта Кана, и я щадил его как можно дольше.

Но однажды я поймал Эверетта, когда он писал от моего имени требование на запасные части, которых я никогда не просил. Тут уж я высказал ему все напрямик. Он был крепкий парень и любил давать волю кулакам. Так вот, он и решил предоставить кулакам говорить вместо него. Он сбил меня с ног, и пока я молил бога дать мне силы не отвечать насилием на насилие, Эверетт сбил меня с ног еще раз. Тогда уж я поднялся с земли с чистой совестью, потому что пробовал, как говорится, подставить другую щеку, взял в работу Эверетта и трудился над ним до тех пор, пока он не разладился настолько, что пришлось отправить его в ремонт.

Слух об этом дошел до Исцелителя, он позвал меня и дал нагоняй, но не слишком зло, по-отечески. Я решил, наконец, обо всем ему рассказать, и сразу после этого все изменилось к лучшему. Эверетта и его дружков-греховодников отпустили на все четыре стороны, а на его место поставили меня, поручив вести дело как полагается.

Жизнь моя начала складываться как нельзя лучше. Всех своих работников я заставлял трудиться на совесть и честно отчитываться в деньгах. Некоторые из тех, кто норовил опять свернуть на дурной путь, немного ворчали, но никто не делал и не говорил ничего такого, что могло привести к настоящей ссоре. Я не мог нарадоваться тому, как все хорошо уладилось, и отдавал большую часть недельной получки Исцелителю на добрые дела.

Только так Исцелитель и вознаграждался за свои труды — благочестивыми деяниями. Он не назначал никакой платы людям, пользовавшимся его целебной силой, а только напоминал им, что примет с благодарностью всякое даяние верующих и употребит его на добрые дела. И когда мы переезжали из города в город, останавливаясь в каждом из них на неделю, пожертвования лились бурным потоком, как вешние воды в каменистом ложе ручья.

Диву даешься, сколько людей хотело участвовать в добрых делах! Даже те, у кого не было сил выбраться из дому, кому приходилось следить за молитвенными собраниями по радио и телевидению, и те слали свои пожертвования. Чарльз Фиш сказал мне, что в почтовое отделение близ райского уголка, где Исцелитель строил для себя церковь, приходило каждый день столько пожертвований, что там организовали специальный отдел для обработки денежных переводов на имя Исцелителя. И это понятно, сказал Фиш. Многие несчастные страдальцы избавились от смерти одним лишь прикосновением к изображению Исцелителя на экране телевизора. Фиш носил в кармане их письма и показывал по дороге безбожникам, насмехавшимся над Исцелителем. Чаще всего это были репортеры, которые не могли найти для себя лучшего занятия, чем проверять деяния Исцелителя и высмеивать его.

Летом мы пересекли северную часть Соединенных Штатов, а потом свернули на юг и зимой колесили по южным штатам. И вот там, на юге, я понял, что со мной творится что-то неладное, и причиной всему была Эмили Джонс, дочь Исцелителя.

Я не назвал бы ее хорошенькой девушкой: для этого она была, пожалуй, слишком бледной и тщедушной. Но у нее была складная фигурка, большие карие глаза и такие длинные черные волосы, каких мне никогда не приходилось видеть.

Сначала я ее почти не замечал, но потом она стала всюду мне попадаться на глаза, куда бы я ни пошел, так что я начал смотреть на нее, и мне начало нравиться то, что я видел. Вот в этом-то и была вся беда, так как дьявол не терял времени даром и начинял мою голову самыми ужасными мыслями. От одного сознания, что это за мысли, меня бросало в пот, я старался их побороть.

Я боролся с ними что было сил. Вместо сочного куска мяса брал на обед овощи, сидел в ледяной воде, пока не посинею, подолгу молился, воздев руки к небу, пока их не начинало колоть, как ножами. Но ничего не помогало мне. А тут еще мисс Эмили — и это было самое худшее — взяла за привычку гулять со мной вечерами после молитвенных собраний, совсем не думая о том, чего мне стоили эти прогулки.

Мне казалось, что, если я наберусь храбрости и расскажу ей о своей беде, все уладится. Но я никак не мог решиться на это. Наконец, я все же это сделал однажды вечером в маленьком лесочке около Талсы в Оклахоме. Мы немного потуляли, а потом сели на бревно отдохнуть в густеющих сумерках, прислушиваясь к жужжанию насекомых и шуму ветра, стонавшего в вершинах деревьев как потерянная душа.

Я рассказал ей обо всем, что меня тревожило, но мои слова подействовали на нее иначе, чем я ждал. Когда я кончил, она долго сидела молча и наконец сказала, как бы размышляя вслух:

— В Библии сказано: плодитесь и размножайтесь. Есть законный и праведный путь к этому, Аарон Менефи.

Я не сразу понял, к чему она клонит, а когда разобрался, привскочил как ошпаренный.

— Вы говорите о женитьбе, мисс Эмили?

— А почему бы и нет? Разве вы против брака, Аарон?

Я с трудом находил слова:

— Против? Нет, почему... Только я никогда не задумывался... Не знаю, пора ли мне...

Она придвинулась ко мне ближе, ее плечо коснулось моего, и я почувствовал, что от нее исходит такая же сила, как от ее отца.

— Не называй меня больше мисс Эмили, — сказала она. — Теперь я для тебя просто Эмили. А если говорить, готов ли ты к женитьбе в свои двадцать пять лет, так ты, дружочек, давно опоздал. Будь ты капельку умнее, ты бы понял, что подсказывают мысли, которые бродят в твоей голове.

Ничего подобного, признаюсь, мне никогда не приходило на ум, и когда она

сказала эти слова, у меня точно камень с души свалился. Внезапно мне показалось, что ее плечо, тесно прижатое к моему, — это тоже предопределено, и моя рука, обнявшая ее талию, — самая естественная в мире поза. Но мою радость скоро нарушила тревожная мысль.

— А что скажет Исцелитель? — вырвалось у меня. — Я ему обязан всем и не сделаю ни шага без его согласия и благословения.

Мисс Эмили задумалась.

— Я его единственная дочь, Аарон, — сказала она, — и отец хочет держать меня на привязи. Не лучше ли нам ускользнуть и пожениться, а уж потом сказать ему?

— Нет, — ответил я. — Это будет хуже, чем змеиный укус. Нам нельзя так делать.

— Нельзя?

— Да, нельзя. Нужно, чтобы все было как положено, или совсем отказаться.

Мы сразу пошли к Исцелителю. Он сидел за столом в глубине большой палатки вместе с Чарльзом Фишем и двумятремя другими помощниками, которые подсчитывали пожертвования и готовили их к сдаче в банк на следующий день. Когда они ушли, я чистосердечно рассказал обо всем Исцелителю. Мисс Эмили, бледная и притихшая, сидела рядом со мной.

— Ни одному человеку не дано судить о себе, — закончил я. — Достойный я человек или нет, это вам виднее.

Ему наша затея не понравилась, это я сразу понял. Некоторое время он сидел молча, туго сплетая пальцы, а когда заговорил, его голос звучал уныло.

— Поверь мне, брат Менефи, — сказал он, растягивая слова, — у меня нет сомнений, что ты достойный человек. Достойнее трудно найти... Но ведь дело не только в этом. Эмили — единственное дитя, дарованное мне богом, и она унаследует все, что мне послал господь. А я могу признаться тебе, брат Менефи, он многое послал мне за эти годы.

— Что ты! — вмешалась Эмили. — Он хочет жениться на мне не из-за денег. У него и в мыслях нет...

— Я не о том, — сказал, раздражаясь, Исцелитель. — Вам вот что надо понять: я держу в руках большое дело, очень большое дело. Тут и сбор пожертвований на молитвенных собраниях, и доходы от радиопередач по всей стране, от продажи молитвенников, а скоро будут еще поступления от нашего храма, когда мы его откроем. Обо всем надо позаботиться. Работы по горло. Только крепкий человек может тянуть эту лямку вместо меня...

— Знаю, о ком ты. Это Чарли Фиш! — воскликнула Эмили — Сто раз говорила — не выйду за него, будь он единственный мужчина на земле.

Исцелитель перегнулся к ней и похлопал по руке.

— Ну хорошо, хорошо. Пусть не Чарли Фиш, а другой человек с его способностями, если тебе придется по вкусу. Сила, которой я наделен, позволила мне собрать богатую жатву. Придет время, и все это будет в твоих руках, Эмили. Твой муж должен быть способным партнером. Брат Менефи достойный человек, но для этого не подходит. Я не могу дать согласия на этот брак, он не сулит ничего хорошего. Больше я о нем и слышать не хочу.

У меня сердце упало, как тяжелый камень.

— Я верю вам, Исцелитель, но трудно мне придется теперь. Ни одну женщину я не любил так сильно и, наверно, никогда не полюблю.

— Вера может сдвинуть гору, — сказал Исцелитель. — Полагайся на веру и забудь думать о мисс Эмили. Я распоряжаюсь ее поступками, пока живу на земле. А когда умру, она сможет сама выбирать свой путь, но до этого еще далеко, брат Менефи, я еще долго буду жить, судя по моему здоровью и заложенной во мне силе. На твоем месте я положил бы глаз на другую, более подходящую тебе женщину.

Я ушел от него удрученный, как никогда. Проходили дни, недели, а впереди, казалось, не было никакого просвета, хоть мисс Эмили и старалась меня утешить.

— Ни за кого другого я не выйду, Аарон, — говорила она. — Буду ждать тебя всю жизнь.

Но от этого мне становилось еще тяжелее. Казалось, все обрушивается только на мои плечи, будто дьявол поддел меня на свои вилы. Пока цепляешься за них, дьявол не может сбросить тебя в пылающий внизу огонь, но и ускользнуть на свободу тоже не удается.

С наступлением весны мы повернули на север. Ничто не изменилось к лучшему к тому времени, когда мы приехали в Цинциннати, откуда рукой подать до моего родного поселка. Мое подавленное состояние навело меня на мысль повидаться с доктором Баклсом. Да я к тому же обещал завернуть к нему, если окажусь поблизости. Хоть помочь мне доктор, понятно, не мог, он всегда умел поднять настроение, если отвлечь его от сквернословия и задиристых споров.

Я получил разрешение взять лимузин, чтобы съездить к доктору после молитвенного собрания, прикатил на мотор и мгновенно проделал весь путь. Подъехав к дому Баклса, я увидел, что в окнах горит свет и занавески опущены. Меня это не удивило. Я знал, что доктор ложится спать поздно и не любит, чтоб к нему заглядывали в окна, когда он сидит в своей комнате наедине с бутылкой виски. Но я очень удивился, едва переступил порог прихожей. Дверь за мной захлопнулась как бы сама собой, и что-то твердое уперлось мне в самый хребет. Меня еще никогда в жизни не пихали дулом пистолета, поэтому странно, если поразмыслить, как я мог сразу догадаться, даже не оборачиваясь, что в спину мне уперся пистолет.

— Руки вверх! — приказал грубым голосом державший его человек. — А теперь иди дальше.

Он втолкнул меня в комнату и опять захлопнул за собой дверь. Тут я понял, что попал в переделку. Доктор уныло сидел в своем кресле, а на краю стола для осмотра больных примостился, свесив странно болтающиеся, как бы чужие ноги,

какой-то человек с искаженным от боли, смертельно бледным лицом.

Доктор удивленно взглянул на меня, как бы не веря своим глазам, и покачал головой.

— Ну, зачем сюда ввалился? Нашел время, нечего сказать...

Сидевший на столе повернулся к Баклсу.

— Ты его знаешь? Что ему тут надо?

— Ничего, — ответил Баклс. — Это мой друг, оставьте его в покое. Если попали в беду, нечего портить жизнь всем другим. Я вас осмотрел и честно сказал всю правду, как перед богом. Ваши ноги парализованы, и ничего тут сделать нельзя. Я бессилен, да и никто другой вам не поможет.

Незнакомец ударил рукой по столу.

— Хватит болтать! — крикнул он и перевел взгляд на меня. — Есть другой врач в этой дыре?

— Нет, насколько мне известно, — ответил я после короткого раздумья.

Он опять ударил рукой по столу.

— Врешь! Ты от меня что-то прячешь!

— Я никому еще не врал, сколько живу на нашей благословенной земле. Зачем мне губить свою душу и говорить вам неправду?

— Ладно, ладно, — оборвал меня он. — Но кто же вас всех тут лечит, коль всерьез заболеете? Ведь не этот же старый шарлатан?

Внезапно меня озарило, будто солнце встало над нашей древней Черепаховой горой. Это тоже предопределено, как и все с того самого дня, как я впервые увидел год назад Исцелителя. Мне выпал жребий спасти доктора Баклса от вечных мук, выхватить его душу из адского пламени, как головешку из костра. Если он увидит своими глазами силу Исцелителя, он несомненно найдет путь к спасению.

Я сказал:

— Доктор Баклс — опытный врач, и все же многое ему не под силу. Но тут есть кое-кто, кому всегда удается справиться с любой болезнью. Он и меня вылечил, хотя доктор Баклс ничего не мог сделать. Он каждый вечер исцеляет всех, кто к нему приходит, от каких угодно недугов.

Сидевший на столе смотрел на меня, хватая воздух разинутым ртом и полузакрыв глаза.

— Это еще что за басня?

— Нет, это правда! — воскликнул я. — Спросите доктора, он скажет.

Доктор Баклс перегнулся ко мне через стол.

— Не суйся в это дело, Менефи. И пусть твой друг-исцелитель тоже не суется. Ты не знаешь, с кем говоришь, так я тебе скажу. Это Верн Байерс — полусумасшедший и оголтелый головорез. Он убил полицейского, всадившего в него пулю, а потом преспокойно застрелил врача, который пытался вынуть эту пулю, да только у него сорвалась рука. Наверно, потому, что работал под наставленным на него пистолетом. Такому человеку опасно морочить голову, Аарон. Держи язык за зубами и считай себя счастливым, если увидишь завтра восходящее солнце.

Верн Байерс уставился на Баклса. Его глаза горели на бледном лице, как угольки.

— Значит, ты кого-то прятал от меня, старый козел?

— Нет, — поспешно возразил я. — Он никого не прятал. Просто он ничего не знает о таких целебных средствах, о целительной внутренней силе, заложенной в человеке...

— Мне наплевать, какие это средства! Тащи сюда этого малого!

— Нужна вера, брат Байерс. Вы верите в исцеление?

— Какая еще там вера? Он должен меня вылечить, вот и все! Ты слышал? Должен!

Он распахнул пиджак, и я увидел болтающийся у него на груди пистолет. Вытащив бумажник, он достал большую пачку денег.

— Смотри! Вот тысяча долларов! Что выпучил глаза как дурак! Суй скорее в карман. Это для твоего врача, чтобы шел сюда. Скажи ему, что здесь его ждет еще тысяча. Хорошие деньги, верно?

— Брат Байерс, Исцелитель не берет платы за свои деяния. Но если это пожертвование на добрые дела, он будет доволен.

— Называй как хочешь. Пусть только придет быстро. Через два часа все шоссе в штате перекроют. Мне нельзя здесь долго торчать. А теперь послушай, что я тебе скажу,— медленно произнес он, опять полузакрыв глаза. — Только не смей говорить это своему парню, когда пошлешь его ко мне. Этот жирный знахарь не врал. Я ухлопал шарлатана, который взялся чинить мои ноги и искорежил их. И я прикончу каждого, кто положит в карман мои деньги и не поставит мои ноги на место. Клянусь могилой матери!

Человек с пистолетом, стоявший у меня за спиной, вытолкал меня из дому, впихнул в машину и уселся рядом. Мне было немножко не по себе, когда я вел машину под дулом пистолета, но все же мы быстро доехали до лагеря.

Мой спутник вылез за мной из машины, тыча мне в ребро пистолетом. Когда я вошел в палатку, он остался у входа, но я знал, что пистолет по-прежнему направлен в мою сторону.

Исцелитель сидел за столом с Чарльзом Фишем и другими. Я подошел к нему как ни в чем не бывало.

— Исцелитель, — сказал я, — тут стоит один человек, его друг нуждается в помощи.

— Так поздно? — удивился Исцелитель. — Наверно, что-то очень серьезное, брат Менефи?

— Наверно, Исцелитель. Смотрите, вот какое он сделал пожертвование.

Все вытаращились на меня, когда я достал из кармана и протянул ему пачку.

— Обещал дать еще столько же, когда приедете.

Исцелитель взял деньги, глаза у него загорелись.

— Брат Фиш, — сказал он, передавая пачку — Добавьте это к сегодняшней выручке. Такой у нас, кажется, уже давно не было.

Он встал и потрепал меня по плечу.

— Так ты сказал, что еще такое же пожертвование ждет меня, брат Менефи?

— Да, Исцелитель. Только меня беспокоит одна вещь...

— Что же?

— Не знаю, есть ли вера у брата Байерса, которому нужна ваша помощь. Я его спросил напрямик, да он ответил так, что я не понял, есть у него вера или нет. Он грешник, Исцелитель, и стоит на пути к вечным мукам. Может быть, теперь, в час испытаний, у него появилась вера, но я не знаю.

Исцелитель рассмеялся так откровенно и шумно, что я залился краской.

— Ты молод и усерден в вере, брат Менефи но ничего не понимаешь в таких вещах. Иначе ты бы знал, что всякий, жертвующий такие деньги всегда готов к действию моей целебной силы. Так где же он, несчастный страдалец?

— В поселке по ту сторону Цинциннати, — ответил я. — Здесь ждет его друг, он нас отвезет.

Мы вышли из палатки. У входа стоял мой спутник, засунув руку в карман. Я понял, что он держит в ней пистолет, нацеленный на меня. Мне хотелось предостеречь Исцелителя, но в тот момент это было довольно рискованно. Они сели в машину спереди, Исцелитель — у руля. Я собрался занять заднее место, но Исцелитель протянул руку, отстранил меня и захлопнул дверцу.

— Спасибо, брат Менефи, — сказал он,— думаю, ты нам не понадобишься в этой поездке.

Прежде чем я успел что-нибудь сделать, он резко тронул с места машину и быстро поехал к шоссе.

Я стоял и смотрел на уходящие вдаль фонари, зная, что, когда они слегка нырнут, машина выйдет на шоссе. Я видел, как огни становятся все меньше и меньше. Наконец они мигнули и исчезли, точно маленькие звездочки в свете утренней зари. И все это время я молился, молился усердно, чтобы вера Байерса выдержала предстоящее испытание, как надеялся Исцелитель.

Нет, моя вера не ослабнет, что бы ни случилось. Человек не вправе судить о том, что предопределено.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ДЕВОЧКА С ЗОЛОТОЙ ВЕТВЬЮ

Цвет надежд — зеленый. Сборник научно-фантастических произведений. Перевод с шведского. Составитель Л. Жданов. Предисловие Ю. Кузнецова. Москва, «Мир», 1982.

Случилось так, что я находился в Швеции в те дни, когда в Стокгольме при большом стечении публики проходила выставка украшений, извлеченных из скифских курганов. Привезенные из СССР сокровища вызвали подлинную сенсацию. Орнаментальные узоры степняков оказались поразительно похожими на узоры суровых викингов и лапландских оленеводов.

Я вспомнил об этой выставке, на которой был вместе с крупнейшим фантастом Швеции Самом Люндвалем, когда читал его волшебную повесть. В сборнике шведской фантастики «Цвет надежд — зеленый» она, безусловно, занимает ведущее место, как по масштабности идей и литературному мастерству, так и по объему. Отдавая должное писательскому таланту Карла-Юхана Хольцхаусена, чье произведение дало заглавие всему сборнику, равно как и остроумию Фредрика Чиландера и Бёрье Круны, я все же намереваюсь говорить здесь лишь о «Мире Алисы» Люндваля. Тому есть несколько причин.

Во-первых, эта повесть стала крупнейшим явлением мировой научной фантастики последних лет, а во-вторых, она удивительно литературна и возвращает читателя в безоблачный мир детства, грозно искаженный, однако, тревогами и печалями тройственной эры космоса, атома и компьютера.

Саму Люндвалю удалось доказать, что путь человека к собственному детству пролегает через детство человечества, через лабиринты мистерий, через золотую ветвь мифов. Мировое дерево, которое стережет дракон, и знакомый с детства дуб у Лукоморья, где «неведомые дорожки» испещрены «следами невиданных зверей»... Мир мифов и мир сказок, как они удивительно близки, и нить фантазии так или иначе уводит нас к началу мистерий.

Городок Арация, ныне Ла-Ричча, прилепился у подножия Альбанской горы, поросшей лавровыми деревьями и длинноиглыми пиниями. Каменистая горная тропка крутыми извивами ведет вниз к небольшому спокойному озерцу, которое древние называли Зеркалом Дианы. В античные времена где-то здесь была заповедная роща и уединенное святилище немейской девственницы — неверной и мстительной богини Луны, покровительницы зверей и охотников.

Век от века, год от года и день ото дня в роще возле древа Дианы повторялась одна и та же сцена: крадучись, прислушиваясь к каждому шороху, на поляну выходил человек с обнаженным мечом и, стараясь поскорее преодолеть залитые обманчивым лунным светом пространства, исчезал в густой тени, чтобы вскоре вновь оказаться вблизи дерева, к которому его влекла непонятная губительная сила. Это Царь Леса — немейский жрец. Свой высокий титул он обрел ценой убийства, и ему рано или поздно также предстояло пасть от меча очередного претендента.

Как рос, как причудливо ветвился черенок немейского дерева, покрывая страны и материки, бросая отсветы на цивилизации, разделенные эпохами и океанами! Тайна посвященного Диане дерева, с которого в обычное время не могла быть срезана ни единая веточка, восходит к истокам древних обрядов, когда рождались табу — запреты на те или иные действия, на людей и зверей, на слова и предметы. Переходя из поколения в поколение, они пережили смены религий, общественных формаций и как отголоски мифов дожили до нынешних дней. Происхождение многих церемоний народов Южной Азии и Скандинавии, Африки и Латинской Америки, причем связанных не только с культом, но и с повседневным бытом, проясняется, если вспомнить магическую «золотую ветвь»: поклонение деревьям и камням, колдовские приемы, связанные с наследованием верховной власти, симпатическая магия и заклинание стихий, первые мистерии, эпические сказания, волшебный мир искусства... Так постепенно устанавливались могущественные связи между культурными мирами, разделенными бездной пространства и времени. Культы еги-

петского Осириса и греческой Персефоны оказываются сопричастными мифу о Бальдуре, друидским поклонениям омеле и праздникам огней, до сего дня справляемым в Северной Европе.

Разительные аналогии между христианством и древними культурами, между укоренившимися в европейских «цивилизованных» странах дикими суевериями и обычаями первобытных племен, населяющих острова Полинезии или обитающих в Центральной Африке, не только развенчивают нравственные основы религии вообще, но и служат мостами взаимопонимания.

Эней, отправляясь в царство мертвых, сорвал по наущению Сибиллы золотую ветвь. Черенок, который дозволялось срезать с древа Дианы беглому рабу перед тем, как сразиться с Царем Леса, оказался, как это убедительно показал Фрэзер в своей книге «Золотая ветвь», поистине «магическим»: он позволил нам заглянуть в далекое прошлое и увидеть ту единую основу, что породила самые разные обычаи у самых разных народов Земли.

Помня об этом, обратимся к фантастике, в том числе к фантастике научной. Сам Люндваль, автор повести «Мир Алисы», обнажил перед читателями именно мифологический субстрат, давший вечную жизнь литературным героям. И отнюдь не случайно, не вследствие авторского каприза Мировой Змей Мидгордсурмен оказывается соседом «огромной гориллы, карабкающейся на небоскреб», — знаменитого Кинг-Конга.

В «Мире Алисы» продолжают жить драконы и пегасы, сфинкс, пожирающий путников, не сумевших отгадать мудреную загадку, и эллинские боги. Это мир юного человечества, осознавшего свою общность и устремившегося к разгадке вечных загадок, но еще не расставшегося с инстинктами, еще уходящего всеми своими корнями в первобытное варварство с его суевериями и кровавыми жертвоприношениями в честь богинь плодородия, богинь земли. Там, во тьме таинственной ночи посвящений, в сумраке заповедных рощ, правят бал Деметра и Диана. Та самая Диана, чье дерево ценой жизни оберегает Царь Леса.

Все это — таинства Земли, колыбели человечества, дерзнувшего окинуть хозяйским оком Вселенную. Вспомним в этой связи К. Э. Циолковского, его пророческие слова о том, что нельзя вечно жить в колыбели, и нам станет понятна потаенная идея повести Люндваля. Земля Ивана Ефремова (третье тысячелетие нашей эры) — еще процветающий очаг цивилизации, но далеко не первый по уровню развития в «Великом кольце миров». Земля Сама Люндваля (через пятьдесят тысяч лет) — уже оставленная колыбель, почти забытая колонистами, расселившимися на бескрайних просторах Звездного объединения миров.

Растут и множатся города, лавинообразно увеличивается поток знаний, возрастают масштабы и скорости научно-технического прогресса... Древняя память отступает в пыльную тень чуланов и чердаков, где свалены поломанные игрушки и зачитанные до дыр книжки с картинками. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, такова логика развития, его категорический императив.

И все же не обрывается, хоть и вытягивается в тончайшую нить, волшебная пуповина. Далекие потомки затерявшихся на космических трассах «блудных сынов» возвращаются к родным пенатам, но не узнают ни их, ни других хранителей домашнего очага — ларов. Время не проходит бесследно. И отдаленные мутации некогда бездумно, а то и преступно посеянных зерен рождают тревогу, непонимание и тоску. Вспомним «Паломничество на Землю» Роберта Шекли. Герой этого знаменитого и столь красноречиво озаглавленного рассказа, одержимый вначале мечтой о настоящей, земной любви, в конце концов проклинает романтические бредни. Ограбленная мечта рождает жестокое похмелье. Шекли, который, подобно другим американским писателям-фантастам, рисует отдаленное будущее в рамках современной ему морали, говорит, разумеется, не столько о будущем, сколько о настоящем. Отсюда и бескомпромиссный вывод: на существующих буржуазных моральных устоях можно возвести лишь порочную конструкцию.

Проблематика повести «Мир Алисы», разумеется, намного сложнее, богаче нюансами, многозначнее в выводах. И это понятно, ибо речь идет не просто о моральных ценностях, но о духовной культуре в целом. О диалектическом освоении ее грядущими поколениями землян, преемственности и отрицании.

Олимпийцев, с которыми так упорно боролась на первых порах христианская церковь, человечество давно перестало считать богами; едва ли оно понесет к звездам и образки канонических святых, ладанки с библейскими стихами или сурами из Корана.

Здесь, казалось бы, все ясно и повода для полемики нет. Но вопрос о том, оставит ли человечество в брошенной колыбели не только богов, но и любимых литературных героев, не столь однозначен. Впрочем, произведение принято судить по законам его создателя, да и у читателей всегда остается неотъемлемое право на собственное мнение. Человек, как писал Блок, «пред вечностью полон измен». Поэтому, оставляя в стороне литературных героев как таковых, скажем несколько слов об их морали. Для литературы, истории, для прогностики, наконец, это больной и трудный вопрос.

На «неведомых дорожках» священной рощи Дианы, где Алиса играет с Кроликом и Соней, не только драконы оставили свои пугающие следы. Не только героев «Одиссеи» встретили астронавты Монтейлера на запутанных путях изменчивых земных ландшафтов, где раскинул асфальтовые щупальца такой знакомый и столь по-новому жуткий Любойград — Мегаполис, который «превратился в язву сочащуюся ядом, жизнью и смертью». Но это не только бездушный комплекс с его небоскребами и хитросплетением автострад, но и чарующий лабиринт, где остались пережившие свою память дома, дворцы и соборы. Там все наполняет серд-

це щемящей грустью: туманные каналы, позеленевшие монументы, площади, фонтаны. «Это был Токио, Нью-Йорк, Лондон, Париж. Его жители пришли сюда из всех повествований, из разных снов и грез. Здесь короновали королей, здесь умирали нищие — под сенью дворцов из застывшего огня ютились лачуги батраков и прачек. Это был Запретный город, Валгалла, Шангри-Ла, Атлантида. Это были все города, это не был никакой город, это был любой город». Порождение преисподней и взлет к горним высям. Его не разъять на отдельные части, не забыть и не вырвать из сердца.

Когда я читаю филиппики против городов, то невольно вспоминаю обезлюдевший, безмолвный, как некрополь, Пномпень. Лишь чернорубашечникам Пол Пота, вскормленным печенью жертв, могли померещиться «простые» решения. Их нет в нашем трудном и, наверное, переломном веке, как не было, впрочем, и в давние времена...

Но вернемся к литературным героям, оставленным Люндвалем в роще богини-девственницы. Проигрывая перед читателями целые сцены из любимых книг, мастерски вплетенные в сюжетную канву собственного произведения, Люндваль призывает их не столько к повторению пройденного, сколько к его глубокой нравственной переоценке. Я не думаю, что самые дальние наши правнуки позабудут о мушкетерах, об отважном капитане Немо, пленительной Навсикае. Древняя амфора надежно хранит терпкую горечь вина богов и героев. Поэтому речь опять пойдет лишь о той морали, которая не всегда близка уже нам самим и станет совсем непонятной «вольным сынам эфира». Фантасты смело вступают в бой за нетленные ценности прошлого. Достаточно вспомнить хотя бы «Эшер II» Брэдбери, где гротески Эдгара По обрели новую жизнь в калейдоскопе технотронной эры. Но столь же решительно писатель-фантаст, сражаясь во имя грядущего, отвергает и привычные стереотипы. Мораль отважных мушкетеров стала анахронизмом уже во времена Дюма, хотя тогда еще стрелялись на пистолетах и дрались на шпагах. Сколь ни притягателен для нас образ храброго Д'Артаньяна, сама мысль о том, что можно убить человека из-за косого взгляда или оброненного платка, кажется по крайней мере диковатой. Еще дальше, еще непостижимее нашему уму таинственные цели Арамиса, ставшего в итоге генералом иезуитского ордена. Даже действия Немо, чьи благородные цели десятилетиями вызывали восхищение читателя, в свете сегодняшнего дня представляются не столь уж бесспорными. Победа социализма во многих странах, глобальный крах колониальной системы и нынешнее международное право — это непреложные реалии, властно перекроившие не только географическую карту, но и традиционные представления. Они и на прошлое заставили нас взглянуть по-новому.

«Все человеческие сказки, мифы, легенды, басни притаились во тьме, терпеливо выжидая, — так они ждали пятьдесят тысяч лет»... Люндваль вновь и вновь приковывает наше внимание к основной идее повествования. Подчиняя второстепенное главному, он не вдается в детали, а стремится продемонстрировать целый субстрат, где органично соседствуют и Мегаполис, и город Ста Золотых Ворот (то есть Атлантида), и волшебный Замок Оз. Вместе с тем в отборе деталей, без которых не может быть художественного произведения, он аналитически точен.

«Мир есть война... Боже, храни королеву!» Объединяя в одной фразе лозунг Большого брата из известной антиутопии Оруэлла со словами британского гимна, он выносит недвусмысленный приговор не культуре, а морали эпохи империализма. И это закономерно для зоркого аналитика, чуткого художника и убежденного социалиста. Астронавт Монтейлер — в известной мере человек без прошлого, человек, отрезанный от материнских корней. Его агрессивность не от недомыслия и тем более не от внутренней порочности. Это реакция на неожиданность, плод незнания, результат неведения. Мудрый сфинкс, пожирающий несчастных, коим не по силам оказались роковые загадки, — для Монтейлера хищный зверь, а не грозное божество. Именно здесь следует искать истоки роковых и необдуманных решений астронавта. Не Земля как таковая, но ее мифология, помноженная на куртуазные ритуалы рыцарства, противостоит непрошеным гостям. Не случайно война, в которой не погибают любимые нами литературные герои — они изначально бессмертны! — завязывается и проигрывается в повести Люндваля как шахматная партия с «живыми фигурами». Такие игры любили в средневековье, их повторяли время от времени и позднее. Ни понять, ни тем более «покорить» Землю невозможно, не усвоив ее противоречивого, но безмерного по богатству духа. Вот почему бессильной в конечном итоге оказывается самая современная военная техника астронавтов. Стрелы в колчане Дианы и Амура неизмеримо сильнее ракет. Заключительные строки «Мира Алисы» позволяют думать о своего рода символике, перебрасывающей радужный мост от дерева с «золотой ветвью» на древней Земле к обитаемым планетам будущего. Недаром же забредает Монтейлер в храм Дианы!

В этой связи мне хочется привести чудесные строки, написанные в 1862 г. Льюисом Кэрроллом об Алисе, адресованные Лидделл, вдохновившей его на создание бессмертной книги: «Какой же была ты, Алиса, в глазах твоего приемного отца? Как ему описать тебя? Любящей прежде всего; любящей и нежной — любящей, как собака (прости за прозаичное сравнение, но я не знаю иной любви, которая была бы столь же чиста и прекрасна), и нежной, словно лань; а затем учтивой — учтивой по отношению ко всем, высокого ли, низкого ли рода, величественным или смешным. ...И еще доверчивой, готовой принять все самое невероятное с той убежденностью, которая знакома лишь мечтателям; и, наконец, любознательной — любознательной до крайности, с тем вкусом к Жизни, который доступен только счастливому детству, когда все ново и хо-

рошо, а Грех и Печаль всего лишь слова — пустые слова, пустые слова, которые ничего не значат!»

Люндваль, его жена Ингрид и их маленькая Карин влюблены в кэрролловскую «Алису в стране чудес». Это, как мне кажется, во многом предопределило финал его собственной повести с логически обусловленной многозначностью. «Мир Алисы» — это «литературная» в буквальном смысле слова повесть, которая неразрывно связана с мировой литературой.

Словно прозрев после бесконечных блужданий в лабиринте Минотавра, астронавт Монтейлер начинает понимать, что в облике золотовласой девочки соединились бессмертные черты и шекспировской Джульетты, и Лауры, озарившей жизнь Петрарки, и владычицы любви и ночи Астарты, и Реи, матери богов.

На память приходят строки из поэмы Эдгара По «Улялюм»:

...Двуалмазный и ярко блестящий
Астарты изогнутый рог.
Я сказал: — Горячей, чем Диана,
Она движется там, вдалеке,
Сквозь пространства тоски, вдалеке,
Она видит, как блещет слеза на
Обреченной могиле щеке[1].

Диану, чье священное дерево растет в заповедной роще, тоже узнает Монтейлер в милом и таинственном образе Алисы...

Читая повесть, я вспоминал наши встречи с Самом Люндвалем. В Голландии, где собирался очередной конгресс Всемирной организации научных фантастов, вдоль старинных каналов по брусчатке древних городов шли бесконечные колонны демонстрантов. Выйдя в многодневный поход во имя будущего своих детей, протестуя против размещения заокеанских ракет на полях, трудом многих поколений отвоеванных у моря, простые, далекие от политики люди защищали не только будущее, но и прошлое. Посеребренное пеплом тысячелетий, дорогое каждому прошлое. С. Люндваль не идеализирует минувшее, не возводит его в абсолют, принимая целиком — с ошибками и заблуждениями. Поэтому столь убедительной кажется мне пронизывающая все повествование мысль о бессмертии Мечты.

Е. ПАРНОВ

ЗВОН ОСЕННИХ ЦИКАД

Осенние цикады. Из японской лирики позднего средневековья. Перевод с японского. Предисловие, составление, перевод и комментарий А. Долина. Москва, «Наука», 1981.

Поразительные переклички случаются порой в мировой поэзии! После смерти великого немца Бертольта Брехта было опубликовано найденное в его бумагах стихотворение — «Список радостей»:

Первый взгляд поутру в окно
Снова найденная старая книга
Вдохновенные лица
Снег смена весен и зим
Газета
Пес
Диалектика
Душ плаванье
Старинная музыка
Удобные башмаки
Постижение
Современная музыка
Писать вырашивать
Путешествовать петь
Быть дружелюбным

Просто и как будто сухо: почти каталог. Но как явственно проступает сквозь этот перечень лицо, характер, судьба! Трудно сказать, знал ли Брехт, что лет за сто до него подобные строки написал японский поэт Татибана Акэми (1812—1868). Скорее всего, не знал. Но когда читаешь сегодня цикл стихов Татибана Акэми «Мои маленькие радости», вошедшие в книгу «Осенние цикады», не можешь не удивляться, как сходен был самый замысел у двух поэтов:

Как хорошо,
когда на циновку приляжешь
в хижине горной
и отдыхаешь душой
от повседневных забот.

Как хорошо,
когда у горячей жаровни
сладко вздремнешь,
и уже никому на свете
растолкать тебя не под силу.

Как хорошо,
когда, раздобыв у друзей
редкую книгу,
можешь потрепанный том
на первой странице открыть...

Конечно, помимо сходства есть и разница. У Брехта — пятнадцать строк, некоторые — по одному слову. У японского поэта — пятьдесят одно маленькое стихотворение, пятистишия в жанре «вака», более известном у нас под его позднейшим наименованием «танка». Конечно, разные характеры встают за строчками стихов: антифашист XX века деятелен, активен, в ряду его радостей — «газета» (хотя и «снова найденная старая книга» — тоже); послушник буддийской секты Нитирэн, сын купца, отказавшийся от своей доли наследства и проводивший дни в соломенной хижине за сочинением «вака», подчеркнуто тих, скромен, более склонен к созерцанию. И в то же время почти каждой строке Брехта через годы и расстояния отзывается пятистишие Татибана. Вот «Постижение»:

Как хорошо,
когда проникаешь один
в истинный смысл
книги, чью скрытую суть
прочим постичь не дано.

Вот «Быть дружелюбным», многократно варьируемое:

Как хорошо,
когда просидел целый день
дома за книгой —
и вдруг у ворот раздались
близких друзей голоса.

Недаром так волнуют эти совпадения: ведь они свидетельствуют, что воистину существует Вечное, непреходящее, сближающее людей высокого духа, где бы и когда бы они ни жили. В нынешнем разделенном, раздираемом противоречиями мире важно и ценно каждое напоминание об этом. И перекличка, о которой мы говорим, тем удивительней, что девятнадцатый век в Япо-

[1] Эдгар По. Избранное. Перевод Н. Чуковского. М., Изд-во художественной литературы, 1958.

нии — это не девятнадцатый век в Европе, это еще феодализм, средневековье, чье господство кончится лишь с «революцией Мэйдзи» 1868 года, до которой поэт Татибана не дожил десяти дней...

Книга «Осенние цикады» углубляет и расширяет наше знакомство с поэзией Японии. Для того же, кто впервые прикоснется к произведениям японских поэтов, многое здесь покажется непривычным:

Вечерняя мгла
пропитана благоуханьем
цветов померанца.
За хижиной в роще весенней
ведут перекличку кукушки...

Это все. Это и есть стихотворение поэта Камо Мабути (1697—1769). Да, еще название: «Слагаю, заслушавшись песнями кукушек». Нет рифм, нет привычного размера — впрочем, любой мало-мальски подготовленный читатель уже знает, что дело не в них. Но нет и сколько-нибудь примечательных метафор, нет ярких деталей, нет ценимой многими знатоками поэтической загадочности и темноты — все настолько обескураживающе просто и ясно, что впору воскликнуть: в чем же тут поэзия?

Комментарий пояснит, что все не так просто, как нам кажется. Что, например, кукушки — это традиционная примета наступающего лета в классической поэтике; что крик отбившегося от стаи гуся служит аллегорией осенней печали; что журавль и черепаха олицетворяют долголетие; что трава в изголовье — аллегория странствий; что сверчки, светлячки, луговая роса, цветение вишен, листья банана, заросшая мхом тропинка — все имеет свой особый смысл; что, наконец, японской поэзии присущи постоянные аллюзии, реминисценции, заставляющие читателя вспомнить более ранних поэтов, знаменитые строки из антологии «Манъёсю» и «Кокинсю», с детства известные каждому грамотному японцу. Но, по правде говоря, подобные комментарии мало что дают для чувствования поэзии: в нас-то все это с детства не живет! И остается одно: сами стихи. Надо читать их неспешно, сосредоточенно — и целый мир откроется нам, и мы убедимся, что в этом мире и впрямь ни одно слово не случайно и вовсе не так уж легко было старым японцам писать свои стихи без размера и рифм. Мы увидим, какие многообразные, тончайшие оттенки чувств запечатлевают японские поэты:

Пускай похоронит
тропинку в горах снегопад —
какое мне дело!
Я ведь знаю, что никогда,
даже в ясный солнечный день,
ты меня навестить не придешь...

(Рёкан, 1758—1831)

Тема ожидания друга характерна для японской поэзии, она разрабатывается многими поэтами очень тонко, очень человечно, и, думается, во все времена эти стихи будут рождать живой отклик в читательском сердце. Так же, как и неугасимое стремление поэтов прикоснуться к сути бытия, понять, что же кроется за цветными покровами суетной повседневности:

Станет с годами
галька речным утесом,
не прерывая
вечную цепь превращений
в нашем изменчивом мире...

(Одзава Роан, 1725—1803)

Размышления о бренности, а то и о призрачности человеческого существования в значительной мере связаны у японских поэтов с философией буддизма и различных его сект. И, наверное, очень еретически звучали в свое время стихи Кагава Кагэки, увенчанные пространным названием — «Сложил, покинув свое жилище и на время переселившись в павильон Любования утками»:

Едва ли не больше,
чем в самых высоких горах,
для сердца сокрыто
вечных истин и откровений
в толчее городского базара...

Или «вака» Одзава Роана, под еще более длинным заглавием — «По нынешним временам в ута (поэтический жанр.— И. Ф.) обязательно строго отбирают слова, а многие вещи из тех, что мы видим и слышим повседневно, и вовсе в стихах не встречаются»:

В прежние года
не стеснялись этих слов
в песнях и стихах:
редька, баклажан, имбирь,
вяленая дыня, лук...

И как не вспомнить здесь молодого Гюго с его программным заявлением: «Нет словпатрициев и нет плебеев-слов!» Сходными путями идет в своих исканиях человеческий дух в разных уголках земли, во всех краях разрывается он между «горним» и «дольним», «небесным» и «земным» — напомним, что споры о соотношении «бытия» и «быта» в поэзии не угасли и сегодня.

Где-то в последней четверти книги на ее страницах появляется... рифма! И это не случайно: заключительный раздел отведен народной поэзии. Надо отдать должное чуткости переводчика, ощутившего, что здесь она — рифма — уместна. «Японский язык лишен рифмы, но авторы песен знали о ней из китайской поэзии»,— сообщает А. Долин в предисловии. Думается, что дело не только в этом. Как и всякий звучащий язык, японский знает слова с фонетически сходными окончаниями: созвучие — возможно, но письмо его не фиксирует столь непосредственно и буквально, как наше. А народная поэзия изначально связана не с письмом, а со звучанием, с песней. В песне, на слух она фиксировалась и передавалась от человека к человеку. «Как и всякая песенная лирика, коута (жанр народной поэзии, — И. Ф.) тяготеет к насыщенной мелодике стиха, музыкальности, напевности»,— пишет А. Долин, и он совершенно прав. Правда, ему не всегда удается найти верную интонацию для своего перевода, и тогда японская песня звучит чуть ли не по-украински:

Я уткнулась в изголовье.
До зари проплачу:
Снова, снова мне с любовью
Не было удачи...

Но, конечно же, не так легко всякий раз найти ее — эту единственно верную интонацию, когда дело касается столь далекой и своеобразной поэтики, как японская. В целом же А. Долин решает эту трудную

задачу успешно. Лишь изредка вторгается в переводимый стих чужеродное слово:

Пути Благодати
постичь мне и впрямь не дано —
вчера и сегодня
так бездарно часы досуга
пролетели в хижине горной!..

(Рёкан)

Слово «бездарно», введенное в русский язык Игорем Северяниным, несет четкий отпечаток нашего столетия; «бездарно проведенное время» — современный просторечный оборот. Для передачи стихов поэта, жившего в восемнадцатом—девятнадцатом веках, уместней, думается, более «нейтральные» в этом отношении слова.

...Иногда приходит сомнение: станут ли читать потомки, которым предстоит жить в мире иных проблем, иных реалий, поэзию наших дней, даже в лучших ее образцах? Вот перед нами книга: японская поэзия восемнадцатого — девятнадцатого столетий. Страна, живущая в строгой изоляции от внешнего мира и всех его «вредных веяний»: даже колесо — под запретом. Жесткая феодальная регламентация всех сторон жизни. Резко отличающийся от всего, что нам знакомо, быт. Иная культура, иной способ фиксировать мысль на бумаге. А стихи японских поэтов — средневековых! — близки и понятны нам, еще раз утверждая в нашем сознании благодатную мысль о нерасторжимом единстве человеческого рода. Так что и потомки, думается, поймут нас — была бы поэзия Поэзией: искренней, правдивой, человечной.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

Издано за рубежом

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Бониш Ференц. Жизнь Белы Бартока в фотографиях и документах. На русском языке. Будапешт, «Корвина», 1981.

В начале 50-х годов из ГДР пришли к нам необычные книжки, целая серия: «Такой-то. Его жизнь в изображениях». «Таким-то» мог быть Гёте и Бах, Ромен Роллан и Шуберт... Постепенно число изданий такого типа умножалось, альбомы становились все полнее, эффектнее. И стало необходимо осмыслить: что это? Знамение времени, когда благодаря новейшей полиграфической технике все стало возможно воспроизвести и тиражировать? Угождение вкусу «массового потребителя культуры», который предпочитает «знать об этом» вместо того, чтобы «знать это», и стекается в туристских автобусах к Бетховенскому домику на «Эроикагассе» в Вене, не слыхав написанной там «Героической» симфонии? Да, отчасти этим объясняется успех такого рода изданий, их растущие тиражи. Но даже просмотр материала в них убеждает, что в большинстве они отнюдь не относятся к продукции массовой культуры, и составители ставят себе иные задачи.

Дело в том, что сам биографический жанр претерпел с середины нашего века огромные изменения. Биография, строго документированная, подтвержденная источниками, стала жанром научной прозы, которому изобразительный материал — портреты, фото, факсимильное воспроизведение автографов и документов — придает особую степень достоверности, делая наглядным то движение времени и изменение мира, частью которого является всякая жизнь.

В числе серьезнейших изданий такого типа — альбом венгерского исследователя Ференца Бониша «Жизнь Белы Бартока в фотографиях и документах» (в книге 440 иллюстраций). В предисловии Ф. Бониш называет книгу «мозаикой» и высказывает надежду, что читатель «под впечатлением музыки Бартока сможет из этой мозаики создать его целостный портрет». Да, музыка была стержнем жизни Бартока — одного из тех ярко национальных композиторов, которые подняли искусство своей страны до уровня искусства мирового. Для читателя, знающего и любящего музыку Бартока, чувствующего весь ее диапазон, от кажущейся бесхитростности «Румынских танцев» до загадочности и сложности квартетов среднего периода, книга Бониша конкретизирует и углубляет образ композитора. Но, может быть, возможен и обратный эффект.

Перелистаем альбом... Его открывает карта тех мест в Европе, где Барток жил подолгу. Это — в годы детства — восток бывшей Австро-Венгерской монархии, Трансильвания, где венгерское, румынское, украинское население жило бок о бок, сохраняя свой неповторимый национальный уклад и не зная вражды друг с другом. Об этих местах Барток будет вспоминать в 1943 году: «Сейчас, когда мы слышим... о национальной розни и вражде, своевременно, пожалуй, указать на то, что у крестьян нет и никогда не было такой вражды по отношению к другим народам. Они живут мирно друг подле друга, каждый говорит на своем языке, следует своим обычаям и считает естественным, что его иноязычный сосед делает то же самое».

Родители: отец, директор сельскохозяйственной школы, мать, рано распознавшая музыкальную одаренность сына, давшая ему начатки музыкального образования. Маленький Бела — один, потом с сестрой... Время ощущается в самой эстетике фотографий: в тяжелом кресле, возле которого поставил малыша провинциальный фотограф, в торжественно-застылых позах мальчика и девочки. Дальше — строгие «визитные» портреты учителей Бартока — видных венгерских музыкантов. Какой контраст с непринужденностью любительских фотографий 20—40-х годов — той, например, где всемирно известный композитор в летней рубахе и шортах залез с ногами на шезлонг... Целлулоидная высокочувствительная пленка и моментальная фотография изменили сам характер фотодокумента, придав ему жизненную непосредственность, теплоту. Движение — не меньше, чем от чопорных сюртуков, рединготов, котелков

рубежа столетий (как солиден в них двадцатилетний Барток!) к светлым пиджакам и тирольским курткам домашних снимков поздних лет.

Движение времени... Мы указали только на две внешние его приметы. Но оно — стержень книги. Вот нотный автограф вальса, его автору девять лет, а через год — уже целый список произведений, аккуратно составленный маленьким педантом. И еще один список — Бартоку уже 17 лет. Через год он окончательно выберет дорогу, но будет учиться не в музыкальной столице мира — Вене, а в Будапеште. Выбор не случаен: эти молодые годы — пик антиавстрийских и национально-патриотических настроений Бартока. «Около того времени возникло общественно-политическое течение, которое охватило и область искусства. Речь шла о том, что в музыке тоже необходимо создать нечто специфически венгерское. Эта мысль заставила меня обратиться к венгерской народной музыке, вернее, к тому, что тогда таковой считалось» («Автобиография»).

Что значит эта оговорка? Дело в том, что «венгерской» считалась в ту пору полупрофессиональная легкая музыка, сочетавшая в себе цыганские интонации с чертами городского танцевального фольклора; именно этот сплав освятили своими именами Лист, Брамс, Берлиоз... Но к тому времени, когда была написана «Автобиография» (1924), Барток открыл другую, подлинно народную, или, как он говорил, «крестьянскую» музыку. Начав ее исследование в 1905 году, Барток рассматривал его как дело жизни; экспедиция за экспедицией открывают ему не только мир венгерской песни, но и ее связи с фольклором румынским, славянским, турецким, арабским. И Барток объезжает не одну лишь родную Трансильванию и Венгрию, но и Словакию, Югославию, даже Турцию и Алжир. В книге Бониша есть карта его путешествий, географические пункты и цифры: записано 2700 венгерских, 3500 румынских, 2500 словацких, 90 западноукраинских, 19 сербских, 5 болгарских, 200 арабских и 100 турецких песен. Всего — 7 томов исследований и публикаций народных напевов.

В «Автобиографии» Барток писал, что «вначале интересовался только территорией распространения венгерского языка», но очень скоро потребовался «дополнительный охват словацкого и румынского языковых районов». Песня не изолирует народы, а связывает их — таков был вывод. Потому-то именно изучение фольклора избавило Бартока от узости национальной точки зрения, привело к идеям братства всех народов.

Б. Саболчи — крупнейший исследователь Бартока и вдохновитель труда Бониша — сопоставляет два высказывания из писем Бартока: «Я всю жизнь буду... служить венгерской нации, венгерской родине» (1903). «Идея, которую я исповедую с тех пор, как осознал себя композитором, состоит в укреплении братства между народами, братства, несмотря на войны и распри. Этой идее, насколько позволяют мои силы, я стремлюсь служить в моей музыке» (1931).

Вместе с тем изучение фольклора освободило композитора и от «единовластия» (именно это слово стоит в «Автобиографии») традиционной европейской гармонической системы. А дополнительным импульсом оказывались сходные тенденции в творчестве Дебюсси, Стравинского... Ф. Бониш воспроизводит страницу рукописи «Allegro barbaro» — манифеста Бартока, свидетельства того, что он нашел свой зрелый стиль...

Но именно неповторимость собственного музыкального языка оказывается причиной разрыва Бартока с академически эпигонской и националистической музыкантской средой Будапешта. Одна за другой следуют в книге Ф. Бониша идиллические фотографии семьи Бартока в 1910—1916 годах: жена и мать, сын, увлеченная игра с целлулоидными игрушками в тазу. Но за этой идиллией и напряженное творчество (вперемежку с семейными фотографиями — рукописи, среди них фортепианная сюита, песни на слова Эндре Ади — обновителя венгерской поэзии, балет «Деревянный принц»), и горечь изоляции композитора, которого, по его собственным словам, «официально предали казни» и который пишет «отныне только для своего письменного стола» (письмо от 22.VIII.1913, приведенное Бонишем).

«Переворот» в отношении к Бартоку наступил в 1917 году, когда в Будапештской опере был поставлен «Деревянный принц», а год спустя — опера «Замок герцога Синяя Борода». Но после 1919 года, когда пала Венгерская советская республика, между официальной Венгрией и Бартоком, сотрудничавшим с революционным правительством,— новые трения.

Идет время, меняясь в своих внешних приметах. С обложек изданий, с афиш и программ концертов исчезают извилистые виньетки и замысловатые шрифты стиля «модерн», на смену им приходит простой, аскетический типографский набор эпохи конструктивизма. В 20-е годы исполняют музыку Бартока крупнейшие музыканты: дирижеры Бруно Вальтер, Сергей Кусевицкий, Виллем Менгельберг, композитор Эдгар Варез и, конечно же, близкий друг — скрипач Йожеф Сигети (вот он, на многих фото, вместе с Бартоком). И новые сочинения: балет-пантомима «Волшебный мандарин» (1926), снятый после премьеры в Кельне «за безнравственность», чтобы потом обойти все балетные и симфонические эстрады мира, «Танцевальная сюита» для оркестра, квартеты № 3 и № 4, фортепианный концерт № 1... Музыка сложная, часто — напряженно-трагическая, всегда — неповторимо своеобразная. И сам композитор все больше гастролирует по всему миру как пианист, исполнитель собственных сочинений. В начале 1929 года — гастроли в нашей стране: Одесса, Харьков, Москва, Ленинград... Впрочем, у нас его имя не ново: его знают по исполненным сочинениям, по номеру журнала «Современная музыка» (№ 7 за 1925 год), специально посвященному Бартоку.

И вот фото, снятое в день пятидесятилетия, 25 марта 1931 года: корзина цветов преподнесена одному из признанных лидеров новой музыки в мире, чьи сочинения звучат повсеместно, ибо они «подобно сейсмограмме выражают движение внутренних сил времени» (Б. Саболчи.).

Но не только музыкой откликается на них композитор. Он предвидит, чем грозит миру и культуре набирающий силу фашизм. Вот Барток за одним столом с Томасом Манном, Полем Валери, Карелом Чапеком: заседает секция литературы и искусства Международного комитета по интеллектуальному сотрудничеству. Вот автограф Бартока: это — проект протеста Нового венгерского музыкального общества против действий итальянских фашистов, оскорбительных для Тосканини.

Один за другим следуют снимки 30-х годов: семья, концерты, фольклорные экспедиции, каникулы в горах, издания новых замечательных сочинений: «Музыка для струнных, ударных и челесты», «Соната для двух фортепиано и ударных», «Микрокосм» — остроумная попытка приобщить самых юных музыкантов к языку современной музыки. Но за всем этим — негаснущая тревога, ненависть к набирающему силы фашизму. Едва Австрию «присоединили» нацисты, Барток отказывается выступать в Вене, рвет отношения с венским нотным издательством «Универсаль». 5 июня 1938 года деятели культуры Венгрии выступают с протестом против готовящихся расовых законов; среди подписей — имена Бартока и Кодая. Вопреки всему законы приняты. «Существует явная опасность, что Венгрия тоже сдастся этому режиму разбойников и убийц. Вопрос только — когда и как? Как я смогу жить или — что то же самое — работать в такой стране, этого нельзя и представить. Строго говоря, мой долг был бы эмигрировать»,— писал Барток в письме 13 апреля 1938 года. Надвигается неизбежная война, тревога растет: она ясно отражается на лице композитора, читающего газету в июле 1939 года. И через два года после цитированного письма решение приходит: Барток осенью 1940 года эмигрирует вместе с женой и сыном в Соединенные Штаты.

Начинаются трудные годы. Пусть Барток облачился в мантию почетного доктора Колумбийского университета, пусть он продолжает там изучение восточноевропейского фольклора. Но до Бартока-композитора, кажется, никому нет дела, и вдали от родной почвы родник творчества, по видимости, иссякает... Лишь в 1943 году заказ Сергея Кусевицкого — тогда руководителя Бостонского оркестра — побуждает его вернуться к композиции и за 55 дней создать один из своих шедевров — Концерт для оркестра. За ним последовал Третий фортепианный концерт; последние 17 тактов его Барток уже не успел оркестровать. Ведь в это время он уже был болен острым лейкозом. Вот последние фотографии: лицо, исхудавшее до того, что глаза кажутся огромными; руки на клавиатуре — обтянутые кожей кости и сухожилия.

Как же обреченный, больной человек создал такие светлые, жизнерадостные произведения? Ответ поможет дать шуточный рисунок Бартока: нотная строчка — мелодия рождественской песни «С неба ангел к нам слетел» — и вооруженные парашютисты. Время — лето 1944 года, повод — высадка союзников в Европе. Вера в близкую победу помогала одолевать болезнь, находить силы для творчества. Барток дожил до победы. Его мысли возвращались к родной земле: в одном из последних писем он призывает помочь разоренному войной народу. 26 сентября 1945 года композитора не стало.

Мы хотели дать обзор книги Ф. Бониша — а вышло что-то вроде краткой биографии Бартока. Но все сказанное читатель найдет в книге: прочтет в лаконичных, емких подписях-комментариях к иллюстрациям и, главное, увидит воочию. Потому-то строгая научность сочетается в ней с особого рода художественным воздействием. Весь альбом — единый портрет художника на протяжении всей жизни. И столь его образ обаятелен, что, можно надеяться, даже те читатели, для которых молчат нотные строчки, которые, видя снимки исполнения той или иной вещи композитора, не могут вспомнить ни одной темы из нее, захотят узнать музыку Бартока, в которой были суть и смысл его жизни.

И. БАРСОВА
С. ОШЕРОВ

ПРОФИЛАКТИКА ОТ РАВНОДУШИЯ

Adolf Muschg. Leib und Leben. Erzählungen, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1982.
Адольф Мушг. Тело и жизнь. 1982.

В будущем году Адольфу Мушгу исполнится пятьдесят лет. Для швейцарского прозаика это возраст зрелости и известности. Автор шести романов и многих новелл, он завоевал славу как серьезный исследователь психологии и нравов своих современников и земляков [1]. Критики единодушно отмечают его блистательное мастерство стилиста. Может быть, это отчасти объясняется «наследственностью»: Адольф Мушг — сын Вальтера Мушга, крупнейшего швейцарского литературоведа.

Новый сборник рассказов Мушг назвал «Leib und Leben», хотя по сути это синонимы. Из современного языка давно исчезли слова «лейб-гвардеец», «лейб-медик» вместе с придворными телохранителями и целителями. Но писатель заставляет вспомнить старинное словечко «лейб», которое когда-то означало не только тело, но и саму жизнь в чисто физическом смысле этого слова. Автор выразительным заголовком подчеркивает, что в его историях речь пойдет о сокровенном и исконном, что составляет жизнь — прошедшую и сегодняшнюю. И еще это рассказы о том, сколь хрупок и раним человек, как трудно порой разобраться в самом себе, как тяжело сохранить достоинство, когда неотступно приближается старость, подстерегают недуги, грозит нищета.

Тема книги проясняется уже с первого рассказа «Ваш господин брат», в котором автор причудливо соединяет смешное и страшное. Прославленный писатель-юморист Фердинанд Раймунд зашел в кафе, где

[1] На русском языке выходил сборник рассказов А. Мушга «Поездка в Швейцарию» (М., «Прогресс», 1978).

его, увы, не узнал добрейший ирландский сеттер и, бросившись к гостю, до смерти его испугал. Утратив от страха чувство юмора, Раймунд вообразил, что его укусила бешеная собака, а дальше с ним происходит нечто несусветное: у него появляются все признаки безумия. Его врач, который выступает здесь рассказчиком, постепенно догадывается, что сумасшествие — это жестокий фарс: войдя в роль, кумир публики кончает жизнь самоубийством. Тогда-то врачу открывается еще одна потаенная истина: притворством и розыгрышем была вся предыдущая жизнь его талантливого пациента, когда тот пытался сочинительством комедий загасить свою вечную боязнь правды, страх перед реальностью окружающей жизни, трусость.

Адольф Мушг чужд какой бы то ни было назидательности. В основу большинства рассказов положен казус, который подлежит общественному разбирательству, а читатель из рассказанного волен сделать свой собственный вывод. Все новеллы построены монологически, это либо признания самого пострадавшего героя, либо свидетеля случившегося.

Во многих своих произведениях Мушг создает ситуации экстраординарные. Так, и в новелле «13 мая» происходит событие из ряда вон выходящее. Профессор уголовного права на торжественной церемонии, посвященной присвоению ему очередного почетного звания, убивает из пистолета декана факультета в тот самый момент, когда он начал перечислять его заслуги на юридическом поприще. Университетские профессора и студенты, представители местной власти кантона и даже телезрители становятся очевидцами этого ужасающего преступления, совершенного блюстителем закона. Все повествование являет собой обстоятельное письмо, которое убийца адресует судьям и коллегам. Он отвергает попытки доброжелателей снять с него вину и объяснить преступление умопомрачением, аффектом, и т. п. Нет, он действовал вполне осознанно. Его трагедией было то, что он давно уже разочаровался в деле, которому он исправно служил долгие годы. Он зачастую наказывал и даже обрекал на смерть людей невиновных. Его стремление изменить букву закона, добиться справедливости в юриспруденции оказалось тщетным. Последний поступок стал жестом отчаяния, совершенным ради того, чтобы привлечь внимание к узаконенным несправедливостям судопроизводства. Он готов понести наказание и за преступление, совершенное на глазах у всех, и за то, что он, служитель буржуазного правосудия, много раз выносил вердикт вопреки своей совести.

Герои рассказов Мушга, казалось бы, прочно интегрированы в систему, которая дает им возможность преуспевать. Но вдруг какой-то случайный толчок заставляет осознать фальшь своего положения, и тогда происходит взрыв или предпринимается попытка убежать куда глаза глядят от привычного швейцарского жизненного уклада. Так, неожиданно для самого себя своеобразным аутсайдером делается и некто Вульшлегер. Ему как специалисту по авиационной технике полагается бесплатный билет в любой конец света. Он наугад выбирает Таиланд, который надолго станет его пристанищем. Рассказ так и называется «Страна Вульшлегера». Этого любознательного чудака полицейские власти принимают за русского шпиона. Мушг откровенно потешается над шпиономанией, но Вульшлегеру не до смеха, ему чудом удается спастись от тюрьмы. Швейцарский инженер поражен красотой этой диковинной страны. Все восхищает его взор: сказочные горные вершины, пышные обряды, коварная красота цветущих плантаций мака и экзотическая прелесть тайских женщин. Не зная местного языка, он прекрасно ладит с очаровательной женой, которая никогда ничего не видела, кроме затерянной в джунглях родной деревушки. Но все же спустя какое-то время Вульшлегер решает покинуть свою утопию. А что же красавица жена? Она тоскует и ждет его возвращения, как преданная Чио-Чио-сан? Нет, времена, переменились. Переселившись в Бангкок, она становится одной из самых европеизированных и модных дам таиландской столицы. Право же, напрасно опасался Вульшлегер, что она не сумеет адаптироваться в Швейцарии. Ей бы это — посмеивается автор — удалось куда легче, чем Вульшлегеру жить по обычаям ее отсталой страны.

Подобный экскурс на Восток не случаен для творчества Мушга, он сам путешествовал по Японии, Китаю, бывал и в Таиланде. Этим странам он посвящал романы и новеллы, однако в сборнике «Тело и жизнь» рассказ о Вульшлегере — единственное произведение, события которого происходят за пределами Европы.

Сюжет рассказа «Двойное место, или Упущенное присутствие», пожалуй, типичен не только для Швейцарии. В огромном деревенском доме, построенном раньше, чем швейцарцы добились независимости, доживает свой век древняя старуха. Нетерпеливые наследники продают несколько комнат в этом доме приезжему адвокату. Присутствие полусумасшедшей, которая, кажется, даже разучилась говорить, настораживает его и пугает. Но происходит чудо — двое вчера еще чужих людей начинают без слов понимать друг друга. Однако предприимчивые родственники вскоре упекают старуху в богадельню, а адвоката вынуждают купить дом целиком. Нет больше в доме старой-престарой женщины, и с ее исчезновением словно обрывается долгая история многих поколений этого семейства, жившего под прочной черепичной кровлей.

Об одиноких и неустроенных людях повествуется и в новеллах, образующих внутри сборника своеобразный триптих: «Дискант», «Бас», «Альт». Это три монолога, три истории, рассказанные разными голосами.

Кто-то из швейцарских критиков назвал рассказы Адольфа Мушга «профилактическими», и действительно, словно стараясь предостеречь читателей, Мушг зримо показывает трагические последствия человеческой разобщенности и равнодушия, эгоизма и компромисса с собственной совестью.

ВЛАДИСЛАВ ПРОНИН

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

АЛАН МАРШАЛЛ И ЕГО ПОРТРЕТ

Общество дружбы «Австралия — СССР», президентом которого многие годы является Алан Маршалл, заказало по случаю его восьмидесятилетия (оно широко отмечалось и у нас в стране) портрет старейшины австралийской литературы. Его создал известный австралийский художник Хаими Слейд и, по отзывам газеты «Эйдж», достиг замечательного сходства.

Но по состоянию здоровья писатель не смог лично присутствовать на церемонии вручения ему портрета, и тот был отправлен ему домой.

При вручении подарка Алан Маршалл сказал, что питает самые добрые чувства дружбы к СССР, тем более что это первая страна за пределами Австралии, где стали печатать его произведения. Книга «Я умею прыгать через лужи» продана в СССР в пяти миллионах экземпляров — больше, чем во всех других странах вместе взятых — и переведена на узбекский, армянский и грузинский языки.

БОЛГАРИЯ

ПРЕМИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ — БОЛГАРСКОМУ ПОЭТУ

В 1982 году Французская академия присудила свою премию в области зарубежной литературы видному болгарскому поэту и драматургу академику Георгию Джагарову, который хорошо знаком советским читателям и зрителям по изданным у нас поэтическим книгам и пьесам, шедшим на сценах советских театров. Премия присуждена ему за сборник стихов «Птицы против ветра», выпущенный в 1981 году парижским издательством «Эрик Баше».

Как сообщает еженедельник «Литературен фронт», вручая премию лауреату, директор Французской академии Жак де Бурбон Буссе выразил огромное удовлетворение тем, что этого высокого отличия удостоен один из самых ярких и самобытных творцов современной болгарской литературы.

«Меня, человека, хорошо знающего Болгарию,— сказал в своем приветствии известный французский писатель Эрве Базен,—всегда поражало, какое значение в этой стране придают культуре. Премия Французской академии — это не только признание заслуг самого поэта, но и высокого развития болгарской культуры в целом».

«Я рад приветствовать одного из замечательных писателей Болгарии — страны многовековых традиций в литературе и искусстве, давшей так много всей европейской культуре»,— отметил член Французской академии романист Морис Дрюон.

В своем ответном слове Г. Джагаров сказал: «Я верю в поэзию. Она не спасет человечество от тревог и страха, от ужасов и смерти, но поможет человеку осознать свою ответственность. Свободное и правдивое поэтическое слово необходимо, как солнечный свет, для того, чтобы мы могли жить, строить, бороться, побеждать».

На снимке: Алан Маршалл на фоне своего портрета.

(Газета «Сан»)

ВЕНГРИЯ

БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

Театральная редакция венгерского телевидения год тому назад начала съемки серии телефильмов под общим названием «Актер и его мастерство».

В течение 1982 года было подготовлено несколько фильмов, в том числе и фильм о народной артистке ВНР, лауреате Государственной премии имени Кошута Марии Шуйок, хорошо знакомой советским

На снимке: Мария Шуйок.

(Журнал «Уй тюкёр»)

зрителям по гастролям будапештского театра «Виг».

В этом году эта работа будет продолжена. О ней рассказал на страницах журнала «Уй тюкёр» театральный критик Тамаш Гараи. Он отметил, что уже подготовлены для будущих лент интервью с такими известными актерами, как Имре Радаи, Клара Толнаи, Тамаш Майор, Хильда Гобби.

В 1983 году показ «портретных» фильмов будет более регулярным: раз в месяц зрители будут встречаться у себя дома с кем-то из любимых актеров.

Героями фильмов сегодня становятся уже не только заслуженные артисты старшего поколения, но и талантливая молодежь.

«Мы стремимся сохранить для наших потомков все самое ценное, интересное, новаторское, навечно запечатлеть самые значительные образы, созданные в кино и театре»,— подчеркнул Тамаш Гараи.

Сейчас внутри серии «Актер и его мастерство» возникла еще одна форма подобных фильмов, она носит название «Партнеры» и отражает работу уже двух актеров — партнеров по спектаклям. К таким относятся, например, фильмы, созданные о Еве Алмаши и Ласло Маркуше, о Юдит Погони и Роберте Колтаи.

ВЬЕТНАМ

НОВОСТИ ВЬЕТНАМСКОГО КИНО

Исполнилось 5 лет Объединенной киностудии города Хошимина. За прошедшие годы на экраны страны вышло немало интересных художественных, документальных и мультипликационных лент с маркой этой студии. Большой успех выпал на долю фильма «Опустошенное поле», удостоенного Золотого приза на кинофестивале в Москве в 1981 году. Сейчас на счету студии около 30 художественных фильмов и более 60 документальных.

Среди последних работ — художественная лента «Командир корабля» (реж. Кхыонг Минь Туан), главный герой которой после службы в армии приходит работать на рыболовецкое судно. В картине затрагиваются проблемы идейного воспитания молодого поколения страны.

Картина «Там, где проносятся смерчи» (реж. Хонг Шен), посвящена нелегким будням сегодняшней южновьетнамской деревни. В этом первом цветном фильме студии заняты известные артисты Ли Хюинь, Минь Данг, Тхюи Ан и другие. О жизни вьетнамской интеллигенции рассказывает фильм «Звуки музыки», который поставил режиссер Лам Шон.

Завершается работа над первой серией многосерийного детективного фильма «Сын священника» (реж. Кхой Нгуен). Его герой — отважный вьетнамский разведчик, действовавший в тылу врага на протяжении многих лет, предшествовавших освобождению Юга и воссоединению всей страны. О моральной ответственности за свои поступки перед Родиной расскажет лента режиссера Ле Хыу Фыока «Бархатная кошка», в которой воскрешаются события совсем недавнего прошлого, когда на Юге страны появились силы, стремившиеся заставить вьетнамцев покинуть свою страну. Именем главной героини назван фильм «Фыонг», он посвящен борьбе студентов и учащихся Сайгона против американских империалистов и их марионеток. Картину ставит молодой режиссер Ле Ван Зюи, это его дебют в игровом кино.

На киностудии художественных фильмов города Ханоя завершена работа над картинами «Прощанье летом» (реж. Нгуен Нгок Чунг) — о переменах, происходящих сейчас в деревне Северного Вьетнама, — и «Кто любит, кто ненавидит» (реж. Бать Зиеп). В полном разгаре съемки фильмов: двухсерийной цветной ленты «Возвращение в Шамшао» — о защитниках северных границ Вьетнама, «Земля не покинута» — о создании новых экономических районов, «Холодный лес» — о борьбе против иностранных агрессоров, «89-я минута» — о вьетнамских футболистах и другие.

Среди работ вьетнамских документалистов следует прежде всего назвать ленту «Строительство линии электропередач через реку Да» (реж. Ле Мань Тхить), удостоенную главного приза «Золотой голубь» на XXIII кинофестивале в Лейпциге. В этой десятиминутной картине ее создателям удалось очень ярко и поэтично отобразить красоту родного края, воспеть самоотверженный труд своих соотечественников. Тепло встречены зрителями и критикой также документальные фильмы «Родина на далеких островах», «Взгляд из космоса», «Традиционный театр кукол на воде», «Пианист Данг Тхай Шон».

В самом молодом театре Вьетнама — Театре юного зрителя (создан в 1978 году) состоялась премьера спектакля по пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». В роли Джульетты с успехом выступила молодая актриса Ле Кхань (на снимке).

(Газета «Дай доан кет»)

ГДР

КНИГА О РУТ ВЕРНЕР

Издательство «Нойес лебен» выпустило книгу об известной писательнице и общественном деятеле Рут Вернер (см. «ИЛ», 1980, № 1, 5, 6, 7). Книга вышла в

Пьеса «Лео и Роза» Гельмута Байерля, поставленная в берлинском «Театер им паласт» (режиссер спектакля — сам Гельмут Байерль), рассказывает о встрече двух людей, когда-то любивших друг друга,— о Розе Люксембург и Лео Йогихисе (Яне Тышке). Время действия — январь 1919 года, незадолго до гибели обоих.
На снимке: Лисси Темпельхоф и Ганс-Петер Минетти в спектакле «Лео и Роза».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

связи с ее семидесятилетием и называется «Информации о Рут Вернер». В этом юбилейном сборнике содержатся письма читателей, рецензии, интервью, отрывки из романов, рассказов и репортажей писательницы, интересные фотографии. Особое место занимают высказывания писателей о ней, в том числе Людвига Ренна и Германа Канта.

«Мы снова встретились с Рут Вернер, — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Эта встреча показала нам самые разные грани ее творчества, еще раз напомнила нам о ее стойкости, мужестве, о ее большом добром сердце».

«Я считаю выход книги событием большой общественной значимости,— пишет Вернер Нойберт в газете «Берлинер цайтунг». — Меня радует, что ее читают люди как старшего поколения, так и молодежь».

ИНДИЯ

МОЛЬЕР НА ИНДИЙСКОЙ СЦЕНЕ

Любители драматического искусства высоко оценили новый спектакль делийского «Драматического клуба», показанный столичному зрителю. Спектакль поставлен режиссером Хабибом Танвиром по пьесе «Его благородие Чванство», в основу которой положена всемирно известная комедия Мольера «Мещанин во дворянстве». Действие комедии перенесено в Индию конца прошлого века, и все ее персонажи носят индийские имена.

Спектакль пользуется у зрителей огромным успехом и всегда идет при переполненном зале. «Об успехе спектакля,— отмечалось в прессе, — может свидетельствовать хотя бы такой факт, что, когда однажды на сцене неожиданно погас свет, публика, изнывая от духоты, терпеливо ожидала в течение 45 минут возобновления действия, и никто из зрителей не покинул зала».

ВОКРУГ ФИЛЬМА О ГАНДИ

Внимание индийской общественности вновь привлечено к фильму «Ганди», созданному английским режиссером Ричардом Эттонборо. В этом фильме он пытался воссоздать картины одного из наиболее сложных периодов истории Индии новейшего времени, который непосредственно предшествовал завоеванию страной независимости. В нем рассказывается о деятельности Махатмы Ганди — выдающегося деятеля Индии, многие годы возглавлявшего национально-освободительное движение в стране. Ныне этот английский фильм, озвученный на хинди, демонстрируется на индийском экране.

Впервые внимание индийской общественности было привлечено к нему, когда он еще находился в стадии производства. Тогда депутат нижней палаты индийского парламента от Компартии Индии Гита Мукерджи обратилась к правительству с запросом относительно фильма Ричарда Эттонборо. В своем запросе депутат индийского парламента обвинила английского режиссера в сознательном искажении исторических фактов, связанных с деятельностью Махатмы Ганди. По словам депутата, режиссер приписал Махатме Ганди ряд высказываний и поступков, которые тот якобы совершил ради сохранения единства страны, но которые по существу были направлены на разжигание религиозно-общинной резни.

Индийская пресса сообщала тогда, что в своем ответе на запрос депутата заместитель министра информации и радиовещания Кумари Джоши признала, что в сценарии фильма действительно были допущены некоторые отклонения от исторической действительности того периода, однако эти отклонения не столь значительны, чтобы квалифицировать их как антиисторизм. Далее Джоши сообщила, что режиссер уже внес в сценарий необходимые исправления.

В связи с выходом фильма на индийский экран министр информации и радиовещания Н. К. П. Сальве, отвечая на вопрос корреспондентов, что он думает о фильме, сказал, что лента не является исторически достоверной картиной о жизни Махатмы Ганди. В сценарий фильма, как он считает, привнесен излишний драматизм и введены сцены, которых не было в действительности.

Исполнительское мастерство тридцативосьмилетнего актера шекспировского театра в городе Стратфорд-он-Эйвон Бена Кингсли, выступившего в роли Махатмы Ганди, высоко оценено критикой.
На снимке: Бен Кингсли в роли Ганди.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

ИТАЛИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В «Иностранной литературе» (1981, № 10) уже рассказывалось о драматургической школе, созданной Эдуардо Де Филиппо во Флоренции. Сообщалось, что выдающийся драматург, режиссер, актер, общественный деятель намеревается продолжить свой необычный эксперимент в Римском университете.

«Последние годы своей жизни я посвятил работе в школе, которая будет продолжаться и после меня», — сказал драматург.

И вот закончен в Риме первый курс профессора Эдуардо, как его называет теперь «Унита». Из трехсот принятых вначале студентов осталось 90, каждый из которых внес свою лепту в создание драматургических текстов. Если во Флоренции итогом работы школы явилась одна пьеса «Симпатия», то здесь их четыре. Две из них — в нескольких жанровых версиях.

Разделенные на 4 группы, студенты коллективно создавали эти произведения. Первым итогом стал сборник из 18 сценок, объединенных сюжетным стержнем: «изобретение машины, которая из воздуха вбирает запрятанные там идеи». С помощью начинающих драматургов Эдуардо Де Филиппо нашел молодых актеров (прекрасных, по утверждению старейшины итальянского театра), художника, композитора, которые должны воплотить эти сценки в двухактном спектакле под названием «Не знаю, передаю ли я идею».

На предложенную профессором тему «Ожидание мести оскорбленного друга» студенты создали по существу четыре пьесы: комедию, трагедию, гротеск, раёк — все на один сюжет и под одинаковым названием — «Пригоршня воды». Четыре жанровых версии будут опубликованы «под одной обложкой», как говорит Де Филиппо.

Для создания третьего произведения ученикам вместе с учителем пришлось потревожить тень Шекспира. В «Наследнике Шейлока», созданном как пьеса и как киносценарий, рассказывается о потомке знаменитого «венецианского купца», который пытается реабилитировать своего далекого предка.

И, наконец, четвертый сюжет — «Маргарита из «Фауста» — вызвал бурные дискуссии среди студентов. Это история актрисы, которая на вершине славы как бы вновь «проигрывает» на сцене перипетии своей судьбы. В пьесе трактуется вечная проблема соотношения искусства и жизни.

Все эти произведения созданы студийным методом. Эдуардо Де Филиппо, по свидетельству газеты «Унита», весьма удовлетворен своим экспериментом, лишний раз доказывающим, что у нового поколения «писательское чутье живо» и надо лишь стимулировать его проявление.

НОВЫЙ ФИЛЬМ МАРКО БЕЛЛОККИО

В новом фильме Марко Беллоккио «Глаза, рот» звучат реминисценции и даже прямые цитаты из первой ленты режиссера «Кулаки в кармане», отразившей бунтарские, анархические настроения молодежи 60-х годов. В главной роли снова снялся Луи Кастель, вновь встретившийся через 17 лет после памятного дебюта с Беллоккио на съемочной площадке.

Некоторые критики считают, что эта лента — о поколении 68 года. Эту точку зрения поддерживает и исполнитель главной роли Луи Кастель. В беседе с корреспондентом газеты «Паэзе сера» он заявил, что в фильме отражен кризис поколения 68 года — прежде всего в плане психологическом, в его столкновениях с реальностью сегодняшних дней. Сам же Беллоккио категорически отвергает такое прочтение своей новой работы; по его мнению, истоки драматических явлений, изображенных здесь, кризис мелкобуржуазной семьи, в которой разгораются бурные страсти, на самом деле «культивируемые и контролируемые с медоточивым лицемерием», по свидетельству рецензента «Униты», восходят ко временам более ранним, а восприятие этих явлений дается с позиции героя сегодняших дней, который с горечью убеждается, что мир, в котором он живет, не переменился к лучшему.

На снимке: Анджела Молина и Луи Кастель в фильме «Глаза, рот».

(Газета «Паэзе сера»)

В создании сценария кроме Беллоккио принимал участие молодой писатель Винченцо Черами, несколько лет назад блистательно дебютировавший романом «Очень мелкий буржуа» (см. «ИЛ», 1976, № 10). Сам Беллоккио так характеризует свою последнюю работу: «Этот фильм не услаждает... он пытается проникнуть в некоторые сферы жизни, которые меня глубоко волнуют и, наверное, касаются не только меня».

КУВЕЙТ

РАССКАЗЫ ЛЕЙЛЫ ОСМАН

По сообщениям арабской прессы, издательство «Дар аль-Адаб» выпустило сборник рассказов кувейтской писательницы Лейлы Осман «Глаза появляются ночью».

В связи с недавним визитом Лейлы Осман в Египет обозреватель журнала «Аль-Хиляль» прогрессивный египетский прозаик Юсуф аль-Куайид опубликовал в журнале статью «Арабские писательницы наступают», посвященную, в частности, и творчеству Лейлы Осман.

Лейле Осман принадлежат три сборника рассказов. До выхода в свет сборника «Глаза появляются ночью» она опубликовала две книги рассказов: «Отъезд» и «Женщина в кувшине». Кроме того, она выступает в кувейтских газетах и в радиопередачах.

«На ее примере мы видим,— пишет Ю. аль-Куайид,— как арабская женщина «из эпохи гаремов» вступает в «эпоху самовыражения», занимаясь литературным творчеством, то есть выступает в той области, которая долгое время была монополизирована мужчинами. Новые и интересные имена свидетельствуют о том, что молчание арабской женщины кончилось, что она играет теперь важную роль».

В статье Куайида приводится высказывание о творчестве Лейлы Осман известного сирийского писателя Ханны Мины. «Разница между Лейлой Осман и большинством писательниц, с которыми познакомился арабский мир, начиная со второй половины этого столетия, в том, что она, в отличие от них, не идет на примирение с действительностью, не рассматривает ее как веление судьбы, не поклоняется ей как идолу, не стонет под ее гнетом и не бежит от нее... Она единоборствует с действительностью».

В числе видных арабских писательниц и женщин — деятелей культуры Куайид называет критика и литературоведа, министра культуры Сирии, доктора Наджах аль-Аттар, сирийских писательниц-новеллистов Далаль Хатем и Хамиду Нааная, марокканскую исследовательницу-социолога Фасыму аль-Мерсиси, палестинскую писа-

тельницу Сахр Халифу — автора романов «Кактус» и «Подсолнечник», переведенных на несколько языков, писательницу из Саудовской Аравии Фатину Амин Шакер — автора поэтической книги «Ростки земли», ливанку Ханан аш-Шейх, опубликовавшую недавно роман «Рассказ Зухры», который, как пишет Куайид, «воплощает тревоги и муки современного человека».

ПОЛЬША

ИЗБРАННОЕ КШИШТОФА БАЧИНСКОГО

В Кракове в «Библиотеке польской и зарубежной классики» («Выдавництво литерацке») вышли «Избранные произведения» Кшиштофа Камила Бачинского (см. «ИЛ», 1980, № 8), который принадлежал к числу самых одаренных поэтов военного времени. Ему предвещали большое будущее, но поэт, родившийся в 1921 году, погиб во время Варшавского восстания 1944 года.

Произведения Бачинского сгруппированы по темам. Их предваряет предисловие выдающегося историка литературы и критика Казимежа Выки.

ПОРТРЕТ РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ

В издательстве «Ксёнжка и ведза» вышла книга «Ванда Василевская в воспоминаниях», в которой помещены воспоминания самых разных людей: писателей, политических и общественных деятелей.

Ванда Василевская, как отмечается в одной из рецензий на вышедшую книгу, была одним из виднейших представителей польского рабочего движения, общественной деятельницей, публицистной, народным трибуном и талантливой писательницей.

Ванда Василевская, возглавлявшая Союз польских патриотов в СССР во время второй мировой войны, тесно связывала борьбу за независимость Польши и ее будущее с борьбой за новый строй, за социализм. Этому же служила ее гражданственная публицистика и ее художественные произведения, призывающие людей на борьбу за лучшее будущее.

Деятельность Ванды Василевской в годы второй мировой войны наиболее широко представлена в книге. Об этих годах, в частности, пишут Ежи Путрамент, Владимеж Сокорский, Стефан Ендрыховский, которые вместе с ней участвовали в создании Союза польских патриотов в СССР.

Почти двадцатилетнему периоду жизни и творчества Ванды Василевской после войны посвящены главным образом воспоминания советских писателей Миколы Бажана и Юрия Смолича.

Особое место в сборнике занимают воспоминания сестры Ванды Василевской — Зофьи Альдоны Возницкой. Основанные в значительной степени на богатых материалах семейного архива, они показывают формирование Ванды Василевской как общественной деятельницы и писательницы, знакомят с этапами ее жизни и творчества.

ПАНАМА

Рауль Родригес Порсель, как пишет журнал «Боэмия», один из самых оригинальных панамских художников. В Гаване в Латиноамериканской галерее «Каса де лас Америкас» была организована его персональная выставка. Поразительно жанровое разнообразие работ Родригеса Порселя, но больше всего впечатляют его картины, изображающие сцены народных празднеств. Художник открывает зрителю самые разные стороны народной жизни, в его картинах находит свое пластическое выражение богатый фольклор панамского народа.

На снимке: одна из работ Порселя.

(Журнал «Боэмия»)

США

БИОГРАФИЯ КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР

В нью-йоркском издательстве «Саймон энд Шустер» вышла книга Дж. Гивнер «Кэтрин Энн Портер: история жизни», о чем сообщает еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью». Это первое жизнеописание известной писательницы-южанки, скончавшейся в сентябре 1980 года в возрасте 90 лет.

В литературу Портер пришла сравнительно поздно пишет еженедельник, ее первый рассказ был напечатан в 1924 году. Шесть лет спустя вышел первый сборник новелл «Иудино дерево расцвело». За более чем полувековую творческую жизнь Портер создала немного: несколько томов рассказов, два сборника историко-мемуарных очерков и роман «Корабль дураков» (1962), принесший ей всемирную известность.

Портер принадлежала к той блестящей плеяде писателей «южной школы», которые в своем творчестве обратились к анализу социально-этических конфликтов повседневности Юга, к исследованию тяжелых психологических травм, не изжитых из «южного сознания» после поражения рабовладельческих штатов в Гражданской войне, после мучительной перестройки всех основ «южной жизни» — что с пронзительным трагизмом воплотилось в романах У. Фолкнера. Правда, Портер, в отличие от Фолкнера или Томаса Вулфа, не стремилась к историко-философскому осмыслению трагедии Юга и ее последствий, дававших о себе знать еще и в XX веке. В основу ее новелл и повестей легли воспоминания о детстве, проведенном в Техасе, впечатления времен первой мировой войны и революционных будней «восставшей Мексики», куда Портер отправилась в качестве корреспондента газеты «Денвер пост», путевые заметки о Париже

и Берлине, где она побывала в начале 30-х. Но наибольших творческих удач Портер-новеллистка добилась в рассказах и повестях, воссоздающих эпизоды из семейных историй обитателей «старого Юга» — в жанре, традиционном для писателей-южан. Ее лучшие произведения (одно из них — новелла «Бледный конь, бледный всадник» — было опубликовано в «ИЛ», 1979, № 1) отмечены тонким психологизмом и мягкой лиричностью, акварельной воздушностью полутонов и загадочной недоговоренностью. Прозрачная ясность, отточенность стиля Портер всегда служили предметом восхищения читателей и критиков. Известный американский литературовед Э. Уилсон, рецензируя ее третий сборник рассказов «Падающая башня» (1944), отметил, что «Портер пишет на английском языке, чистота и точность которого почти уникальны в современной американской литературе». Эта оценка справедлива и в отношении других — более ранних и более поздних — книг писательницы.

ПОЭТ-ЛАУРЕАТ ТРУДОВОЙ АМЕРИКИ

В связи с выходом в свет сборника избранной поэзии и прозы Дона Уэста «На щедрой земле» (издательство «Уэст-Энд пресс») газета «Дейли уорлд» поместила статью Фреда Уайтхеда, который рассказывает о жизненном и творческом пути поэта.

Дон Уэст, недавно отметивший свой 75-летний юбилей, родился в горном районе штата Джорджия в бедной фермерской семье. В тяжелые годы Великой депрессии он, выпускник университета Вандербильта, основал школу для детей бедняков. Тогда же, в тридцатые годы, Уэст активно включился в общественно-политическую борьбу, сблизился с Американской коммунистической партией. В 1933 году он стал одним из лидеров движения за пересмотр «дела» Анджело Хердона, молодого негра-коммуниста, брошенного расистами Атланты за решетку.

Скрываясь от преследований полиции, Уэст вынужден был часто переезжать из штата в штат. Так он исколесил весь Юг, переменив за долгие месяцы скитаний множество профессий. В то трудное для него время он впервые взялся за перо. Талантливые стихи начинающего поэта, появившиеся в марксистской прессе, сразу же были замечены прогрессивной общественностью Америки. Памятным событием в его творческой биографии стал выход знаменитой антологии «Пролетарская литература Соединенных Штатов» (1935, издательство «Интернэшнл паблишерс»), где была помещена подборка его лирики. С тех пор, вот уже около полувека, с неиссякающей творческой энергией работает в американской литературе замечательный пролетарский поэт.

В предисловии к тому его избранных произведений, пишет Ф. Уайтхед, Дон Уэст назван «поэтом-лауреатом простого народа американского Юга». И в самом деле, в его стихах, пронизанных искренней любовью к простым людям труда, с беспощадной достоверностью воссоздана суровая и трагическая действительность американского Юга: тяжкий труд сезонных рабочих, изнурительная поденщина фермеров, кровавый позор расистских «судов Линча».

В предпосланном этой книге вступлении Дон Уэст так пишет о себе и своем творчестве: «Поэт не может быть «нейтральным». В нашем мире не прекращается борьба между угнетенными и угнетателями. И потому каждый должен ответить на неизбежный вопрос: «На чьей ты стороне?» Если ты принимаешь мир таким, какой он есть, если ты занимаешь «нейтральную» позицию, значит, ты встал на сторону угнетателей. Бросить вызов силам угнетения — вот долг поэта». Всю свою жизнь Дон Уэст оставался верен этому долгу.

ТУНИС

«СТОЙКОСТЬ»

Как сообщает журнал «ИБЛА», в г. Тунисе вышел сборник стихов известного поэта Нуреддина Саммуда «Стойкость». Это третья книга поэта. Первый сборник его стихов был опубликован в 1969 г.

В сборник «Стойкость» вошли стихотворения и поэмы, написанные Саммудом с 1965-го по 1979 год, в том числе стихи, с которыми он выступал на международных фестивалях арабской поэзии в Багдаде, Дамаске, Кайруане, Алжире и Марокко, а также на фестивале поэзии борющейся Палестины.

ФРАНЦИЯ

НОВИНКИ «ЭДИСЬОН СОСЬЯЛЬ»

Парижское издательство «Эдисьон сосьяль» начало выпускать новую серию книг под общим названием «Основы», в которую войдут фундаментальные труды Маркса, Энгельса, Ленина, Розы Люксембург, Декарта, Дидро, Жореса, Томаса Мора и многих других выдающихся представителей прогрессивной общественной мысли. Французские читатели смогут познакомиться с их работами по истории, политической экономии, философии, психологии, истории культуры, многие из которых будут переведены впервые. Издания серии снабжены обширными предисловиями, подробными комментариями, хронологическими таблицами.

На прилавках книжных магазинов уже появились «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса, том философских произведений В. И. Ленина, коллективный труд французских историков «Современная Франция с 1789 года до наших дней», «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида с предисловием и в переводе Владимира Познера.

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» ВНОВЬ НА ЭКРАНЕ

Известный актер и режиссер Робер Оссейн завершил работу над грандиозным (тысяча двести костюмов, армия статистов, в ролях только «звезды» экрана, такие как Лино Вентура, Жан Карме, Мишель Буке) многосерийным фильмом «Отверженные» по одноименному роману Виктора Гюго. Сам писатель предначертал своему произведению долгую жизнь, сказав, что нужда в подобных книгах не пропадет, «пока с этой земли не исчезнут невежество и нищета». И в самом деле, сто двадцать лет спустя (роман впервые опубликован в Париже в 1862 г.) «Отверженные» неизменно пользуются широкой популярностью и насчитывают уже несколько поколений читателей и на языке оригинала, и в переводах.

Первая экранизация романа состоялась еще на заре кинематографа в 1913 году в США, последняя осуществлена французским режиссером Полем Ле Шануа в 1958 году. Этот фильм демонстрировался в Советском Союзе, где Жана Вальжана с удивительной достоверностью сыграл Жан Габен. Театральный вариант «Отверженных» был создан Робером Оссейном на сцене Дворца спорта в Париже.

Корреспондент «Юманите» обратился к писателю Арману Лану, члену Академии Гонкуров с просьбой объяснить феномен столь неизменной широкой популярности этого романа.

Лану указал на аналогичные случаи в мировой литературе — Толстой, Диккенс, Джек Лондон, чьи произведения тоже продолжают жить в силу своей непреходящей ценности.

Вторым моментом, который, по мнению Лану, обеспечил «Отверженным» неиссякаемый интерес у широкого читателя, является то что этот роман близок к народному эпосу. «Не удивительно,— заключает Лану,— что роман «Отверженные» продолжает оставаться актуальным и так будет, пока отверженные существуют в обществе, и даже потом,

На снимке: Лино Вентура в роли Жана Вальжана и Мишель Буке в роли инспектора Жавера.

(Газета «Юманите»)

когда об их существовании будут уже только вспоминать». На фильм «Отверженные» откликнулись также член Французской академии Анри Труайя и Жорж Сименон.

Труайя опубликовал в «Юманите» открытое письмо Роберу Оссейну: «Моя жена и я были ослеплены, взволнованы, потрясены до глубины души красотой изображения, игрой исполнителей, мастерством режиссера. Это грандиозное кино! Благодаря вашим усилиям, число поклонников Виктора Гюго намного возрастет. От всего сердца поздравляю с таким потрясающим успехом».

Сименон на страницах «Юманите-диманш» выразил слова признательности Виктору Гюго: «Я обязан ему неизменностью своих убеждений, ибо в мои восемьдесят лет у меня те же идеи и надежды, что были и в пятнадцать. К сожалению, я не обладаю ни мощью его страстей, ни его масштабностью, качествами гения. Но одна черта все же нас объединяет: он любил «маленьких людей» так же, как люблю их я. Никакой моей заслуги в этом нет, поскольку я принадлежу к ним сам. Заслуга Гюго в том, что он их понимал, не будучи из их числа».

ШВЕЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ АПОКАЛИПСИС

Новый роман шведского писателя Пера Кристиана Ершильда «После потопа» написан в жанре антиутопии.

После атомной войны почти все человечество погибло. Уцелели лишь единицы, они селятся небольшими группами. Погибла вся цивилизация, культура, безнадежно забыты научные знания. Ершильд не скупится на мрачные краски, рисуя картины ужаса и распада человечества — физического и нравственного.

«Творчество Пера Кристиана Ершильда, автора известных романов «Охота на кабанов», «Детский остров», «Дом в Вавилоне», отмечено острым социальным пафосом,— пишет критик Рагнар Стрёмберг в журнале «Боньерс литерера магазин».— Его волнуют острые драматические конфликты, экстремальные человеческие состояния. В романе «После потопа» — современном апокалипсисе — писатель предупреждает о гибели человечества в случае атомной войны, призывает к гуманности и ответственности за будущее».

Все приходится постигать и изобретать заново. К власти приходят грабители и убийцы, которые держат в страхе и терроре своих подданных.

Шведский государственный театр «Рикстеатерн» с успехом гастролирует по стране с балетом Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Рецензент газеты «Норшенсфламман» Сванте Альрот пишет: «Постановка хореографа Иво Крамера стала событием в культурной жизни Швеции. Это — очаровательный спектакль для детей, темпераментный, остроумный, изящный. Молодая балетная труппа Крамера отличается высоким вкусом, пластичностью, самобытностью исполнения. И ее выступления — всегда праздник для детей и взрослых». На снимке: в роли Пети — Пер Ларсен, в роли Волка — Кристер Ревеню.

(Газета «Норшенсфламман»)

ЯПОНИЯ

НОВЫЙ ЗАМЫСЕЛ КУРОСАВЫ

Выдающемуся японскому кинорежиссеру Акире Куросаве часто бывает трудно найти на родине средства для постановки своих картин. Ни один японский продюсер не решился финансировать и новый проект Куросавы. Недавно режиссер закончил переговоры с французской фирмой «Гомон» о съемках нового фильма под названием «Мятеж». Куросава задумал создать свою версию шекспировского «Короля Лира». Это не первое обращение режиссера к сюжетам великого драматурга. Его фильм «Замок интриг» (1957) был снят по мотивам «Макбета».

Куросава перенесет действие «Короля Лира» в Японию XVI века. К этому же времени, к периоду феодальной раздробленности в Японии, относится действие предыдущего фильма режиссера (см. «ИЛ», 1980, № 3) — «Двойник» («Кагемуша»). Куросава считает эту монументальную картину, награжденную Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля 1980 года, лишь «разминкой» перед главной своей работой — экранизацией «Короля Лира».

«Я придаю второстепенное значение батальным сценам и пышным декорациям, — говорит Куросава. — Меня интересуют прежде всего люди, которые, к сожалению, с веками почти не меняются». Несмотря на это утверждение режиссера, как отмечает французская газета «Орор», планируемые затраты на картину столь велики, что «Гомон» подключит к ее финансированию некоторые кинокомпании других стран.

Куросава возлагает большие надежды на свою новую работу и хочет, чтобы она стала венцом его сорокалетней кинематографической карьеры, своеобразным творческим завещанием.

Авторы этого номера

ВАЦЛАВ БИЛИНСКИЙ — WACŁAW BILIŃSKI (род. в 1921 г.).

Польский писатель — прозаик, публицист, сценарист. Лауреат нескольких литературных премий ПНР, член Национального совета по культуре. Живет в Лодзи. Был узником фашистского концлагеря. С 1944 по 1946 г. — офицер Войска Польского. Начинал как журналист. Его первая повесть «Шестая батарея» («Szósta bateria») появилась в 1953 г. С тех пор вышли романы «Бой» («Bój», 1954), «Лето после войны» («Lato po wojnie», 1960), «Награды и ордена» («Nagrody i odznaczenia», 1968), «Судьба и везение» («Los i łut szczęścia», 1971), «Катастрофа» («Wypadek», 1976).
В. Билинским написано также много радио-, теле- и киносценариев. На русский язык переведен роман «Катастрофа».
Роман «Конец каникулам» вышел в Варшаве в 1979 г. («Koniec wakacji». Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979).

ИГНАТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский литературовед, переводчик с польского, кандидат филологических наук. В его переводе издавались произведения Я. Ивашкевича, Л. Кручковского, Е. Шанявского, Е. Путрамента, Ю. Кавалеца и др. За переводческую деятельность ему присуждена польская литературная премия.

ХОРЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский литературный критик, переводчик. Доктор филологических наук. Автор работ по польской литературе XX века, в частности — «О литературе народной Польши» (1965), «Владислав Броневский» (1967), «Становление социалистической литературы Польши» (1978). В его переводах публиковались рассказы М. Домбровской, Ежи Виттлина и др.

ДЕРЕК УОЛКОТТ — DEREK WALCOTT (род. в 1929 г.).

Поэт и драматург Сент-Люсии. В настоящее время живет на Тринидаде. Пишет на английском языке. Широкую известность Д. Уолкотту принесла его первая книга стихов «В зеленой ночи» («In a Green Night», 1962). Затем вышли сборники «Изгнанник» («The Castaway», 1965), «Залив» («The Gulf», 1969). Дерек Уолкотт — лауреат нескольких литературных премий.
Предлагаемые стихотворения взяты из новых книг поэта «Гроздья моря» («Sea Grapes». New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1976), «Царство звездных яблок» («Star-Apple Kingdom». New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1979).

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский переводчик с английского. В его переводе выходили книги избранных произведений Роберта Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона. Переводил классику — Э. Спенсера, Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «Иностранной литературе» в его переводах печатались романы В. Рида «Леопард», Г. Окары «Голос», В. Шойинки «Интерпретаторы», Р. Харвуда «Одинаковые тени», Айи Квеи Армы «Целители».

МАНЛИО АРГЕТА — MANLIO ARGUETA (род. в 1936 г.).

Сальвадорский писатель. Дебютировал в литературе как поэт. Автор романов «Долина гамаков» («El valle de las hamacas», 1969; отмечен Центральноамериканской премией в жанре романа), «Капуресита в красной зоне» («Caperucita en la zona roja», 1977; удостоен первой премии литературного конкурса «Каса де лас Американас» в Гаване).
Публикуемому в этом номере роману «День из ее жизни» («Un dia en la vida»), вышедшему в Сальвадоре в 1980 году, была присуждена Национальная премия Сальвадорским католическим университетом, находящимся в оппозиции к правящей реакционной хунте. Роман печатается по изданию Центральноамериканского университетского издательства в Коста-Рике (Editorial Universitaria Centroamericana — EDUCA, 1981).

МИНИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский переводчик с испанского и итальянского языков. В его переводе выходили романы Мигеля Отеро Сильвы «Лихорадка», Луиса Мартинеса «К берегу», пьесы Рафаэла Вивиани, рассказы латиноамериканских писателей.

БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. в 1918 г.).

Советский поэт-переводчик. В его переводах с китайского вышли книги: Синь Цицзи «Стихи» (1962), Ли Цинчжао «Строфы из граненой яшмы» (1970 и 1974), «Цветет мэйхуа. Классическая поэзия Китая в жанре цы» (1979).
Переводы М. Басманова и его статьи о китайской поэзии неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, на страницах нашего и других журналов.

ВИЛЬЯМ ХАЙНЕСЕН — WILLIAM HEINESEN (род. в 1900 г.).

Датский писатель. Член Датской академии с 1961 г. Лауреат ряда скандинавских литературных премий. Начинал в литературе как поэт. Его первый сборник стихов «Арктические элегии» («Arktiske elegier») появился в 1921 г. В. Хайнесену принадле-

жит много поэтических сборников, романы «Ноатун» («Noatun», 1938), «Черный котел» («Den sorte gryde», 1949), «Пропащие музыканты» («De fortabte spillemaend», 1950), «Плеяды» («Moder Syvstjerne», 1952), «Добрая надежда» («Det gode håb», 1964). В «Иностранной литературе» печатались стихи В. Хайнесена (1964, № 6, 1974, № 3). Повесть «Башня на Краю Света» издана в Копенгагене в 1976 г. («Tårnet ved verdens ende». København, Gyldendal, 1976). Она войдет в сборник датских повестей, который готовится к печати в издательстве «Радуга».

ВЕЛИЧКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Советский переводчик с датского, норвежского и шведского языков. В ее переводе опубликованы роман Вильяма Хайнесена «Пропащие музыканты», повести Пера Лагерквиста «Палач» и «Сивилла», рассказы Вилли Сёренсена, Бенни Андерсена, Сивара Арнера, Эльмера Диктониуса и др.

ШЕРЛАИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Советский литературовед и критик, доктор филологических наук. Автор монографий по литературе Чехословакии: «Станислав Костка Нейман» (1959), «Иржи Волькер и новые пути чешской поэзии XX века» (1965), «Витезслав Незвал» (1968), «Чешская поэзия XX века (двадцатые и тридцатые годы)» (1973), «Утверждение реального гуманизма» (1980) и многих статей по современной литературе и критике европейских социалистических стран.

МОЛЧАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1939 г.).

Советский литературовед, публицист. Кандидат филологических наук. Автор статей по проблемам литературы и искусства, взаимоотношений науки и искусства, массовой культуры и др.

ПЕТЕР ШЮТТ — PETER SCHÜTT (род. в 1939 г.).

Немецкий поэт, публицист, историк (ФРГ). Живет в Гамбурге. Автор книг стихов и публицистических очерков. В последние годы вышли его «Книга о Нижней Эльбе» («Mein Niederelbebuch», 1976), сборник стихов «Разоружайтесь!» («Entrüstet euch!», 1982), путевые очерки о Вьетнаме, СССР и США (1977, 1982).

В «Иностранной литературе» печатались стихи П. Шютта (1977, № 9), дневниковые записи (1978, № 11), статьи.

Книга «Мавр сделал свое дело...» Существует ли расизм в ФРГ?», откуда взяты предлагаемые фрагменты, издана в Дортмунде в 1981 г. («Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan... Gibt es Rassismus in der Bundesrepublik?». Weltkreis-Verlag, 1981).

Под названием «Америка: маршрутами не для туристов» публикуются главы из книги П. Шютта «Насос для материнского молока. Картины другой Америки», вышедшей в Дортмунде в 1980 г. («Die Muttermilchpumpe. Bilder aus dem anderen Amerika». Weltkreis-Verlag, 1980).

СТЭНЛИ ЭЛЛИН — STANLEY ELLIN (род. в 1916 г.).

Американский писатель. Автор многих романов, сборников рассказов.
Рассказ «Вера Аарона Менефи» взят из сборника «Метод Блессингтона» («The Blessington Method». London, Makdonald, 1965).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 05.01.83. Подписано в печать 16.02.83. А 01540. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая. 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 27,81.

Тираж 380 000 экз. (1-й завод: 1 — 340 000 экз.). Зак. 130.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ТАН ИНЬ (1470—1523). Весенняя прогулка в горах.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394